ИНОСТРАННАЯ *литература*

2
1958

ЛАО ШЭ

(К 60-летию со дня рождения)

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Гравюра югославского художника Тоне Краля „Жатва".

Содержание

ИРЖИ ТАУФЕР — Героическая поэма . . . 3

Рассказы об Армии-освободительнице

АУРЕЛ МИХАЛЕ — Тревожные ночи 7
ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ — Азбука 22
СТАНИСЛАВ ЗЕЛИНСКИЙ — Черные тюльпаны 34

Стихи о Советской Армии

ТЕН ДОН У — Красная звезда 38
РАДОВАН ЗОГОВИЧ — Хотя и не придут . . 39
ЯНОШ САС — Победа 40

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТЛИ — Теперь пусть уходит (Пьеса) 43

Из турецкой поэзии

СУАД ТАШЕР — Среди ночи 78
МЕСУД ТАРДЖАН — Счастье 79
ДЖАКИД СЫТКЫ ТАРАНДЖЫ — Пусть день... Я хочу, чтобы в нашей стране... . . . 79

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Чочара (Роман. Продолжение) 81
СИБУРАПА — Деньги и труд (Рассказ) . . . 167

КРИТИКА

Т. ТРИФОНОВА — Литература и действительность 174
ИЛЬЯ ФРАДКИН — Вольфганг Борхерт и «поколение вернувшихся» 183

РЕЦЕНЗИИ

П. ПАЛИЕВСКИЙ — Одинокие медведи . . . 196
А. ИСАЕВА — Малыш и Карлсон, который живет на крыше 199
И. ИВАНЬО, Ф. НЕУВАЖНЫЙ — Повесть о советском человеке 202

2

1958

ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ" МОСКВА

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Перспективы расширения международных культурных связей

ТОЙН ДЕ ФРИС — Мои прогнозы и пожелания 205
ДИМИТР ШУТЕРИЧИ — Искусственные препятствия не помешают культурным связям 207
ЖОРЖ СОРИА — Идти все дальше вперед . . 208
ЭРИК ХОРСКЬЕР — Вклад в дело мира . . . 209
ФЕРЕНЦ СЕМЛЕР — За более тесные связи между писателями 211
ГОДОФРЕДО ГАРСИЯ РЕНДОН — В подлинных интересах человечества 212

ПУБЛИЦИСТИКА

БОРИС ИЗАКОВ — Две исповеди Говарда Фаста 214

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

СЕДРИК БЕЛФРЕЙДЖ — Славный юбилей (К 90-летию Уильяма Дюбуа) 221
К. ЗАМБАХЧАН — Моя художественная коллекция 227

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

САДЖАД ЗАХИР — Фаиз и его поэзия . . . 242

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ХАСАН ФУАД — «Порт-Саид» (Из серии рисунков египетского художника Жоржа аль-Бахгури) 246

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

С. Востокова — Заглядывая в будущее. ◆ Е. Гальперина — Книга об африканской скульптуре. ◆ Л. Зонина — «Леонар в ином мире» Элен Пармелен. ◆ И. Бернштейн — «Летопись на граните» Олджиха Шулержа. ◆ Г. Злобин — Черное пламя. ◆ А. Клышко — Подвиг труда. ◆ Е. Померанцева — «Соучастие в убийстве». ◆ В. Борисов — «Верни мое сердце». ◆ А. Рапопорт — Автобиография Ричарда Черча. ◆ Р. Белоусов — Сборник пьес-диалогов . 254

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 267

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ. . . 287

Иржи Тауфер

Героическая ПОЭМА

(Отрывок)

Перевод с чешского Якова Белинского

Летописи этой великой войны
еще не были собраны, упорядочены и записаны,
Лежат в стогах желтеющих газет, приказов, документов,
Трепещут в памяти людей,
Горюют, плачут в их рассказах устных
Великим эпосом, и строф его не счесть.
Былина об Илье Волжанине слагалась заново,
и нету ей конца.
Эту былину играют орга́ны шлюзов на Волго-Доне,
С книжных страниц шелестит она, с новостроек звенит,
отзывается эхом с театральных подмостков.
Эту былину слагали те, кто с недругом бились,
Тот, кто пал в ночь на двадцать второе июня у Буга на берегу,
Тот, кто Харьков оставил, роняя гневные слезы,
Тот, кто видел проломленный купол Лавры,
Тот, кто в снежные ночи Москву защищал,
Тот, кто выцедил в Волгу всю свою кровь,
Тот, кто пал в боях у Орла, у Курска, у Белгорода,
и тот, кто в тех битвах выжил,
Тот, кто в тысяча девятьсот сорок пятом
через Шпрее переправлял коней,
Тот, кто умер в морозы за колючей проволокой концлагерей,
Те, чьи руки к станкам примерзали в Ленинграде,
окованном холодом,
Тот, кто в схватку вступил с двумя смертями —
с захватчиками и с голодом,
Те, которым был хлебушек драгоценнее пенициллина,
Те, кто ели лепешки из горчицы, опилок и глины,
Те, кто жили горячей надеждой, и льдом, и столярным клеем,
Те, чья тяжесть в блокаду была всего на земле тяжелее;
Слагал ее тот, кто собой закрыл амбразуру фашистского дота,
Чтобы пчелы, что жизни, как мед, собирают
с открытых чашечек ран,
Не смогли бы оставить свои смертоносные ульи;
Слагал ее тот, кто встретил девятое мая,
Словно от страшного сна пробудившийся спящий;
Тот слагал, кто своими кровавыми жилами связывал
рек разорванные артерии,
Те, кому уже на заре человечества было имя героев дано,

Те, кто даже не думали, что потомки их вспомнят,
Что будут они воспеты,
Что их имена будут врезаны в мрамор
И в бронзе отлиты,
Сритмованы в строфах с такими словами, как
«мужество», «верность» и «подвиг»,
Что отчеканят бессмертие их на монетах.

Эту песнь нескончаемую слагал
тот, кто пулей сражен в городке,
не означенном даже на картах,
Тот, кто щедро кормил пасть огромного фронта,
для себя, как скупец, отмеряя куски,
Те советские женщины, пред которыми
благоговейно склониться
не было б жестом галантности;
Слагали те дети,
что, как доноры кровь, свое детство войне отдавали,
Все они эту гордую песню слагали;

Слагал ее тот, кто свалился убитым под маленькою березкой —
Сам статный и стройный, прямой, словно лиственница в лесу;
Слагает ее моя память,
Вся в шрамах, в кровоподтеках и синяках.

Сколько битв решил нигде не записанный эпизод,
Сколько смяла атак бутылка с бензином,
Что метнул человек в наступающий танк;
Но всех неизвестных учли суровые руки стратегов,
Что вращают над картами циркули, как астрономы,
Чтоб в душе миллионов, как в бездне созвездий, найти
Путь бесспорней орбиты Плутона.

Течет в моей памяти Волга,
полная нефти с танкеров разбомбленных,
В моей памяти — ночь
темнее, чем косы грузинки, черней ее глаз,
Ночь, глубокая и гремящая, как шаляпинский бас,
Ночь, что мерно вращается пластинкою патефона,
Ночь, плывущая вольно, как волны тихого Дона,
Ночь в сигналах радиосводок и воздушных тревог,
Когда кровью писала история
на стенáх цитаделей,
в воздухе,
у переправ и рокадных дорог.

В моей памяти Абганерово,
В моей памяти дымящийся Сталинград,
В моей памяти спящий Эльтон —
соленое озеро в клубах розоватого пара,
В моей памяти день громыхающий,
как колеса под товарняком,
И зеленое утро меж Владимировкой и Баскунчаком,
Когда красноармейцы качали на коленях девчонку в лохмотьях,
Как безумные все повторяя одно только нежное слово —
«маленькая»,
Свежей рыбой кормили ее, что с утра наловили в Ахтубе,
куда накидали гранат;

А ребенок все плакал и гладил рукой котелок,
словно грудь материнскую гладил.
Слезы, слезы текли по щекам победителей будущих,
тех героев,
что крепостью сделали «Павлова дом».
Генерал Кравцов, Солдатенко,
вы помните это утро, вы, наверно, не позабыли о нем?
Эти слезы, что были
горячее, чем слезы Карениной, что она пролила
над головкой Сережи;
Эти слезы, что были
трогательнее всех песен старинных
про солдатский мундир;
Эти слезы, что были
правдивей всех статуй на триумфальных воротах
И величественней обелисков
на всех монументах войны.

Грандиозной картиной, на которой атака ста танков и самолетов
И земля, клокоча как исландские гейзеры, вверх взметена,
Не измерить величья войны,
Той, что стала войной за свободу народов.

А пробитое пулей за миг до победы солдатское сердце
Говорит о цене той победы намного красноречивей,
Чем сообщения о движении целых фронтов.

И грядущее засияет великолепнее из ладошки ребенка,
В которую воин вложил сахарку, готовясь к смертельной атаке
Так же просто, как ночью в землянке дочурке писал письмецо,
Так же просто, как взвешивал перед атакой
на ладони ручные гранаты,
Так же просто, как перед атакой просил командира,
чтоб в случае смерти считали его коммунистом;
Потому что в слезе,
что скатилась по выцветшей гимнастерке солдата,
Засияла великая цель человечества
ошеломляюще близко,
Даже ближе, чем в пламенном Манифесте,
что до нынешних дней мы читаем
всегда с затаенным дыханьем;
Ближе, чем на развернутом стяге, летящем над шествием тысяч,
Ближе, чем в речи оратора-железоуста;
Цель, согретая над огнедышащим пламенем,
Стала четкою, словно слова,
что начертаны симпатическими чернилами.
Можно ее на мгновенье коснуться,
словно свежего женского рта,
Можно увидеть ее в улыбке ребенка
удивительной, как ликующая демонстрация,
Можно ощупать ее, как первый стремительный танк,
под которым звенела пражская мостовая, —
Такая была эта цель живая,
такая горячая, осязаемая, простая!

«ТРЕВОЖНЫЕ НОЧИ». *Рис. К. Соколова.*

Аурел Михале

Тревожные ночи

Перевод с румынского Э. Субботиной

Наш фронт в Молдавии тянулся по мягким, отлогим склонам холмов, опустошенных войной и выжженных зноем. Слева он терялся вдали, по направлению к Геленешть и пойме Серета, справа поднимался к местечку Красивое и шел вдоль железнодорожного полотна и дороги, ведущей к мосту Илоайе и Яссам. Земля была изрыта снарядами, во всех направлениях изрезана траншеями, пестрела желтыми впадинами глубоких ям, из которых иногда поблескивала на солнце сталь штыков. Между нами и русскими, занимавшими склоны противоположных холмов, лежала ничейная земля, мертвая, мрачная, зловещая. За ней зорко следили: даже птицы не отваживались пролетать над долиной.

Лето было знойное и засушливое. Воздух накалялся с раннего утра, и только к вечеру становилось прохладнее. Хлеба, которые еще росли у подножия холмов, на наших глазах зрели, ржавели, осыпались. В низине, ближе к поймам, они всходили вторично, и нивы отливали зеленью от повилики и осота. Кукуруза росла жалкой, с маленькими, хилыми початками без зерен, со сморщенными и высохшими листьями, которые свертывались в трубки, как бумага. Земля под ногами сухо потрескивала, словно мы ступали по рассыпанной дроби; частые суховеи поднимали и гнали по холмам клубы глинистой пыли. Проклятия войны и засухи обрушились на страну в августе 1944 года.

— Пришел час нашей погибели,— пророчествовал Чиоча, солдат нашего подразделения. — Покарал нас господь!

Когда поднимались песчаные бури, сжигавшие поля и высасывавшие из недр земли ее влагу, Чиоча начинал отбивать поклоны и бормотать молитвы. Так же поступал он, когда русские пушки и «катюши» осыпали снарядами наши позиции. Тогда он читал еще и синеватую засаленную книжонку, полученную от одного из попов, которые часто наведывались на передовую.

— Чиоча, не забудь и нас помянуть в своих молитвах, — издевались мы над ним.

Он сердито хмурился, глядя на нас потемневшими, сузившимися глазами, но тут же, забывая о нашем присутствии, снова принимался бормотать молитвы и бить поклоны, пока не кончался обстрел или не стихала буря. Тогда его охватывало странное оцепенение. Ничто не могло вывести Чиочу из этого состояния. Потом бесцветные, круглые глаза его постепенно загорались каким-то внутренним огнем — отражением той новой, непонятной нам жизни, которой он теперь жил.

— Чиоча, почему ты стал так усердствовать в молитвах? — как-то спросил я.

— Сам знаешь, — ответил он шепотом и пугливо оглянулся, словно выдал какую-то важную тайну.

После этого разговора я поручил Чиоче доставлять на передовую воду, боеприпасы и еду. Перед обедом я нанизывал на ремень наши фляги и вручал их ему — в подразделении нас осталось всего шестеро. Он перекидывал ремень через плечо и исчезал во рву, который вел на кукурузное поле позади наших позиций, где в густом ракитнике был скрыт колодец. Возле него всегда толпились посланцы румынских и немецких воинских частей, расположенных в окрестностях. Протиснуться сквозь эту толчею было делом не легким. Поэтому мы посылали Чиочу задолго до обеда, когда людей возле колодца было поменьше, а вода в нем почище. Но в последние дни Чиоча приносил больше грязи, чем воды. Колодец мелел: зной иссушал питавшие его источники, а сотни людей дни и ночи таскали из него воду. Чиоча был слишком неповоротлив, другие опережали его; случалось, что мы и вовсе оставались без воды. Я подумывал, не заменить ли Чиочу, но нас было слишком мало, каждый боец был на учете. Да и лучше было, чтобы Чиоча не торчал у нас перед глазами: во время боя он вновь принялся бы за свои поклоны и молитвы, лишая нас последнего мужества. Я боялся, как бы Чиоча не подвел нас в конце концов под военно-полевой суд.

Впрочем, на фронте стояло полное затишье. С неделю мы валялись среди кукурузы, запрятав пулемет у входа в ложбинку, спускавшуюся в долину, которая отделяла нас от русских. На соседнем холме теснились немецкие пехота и танки. Мы охраняли ложбинку, чтобы русские не просочились между нами и немцами и не зашли в тыл.

Днем мы лежали в окопах, вырытых между кочками кукурузного поля, изнемогая от голода и жажды, задыхаясь от зноя. По вечерам выходили из укрытий и, надавав друг другу тумаков, чтобы поразмять кости, собирались вокруг котла с варевом. Если у нас было что поесть, мы ели не спеша, просиживая у котла часами. Кто знает, удастся ли нам и завтра посидеть так, вместе! После ужина Нана Георге и Жерка Константин оставались дежурить у пулемета, а мы шли печь кукурузу. Чиоча выдолбил для нас углубление со сводом вроде очага; разведенный в нем огонь не мог быть виден со стороны русских. Пока Чиоча бродил по полю, собирая в походный мешок хилые початки с редкими, сморщенными зернами, мы, нарезав штыками кукурузные стебли, закладывали их в очаг и поджигали, чтобы накалить его стенки, затем выгребали жар и золу и набрасывали внутрь початки. Один из бойцов старшего призыва, Пынзару, мой односельчанин, ворочал шомполом, пока початки не подрумянивались. Готовые он выбрасывал на край ямы. Мы хватали руками горячие початки и, сдув с них пепел, жадно ели. Часть початков Пынзару откладывал в каску для дежуривших у пулемета.

Набив животы печеной кукурузой, мы запивали ее водой и посылали Чиочу к колодцу — снова наполнить фляги. Пынзару отправлялся с каской еще теплых початков к пулеметчикам. На поле оставались только я и Кэлин Александру, маленький чернявый солдатик, уроженец области Бэрэган, молчаливый и застенчивый, как девушка. Кэлин был самым младшим в нашем подразделении: здесь, на молдавском фронте, он принял свое боевое крещение. Его приводили в ужас жестокости войны и томила любовь, в которой он никому не признавался. В укрытии он всегда старался быть возле меня, если это было возможно.

Мы лежали, растянувшись среди кукурузы, устремив глаза на звезды и напряженно вслушиваясь в безмолвие ночи. Нас отделяли от русских только тьма и тишина. Изредка затишье нарушалось пулеметной очередью или пушечным выстрелом со стороны немцев. Выстрелы оставались без ответа. Очевидно, немцы стреляли вслепую, чтобы подбодрить себя. Мы

ждали, пока они успокоятся. Затихал и медный шелест кукурузы. Снова воцарялась тишина. Тогда я подползал к Кэлин Александру, у которого был чудесный тембр голоса, и просил шепотом:

— Спой что-нибудь, Сандуле.

Сандуле не заставлял себя долго просить. Он закидывал руки за голову и начинал петь. Он пел про любовь и печаль, голос звучал трепетно и нежно, и слезы готовы были брызнуть из моих глаз. Я слушал его пение, тихое, как дыхание земли, словно рожденное тишиной этой ночи. Песнь нарастала, крепла, но лишь настолько, чтобы не выйти за пределы нескольких шагов. Она звенела, тоскующая, печальная, как стон, вырвавшийся из глубины страдающей души, истерзанной любовью. Я никогда ни о чем не спрашивал Сандуле, его пение было вполне красноречивым.

Мы все снова на кукурузном поле — нас собрала песнь Кэлин Александру. Вернулся Чиоча с флягами, наполненными водой. Вместе с Пынзару пришел и капрал Нана, оставив возле пулемета одного Жерку. Они растянулись на земле рядом с нами, глядя на далекие звезды. Тоска по дому, по своим железными клещами сжимала сердце. Песня затихла.

— Будь проклята война! — сквозь стиснутые зубы прошипел Нана. — Когда только она кончится!

Мы молчали, думая о том, что давно терзало каждого. Ночи на кукурузном поле углубляли наши раздумья. Изредка со стороны немцев ночную тьму вдруг прорезали огненные точки трассирующих пуль или вспышки ракет. Только эти летающие искры напоминали нам, что мы на фронте. На нашем участке уже много недель царила могильная тишина. Но нам все время чудилось, что эта тишина вот-вот взорвется, и мы с минуты на минуту ждали конца. Во всей обстановке, сложившейся на фронте в августе 1944 года, чувствовалось что-то гнетущее, таилась скрытая угроза. В то же время именно эта могильная тишина вселяла надежду на спасение. Очарование песни скоро рассеивалось, и мы все лежали, мучительно стараясь найти ответ на вопрос, который каждый вечер задавал нам Нана: «К чему нам эта война?»

Нана был вспыльчив от природы, легко выходил из себя, и слова его хлестали нас, как бичи. Он приподнимался на одно колено и, заглядывая в глаза каждому, допытывался — как будто мы были в этом виноваты, — почему мы еще воюем? Никто не отвечал, мы боялись ему ответить. Но его вопрос глубоко проникал в души. Если в начале войны никто из нас и подумать не мог о чем-нибудь подобном, то сейчас мы боялись только одного — как бы нас не подслушали. Поэтому я тянул Нану за рукав и выходил с ним на край поля.

— Ты понимаешь, Нана, что ты говоришь? — Он сразу обмякал, становился беспомощным и, заливаясь слезами, начинал шептать в отчаянии:

— Я не могу больше, Ситаруле! Я больше не могу!

Обхватив голову руками, он сжимал ладонями виски и стонал долго, глухо, мучительно.

В одну из таких ночей, когда Нана яростнее, чем когда-либо, выкрикивал свои вопросы и проклятия, я схватил его за руку и вытолкнул из кукурузы. Мне казалось, что на него действует духота и настороженная, непривычная тишина, которой не было на других участках. Я втащил его в траншею, которая вела к ложбине, где находился наш сторожевой пост. Мы увидели Жерку, лежащего позади пулемета.

— Вот, полюбуйся! — шепнул мне Нана, еще не остывший от ярости. — Верит, что выполняет свой долг, и будет стрелять с закрытыми глазами...

Жерка, услышав шорох, схватился за пистолет и, повернувшись к нам, стал пристально всматриваться в темноту. Я намеренно кашлянул, чтобы его успокоить, и мы осторожно переползли к нему в окоп.

— Что слышно, Жерка? — спросил я.— Как дела?

— Плохие дела, господин сержант,— ответил он испуганно.— Зашевелился фронт. Вот послушайте!

Мы все трое замерли, опершись локтями о край окопа и приложив ладони к ушам. Поначалу тишина казалась непроницаемой. Но вслушиваясь внимательней, мы стали различать какой-то непрерывный рокот, доносившийся из долины, словно шепот самой земли. Звуки доносились явственно, хотя и заглушенно; это был топот сотен тысяч человеческих ног и скрип колес, гул моторов и лязг металла. Той ночью советский фронт зажил скрытной, таинственной жизнью, вселявшей в душу смятение и страх. Мне казалось, что я различаю глухое потрескивание льда, снизу подтачиваемого вздувшейся водой, потрескивание, возвещающее о приближении весны. Я вздрогнул и шепнул:

— Иди, Жерка, отдохни. Мы останемся здесь.

Дождавшись, когда его тень скрылась в темноте траншеи, я схватил Нану за руку, и мы стали молча прислушиваться к неясному гудению земли, доносившемуся со стороны русских.

— Ну, что скажешь?

Нана ответил не сразу.

— Ага, — наконец пробормотал он, — что-то должно произойти. Иначе не может быть. Они к чему-то готовятся.

Мы продолжали стоять, опершись локтями о край ямы и прислушиваясь к таинственному, непрерывному гудению земли. Все казалось обманом слуха, отзвуком беспокойного движения самой природы, ибо во тьме, скрывавшей фронт русских, ничего не было заметно. Над всей окрестностью царила тишина; ветер затих, звезды невозмутимо мерцали в небе и над русскими и над нами.

Вдруг Нана вздрогнул.

— Ситаруле, — шепнул он таинственно, продолжая пристально всматриваться в русские окопы, — помнишь? Так оно начиналось и в излучине Дона.

Меня охватил смертельный ужас. Ночь показалась мне глубоким черным провалом, бездонной пропастью. Она неожиданно вспыхнула ярким пламенем, засверкала молниями. Я почувствовал, как земля задрожала под ногами и в ушах загудело от грохота взрывов.

Я лихорадочно стал нащупывать руками край ямы. Мне надо было удостовериться, что это лишь наваждение, внезапный обман чувств. Да, действительно, так начиналось и в излучине Дона.

Только тогда этот гул сперва долетал откуда-то издали и, мгновенно приблизившись, охватил нас кольцом огня и железа. А сейчас гул раздавался совсем рядом, на расстоянии нескольких шагов от нас. «Да, на сей раз это уже не будет, как в излучине Дона, — сказал я сам себе, — теперь конец».

— Ситаруле, — прервал мои мысли Нана, продолжая все так же пристально всматриваться в темноту. — Скажи, правда большевики приканчивают пленных? Ты действительно веришь, что они режут носы и уши? Что они сжигают пленных живьем?

Я испытующе поглядел на него и ответил не сразу. «Куда он клонит? — думал я. — Он в самом деле хочет узнать, что я об этом думаю? Ему, пожалуй, я бы мог сказать...»

Не получая ответа, Нана резко повернулся и застыл, сам испугавшись вопроса. Его глаза сверкали в темноте, как раскаленные угли.

— Нет, не верю, — ответил я, помедлив.

— И я не верю, — повторил он. — Все это офицеры выдумали, чтобы запугать нас.

Мы снова замолчали, напряженно прислушиваясь к рокоту, напоми-

навшему сейчас шелест леса, когда по нему пробегает ветерок. Он уже не казался нам таким таинственным и тревожным. Он был таким же естественным, как дыхание земли. Мне вдруг почудилось, что сейчас я услышу ход времени. И я действительно почувствовал его движение, почувствовал, как кончается ночь и приближается утро. Я снова вздрогнул.

— Нана, — пробормотал я, чтобы удостовериться, что еще нахожусь в этом реальном мире. — Дай очередь!

Нана нажал курок. Пулемет слабо застрекотал и смолк. На мгновение мне показалось, что гудение земли прекратилось. Но достаточно было восстановиться тишине, как шум на советской стороне стал еще явственней.

— Их это не пугает, — пробормотал Нана боязливо. — Эх, сыграюка я им плясовую!

Он снова взялся за рукоятку. Несколько мгновений помедлил, словно припоминая мотив. Нана был самым искусным пулеметчиком в нашем полку. Его пулеметная очередь обладала ритмом и мелодией. Достаточно ему было нажать курок — и резкая, торопливая, прерывистая дробь пулемета начинала звучать то нежно, то бравурно. Ночь ответила неожиданно гулким эхом. Трассирующие пули образовали светящийся мост. Русские пулеметы и на этот раз не ответили. На советской стороне продолжала царить все та же настороженная тишина. Зато бешено загрохотали немецкие орудия справа от нас. В одно мгновение сотни и тысячи ружей и пулеметов открыли яростный, но беспорядочный огонь по русским. Затем тяжело и свирепо забухали пушки.

— Ага, — удовлетворенно вырвалось у Наны. — Прорвало немцев.— И добавил со злой усмешкой: — Трусят.

Советские пулеметы ни единым выстрелом не ответили и на ураганный огонь немцев. Если бы не приглушенный, тревожный рокот, который снова явственно донесся со стороны русских позиций, можно было подумать, что там никого нет.

Нана остался у пулемета, а я вернулся на кукурузное поле. Странное было у меня состояние: по-прежнему терзал страх, но в душе зарождалась надежда. Впервые в эту минуту я осознал, что безмолвие советского фронта — признак силы и уверенности русских в себе, свидетельство их несокрушимой мощи. Это и пугало и радовало.

Достигнув поля, я растянулся на земле рядом с бойцами. Много часов пролежал я так без сна, глядя на небо, пытаясь разобраться в хаосе мыслей. «Нана прав, — говорил я себе. — К чему нам эта война? Почему мы не воюем с немцами, которые вторглись к нам и продали часть нашей страны? Или с собственными боярами?.. Почему не схватим их за горло, не потребуем, чтобы они отдали нам землю?» Мысли утомили меня, и я, наконец, заснул. Во сне меня мучали кошмары. Я видел отца, постаревшего, сгорбленного, с худым изможденным лицом и впалой грудью, видел, как он с трудом тащится за плугом, как, низко пригнувшись, ходит с серпом по жнивью. Потом передо мной возник образ матери: она стоит, окаменев, у ворот, устремив глаза в пустоту улицы. Так она стояла в день нашего ухода. Она выплакала все глаза, они потухли от горя и ожидания. А ведь она еще не знает, что брат мой Марин пал на берегу Дона и никогда не вернется домой.

Там, на берегу Дона, испили мы до дна горечь унижения, разгрома, безумия. Терпели голод и холод, видели лицом к лицу смерть. Семнадцать суток днем и ночью бежали мы по обледенелым дорогам, без крошки хлеба, в порванных ботинках; мчались без роздыха на санях, шли пешком или ехали на немецких машинах. Когда мы добрались до своей страны, мы были похожи на привидения. Кожа да кости, глаза остекленели,

как у мертвых, в груди лишь искорка жизни. И все же мы спаслись! Да, мы спаслись! От этого ужаса, от этого ада, которым была битва в излучине Дона. И Нана уцелел. И еще несколько человек из всего нашего полка. Но на этот раз — мы были в этом убеждены — уже не удастся уйти, мы не сможем. Тогда мы бежали две тысячи километров. До нашей страны было далеко. А теперь, когда она рядом, — куда бежать?

Снова я увидел призрак матери. Вот она вышла из ворот вся в черном, легко ступая, будто скользя по воздуху. «И мама умерла!» — молнией пронзил меня страх. Нет, вот она идет по дороге к кладбищу. В руках букетик сухих васильков и свечи. «Мама, я не умер еще, — хотел я крикнуть. — Я не хочу больше ждать своей смерти!» Я попытался броситься вслед за ней, но кто-то крепко держал меня за руку и не давал сдвинуться с места.

Я открыл глаза. Лоб был в холодной испарине.

— Ситаруле!.. Ионикэ! Эй, Ионикэ! — тряс меня кто-то. Надо мною, опираясь на локоть, склонился Пынзару. Я хотел заговорить с ним, но он закрыл мне ладонью рот, указав другой рукой в сторону, откуда слышалось сонное дыхание остальных бойцов. Я разглядел в темноте его сдвинутые брови, потемневшие глаза, землистое лицо.

Несколько мгновений он молча прислушивался.

— Ионикэ, — прошептал он затем почти в самое ухо. — Что мне сказать дома, твоим?

Я еще не совсем очнулся от сна и не сразу сообразил, что ответить.

— Ага, — насмешливо пробормотал я, — забыл доложить, что от Антонеску прибыл специальный приказ для тебя...

Пынзару метнул сердитый взгляд и надулся — он не ожидал, очевидно, что я встречу его слова насмешкой. В тишине я явственно слышал его торопливое, прерывистое дыхание, чувствовал, как дрожит рука, сжимавшая мою. Близко прогремел выстрел. Стреляли по немцам. Пынзару вздрогнул и, словно оторвавшись от мыслей, произнес решительно сквозь стиснутые зубы:

— Я убегу, Ионикэ. Сегодня же ночью убегу!

И он привстал на одно колено. Я бросился на него и опрокинул навзничь. Я должен был его обуздать, смирить. Но он вывернулся, и я очутился под ним. Мы молча боролись, и мне снова удалось прижать его к земле.

— Ты что, с ума сошел, что ли? — прошипел я, насмерть перепуганный тем, что он собирался сделать.

— Убегу, — простонал он. — С меня хватит!

Я попытался запугать его, напомнив об участи одного из наших трех батальонов, который всего два дня назад был целиком предан военно-полевому суду.

— Они дураки, — отрезал Пынзару.

Я решил не выпускать Пынзару — пусть окончательно выбьется из сил. Однако он не успокоился, пока я не свел его на наш сторожевой пост, чтобы он собственными ушами услышал скрытное передвижение советских войск. Сейчас, когда тишина ночи стала еще глубже, этот рокот напоминал нескончаемый плеск волн, все нарастающий, предвещающий бурю.

— Слышишь! Уж не долго... — шепотом заверил я его. Но в душе я признавал, что Пынзару был прав.

«Да, — говорил я себе, — единственное спасение — бегство. Не то нас захлестнет атака русских, и мы погибли. Ради чего? Ради кого? Но если бежать, то куда? Тогда мы бежали семнадцать дней и семнадцать ночей, и вот ураган огня и железа нас снова настиг. А сейчас? Всего одна ночь отделяет нас от Дуная! А дальше куда? Что делать дальше?»

Мы вернулись в поле почти на рассвете. Я тотчас же заснул, измученный переживаниями этой тревожной ночи.

Не знаю, сколько времени я спал; разбудил меня гул самолета. Я сразу вскочил. Совсем рассвело. Ночная синева неба сохранилась лишь у горизонта. Из долины веял легкий, прохладный ветерок, пробегая по верхушкам кукурузных стеблей. Глубокая тишина царила и на наших и на русских позициях. Только в вышине просветлевшего неба виднелся крошечный серебряный силуэт самолета. Железная птица покружила некоторое время над немецкими окопами, затем скрылась в тылу. Вскоре она появилась вновь, сверкая на солнце, никем не тревожимая. По шуму я узнал советский самолет. «Разведчик», — сказал я сам себе. Сразу же я вспомнил ночной гул на стороне русских. Наши опасения подтверждались.

И следующие дни непрерывно продолжалось таинственное движение на советском фронте. Оно совершалось скрытно, в окопах, в чаще кустарников. Траншеи на противоположной гряде холмов казались брошенными. Только в одну из них около полудня спустился какой-то связист. Его обстреляли немцы. И больше никого. Все пространство фронта, замкнутое высокими холмами, словно уснуло, разморенное жарой. Солнце весь день немилосердно жгло. Закат потонул в крови. Гигантские огненные свечи окрасили пурпуром часть горизонта за горами. В этот вечер советский разведчик вновь появился над нашими позициями. Он летел, приветственно покачивая крыльями. Сделал широкий разворот, затем взял круто вниз и, свистя, пронесся по прямой над нашими окопами, оставляя позади бесконечно длинный, развевающийся хвост из маленьких белых бумажек. Белые листочки величиной с ладонь трепыхались в воздухе, как стая резвящихся голубей.

Мы стояли и следили за ними глазами. Долго пришлось ждать, пока белая колышущаяся лента не коснулась земли. Несколько листочков упало и на наше поле. Пынзару первому удалось поймать такую бумажку, и мы все сгрудились вокруг него. Он вертел ее в руках, а мы смотрели и недоумевали. Это не было обычным воззванием, которые мы привыкли получать от русских. В бумажке ничего не говорилось ни о немцах, ни об Антонеску, ни о несправедливости в нашей стране, ни о войне. Не увидели мы и привычных слов наверху, которые всегда набирались крупным жирным шрифтом и подчеркивались черной чертой: «Прочти и передай другому». Белый листок предназначался не для этого. На нем было написано всего несколько слов: «Пропуск для свободного перехода». Под ними коротенькое примечание, набранное крохотными плотными буковками: «С этим пропуском вы сможете без опасения перейти через линию советского фронта. Он вам гарантирует жизнь и свободу». И все.

Кровь горячей волной прихлынула к моему лицу, вдоль спины медленно потекла струйка холодного пота. Мы окончательно убедились, что находимся накануне большого сражения.

Мгновенно мы рассыпались по всему полю в поисках белых бумажек.

— Кто знает, господин сержант, — шепнул мне Чиоча, — быть может, они нам понадобятся.

Но как раз ему и не удалось раздобыть заветного листочка — когда он заметил белевшую на земле бумажку, Нана опередил его. Позже нашли по одному листку я и Кэлин Александру. Жерка Константин не отошел от пулемета, он смеялся над нами: ему не нужна была эта бумажонка — он в нее не верил. Но Чиоча нам порядком надоел. Весь вечер он что-то бормотал, то сердито, то жалобно, пока наконец Кэлин Александру не оторвал для него половины своего листка.

Собравшись опять вместе, мы по обыкновению растянулись среди кукурузных кочек. Листовки мы тщательно запрятали в нагрудные кар-

маны. Их шелест, раздававшийся всякий раз, когда кто-нибудь нащупывал бумажку, вызывал одни и те же мысли... Время от времени то один, то другой боец подымался и шел к самому краю поля. Несколько мгновений он стоял неподвижно, долго и пытливо всматриваясь в темноту, охваченный одновременно решимостью и сомнением, страхом и надеждой.

Наши размышления были внезапно прерваны новой яростной бомбардировкой немцев. Словно взбесившись, тысячи пушек обрушили свой ураганный огонь на позиции русских. Это был ответ немецкого командования на сброшенные листовки. Но маленькие белые бумажки оказали на нас во сто крат более сильное воздействие, чем самая мощная из бомбардировок. Они вызвали переворот в наших душах, которого мы и страшились и страстно желали, еще не умея разобраться в происходящем.

После ужина я собрал фляги, как всегда нанизал их на ремень и передал Чиоче, чтобы он принес воды. Затем я, Нана, Пынзару и Кэлин Александру по обыкновению улеглись среди кукурузы. Жерка, спрятавшись за пулеметом, следил за ложбинкой, сплошь заросшей густым кустарником. Снова нами овладели тревожные думы. Спустя некоторое время до меня вдруг донесся шелест бумаги, и я разглядел, как Нана тихонько разглаживал листок у себя на груди, а потом пристально всматривался в него, словно хотел удостовериться, что это именно тот листок, который он нашел в кукурузе. Затем он бережно сложил его вчетверо и сунул за пазуху. Больше не раздавалось ни звука. На поле снова установилась глубокая и настороженная тишина. По временам она мне внушала ужас. Я знал, что под ее покровом что-то совершается — что-то ускользавшее от нашего понимания. Я ощутил вдруг всю необъятность этой тишины. Она ширилась и росла, и мне казалось, что вот-вот я услышу далекий шелест звезд.

Видно было, что и Кэлин Александру не в силах был дольше выносить гнет этой тишины. Он вдруг запел, и его песня, взволнованная, овеянная грустью, едва слышимая, принесла облегчение нашим смятенным душам. Тоска по своим смягчила мое сердце и снова, как во сне, понесла меня к ним; я ясно различил тогда дыхание земли, смешанное с дыханием людей... Глубокий вздох Наны разрушил безмолвие, в которое погрузила нас песня Кэлин Александру.

— Будь проклята эта война! — как обычно, процедил он сквозь стиснутые зубы.

Как раз в этот момент появился перепуганный Чиоча. Он с разбегу остановился перед нами и, задыхаясь, выкрикнул:

— Немцы меня не подпустили, господин сержант!

Недоумевая, я привстал на одно колено.

— Как это не подпустили? Где фляги?

— Где? Они отняли их! — продолжал выкрикивать Чиоча. — Они выставили часовых... И своим выдают воду кувшинами.

— Тьфу! — рассвирепел Нана. — Мамалыга ты! Тряпка!

— Пусть он не привязывается ко мне, господин сержант, — обиженно сказал Чиоча.

— Так-то ты принес нам воду! — Нана схватил его за грудь и начал трясти. — Кровью должен был добыть ее... Зубами вырвать у них...

— Ну и вырывай сам, умник! — крикнул Чиоча.

— А что, думаешь, не вырву! — и Нана стал осыпать ругательствами немцев. — Уж не можем и воды напиться в этой стране!

Его вдруг охватило бешенство. Он орал как одержимый, метался и кружился на месте, словно запертый в клетку зверь. Затем схватил пистолет-автомат, гранаты и помчался через поле, продолжая выкрикивать ругательства.

Чиоча вцепился в мою руку.

— Не пускайте его, господин сержант. Он не вернется. — Но кто мог догнать или успокоить Нану? Мы продолжали неподвижно лежать, пока не затих медный шелест кукурузных листьев. Потревоженная тишина ночи восстановилась. Она стала еще глубже. Тихо было на поле, тихо было на переднем крае.

И тогда мы снова услышали таинственный непрерывный рокот со стороны советского фронта. Теперь для этого уже не было надобности спускаться в ложбинку. Мы его слышали и здесь, на краю поля. Приглушенный шум передвижения был сейчас слышен с любого места. Лихорадочное возбуждение, в котором пребывал я последние ночи, передалось всем. Гул моторов, хотя и был отдаленным и слабым, казалось звучал совсем рядом.

На краю поля и нашел нас Нана. В одной руке он держал пистолет-автомат, в другой — несколько немецких фляг в деревянных обшивках, связанных гроздью. По его тяжелому, прерывистому дыханию чувствовалось, что он поднимался в гору бегом. Двигался он торопливо, был задумчив, хмур и молчалив, как никогда. Протягивая Чиоче флягу, он вдруг пробурчал:

— Не следовало бы тебе давать...

Затем Нана послушал вместе с нами рокот советского фронта. Лицо его при этом просветлело, словно он грезил. Вскоре рокот начал затихать. Он напоминал теперь далекий плеск волн или шум удаляющейся бури. На фронтах снова воцарились безмолвие и тьма.

— Полночь, — шепотом произнес Пынзару, бросив беспокойный взгляд на небо. — Быть может, на рассвете начнется...

Ему никто не ответил. Мы вернулись в кукурузу, а Нана спустился в ложбинку сменить, как обычно, Жерку.

Я задремал. Сквозь сон я слышал, как Нана выстукивал на своем пулемете плясовую. И на этот раз немецкие пулеметы открыли яростный и беспорядочный огонь. И я понял вдруг, что немцев выводит из себя упорное молчание русских, что они больше не в силах его выносить. Они готовы выпускать в воздух сотни, тысячи снарядов, лишь бы добиться ответного выстрела хотя бы одной советской винтовки. Но и на этот раз ночная тьма, скрывающая позиции русских, не вспыхнула ни единой искоркой.

Я снова задремал под оглушительный грохот немецких орудий. Разбудил меня резкий шелест кукурузы. Испуганно прислушиваясь, я скоро различил легкие, крадущиеся шаги. В первое мгновение мне показалось, что сквозь кукурузу крадутся сотни людей.

«Началось! — мелькнула мысль. — Русские!»

Схватив пистолет-автомат, всегда лежавший рядом, я разбудил бойцов, и мы гуськом поползли к краю поля. Мы еще находились во власти сна и тех тревожных мыслей, с которыми заснули, но скоро обнаружили, что шелест доносился к нам только с одной стороны и что идущих немного. Я ждал со взведенным курком. Подпустив идущих на расстояние семи-восьми шагов, я убедился, что их только двое: наш командир взвода — старший сержант, бывший студент — и его связной. Я вскочил и, приложив руку к каске, шепотом начал рапорт. Взводный прервал меня недовольным жестом и подсел к нам. Задал один-другой вопрос, спросил о ночном передвижении русских, о котором уже знал, а затем попросил напиться. Пынзару протянул ему одну из немецких фляг, принесенных Наной. Он поднес было ее к губам, но внезапно остановился и стал рассматривать при слабом свете звезд. Долго разглядывал флягу, потом напился и спросил:

— Откуда у вас эти фляги?

— Фляги принес капрал Нана, — ответил я. — Не знаю, где он их раздобыл.

Я предостерегающе взглянул на бойцов, чтобы кто-нибудь не вздумал осрамить нас, сообщив командиру про случай с Чиочей. Взводный снова отпил воды, взглянул еще раз на флягу и вернул ее Пынзару. Меня смущало его молчание, и я посмотрел ему прямо в глаза, пытаясь разгадать его мысли.

— Значит, Нана принес воду, — пробормотал он, ни к кому не обращаясь.

— Нана, — неуверенно подтвердил я.

Больше мы об этом не говорили. Взводный протянул нам пачку сигарет, каждый взял по одной. Затем он дал всем по очереди прикурить, при свете спички внимательно вглядываясь каждому в лицо. Я понял, что взводный пришел неспроста, хотя он и старался не показать этого. Он закурил вместе с нами. Уходя, он взял меня за локоть и повел на край поля. Связного взводный послал вперед, а меня попросил сесть и опустился рядом. Снова достал пачку сигарет, и мы закурили. Он стал подробно расспрашивать, откуда я родом, кто мои родители, сколько у нас земли, с каких пор я на фронте. Его вопросы почти рассеяли мои подозрения. Я знал, что он на фронте недавно, естественно, что ему нужно было познакомиться со своими солдатами, выяснить, на кого можно положиться. Но когда он снова заговорил о Нане, у меня было ощущение, будто капля холодной воды попала мне на спину и медленно потекла вдоль позвоночника.

— Нана вам ничего не сказал? — спросил он, пристально глядя мне в глаза.

— Ничего,— пробормотал я.

Он сделал последнюю затяжку, воткнул окурок в землю, медленно, в несколько приемов выпустил дым, словно испытывал мое терпение.

— Он стрелял в немцев,— сказал он холодно, все еще пристально глядя на меня.— Убрал от колодца всех, кто там был.— И добавил раздельно: — Убил семерых!

Я вздрогнул, как будто знал, что он мне скажет именно это. По тону, каким он произнес «убрал от колодца всех», я понял, что он не осуждает Нану. В случившемся я не сомневался ни на мгновение. Я знал, что Нана способен был на убийство, а немцев ненавидел в особенности.

— Он это сделал,— убежденно закончил взводный,— чтобы никто из них больше не смог подойти к колодцу.

— И хорошо сделал! — вырвалось у меня.

Взводный продолжал сидеть неподвижно, испытующе глядя на меня. Видно, он хотел знать, что я обо всем этом думаю; мне казалось, что в могильной тишине фронтовой ночи слышно движение его мыслей.

— Вам нужно подумать,— произнес он шепотом, все так же пристально глядя на меня. — Завтра утром в батальон прибудет военный прокурор производить следствие...

Я сразу понял, чего хочет взводный: мне надо было подумать, как спасти Нану. Кровь горячей волной прихлынула к сердцу. Взводный в эту минуту стал для меня самым близким человеком на свете. Мне хотелось броситься к нему, обнять... Горячие, неудержимые слезы хлынули из глаз. Я долго вытирал их рукавом кителя. Когда я поднял голову, тень взводного почти растворилась в темноте. Непроизвольно я сделал несколько шагов вслед за ним. Услышав шум, взводный остановился и поманил меня рукой.

— Я ничего не знаю,— предупредил он, приложив палец к губам. Затем тихо добавил как бы про себя: — Впрочем, так или иначе вся эта рухлядь будет сметена. Скорей бы!

Его слова ошеломили меня. Я уже не думал об убитых немцах, о Нане и нашей судьбе, я думал только о словах взводного. Вдруг меня охватила безудержная радость.

На поле я вернулся в полном смятении, но вскоре пришел в себя. Все яснее вырисовывался передо мной облик нашего командира. Я и раньше слышал, как хвалили его солдаты за то, что он всегда держал их сторону. Но я не придавал этому значения.

«Напрасно пришел он к нам на фронт с такими идеями», — подумал я. Но, по совести говоря, я был рад, что именно он — наш командир.

Бойцы сидели тесным кружком. Я молча опустился рядом и тут только обнаружил, что у меня осталась пачка сигарет взводного. Я пустил ее по кругу. Каждый из бойцов взял по сигарете, и мы все закурили. Курение меня несколько успокоило. Но что мне делать с Наной — эта мысль меня не покидала. Я ни с кем не мог поделиться своей тревогой. Мне нужно было решать самому. Пока я всесторонне обдумывал этот вопрос, перед моими глазами вдруг предстала страшная картина. Нана перед карательным отрядом... Босой, без кителя, в распахнутой на груди рубашке, с взлохмаченной головой. На глазах белая повязка, руки за спиной связаны ремешком. Его пытаются поставить на колени. Но он вырывается, освобождает руки, срывает с глаз повязку и стоит перед карательным отрядом с гордо вскинутой головой и открытой грудью... Позади отряда — стена из серых немецких мундиров, сотни, тысячи темных стальных квадратных касок, из-под козырьков которых поблескивают сотни, тысячи жестоких глаз.

— Жерка! — крикнул я, забывая о всякой осторожности, дрожа как в лихорадке. — Беги! Пошли ко мне Нану, замени его у пулемета.

Жерка кинулся к ложбинке, и его мгновенно поглотила тьма. Я вышел на край поля, мне нужно было поговорить с Наной с глазу на глаз. «Есть только одно спасение для него — бегство,— думал я.— Схорониться пока что в кукурузе или перебраться этой ночью через фронт и бежать в горы. Иного спасения нет». Но я знал, как упрям Нана. Захочет ли он прятаться? Не взбредет ли ему в голову пойти напролом, встретиться лицом к лицу с гитлеровцами? Снова передо мною предстала мучительная и страшная картина — карательный отряд и Нана перед ним, с гордо вскинутой головой...

От ложбинки отделилась тень — какой-то человек быстро вскарабкался по склону и побежал через поле. Я сделал несколько шагов ему навстречу и тихо позвал:

— Нана! Нана! Сюда!

Но это был не Нана. Это был насмерть перепуганный Жерка Константин. Он все время оглядывался, как будто его кто-то преследовал.

— Нана сбежал, господин сержант! — крикнул он задыхаясь.— Бежал к русским.

Сообщение Жерки поразило меня, как громом. Когда мы оба пришли в себя, наши глаза невольно обратились в сторону советского фронта. Там, за этой непроницаемой тьмой, скрылся Нана, скрылся навсегда. Да, он выбрал другой, более верный путь к спасению, путь, о котором я не осмелился даже думать.

Я приказал Жерке притащить пулемет на край поля, где находилась наша боевая позиция, и расположил бойцов в укрытиях вокруг него. Всю ночь мы пристально всматривались в темноту и настороженно прислушивались. Бегство Наны явилось для всех неожиданностью, никто не знал, что он «убрал» от колодца немцев. Один только Жерка время от времени ворчал, выражая вслух свое осуждение. Остальные молчали. Это было самым красноречивым свидетельством того, что в глубине души они радуются за Нану.

А Чиоча, который не очень-то соображал, что он говорит, прямо выразил свое восхищение, воскликнув:

— Молодец Нана!

— Там было написано,— осмелился высказаться и Кэлин Александру,— что тому, кто добровольно перейдет через фронт, ничто не угрожает.

— И остальным ничто не угрожает,— вскочил вдруг Пынзару.— Мне это сказал один, который вернулся оттуда.

— Ему это сказал один! — злобно расхохотавшись, передразнил его Жерка.— Как будто ты не знаешь большевиков! Они с тебя шкуру сдерут живьем!

На мгновение все растерянно замолчали.

— Глупости! — вдруг отрезал Чиоча.— Офицерская брехня. Разве у них нет бога?

Ему никто не ответил. Нас одолевали сомнения. Немного погодя робко, словно боясь нарушить наше молчание, Кэлин снова задал вопрос Пынзару:

— А что рассказал тот? Как он спасся? Бежал?

— Нет,— возразил Пынзару.— Зачем бежать? Они его отпустили. Слушайте,— и с этими словами Пынзару вылез из укрытия и подполз к пулемету.— Вот как это было. Тот попал в плен вместе с другими во время нашей атаки. Сутки их продержали на каком-то вокзале в тылу. А когда стали грузить в вагон для отправки в лагеря, Бицэ, так звали того, вышел из шеренги, упал к ногам советского офицера и стал охать, что у него дети, целых пятеро, и все мал мала меньше, что, если он умрет, умрут и они... что он бедняк, безземельный... Он разжалобил советского офицера, и тот велел ему отойти в сторону и не отправил в лагерь... Несколько дней спустя офицер вызвал к себе Бицэ, усадил за стол, угостил честь честью: водкой, хлебом, ветчиной, сигаретами. Понимаете — пленного!.. Затем стал его расспрашивать про то про се... Про хозяйство и детей, про землю, словом про жизнь. Про фронт — ни словечка. «Напрасно вы хотите вернуться,— сказал он между прочим.— Все равно немцев мы разобьем, зачем же вам умирать зря? Или вы хотите отдать свою жизнь за немцев?..» — «Ну нет,— признался Бицэ, потому что там ему некого было бояться.— Моя бы воля, зубами их разорвал!..» — «Вот видите, так зачем же вы тогда идете? — снова спросил его офицер.— Разве вам не надоела война?» Бицэ сжал голову руками и ничего не ответил. «Здесь ваша жизнь в безопасности...»,— продолжал офицер. «Какая жизнь? — пробормотал Бицэ.— Уж это оставьте, я ведь знаю...» — «Что вы знаете?»,— ласково спросил офицер. Бицэ молчал, он боялся сказать, что остальных пленных всех увезли, чтобы прикончить. Но в конце концов ему пришлось это выложить. «Ага, вот оно что»,— сказал офицер и задумался. Бицэ сидел ни жив ни мертв, а офицер все молчал и курил папиросу за папиросой. Лицо его все темнело и темнело, пока не стало, как земля. Затем он встал и медленно, тяжело ступая, обошел стол. У Бицэ душа оледенела от страха. Но офицер дружески положил ему руку на плечо и спросил: «А вы знаете кого-нибудь из военнопленных, которые тогда уехали?» — «Как не знать! — вскочил Бицэ, немного успокоенный.— Еще бы, ведь всю нашу роту взяли в плен».— «Ах так, — сказал довольный офицер. — Хорошо, хорошо! — И он открыл дверь и позвал бойца. — Вы возьмете товарища Бицэ, — приказал он (Слышите, «товарища»,— таинственным шепотом подчеркнул Пынзару), — товарища Бицэ и отвезете его в такой-то лагерь. Останетесь там дня на три, а потом вернетесь. Догóните нас после». И он тут же написал приказ и велел им готовиться в путь.

Пынзару неожиданно прервал свой рассказ и припал к земле. Не

знаю, что померещилось немцам, потому что даже ветерок не шелохнулся этой ночью, но они вдруг снова открыли ураганный огонь. Мы моментально рассыпались по своим укрытиям и стали зорко всматриваться в темноту. Земля, казалось, сотрясалась до самого основания. Воздух ревел так устрашающе, что нас била лихорадка. Тьму разрывали огненные взрывы. За какие-нибудь мгновения тысячи и тысячи снарядов обрушились на русские позиции. И вдруг бомбардировка стихла так же внезапно, как и началась. Тишина и тьма стали как будто еще глубже, еще непроницаемей.

— Испытывают пушки,— пробормотал Жерка.— Стреляют по ориентиру.

— Как бы не так,— возразил Кэлин Александру.— Трусят. Испытывают русских. А ну, Пынзару, давай дальше!

Пынзару приподнялся на локте и продолжал:

— Через неделю Бицэ вернулся в сопровождении того же вестового. Снова встретился с офицером. «Ну как, товарищ Бицэ?» — спросил тот. Бицэ ничего не оставалось, как признаться, что все россказни об убийстве пленных — ложь, потому что он в лагере всех своих ребят нашел живехонькими. «Ну, товарищ Бицэ,— снова спросил офицер,— и сейчас еще хотите уехать?» Бицэ стало стыдно, и он не ответил сразу. А затем стал беспомощно лопотать: «Видите ли, господин офицер, я беспокоюсь о своих... я так по ним соскучился...» — «Значит, вы все же хотите ехать,— понял офицер.— Хорошо.— И он снова позвал того же бойца.— Ночью,— приказал он ему,— вы возьмете товарища Бицэ и переведете через линию фронта, проведете по ту сторону наших позиций и отпустите».

— Да что ты говоришь! — вырвалось у Чиочи, от удивления у него перехватило дыхание.

— Врешь ты все! — набросился на Пынзару Жерка.

— Лопни мои глаза, если вру,— заверил тот шепотом.— Так оно было на самом деле. Да, еще! Перед уходом офицер подал Бицэ руку и сказал на прощание: «До свидания, товарищ Бицэ! Быть может, и встретимся после войны».— «Да услышит вас господь,— сказал Бицэ.— Я был бы рад принять вас у себя дома в качестве гостя, господин офицер...» В ту же ночь Бицэ появился перед нашими окопами с поднятыми руками. Когда наши его увидели, они перекрестились, как будто он вернулся с того света. Офицерам он наврал, что бежал из лагеря. Но солдатам рассказал всю правду. Несколько дней спустя он бежал в леса... А солдаты его нового взвода перешли к русским.

Шепот Пынзару стих, поглощенный мертвой тишиной ночи. Мы сидели не шелохнувшись. Но внутри нас свершался переворот, глубоко нас потрясший. Темнота над русскими позициями уже не казалась нам такой таинственной и непроницаемой. Все мы смотрели туда с надеждой, смутной, трепетной, все еще тревожной.

— Черт бы его побрал! — пробурчал Чиоча. — И почему он, дурак, вернулся!

Больше никто не проронил ни слова. Ближе к рассвету мы отошли в глубь поля. Нас страшили теперь не русские пули, нас страшило крушение, происшедшее в наших душах.

Весь следующий день мы протомились, как заключенные. Нам всем было ясно, что есть глубокая связь между бегством Наны и рассказом Пынзару. Мы догадывались, в чем заключается эта связь; догадки нас больше не пугали. Мы исподволь подходили к новой правде нашей судьбы и судьбы фронтов. Нас поразил мощный свет этой правды, мы в нее сразу уверовали. Но что-то нас все еще удерживало, что-то мешало покинуть наши ямы и бежать. Нужен был последний толчок, который сдвинул бы нас с места и бросил к русским. До появления этого указующего перста над нами все еще продолжал тяготеть страх военно-полевого суда.

Я вспомнил о военном прокуроре, который должен был вот-вот прибыть для производства расследования по делу об убийстве немцев Наной. Весь день я прислушивался, не раздастся ли за моей спиной шелест. Но никто не пришел. К вечеру я сам решил отправиться к взводному сообщить о бегстве Наны и спросить, что мне делать. Но я не дошел до командного пункта. От солдат нашего батальона, которые находились по ту сторону кукурузного поля, я узнал, что взводного на рассвете вызвал к себе прокурор и что он еще не вернулся... Это известие встревожило меня еще более, чем бегство Наны и рассказ Пынзару. Я был убежден, что взводный предан военно-полевому суду... Я вспомнил слова, которые сказал он мне тогда шепотом на краю поля: «Вам надо подумать». Конечно, они означали: «Нельзя дольше медлить, надо действовать!»

Я вернулся в поле, так и не сообщив никому о бегстве Наны. В этом теперь и не было надобности. У меня созрело решение, хотя оно еще продолжало внушать мне ужас. Я решил перейти ночью со своими бойцами через линию фронта к русским. Я никому не сообщил о своем намерении. Напротив, все должно было идти своим чередом. Чиоча и сегодня пек кукурузу, а Кэлин Александру отправился в роту за водой — после происшествия у колодца нам стали по вечерам привозить ее в бочке прямо на передовую. Я дождался и ужина. Мы все плотно поели, препираясь из-за пустяков. После ужина я заставил Кэлин Александру спеть нам одну из своих песен про любовь и печаль. Вспомнили мы опять своих близких, свою жизнь, и снова охватило нас отвращение к войне. Все это еще раз убедило меня, что решение, принятое мною, правильно.

Ближе к полуночи я приказал перетащить пулемет на прежнее место, у входа в ложбинку.

— Отсюда лучше вести наблюдение, — пояснил я солдатам. Но себе самому сказал: «Надо быть ближе к ним. Как можно ближе...»

К нашему удивлению, ночь проходила спокойно, устрашающе спокойно. Не слышно было более привычного рокота, звучавшего для нас последние ночи как призыв. Над долинами и холмами, над погруженными в темноту окопами царила первозданная тишина. Она была так глубока и всеобъемлюща, что казалось, вот-вот мы услышим дыхание всех этих сотен тысяч людей, притаившихся, подстерегающих друг друга. Напряжение, казалось, разлито было и в воздухе, оно ощущалось в самом неуловимом движении времени... Словно боясь нарушить эту тишину, никто из нас не проронил ни звука. Какая-то ночная птица пролетела над долиной, шелест ее крыльев прозвучал зловеще, предостерегающе.

— Господин сержант, — шепнул мне Жерка. — Мне страшно!

Я подполз к нему и нащупал в темноте его дрожащую руку.

— Почему тебе страшно? — спросил я.

— Черт его знает почему,— ответил он нервно.— Никогда в жизни не было мне так страшно.

Я продолжал молча гладить его руку. На наш шепот подползли и остальные бойцы. Тесной кучкой сгрудились мы позади пулемета. Я чувствовал, что каждый ищет поддержки и близости другого. Так просидели мы около часа. Приближался рассвет. По опыту своей многолетней фронтовой жизни я знал, что это наиболее благоприятное время для перехода через линию фронта. И я знал также, что такие решения нужно выполнять немедленно... Я изо всех сил сжал руку Жерки и сказал ему шепотом, но так чтобы слышали все остальные:

— Мы решили бежать к русским.

Он вздрогнул, но я, не давая ему времени опомниться, продолжал:

— Что ты намерен делать? Пойдешь с нами или останешься здесь?

Жерка оглянулся и испытующе посмотрел на остальных. Он не подозревал, что и для них мой вопрос был таким же неожиданным. Молчание

бойцов усилило его смятение. А когда он увидел, что Чиоча и Пынзару схватили винтовки и привстали на одно колено, то бессильно прошептал:

— Пойду...

Мы поползли гуськом вниз по ложбинке, с трудом пробираясь сквозь густой кустарник. На переднем крае по-прежнему царила тишина. Впереди и позади нас была тьма, угрожающая, непроницаемая. Спустя несколько минут мы вступили на «ничейную» землю. Казалось, мы были единственными живыми существами в этой пустыне. Мы ползли осторожно по мокрой от росы траве.

Добравшись до долины. мы сделали остановку. Локти и колени болели. Но нам нельзя было терять времени — темнота уже начинала редеть, вот-вот должен был наступить рассвет... Мы подошли к подножию холмов по ту сторону долины и стали подбираться к окопам русских. Но едва успели мы сделать несколько шагов, как воздух взревел от грохота бесчисленных орудий. В то же мгновение на холм, который мы только что покинули, и на соседний, где стояли немцы, обрушился шквал огня и железа. Земля сотрясалась от взрывов. Стало светло как днем. Тысячи и тысячи снарядов из пушек, минометов, «катюш» проносились над нашими головами. Затем вступили пулеметы, завесою пуль скрывшие от наших глаз немецкие окопы. Потом мы услышали гул моторов и лязг приближающихся гусениц. Похолодев, мы всем телом прижались к земле, боясь дышать, боясь думать.

Вскоре, словно сквозь сон, мы услышали громовое, продолжительное, бесконечное «ура!».

Мимо нас прошла советская пехота — первая, вторая, третья цепь... За ними двигались танки с красными звездами на башнях, могучие, всесокрушающие... Все шли и шли новые, нескончаемые ряды советских бойцов. Но ни у кого из них не было времени для нас. Мы остались позади, перепуганные, толком не понимающие, что, в сущности, произошло. Мы чувствовали, словно нас медленно втягивало в себя бесконечное пространство. К охватившему нас изумлению все еще примешивались страх и надежда.

Людвик Ашкенази

АЗБУКА

Перевод с чешского Р. Разумовой

Перед местным Национальным комитетом в Кленове цвела сирень. Окно было распахнуто настежь, апрельский воздух благоухал. Секретарь комитета расстегнул воротничок, ослабил узел галстука, по его лицу пробегали солнечные блики, и он, преисполненный ведомственного достоинства и сознания важности своей миссии, солидно обмакивал перо в чернильницу.

Я ожидал автобуса, так как все свои дела в Кленове закончил. Сидел я тихо, и секретарь терпеливо сносил мое присутствие. Когда он зевал, я зевал тоже.

Автобуса все не было, но зато приехал на велосипеде почтальон и бросил нам в окно пачку газет.

Здесь начинается наша история.

Вся история началась с того, что я взял в руки номер московской «Правды» и стал его просматривать. На последней странице были сообщения о выступлении Громыко в Париже, о правительственном кризисе в Иране, о том, что двадцатая партия турнира на первенство мира по шахматам между Ботвинником и Бронштейном кончилась вничью. Внутри была статья, озаглавленная: «Жизнь торжествует».

Автор был из Таджикистана, звали его Мирзо Турсун-заде.

Статья заканчивалась словами: «Этой весной дети посадили вокруг Сталинабада много цветов. И наш мирный сад будет цвести как символ всепобеждающей жизни».

На первой странице был снимок Московского государственного университета на Ленинских горах.

Передовая называлась: «К новым победам коммунизма». Мне осталось прочесть только адрес подписчика:

«Крестьянка Тереза Коваржикова. Кленов на Мораве, Чехословакия».

Раздался стук в дверь, и вошла старая женщина.

— Прибыла? — спросила она.

— Да, прибыла, — ответил секретарь местного Национального комитета и торжественно протянул ей московскую «Правду».

После ухода старушки он долго гладил подбородок и задумчиво выпячивал губы. А потом, чуть склонив голову набок, произнес:

— Жизнь, товарищ... Что такое жизнь? Жизнь — это такая штука...

Он порылся в шкафу и вытащил оттуда довольно объемистую и порядком запыленную книгу.

На синем переплете книги была наклейка в красной рамке с каллиграфической надписью:

«Протоколы заседаний местного Национального комитета в Кленове».

И под этим: «1945 год».

Секретарь перевернул несколько страниц, они уже слегка пожелтели — кто бы подумал, что время идет так быстро! — и, отчеркнув что-то пальцем на странице восьмой, сказал:

— Прочтите вот это!

Протокол гласил:

«20 июля 1945 года в местный Национальный комитет в Кленове явился гвардии старшина Тимофей Аркадьевич Петров и от своего имени попросил, чтобы пенсионерку Терезу Коваржикову пожизненно подписали на газету «Правда», издаваемую в Москве Центральным Комитетом Коммунистической партии большевиков (по сообщению старшины Т. А. Петрова).

Национальный комитет предложил старшине Петрову объяснить причину столь странной просьбы, причем казначей Томеш (народный социалист) подчеркнул, что хотя расходы по подписке на газету «Правда» невелики, но они не предусмотрены ни одной из статей бюджета местного Национального комитета в Кленове, так что просьба старшины Т. А. Петрова практически невыполнима. Председатель местного Национального комитета Беранек (КПЧ) заявил, что старшина Петров принимал участие в освобождении Кленова и потому Национальный комитет обязан выполнить его столь небольшую просьбу. Член комитета Томеш ответил, что умывает руки и не желает иметь ничего общего с этим делом, так как не хочет окончить свои дни в тюрьме. К этому он добавил, что хотя Тереза Коваржикова получает после своего покойного мужа всего 700 крон пенсии в месяц, но она имеет собственную козу, молоко которой продает, и доход от этой продажи могла бы использовать для подписки на газету «Правда», если этого действительно серьезно хочет. Старшина Петров предложил внести вперед нужную сумму, но председатель Национального комитета отклонил это предложение: «Ты наш брат, товарищ и освободитель, для тебя нам не жаль не то что денег, но даже жизни». Потом он поставил предложение Т. А. Петрова на голосование, и оно было принято единогласно».

На этом протокол заканчивался.

— Вы присутствовали на заседании? — спросил я секретаря.

— Нет, в то время я еще не жил в Кленове.

— А Терезу Коваржикову вы знаете?

— Она только что была здесь.

Такое странное дело: «20 июля 1945 года в местный Национальный комитет в Кленове явился гвардии старшина Тимофей Аркадьевич Петров...»

Секретарь местного Национального комитета не был в курсе дела.

— Право, не знаю,— сказал он,— я в то время в Кленове не жил.— И добавил: — Тереза Коваржикова живет в доме № 127, это третий дом от дома священника. Там растут анютины глазки. Вы ее наверняка застанете дома, она уже стара и целыми днями сидит на лавочке перед своим палисадником. И целыми днями читает.

— «Правду»?

— Может быть, и «Правду», — сказал секретарь, нюхая сирень, стоявшую в вазе, которая была внесена в инвентарный список местного Национального комитета под порядковым номером двенадцать как фаян-

совая посудина для цветов как живых, так и искусственных. Ибо и должностные лица подвержены весенним томлениям.

— Там растут анютины глазки, — крикнул секретарь мне вслед, подставляя лицо весеннему ветру.

Тереза Коваржикова действительно сидела на лавочке, анютины глазки и вправду цвели, а из открытых окон дома священника, вытесняя весенние ароматы, долетал запах жареного лука, которым наслаждался кленовский священник. Тереза Коваржикова повела меня в комнату. Комнатка была тесная и не очень светлая. Когда мои глаза после весеннего солнца привыкли к полумраку, я смог заняться подробным осмотром жилища Терезы Коваржиковой, что было занятием столь же простым, сколь поучительным. В комнате стояли стол, два стула, шкаф и книжная полочка. Против входа висел портрет Сталина. Сталин раскуривал трубку, и в солнечных лучах, проникавших через окно, казалось, что от трубки подымается голубой дымок. Слева от портрета Сталина висела фотография усатого мужчины в выцветшем мундире австрийских императорских войск. За фотографию были засунуты пожелтевший листок бумаги и увядшие анютины глазки. На листке было написано:

«Да хранит тебя бог, моя дорогая Тереза, да хранит он и нас в Перемышле. Венгерские гонведы дохнут от голода, потому что привыкли есть больше хлеба, чем мы. Но и у нас бурчит в животе, а уши болят от пушечной пальбы. Будь мне верна. Твой Томаш».

Анютины глазки были фиолетовые, и письмо из Перемышля розовело под ними, как вишневый цвет.

— Это мой муж, Томаш, — сказала Тереза Коваржикова. — Он погиб в первую мировую войну.

Справа от портрета Сталина висела фотография молодого красноармейца в залихватски сдвинутой фуражке, аккуратно заправленной гимнастерке и с выдвинутой вперед, как для танца, левой ногой в блестящем сапоге. Руки он чуть-чуть растопырил, грудь выпятил, и казалось, что он в самом деле сейчас притопнет, а из-под каблуков с подковками вылетят первые искры «барыни».

За этой фотографией тоже были анютины глазки, но уже голубые.

— А это Тимка, — пояснила Тереза Коваржикова. — Тимофей Аркадьевич.

Она улыбнулась.

Потом Тереза пошла за молоком, а я стал рассматривать ее книжную полочку. Там стояли только русские книги, большей частью детские сказки, а также «Тарас Бульба» Гоголя и стихи Некрасова. Последней в ряду была книга в яркой обложке, озаглавленная «Букварь».

Это был учебник для первого класса. На обложке нарисован Кремль, а внутри надпись, тоже на русском языке:

«Дарю милой старушке эту первую книжку ее библиотеки. Тимка».

Из букваря выпала фотография. Это снова был Тимка, с выбившимся на лоб буйным чубом и светлыми глазами, голубизну которых легко было себе представить; на этот раз в руках у него была зажигалка.

В книжке тоже лежал цветок. Белый с апельсиновым оттенком.

Потом мы с Терезой Коваржиковой пили холодное козье молоко. Назойливый запах из кухни священника перекочевал в его столовую, и к нам в окна лился сладкий апрельский воздух с привкусом аромата сирени и анютиных глазок, так что молоко пилось, как вино, а слова были радостными до слез.

— Кто это — Тимка? — спросил я Терезу Коваржикову.

Она на мгновение прикрыла глаза, словно хотела вызвать его образ, а потом ответила:

— Как бы это сказать... кто такой Тимка?

Мы помолчали, а потом Тереза Коваржикова стала рассказывать. Это был задушевный рассказ с длинными паузами и минутами задумчивости. Посреди рассказа она поднялась и принесла маленькую пачку писем. Они были написаны на грубой бумаге и тщательно сложены треугольником. Потом она снова поднялась, взяла с книжной полки букварь с Кремлем на обложке и тихо прочла надпись:

— «Милой старушке...»

История с Тимкой была вот какая.

В начале мая бурного 1945 года к Кленову приблизился фронт. Слышался гул орудий, занималось и гасло зарево, ночь озарялась таинственными вспышками. По шоссе мимо палисадника, где как раз расцветали анютины глазки, грохотали немецкие машины, переполненные молчаливыми тенями побежденных, и тьма вокруг дома Терезы Коваржиковой наполнилась страшной тревогой войны, запахом бензина и разноцветными черточками ракет — зеленых, желтых, красных, прорезавших мрак на перекрестках по пути бегства немцев.

Среди этого урагана стоял домик Терезы Коваржиковой.

Она лежала там одна, укрывшись с головой канифасовой периной, мокрые прядки волос прилипли к ее горячему, потному лбу. Все забыли о ней, только недалеко в хлевушке испуганно блеяла коза. Время от времени старушка, приподняв перину, открывала глаза, и когда в них проникали вспышки канонады, крестила свое до смерти перепуганное сердце.

Тереза Коваржикова совсем не была героиней.

И к тому же все забыли о ней.

Она не думала ни о прошлом, ни о будущем, только о своем страхе, о зареве, охватившем грохочущую ночь, и ей казалось, что она этого не переживет.

Потом совершенно обыденно скрипнула задвижка калитки, будто зашел сосед. Кто-то нажал ручку двери, слышно было, как с плаща стекает вода, как хлюпают ботинки в луже перед сенями. Кто-то, спокойно насвистывая незнакомую песенку, открыл дверь и, словно входя к себе домой, сказал:

— Здравствуйте!

Щелкнула зажигалка, и в ее мерцающем свете Тереза Коваржикова разглядела серую фигуру в широкой плащ-палатке и кусочек небритого подбородка.

Потом она потеряла сознание.

Тереза Коваржикова совсем не была героиней.

Когда она пришла в себя, на столе горела керосиновая лампа, на плите жарилось сало, а Тимка стоял перед нею с фляжкой в руке и, смущенно улыбаясь, спрашивал:

— Что, хозяйка, лучше?

— Не понимаю, — ответила Тереза.

— Все будет хорошо,— сказал Тимка.— Ты только не бойся, хозяйка. — И улыбнулся так, что сердце Терезы Коваржиковой растаяло.

— Ты русский? — спросила она.

— Русский.

Тогда Тереза Коваржикова приподнялась и поцеловала большую, загорелую руку Тимки.

Это было так неожиданно, что бывалый солдат, привыкший к внезапным атакам, не успел помешать ей. Он растерялся, отвернулся и что-то грубо проворчал. Но Тереза Коваржикова знала мужчин, и его грубость не обидела ее.

— Иди сюда,— позвала она, заметив, что рубашка у него на спине порвана.

Он подошел.

— Знаешь, что такое шкаф? — спросила она Тимку по-чешски.

— Не понимаю, — улыбнулся он.

— Там, — показала старушка,— открой ящик. Понимаешь, что такое ящик?

— Не понимаю.

— У меня там иголка и нитки, я зашью тебе рубашку.

— Я сам, — возразил Тимка и вытащил из кармана брюк серый мешочек. Порылся в нем и достал толстую иглу и моток черных ниток.

— Давай сюда, — строго сказала Тереза Коваржикова. — И не спорь.

Она тщательно починила зеленую гимнастерку, а Тимка свернул толстую папиросу и задумчиво смотрел на Терезу Коваржикову. До войны он был библиотекарем колхоза «Заря коммунизма» на Алтае и сейчас только заметил, как похожа Тереза Коваржикова на старушку Веру Львовну, их учительницу физики и географии. У нее была такая же строгая морщина на лбу, такой же вздернутый нос и такие же тронутые сединой волосы со светлыми прядями, по которым ясно видно, как у человека уходящая молодость встречается с наступающей старостью.

Потом он получил у Терезы законченную работу и серьезно поблагодарил:

— Спасибо, бабушка.

— Вовсе я не бабушка, — возразила Гереза, — мне всего пятьдесят пять лет.

И она показала Тимке пять раз по десять пальцев и еще один раз пять пальцев.

— Верно, — согласился Тимка. — Еще жить и жить.

Он сказал это по-русски, но Тереза Коваржикова поняла.

— Отвернись, — сказала она. — Я встану. И смотри, не вздумай оборачиваться.

Он накрылся плащом. Видно было, что эти двое договорятся друг с другом.

Потом они вместе пили чай, и Тимка ловко разрубил большой кусок сахару, который у него лежал в белом полотняном мешочке вместе с желтой жестяной банкой консервов и коричневым копченым салом. Тереза Коваржикова не пировала так, пожалуй, за всю свою жизнь. Откровенно говоря, она очень слабо сопротивлялась, когда Тимка налил в ее стакан немножко подозрительной жидкости из темной бутылки. Это был спирт, который жег, как огонь. Тереза так развеселилась, что пела Тимке о зеленых рощах, бывших ее радостью, и о вороных конях, скачущих галопом. И еще о розмарине и первоцвете, о гречавке и розах.

И под конец затянула:

— Моравия, Моравия, Моравия моя...

Тимка сидел и слушал. Он больше не доливал опустевший стаканчик Терезы Коваржиковой, потому что глаз у него был наметанный и он понимал, что можно и чего нельзя. А когда в окнах стал белеть майский рассвет, он расстелил на полу свою плащ-палатку — Терезе с трудом удалось хотя бы подсунуть ему под голову подушку — и сказал:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — пожелала ему Тереза Коваржикова.

Она долго стояла над Тимкой и прислушивалась к его ровному и глубокому дыханию.

Тереза погасила лампу, потому что уже светало, и вышла на порог. По шоссе шли автоматчики, запыленные, едва не падающие от усталости.

Проехали грузовики, замаскированные зелеными ветками. Где-то раздался звук гармошки, но его тут же отнесло ветром.

Потом проехал танк с красной звездой.

Поднялось солнце, раскрасневшееся и веселое. Тимка спал, как сурок.

Так началась дружба Терезы Коваржиковой и старшины войск связи Тимофея Аркадьевича Петрова.

Взвод связи, в котором служил Петров, расположился в Кленове и чинил поврежденные провода. Тимка окончательно поселился у Терезы Коваржиковой. Он появлялся и исчезал, как весенний ветер, старушка даже не могла досыта наговориться с ним. Им удавалось беседовать только по вечерам.

— А Москва большая? — спрашивала Тереза.

— О, — отвечал Тимка, — и не спрашивайте!

— А какие там люди?

— Обыкновенные.

— Не выдумывай,— возражала она.— Ты, что ж, обыкновенный?

— Я не из Москвы,— отшучивался Тимка.

Тереза смеялась:

— С тобой не договоришься, хитрец!

Она совершенно неожиданно меняла тему разговора и засыпала Тимку новыми вопросами.

— Ты веришь в бога? — спрашивала она.

— Нет.

— А во что ты веришь?

— В человека. Человек все может.

— И не стыдно тебе? — укоряла старушка.— Безбожник! — И снова спрашивала: — А кто, по-твоему, создал мир?

— Он всегда существовал.

Так до бесконечности. Тимка вел беседу осторожно и основательно, поэтому неудивительно, что у кленовского священника был с Тимкой дружеский разговор, в котором священник мимоходом упомянул об аде и других ужасах загробной жизни, так как Тереза Коваржикова вдруг перестала приносить деньги на панихиды по своему покойному мужу.

Связисты подсмеивались над Тимкой, говорили, что он растолстел и ходит выутюженный, как граф. Похлопывали его по плечу и говорили с оттенком зависти:

— Превосходная бабка!

Май благоухал, как букет цветов. Вечерами по мокрой траве кленовских лугов одиноко бродил со своей гармошкой Саша Корниенко, прозванный Кошкой, и далеко разносились звуки, полные степной тоски. Все было как в русской песне — цвела сирень, скрипела калитка и вздыхали девушки.

Тереза Коваржикова сидела на лавочке перед домом и поджидала Тимку.

Однажды он вернулся раньше обычного. Сел за стол и попросил:

— Тереза, зажгите свет. Я хочу почитать газету.

Она подровняла фитиль и хорошенько протерла стекло. Пускай лампа ему ярко светит.

— Что ты читаешь? — спросила она.

— Газету.

— Вашу?

— Нет, вашу. Она только что вышла. В Остраве... Чувствуете, как пахнет краска?

— А разве ты понимаешь по-нашему?

— Понять-то я бы понял, — вздохнул Тимка, — но читать... Черт ногу сломит в вашем алфавите. Ну, попробую...

Он принялся за первый номер остравской «Новой свободы». Но у него ничего не получалось, и он стал посматривать на Терезу.

— Тереза...

— Что, Тимка?

— Может, почитаете мне? Для вашего алфавита очки нужны. Сплошь черточки и крючочки. Просто интересно, как вы в этом разбираетесь. Идите сюда, Тереза. Ну, идите же!

Он положил перед ней газету, и она уставилась на нее испуганными глазами.

Это был один из тех моментов, которые кажутся обычными, но после них в жизни человека наступает перелом. В руках Тимки зашелестели газетные листы, потом он свернул мочку уха в трубочку, как это делывал его отец Аркадий Тимофеевич, и попросил:

— Только читайте медленно, чтобы я все понял.

Тереза покраснела до корней волос, и слюна, которую она проглотила, была полна горечи.

Она смотрела на газету, пыталась читать по слогам, запиналась, останавливалась. И совершенно не понимала того, что с таким трудом прочла. Очень уж давно посещала она одноклассную воскресную школу в захолустной деревушке.

— Плохо дело! — уныло вздохнула Тереза.— Слишком мало ходила я в школу. Мать батрачила у кулака, и для учения у меня не было времени. Все говорили: еще успеешь, научишься! Но чем дальше, тем меньше времени оставалось для школы.

Ей было очень стыдно.

Она поднялась из-за стола и отошла к плите. И там стояла, повернувшись к Тимке своей узкой спиной, низко склонив голову. Маленький узелок седых волос торчал у нее на затылке.

Тимка расстроился. Он ни о чем не расспрашивал, только молча сложил газету и закурил папиросу.

Лишь через некоторое время он грустно произнес:

— Такая культурная страна... Чехословакия... Гус, какой это был человек, уже в средние века...

И, печально покачивая головой, упомянул еще Сметану и Ярослава Гашека.

— Гус, Гус,— повторяла Тереза Коваржикова.

Вдруг по ее морщинистым щекам струйками потекли слезы. Она вспомнила, как муж, Томаш, учил ее подписываться. Но со временем эта наука испарилась из памяти, и она вместо подписи ставила крестики.

— Не плачьте, Тереза,— утешал Тимка,— зачем вы плачете... Не надо, нехорошо... Как маленькая девочка!

— Да я просто так,— улыбнулась Тереза сквозь слезы.— Просто так, Тимка. Ничего... Больше не буду...

Она растерянно вытирала руки передником. Тимка смотрел на седые пряди в ее волосах, на тяжелые, темные руки.

Он внезапно почувствовал прилив большой любви и большой силы. Он думал о том, сколько еще нужно изменить и переделать, как много любить и ненавидеть, как напряженно надо жить.

— Я научу вас читать,— сказал Тимка.— Куда же это годится — быть неграмотной в такой культурной стране. Карл Маркс ездил к вам в Карловы Вары, а Ленин, рассказывая о Праге, нахвалиться не мог. Да куда ж это годится, Тереза?

У него сильнее забилось сердце, как в те минуты, когда в черное фронтовое небо взвивалась красная ракета — сигнал к атаке.

— Я научу вас читать,— повторил Тимка.

— Да что ты! Где уж мне, старой бабке...— И она показала на свою

голову с узелком седых волос. — Где мне. Я свою песенку допою по-старому.

Но Тимка настаивал на своем. Он был непреклонен.

— Правда,— сказал он,— я знаю только нашу азбуку. А это другая музыка, не то что ваши крючочки и черточки. Словом, завтра садимся за азбуку, а остальное само собой придет.

— Да что ты,— отговаривала его Тереза Коваржикова,— что ты выдумал. Азбука! — ее рассмешило это странное слово.

— Только где достать букварь? — задумался Тимка. И разозлился: — Черт побери!

Действительно, попробуйте-ка найти в Кленове русский букварь. Впрочем, Тереза Коваржикова тогда еще не знала, что это за слово «букварь».

— Букварь,— задумалась она,— где взять букварь, сынок?

И с безмерной, безграничной нежностью твердила:

— Ты ешь, ешь! Кушай!

Кроме огромной нежности к Тимке, еще одно обстоятельство побуждало Терезу вступить на тяжелый путь обучения грамоте. Муж Коваржиковой, уже упомянутый Томаш, умер во время первой мировой войны в русском плену. В конце 1918 года Тереза получила через Красный Крест письмо с иностранными марками, написанное неизвестными буквами.

Тереза ходила с этим письмом пешком в Остраву. Палило солнце, и камни на дороге раскалились. В Остраве она заплатила двадцать крон за перевод, а потом два месяца голодала. В письме сообщалось, что ее муж Томаш умер в ташкентском лагере для военнопленных. С тех пор это письмо лежало в шкафу, на дне ящика,— на нем еще были пятна от слез.

Тереза Коваржикова дрожащими руками вынула письмо и протянула его Тимке. Синие чернила уже выцвели от времени, и буквы побледнели.

— Ты можешь это прочесть? — взволнованно спросила Тереза.

— Почему бы нет. Ведь это русская азбука.

— Азбука? — переспросила старушка.

— Да, азбука,— подтвердил Тимка.— И какая! С твердым знаком и другими прелестями царского правописания.

Письмо гласило:

«Милостивая государыня!

Ваш муж, Томаш Коваржик, скончался. Он умер после длительных страданий и погребен на кладбище ташкентского военного госпиталя № 11. Я был его лечащим врачом, и, несмотря на то, что он наш неприятель, делал все, чтобы сохранить ему жизнь. Я люблю Чехию, часто вспоминаю Золотую Прагу, где имел честь побывать со своей супругой. Прогулки по набережной, заход солнца на Влтаве, добрый пражский народ и очаровательный Старый город навсегда сохранились в моей памяти. Знаю я также «Проданную невесту».

Ваш муж, Томаш Коваржик, перед смертью попросил меня передать Вам его последний привет и просьбу простить, если он в чем-нибудь провинился перед Вами. Он любил Вас и часто вспоминал. На его могиле мы поставили деревянный крест и посадили вербу.

Вечная ему память!

Доктор Аркадий Ферапонтович Головухин».

Это был волнующий момент, когда Тимка читал письмо. Тереза Коваржикова не все поняла, но особенно ее растрогали слова: «Вечная ему память!»

— Так это азбука? — спросила она Тимку.

— Да,— ответил он, не менее взволнованный, чем Тереза.

— И ты научишь меня читать это?

— Научу, обязательно научу.

Букваря они, конечно, не достали. Тимка заказал его в Военторге, но это был длинный путь, а время шло, и среди связистов все чаще поговаривали, что близится конец кленовской идиллии.

Они стали учиться читать по московской «Правде». Учились усердно и настойчиво. Благоухающими кленовскими вечерами долго светилась керосиновая лампа, и Тереза Коваржикова посылала в темноту торжественные сигналы:

— Вена. ТАСС.

Или:

— Леса, которые мы сажаем...

Глаза у Тимки горели, он казался себе волшебником. В колхоз «Заря коммунизма» он написал письмо о своих успехах, и оттуда ему радостно и растроганно ответили:

«Спасибо, Тимофей! Ты воздвигаешь живой памятник советским людям. Правильно действуешь, дорогой товарищ!»

Наступил день, когда Тереза Коваржикова впервые прочла заголовок своего букваря. Читала она медленно, и слово, которое составила из букв, было «Правда».

— Правда,— удивилась Тереза,— это так же, как по-нашему.

— Да,— подтвердил Тимка,— это так же, как по-вашему.— И спросил: — Хотите, я вас подпишу на нее?

— Как так подпишешь? — растерянно проговорила она.

— Я подпишу вас на московскую «Правду»,— провозгласил Тимка.— Вы будете получать ее каждый день, когда меня здесь не будет.

И вот тогда произошло историческое, подробно запротоколированное посещение Тимофеем Петровым кленовского местного Национального комитета. Протокол написан официальным языком, и это замечательное событие отражено в нем довольно точно, но не красочно. Наш долг рассказать то, чего в протоколе не было и не могло быть сказано, потому что действительность вытекает из самой сущности официальных документов.

Собрание было бурное, и казначей Томеш произнес на нем одну из своих самых выдающихся речей, не считая речи, произнесенной спустя четыре года при основании единого сельскохозяйственного кооператива в Кленове.

Это была решительная речь государственного деятеля. Томеш, бывший ранее судебным исполнителем податного управления в Новом Йичине, доказывал в ней, что подписать крестьянку Терезу Коваржикову на московскую «Правду» невозможно, так как «делинквентка», как он выразился, еще относительно молода и происходит из семьи Матисков, в которой доживают до глубокой старости.

— Ей будет девяносто, а мы будем платить за московскую «Правду»,— говорил Томеш,— будет сто, а мы будем платить за московскую «Правду»! Она может дожить до 110 лет — такие случаи известны в истории человечества,— а мы все будем платить за московскую «Правду»! Почему, спрашиваю я,— предостерегающе, с оттенком трагизма восклицал Томеш,— почему?! По каким соображениям?!

Он был кленовским Демосфеном, этот Томеш, и просто удивительно, что его гений так недооценивали. Он защищал свою точку зрения громко, сжимая кулаки, краснел, бледнел, и видно было, что это человек, обладающий исключительным красноречием. Он был владельцем самой большой усадьбы в Кленове и, кроме того, совладельцем оптовой торговли железными изделиями в районном центре Бартонине.

— Что он говорит? — спросил Тимка председателя.

— Болтает! — ответил председатель.

Тимка, по-видимому, сразу понял, потому что улыбнулся и сказал:

— Оратор! Таких мы знаем!

Потом встал председатель Беранек, обнял Тимку и хотел поцеловать в щеки. Тимка уклонился со свойственной ему скромностью, а также потому, что председатель Беранек брился только по воскресеньям, а в этот день была как раз суббота.

— Все, что говорил пан Томеш,— болтовня и чушь! — заявил председатель Беранек, и его слова были встречены бурными аплодисментами.

— Прошу без оскорблений! — воскликнул казначей Томеш и тут же добавил: — Впрочем, пан Беранек меня все равно оскорбить не может, он для меня пустое место!

— Я тебе покажу — пустое место! — так горячо крикнул Беранек, что Томеш предпочел перейти к тактическому отступлению по направлению к двери.

Беранек раньше работал кучером в усадьбе Томеша, и между ними были еще кое-какие несведенные счеты. Затем председатель Беранек встал и обратился к собранию. Он был высок, головой доставал почти до потолка, голос у него был низкий, basso profundo, и говорил он с таким пылом, что жители Кленова потом еще долго вспоминали его речи.

— Граждане,— сказал председатель Беранек,— если бы этот Тимка пришел ко мне и сказал: «Беранек, отдай мне всю свою кровь по капле», я отдал бы. Если бы этот Тимка пришел ко мне и сказал: «Беранек, отдай мне свое сердце», я вырвал бы сердце из груди и отдал ему. Нет на свете ничего такого, чего я бы для него не сделал. Потому что я навеки останусь его должником.— И он протянул руку в сторону красноармейского кладбища за кленовской школой.— Сколько их осталось на пути к Кленову, товарищи? Да здравствует Советский Союз! Да здравствуют советские люди! — от всего сердца и во всю силу своих легких крикнул он.

— Спасибо,— сказал Тимка.— Да здравствует чешский и словацкий народ!

Вопреки тому, что написано в протоколе, ни о каком голосовании не было и речи. Какое может быть голосование, говорили жители Кленова. Да разве такие вещи ставят на голосование? Только казначей Томеш дополнительно потребовал, чтобы было запротоколировано его особое мнение; это пожелание удовлетворили. Особое мнение на веки веков занесено в кленовские анналы, и ничто его уже не вычеркнет.

С тех пор кленовская крестьянка Тереза Коваржикова каждый божий день получает московскую «Правду». Так как Тереза родом из семьи Матисков, всегда отличавшейся здоровьем, почтальон будет приносить ей московскую «Правду», когда далекая заря коммунизма будет гореть в каждом советском доме, подобно освещающей твой стол лампочке, к которой можно прикоснуться пальцем.

Тимка вернулся к Терезе сияющий и хвалил чехов:

— Замечательный народ!

В один прекрасный день прислали и букварь. Тереза Коваржикова читала его, как библию, и радовалась каждой прочитанной фразе. Она вскрикивала от удовольствия, когда ей удавалось найти одинаковые чешские и русские слова, и упорно, со страстью исследователя, искала их.

— Мир,— говорила она,— это так же, как по-нашему.

— Да, так же, как по-вашему,— подтверждал Тимка.

Тимофей Петров достиг замечательного успеха и гордился им. Он видел, как перед Терезой открываются новые, широкие горизонты, и у него было ощущение врача, снимающего повязку с незрячих глаз, которым он

вернул жизнь. Он смотрел на кленовскую крестьянку Терезу Коваржикову, читавшую в русском букваре стишок о Павлике Морозове, и это была картина действительно волнующая и великолепная, и те, кто этого не видели, могут только пожалеть. Тереза выросла и изменилась за короткие месяцы занятий с Тимкой. Ее глаза светились простым и чистым светом; она одевалась тщательнее, чем раньше собираясь в церковь, а по ночам долго думала о всей своей жизни, в последние годы которой так неожиданно и торжественно вступил Тимка со своей азбукой. Она словно переживала большую позднюю любовь, но не знала, что́ любит больше — Тимку или новый сияющий день, так бурно ворвавшийся в ее бедную комнату. Жила она точно в горячке — слишком сильно взволновалась тихая гладь ее одинокого существования.

Если бы Тимка не спал так крепко, он слышал бы ночью ее шепот:

— Саша любит маму.

Или:

— Корабли идут в море.

Так воспевала Тереза Коваржикова свою любовь простыми словами букваря.

Наконец наступил день, который должен был наступить. Пришел Тимка и сказал:

— Мы уезжаем.

— Куда? — испуганно спросила Тереза.

— Пока только в Опаву, — рассказывал Тимка. — Это недалеко, и, должно быть, я смогу еще сюда приехать.

— Сынок,— сказала Тереза Коваржикова,— если бы ты знал, как я тебя люблю! — И добавила: — А букварь мы не дочитали.

— Ничего, дочитаем еще.

И он улыбнулся той мысли, которая ему вдруг пришла в голову.

В Опаве Тимка явился в политотдел дивизии к подполковнику Немцову. Он не вполне был уверен в успехе своей затеи, несмотря на то что знал, к кому идет. Подполковника Немцова он знал с тех пор, как тот был комиссаром батальона. Это было знакомство, закаленное в огне и воде.

— Товарищ подполковник, явился старшина Петров,— доложил Тимка.

— Хорошо, — ответил Немцов. — Вольно!

Потом он улыбнулся, глядя на Тимку из-под густых бровей, и спросил:

— Чего тебе?

— Товарищ подполковник, дело такое,— совсем не по форме начал Тимка.— В Кленове я обучал грамоте Терезу Коваржикову.

— Что ты говоришь?! — воскликнул подполковник.— Ну и что ж, научил? — И уже совсем по-приятельски спросил: — А какие у нее глаза — голубые или черные?

— Голубые, товарищ подполковник. Но это неважно, потому что ей шестой десяток. А читать я ее научил. Это факт.

Подполковник Немцов покачал головой.

— Так шестой десяток, говоришь?

— Шестой.

— И читает?

— Читает.

— Поздравляю тебя,— сказал подполковник и поднялся.

Но Тимка, вопреки всем правилам воинской дисциплины, не повернулся налево кругом, а продолжал стоять, чтобы до конца защищать свои позиции, тем более что противник таял, как лед на солнцепеке.

— Дело в том, товарищ подполковник, что она, правда, читает, но еще очень медленно. И с ошибками. Мы еще не закончили букварь. Я обещал

дочитать его с нею и потому пришел просить вас отпускать меня по вторникам и воскресеньям на четыре часа и дать мне средства сообщения, чтобы я мог добираться в Кленов к крестьянке Терезе Коваржиковой.

И неуверенно добавил:

— Чтобы мы могли хотя бы дочитать букварь.

— Средства сообщения? — удивился подполковник.— Бронепоезд дать тебе, что ли? Посмотрите на него — средства сообщения!

Он задумчиво взглянул на Тимку и спросил:

— Ей вправду шестой десяток?

И рассмеялся, потому что иначе невозможно было.

«Каких хороших ребят мы вырастили», — подумал Немцов, и это взволновало его. Потом он позвал своего шофера и приказал:

— По вторникам и воскресеньям будете отвозить старшину Петрова в Кленов и обратно.

А на пишущей машинке написал Тимке увольнительную. И на ней приписал: «Для ликвидации неграмотности».

Таким образом букварь дочитали.

Тереза Коваржикова знает азбуку и читает московскую «Правду» от доски до доски. Может быть, ее кто-нибудь научит и чешскому алфавиту.

Когда я еще раз взглянул на нее через окно, она надевала очки. Потом развернула газету на той странице, где была статья Мирзо Турсун-заде, озаглавленная: «Жизнь торжествует».

Станислав Зелинский

ЧЕРНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ

Перевод с польского Р. Меркиной

Смеркалось. Краски поблекли, контуры мебели расплылись. Из углов уже надвигался полумрак, сливаясь с папиросным дымом и заполняя комнату предвечерними тенями. Через несколько минут на улицах загорятся фонари.

В креслах, поодаль от стола, сидело трое мужчин. Сгущающийся мрак скрывал их черты. Вспыхивали и гасли огоньки папирос. Шум большого города почти не доходил до верхнего этажа, и беседа велась вполголоса.

— Сумерки — излюбленное время рассказчиков... Они длятся недолго, но, прежде чем смениться вечером, возбуждают фантазию не меньше, чем вино. Они вызывают воспоминания, будоражат память. Немало я наслушался в своей жизни. Разные были рассказы — длинные и короткие, любопытные и скучные, но большинство из них начиналось под вечер. Не зажигай света.

— Беседы, рассказчики... Эх, редко выдается время для этого,— послышался другой голос, не скрывавший насмешки.— Моя жизнь течет быстро. Впрочем, сейчас избитые истины вытесняют задушевные беседы. Мы не любим утруждать себя, пользуемся готовым, повторяем общие места до тех пор, пока они не утрачивают своего смысла и значения. Остаются лишь звуки и слова на бумаге.

— Это мне напоминает...— вмешался третий, но не успел закончить свою мысль — его внезапно прервали.

— Ты по поводу избитых истин?

— Да, примерно. Что бы ты сказал, прочитав такую фразу: «Мы подружились на обломках немецкого фашизма»? Лозунг, не правда ли?

— Что такое? Сначала расскажи, потом задавай вопросы! Говори же! В ответе будешь не ты, а сумерки: они действуют на каждого по-своему.

— Рассказ начинается со слов о дружбе. Их я услышал от советского офицера после того, как провел часок за бутылкой вина. Это происходило несколько лет назад в ресторане гостиницы одного из советских городов. Я мучительно старался вспомнить, почему мне знаком этот высокий, плотный русский офицер, грудь которого была покрыта множеством орденов и медалей. Потягивая вино и закуривая папиросу за папиросой, я исподтишка наблюдал за двумя офицерами, сидевшими у соседнего столика. Они успели поужинать и пили коньяк, закусывая яблоками. Я рылся в самых затаенных закоулках памяти, но она отказывалась помочь мне. В конце концов я решил, что русский просто напоминает мне какого-то знакомого. Однако кого же именно? На этот вопрос

я не находил ответа. Я решил расплатиться и отправиться спать — было уже поздно. Но, как это иногда бывает, в последнюю минуту какой-то жест или выражение лица офицера неожиданно помогли мне.

Я поднялся, подошел к соседнему столику и, желая проверить себя, задал офицеру несколько вопросов. Была ли у него раньше борода? Это было самое главное, и я несколько раз переспросил его. Задавая вопросы — кстати, говорю я по-русски отнюдь не блестяще, — я увидел, как удивление на лице офицера сменилось дружелюбной улыбкой. Он встал и широко раскрыл мне объятия.

— Это настоящий друг,— сказал он своему товарищу.— Мы подружились на обломках немецкого фашизма!

Мы расцеловались с присущей славянам сердечностью. Официант, с любопытством наблюдавший эту сцену, поспешил принести третий прибор и новую бутылку... Мы подняли бокалы и произнесли подходящий к случаю тост.

— Я не оратор, но выпить за дружбу всегда готов! Выпьем! — отозвался второй офицер. Он ни о чем не спрашивал и не выражал удивления, лишь следил за тем, чтобы рюмки не пустовали и яблоки были под рукой.— Ешьте яблоки, это ведь сплошные витамины, само здоровье! Пей! Чувствуешь? Коньяк подхватил витамины и разносит их по всему организму...

— Сейчас мы тебе все расскажем,— заверил его мой знакомый.— Не торопи нас, каждый живет по своему счетчику.

Вот эта история, рассказанная вечером за коньяком и яблоками.

Начать придется с тюльпанов. Комендант лагеря заказал в Голландии луковицы тюльпанов и распорядился посадить их на клумбе у ревира*. В этом году алые, золотистые и иссиня-черные цветы впервые зацвели. Комендант, мужчина атлетического сложения, расхаживал вокруг клумбы и вздыхал, как влюбленная институтка. Тюльпаны! Таких чудесных цветов не было ни в одном лагере! Даже гестаповцы, время от времени увозившие из лагеря людей для более «сложных» допросов, не могли нахвалиться и громко восторгались тюльпанами. Но внезапно цветы стали хиреть. Наверно, затосковали по родине. На бархатных лепестках появились ржавые пятна, стебли ослабли. Тюльпаны гибли на наших глазах. Комендант впал в отчаяние и, чтобы помочь беде, вызвал специалистов.

Однажды утром нашу бригаду направили не в лес, а к больничному бараку. Нам велено было разрыть землю на клумбе и посыпать луковицы сероватым порошком. Такую работу быстро не сделаешь, и к полудню мы выполнили ее только наполовину. В это время немцы обычно обедали. Часовой и садовники пошли с судком в столовую, а мы отправились за барак, чтобы отдохнуть в холодке. Из голодной дремоты нас вывел шум приближавшегося тягача. Минуту спустя мы услышали возбужденные голоса. Больничный санитар ругал водителя за то, что тот прибыл, не предупредив заранее по телефону, сейчас ведь обеденный перерыв, и лучше пусть убирается ко всем чертям, а не то комендант увидит, и без оплеух ему не обойтись. Водитель не менее сердито отвечал, что он тоже человек и имеет право съесть горячий обед у себя в казарме; он и не подумает дожидаться начальства. Санитар хлопнул дверью, но тягач не отъехал. Мы с интересом прислушивались, ожидая, что будет дальше. С треском упал борт прицепа, затем заскрежетали шестерни. Водитель крутил рукоятку, чтоб одним махом сбросить находившийся в прицепе груз. В этот момент послышался протяжный стон, похожий на вздох умирающего великана. Мы вскочили.

---

* Лагерная больница *(нем.)*.

Тягач с прицепом был уже возле ворот и, дав полный газ, удирал из лагеря. На клумбе, посреди бархатных тюльпанов, лежали неподвижные тела в темно-зеленых отрепьях... Эти люди еще жили, шевелили губами, пытались выползти из-под других, чуть слышно стонали.

Я схватил под мышки первого попавшегося и потащил его в ревир. Санитар выскочил на крыльцо.

— Вон отсюда!

— Старина,— сказал я,— ты соображаешь, что здесь будет? Взгляни-ка на тюльпаны!

Он побледнел и отступил, открывая нам проход. Мы успели внести десяток больных, когда прибежал комендант. Послышался истерический вопль:

— Ах, готт, готт! Это свинья Крапке все подстроил! Из зависти, ведь он не вырастил у себя ни одного цветочка! Бедные мои тюльпаны!

Комендант вопил и, непрерывно заряжая револьвер, не глядя, стрелял в дергающиеся среди цветов тела.

Внесенных в ревир оставили в покое. Тех, что остались на клумбе, мы зарыли за пределами лагеря. Началась жизнь не приведи господь... Комендант ходил, как грозовая туча.

Через некоторое время пленные из ревира встали на ноги. Их увезли под стражей в соседний город, где находился их лагерь. Там они должны были продолжать разбирать развалины и обезвреживать невзорвавшиеся бомбы. Вечером мы узнали, что один из большевиков сбежал. Часовой зазевался, и, прежде чем он успел схватиться за автомат, пленный скрылся в лесу. На вопрос, кто сбежал, мне ответили: «Большевик с бородой». Я покачал головой — значит, тот самый, которого я внес с клумбы в ревир... Высокий блондин, неестественно легкий для человека такого роста... А ведь когда-то, наверное, был мужчина хоть куда!

Обессилевшему человеку без еды и одежды не убежать далеко. Любой ребенок притащит его в полицию, любая собачонка найдет его след и укажет, где он скрылся. Так думал я, отправляясь на следующий день на работу. Если бы наш комендант организовал настоящую погоню, беглец был бы очень скоро пойман. Но комендант не мог забыть свои тюльпаны. Он послал часовых в лес, однако приказал им вернуться через пятнадцать минут. Комендант поступил так назло Крапке, приславшему за пленными эскорт. Одним большевиком в лагере меньше — подумаешь, беда большая! Но большевик, пойманный в поле и попавший в руки полиции, сразу становился грозной уликой против коменданта лагеря.

Мы принялись за нашу обычную работу в лесу — разрезали ленточной пилой сосны на метровые бревна. Пила была острая, часовой не торопил нас, лесник думал о своем погибшем сыне, время проходило спокойно... Внезапно я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я повернул голову. На расстоянии десяти шагов на меня из-за деревьев смотрели серые, проницательные глаза...

— Отдай мне свой хлеб,— сказал я товарищу, с которым пилил сосну.— Вот большевик с бородой. Дай же мне хлеб!

Я поднял шишку и, как бы невзначай, бросил ее в большое дупло, пробитое дятлами. Затем поглядел в лес — глаза исчезли: большевик понял.

До конца работы мне удалось положить в дупло несколько кусков хлеба, папиросы и коробочку спичек. В течение недели мы заполняли лесной тайник едой и табаком и зарывали в песок гражданскую одежду. Я принес в лес лезвие и маленький компас, другой товарищ нарисовал план окрестностей... Словом, по мере наших возможностей мы снабдили большевика всем необходимым для бегства. Наконец спустя неделю

я обнаружил в дупле положенный накануне хлеб: «бородатый большевик» тронулся в путь.

В обеденный перерыв мы ели хлеб, захваченный из лагеря. Опираясь на ствол дерева, я думал: «Интересно, как он проделает такой дальний путь...»

Прошло много лет, пока я не убедился, что «бородатый большевик» благополучно добрался к своим. Вот все, что я могу вам сказать.

В комнате совсем стемнело. После короткого молчания один из собеседников спросил:

— А почему же русский сказал: «Мы подружились на обломках немецкого фашизма»? Ведь война тогда еще не кончилась.

— Да, но все это случилось уже *после* Сталинграда. Что же ты скажешь теперь об избитых истинах?

— Правильно говорят, что одни и те же слова приобретают разный оттенок в устах говорящего; уста по-разному произносят слова милые и слова немилые... А теперь зажги свет.

Тен Дон У

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Перевод с корейского Б. Лозового

Мальчуган не видел алых звезд
На пилотках воинов суровых.
Выбив самураев из бетонных гнезд,
В ореоле августовских гроз
Шла пехота по корейским селам.

И в груди слепого паренька
Сердце билось голубем крылатым,
И махала детская рука
Русским избавителям-солдатам.

Паренек ослеп давным-давно.
Мать его схватили в проходной:
— Бастовать ткачам запрещено! —
... И об стенку били головой.
Чтоб язык ткачихе развязать,
Вырвали из рук ее сынишку,
Свистнул хлыст — и стали истязать
Палачи трехлетнего мальчишку.

С той поры глазенки не видали,
Как цветы азалий полыхали
За деревней раннею весной,
И февральской вьюжною порою
Не барахтался в сугробах под горою
Мальчуган с веселой детворой.

Летом в голубые вечера
Дорогого, милого мальчонку
Мама уводила со двора,
Сжав худую, смуглую ручонку.
— Вон, мерцая, Млечный Путь пролег,
Вон идет Медведица по небу...—
И глядел на небо паренек,
Будто бы слепым совсем и не был.

Но тянулся к звездам он напрасно:
Для ослепших звезд на небе нет,
Млечный Путь лишь зрячим дарит свет,
И для зрячих только месяц ясный
По небу плывет среди планет.

...Не понять парнишке русских слов,
Что к нему с утра запали в душу,
И гремит по улицам «Катюша»,
Прилетевшая от волжских берегов.
И идут с цветами по селу
Бравые советские солдаты,
Славные, плечистые ребята,
На подбор все парни к одному.

Были сомкнуты ресницы паренька,
Но его лицо улыбка озаряла,
Будто видел он, как алая звезда
На пилотках, флагах, поездах
Путь народу к счастью освещала.

И когда азалии кусты
Поутру горят, как самоцветы,
Сняли с истомленных глаз бинты,
Чтобы мир возник из темноты
Небывалой, ясной красоты,
Восходящим солнцем обогретый.

И в глаза мальчонки хлынул свет
Из глубин безоблачного неба,
Всколыхнулась влажная листва,
И колосья зреющего хлеба,
И бутонов алые уста.

И раскрыл глаза он широко...
К белой койке подошел хирург,
Тронул пульс привычною рукой
Сероглазый добрый русский друг —
И увидел мальчик над собой
Гимнастерку с красною звездой.

Радован Зогович

ХОТЯ И НЕ ПРИДУТ

Перевод с сербохорватского Н. Тихонова

Матерям, вдовам, сестрам красноармейцев,
павших на наших полях.

Знаю, что путь их оборван и не дойти никогда им
Ни до родимых полей, ни до сени березовой, зыбкой,
Тихо не стукнуть в окошко, словно бы бросили просом,
Жен, матерей и сестер их им уж не вызвать улыбки,
И не погладить ребенка волос золотистую россыпь,

И не взобраться на трактор, который пыхтит и грохочет,
С ножницами не прийти им к яблони мокрой садами,
Масло в машину не капать, как лекарь, что капает в очи.
Пусть никогда не придут... Но в отчизне моей они живы,
В людях, что ад истребленья такой же прошли вместе с ними,
В детях, что получили их имена при рожденье,
В шелесте ирисов живы и в хризантемах, в пионах,
Каждой весной обновляясь в праздник земли обновленья,
В травах бессмертных живут, в злаках, в цветах над лугами
родными,
Как розмарины растут, как бархатки, как переливы
Маков, к мрамору памятников доброй рукой принесенных.

Пусть никогда не придут... Но падая, на землю пали
Прямо лицом, чтобы дать кровь своих ран ее ранам,
Все ей шепнуть имена, наши призывы-заветы.
Живы они: их заветы надгробные шепчут тропинки,
Ветру все их имена белые птицы шептали,
Крики призывные птичьи сбор созывали об этом,
Детские дудки из вербы с весенней поляны
Трубят весне нашей, трубят о них, как в поминки.

Знаю, что путь их оборван: они никогда не придут к нам,
Но сердцем своим вы узнайте, за ткацким станком, на работе,
В горькой тоске ли над книгой, что они тоже читали,
Или над полем колосьев, дома ли ночью пред утром,
Когда колыбельную песню сыну вы тихо поете,
Знайте же сердцем — они на земле, на которую пали,
Они говорят и живут, хоть никогда не придут к нам!

Янош Сас

ПОБЕДА

Перевод с венгерского Ал. Ревича

Вот, вот она... Кровавые ступени
ведут ее в рейхстаг.
Гремит «ура», как вал в косматой пене,
горит победный стяг...
Ее я вижу в сырости окопа,
над гатями болот,
она идет по большакам Европы,
она сквозь смерть идет.
Она форсирует проливы с ходу
и глубь речных быстрин;
она, прошедшая огонь и воду,
рыдает у руин.
Растут кусты разрывов. Всюду пламя.
Она идет вперед
и людям, обездоленным веками,
солдатский хлеб дает.
И снова марш, и снова пыль похода,
и снова трудный бой.

Идет светловолосая Свобода
дорогой фронтовой.
Она идет по странам, губы сжаты,
прекрасен грозный взгляд.
Ее теперь не свалишь, как когда-то,
столетие назад.
Идут ее возлюбленные дети
под смертоносный дождь,
чтоб радость зашумела, словно ветер,
в листве весенних рощ...
Рейхстаг в дыму. Но вспыхнул флаг на крыше.
Настал Победы срок.
Над нею складки алые колышет
свистящий ветерок...
Не ветер... это пулей грудь пробита...
Качнулся флаг. Но нет!
Горит на фоне дымного зенита
Победы алый цвет.

«ТЕПЕРЬ ПУСТЬ УХОДИТ».

Рис. Г. Турылева.

Джон Бойнтон Пристли

Теперь пусть уходит

Пьеса для телевидения в 3-х частях

Перевод с английского Майи Бессараб

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы постановщик мог по своему усмотрению составить режиссерский сценарий, я преднамеренно опустил все указания оператору — затемнение, наплыв, перебивка и другие, хотя у меня есть на этот счет собственное мнение.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПРОИЗНОШЕНИИ. У всех персонажей, жителей Скрупа, за исключением доктора Эджа, одинаковое произношение. Это не йоркширский или ланкаширский выговор — что очень важно, — но вообще северный. Он может принадлежать обитателям Линкольншира, Ноттингемшира, Дербишира, Стаффордшира, Чешира. Некоторые отклонения допустимы, но исполнители должны стараться придерживаться одинакового выговора, однако решительно избегать какого-либо определенного диалекта.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

За титрами небольшой пригородный поезд, который движется во мраке дождливого вечера. Затем кадр — тот же поезд подходит к станции, типичной станции маленького индустриального городка на севере Англии с населением около двадцати тысяч человек. В вечернем освещении мы видим надпись: «Станция Скруп». Пыхтит паровоз, хлопают двери. Раздается голос проводника, человека довольно молодого.

Проводник *(выкрикивает)*. Станция Скруп! Станция Скруп! Поезд дальше не пойдет! Поезд дальше не пойдет!

Желая удостовериться, все ли уже вышли, он заглядывает в купе первого класса, и вместе с ним мы видим там спящего Саймона Кендла, возле которого лежит старый чемодан. Когда-то Кендл был очень красив, теперь он глубокий старик, но в облике его сохранилось что-то величественное. (Мне бы хотелось, чтобы он был похож на короля Лира или на стариков Блейка, но пусть актер сам решает, что ему больше подходит). Довольно хороший, несколько старомодный «богемный» костюм его в беспорядке. Все его движения замедленны. Он с трудом выговаривает слова, видно, что это очень больной и старый человек.

Проводник *(наклоняясь к Кендлу)*. Это Скруп, сэр. Здесь надо выходить.

Кендл медленно открывает глаза и, подняв руку, смотрит на нее.

Кендл *(медленно)*. На этой руке сверкали солнечные блики. Вы никогда не видели такого солнца. 1900 год. Я снова был в том саду, в Бретани. На мою ладонь, плавно кружась, упали два лепестка. Ничего не изменилось: 1900 год — Бретань — сад — солнечные блики — два лепестка. Что вы сказали, проводник?

Проводник. Вам надо выходить, сэр. Поезд дальше не пойдет. Я прихвачу ваш чемодан, сэр.

Кендл. Прихватите-ка и меня тоже. Я очень плохо себя чувствую. Старый человек.

Проводник берет в одну руку чемодан, другой рукой помогает Кендлу подняться и выйти из вагона. Направляясь к выходу, Кендл говорит.

Кендл. У меня в багаже два больших ящика. Очень ценные.

Проводник. Нет, сэр, в нашем багажном отделении их нет. Они, наверно, ушли с основным составом по линии Грэнгли.

Появляется контролер, он старше проводника.

Контролер. Что тут у вас происходит, Тед?

Проводник. Кажется, этот джентльмен приехал не туда, куда надо.

Контролер. Покажите-ка ваш билет, сэр.

Кендл *(обессиленный)*. Да, да, одну минуту. Дайте мне сесть.

Они у выхода с платформы, где проверяют билеты. Здесь стоит стул или скамья, на которую они сажают старика. Унылое освещение подчеркивает заброшенность маленькой безлюдной станции после того, как пришел последний поезд.

Проводник. Говорит, что у него в багаже два больших ящика. Их, должно быть, отправили в Берпул, сэр?

Контролер. Вы ехали в Берпул, сэр?

Кендл *(невнятно, слабым голосом)*. Нет — ужасное место. Что это? Где я?

Контролер. Вы в Скрупе. Покажите-ка ваш билет.

Кендл начинает рыться в карманах, потом устало качает головой.

Кендл. Не помню. Билет должен быть. Я куда-то вез два больших ящика — это очень важно, *очень* важно...

Контролер. А что у вас в ящиках?

Кендл. Картины. Рисунки.

Контролер. Ценные?

Кендл *(просто, без желания произвести впечатление)*. Не меньше, чем на сто пятьдесят тысяч фунтов.

Кендл закрывает глаза.

Контролер *(спокойно)*. Тед, сбегай в Рейлвэй Армз и спроси у Джорджа Бистона или у его жены, не смогут ли они сейчас устроить старика на ночь. Ему все равно отсюда не уехать, и, по-моему, с ним что-то неладно. А я тут постараюсь добиться от него толку.

Проводник. Я поговорю с миссис Бистон. Джорджа-то вы сами знаете: он обязательно скажет, просто назло, что свободной кровати сейчас нет.

Проводник уходит. Кендл, обессиленный, снова засыпает. Контролер у телефона.

Контролер. Доктор Эдж? Говорят со станции Скруп. Здесь у нас пассажир — глубокий старик, он не знает, куда он ехал и что он делает. Наверно, совсем потерял память или заболел. Говорит, что у него два ящика с картинами и рисунками стоимостью в сто пятьдесят тысяч фунтов, и вроде не похоже, чтоб он хвастал. Я тут послал в Рейлвэй Армз, узнать, нет ли у них свободной кровати. Не могли бы вы, доктор...

Коридор на первом этаже в маленькой гостинице Рейлвэй Армз. Это довольно жалкое заведение, в котором есть несколько комнат для пассажиров, не сумевших вовремя уехать со станции Скруп. Ни в коем случае не следует придавать ей комфортабельный и уютный вид. Хильда Бистон, приятная, но немного растерянная немолодая женщина, разговаривает с доктором Эджем. Это пожилой, вечно перегруженный работой местный врач. Он только что приехал и держит в руке свой неизменный чемоданчик. Из бара доносятся шум и голоса.

Миссис Бистон. Ну вот, слава богу, что вы, наконец, пришли, доктор. Боюсь, что ему очень плохо. Мы уложили его в постель. Томми

Дарт уложил — он у нас работает. Но муж говорит, чтоб старик утром от нас уехал.

Доктор Эдж *(довольно сурово)*. Это зависит от того, что скажу я, миссис Бистон...

За сценой слышен грубый, не допускающий возражений голос Джорджа Бистона.

Бистон. Время! Время! Говорят вам: уже время!

Доктор Эдж. Ну, я пойду, взгляну на него. Где он?

Миссис Бистон. Последняя комната направо, доктор. Я бы вас проводила, но пора закрывать, я должна помочь Джорджу...

Доктор Эдж. Хорошо, хорошо. Я зайду к вам попозже.

Он уходит, и миссис Бистон провожает его озабоченным взглядом. Снова за сценой раздается голос Джорджа Бистона.

Бистон. А я вам говорю, *время* закрывать. Я вас предупреждал, что больше вы ничего не получите. Закрываем! Время!

Кендл в постели. За сценой слышен приглушенный голос Бистона. Кендл открывает глаза.

Кендл *(недоуменно бормочет)*. Время! Время?

Раздается троекратный стук в дверь. Входит доктор Эдж. Теперь мы вместе с ним оглядываем комнату.

Комната чистая, но мрачная, типичная для таких заведений. Скудная дешевая обстановка, никелированная кровать. На стенах изречения: «Господи, не оставь меня» и «Бог есть любовь». Возле самой кровати на стене висит довольно большой дешевый «художественный календарь» с безвкусной, ярко намалеванной красоткой.

Доктор Эдж закрывает за собой дверь и направляется к Кендлу.

Доктор Эдж. Я доктор Эдж, местный врач. Меня пригласили осмотреть вас.

Кендл. А я думал, ко мне идет Время. Я слыхал, как его призывали.

Доктор Эдж. Не скажете ли вы мне свое имя?

Кендл. Ну, это я еще помню. Кендл.

Доктор Эдж *(это имя производит на него большое впечатление)*. Господи — конечно! Я сразу подумал, что ваше лицо мне знакомо. Вы *Саймон Кендл*. Но что вы здесь делаете, мистер Кендл? Нет, нет, не отвечайте, это все успеется. Дайте-ка я вас сначала осмотрю.

Он достает стетоскоп, берет руку Кендла и щупает пульс.

Внизу, в баре, идет уборка. Миссис Бистон моет стаканы, Джордж Бистон и Томми Дарт расставляют их по полкам. Бистон, бывший полицейский, дородный мужчина немного старше пятидесяти. Томми Дарт напоминает старого бродягу, но в нем есть что-то симпатичное. Работая, они разговаривают.

Томми *(возбужденно)*. Держу пари — деньги для него ничто, вот увидите. И я скажу вам почему, миссис Бистон: потому, что у него денег уйма, у этого старого джентльмена наверху, просто уйма...

Бистон *(недовольно)*. Так что же тогда он здесь делает?

Томми. Он и не знает, что он здесь. Я вот еще что вам скажу...

Бистон *(перебивая)*. Ладно, в другой раз скажешь. А теперь помалкивай, Томми, и делай свое дело.

Сверху спускается доктор.

Миссис Бистон. Ему лучше, доктор?

Доктор Эдж. Нет, не лучше, миссис Бистон. Он, конечно, очень стар и изможден, но дело не только в этом. Я оставляю его здесь на ночь — другого выхода нет, а утром я зайду и пришлю сиделку.

Бистон *(раздраженно)*. Вот еще — у меня тут, знаете, не частная лечебница.

Доктор Эдж *(он возмущен словами Бистона; резко)*. А теперь будет лечебница...

Бистон. Нет, не будет. Если ему так уж плохо, отправьте его в больницу...

Миссис Бистон *(протестующе)*. Джордж!

Бистон. Не вмешивайся, Хильда. *(Доктору Эджу, злобно)*. Говорю вам, если ему так плохо, он должен быть не здесь, а в больнице.

Доктор Эдж. Ближайшая больница находится в Берпуле, но даже если б это было и не так далеко, больного нельзя перевозить. И кстати, вы напрасно кипятитесь, хозяин. Если для вас главное — продажа напитков, то скоро вы их будете продавать ведрами...

Бистон. Кому — сиделке?

Миссис Бистон. Не обращайте на него внимания, доктор. Он сделает все, что нужно.

Доктор Эдж. Должен вас предупредить, миссис Бистон. Завтра к этому времени о вас будет напечатано во всех газетах. Вот что я имел в виду, говоря о напитках. Дело в том, что человек там, наверху, — это Саймон Кендл, самый знаменитый современный английский художник, великий человек, прославленный во всем мире.

Томми *(возбужденно)*. Я так и знал, так и знал. Что я говорил, а? Денег уйма...

Миссис Бистон. Успокойся, Томми. Так что́ мы должны делать, доктор?

Доктор Эдж *(направляясь к выходу)*. Ничего, если все будет спокойно. Если ему станет хуже, сообщите мне. Но я думаю, ночь пройдет благополучно. Утром я зайду. *(Оглядываясь)*. Спокойной ночи!

Миссис Бистон *(идет за ним)*. Погодите, я провожу вас, доктор.

Томми *(Бистону)*. Я сбегаю наверх и послушаю, спит он или нет. Я ему сразу понравился, вот ей-богу. Он мне так и сказал: «Ну, говорит, Томми». Я сказал ему, как меня зовут...

Бистон *(перебивая, резко)*. А я, если ты сейчас же не прекратишь болтовню, так тебя назову, что ты не обрадуешься. Давай кончай уборку, живо!

Миссис Бистон возвращается. Она не может скрыть своего волнения.

Миссис Бистон. Подумать только — такая знаменитость! Наша фамилия во всех газетах, по радио!

Бистон *(недовольно)*. Ну, по мне, так без этого лучше. Что дальше-то будет? Долго он еще здесь пролежит?

Миссис Бистон *(теперь озабоченно)*. Да, да, должно быть, ему плохо, бедняге, я совсем забыла...

Бистон *(злобно)*. Ты всегда все забываешь...

Миссис Бистон *(боится его, но в голосе звучит протест, она почти плачет)*. Зря ты это говоришь, Джордж. Иногда мне кажется, что ты теперь озлоблен против всего света. Что бы ни случилось — все к худшему, и ты всегда прав, а другие виноваты. Не удивительно, что наш Стэн не смог жить дома...

Бистон *(злобно)*. И не заикайся об этом. Мы для него недостаточно хороши.

Миссис Бистон. Дело не в том. Ты и сам знаешь, что дело не в том...

Бистон *(злобно)*. Так пусть идет ко всем чертям...

Он с размаху опускает на прилавок большую стеклянную кружку, она разбивается вдребезги.

Пожилой журналист с трубкой говорит по телефону.

Журналист. Говорит корреспонденг «Берпул пост»... Что там случилось в Скрупе?.. Саймон Кендл? Рейлвэй Армз? Понимаю. Хорошо, завтра утром там будет корреспондент. Мы будем с ним держать связь... может получиться неплохой материальчик...

Несколько быстро сменяющих друг друга кадров. Монтаж: у телефонов репортеры, раздаются голоса: «Саймон Кендл», «Скруп — где это Скруп?», «Кендл настолько болен, что перевозить его нельзя», «Полная потеря памяти», «Рейлвэй Армз, Скруп». Все еще слышны обрывки фраз, но теперь уже за кадром. В кадре здание Рейлвэй Армз — под проливным дождем мрачное холодное строение. Поверх его проектируется крупным планом Кендл. Перед нами изможденный, больной старик, он никак не может заснуть.

На полке маленький приемник. Миссис Бистон ставит на стол тарелки с едой и большую чашку чаю.

Миссис Бистон *(зовет)*. Томми, иди завтракать.

Затем она включает приемник. Входит Томми, размахивая телеграммами.

Томми. Вот еще телеграммы. Смотрите, целая куча.

Миссис Бистон. Т-с-с!

Она берет телеграммы. Он умолкает и садится, потому что в это время раздается голос диктора.

Голос диктора *(обычным тоном)*. Министерство иностранных дел опубликовало заявление о положении на Среднем Востоке... В Алжире французские войска ликвидировали банду мятежников... Ожидается повышение заработной платы рабочим авиационной промышленности... Саймон Кендл, известный художник, найден серьезно больным в маленькой гостинице в Скрупе... Вчера вечером, в своей речи в Манчестере премьер-министр...

Томми *(торжествующе, заглушая последние слова диктора)*. Вот о нем! Но кто им сказал, что это *маленькая* гостиница?

Миссис Бистон выключает приемник. За сценой раздается решительный голос сиделки Петтон: «Доброе утро!» В дверях появляется сиделка Петтон, в пальто и с маленьким чемоданом. Это рассудительная, волевая сорокалетняя женщина, присущие ей назойливые профессиональные замашки не должны превращать ее в простой комический персонаж.

Сиделка *(скороговоркой)*. Я сиделка Петтон. Где больной?

Миссис Бистон. Я сейчас вас провожу, сестра. Как хорошо, что вы пришли, а то я не знаю, что ему давать на завтрак.

Сиделка. Я сама все сделаю. А теперь...

Миссис Бистон бросает телеграммы на стол и уходит с сиделкой. Томми принимается за еду, но не может удержаться от того, чтобы с благоговением не потрогать пачку телеграмм. Звонок в дверь. Томми открывает и видит молодого человека в плаще и сдвинутой на затылок шляпе.

Молодой репортер. Я из редакции «Берпул пост». Как здоровье мистера Кендла? Нельзя ли поговорить с ним?

Томми *(которому все происходящее доставляет огромное удовольствие)*. Погодите-ка немного, приятель. Вы, правда, первый, но это вам ничего не даст. Держу пари— вскорости сюда репортеров понаедет видимо-невидимо.

Спальня Кендла. Он проснулся. Сиделка Петтон сняла пальто и приступает к своим обязанностям.

Сиделка *(так, будто она объясняет свое появление)*. Вот я и пришла. Ну, как мы себя чувствуем сегодня утром?

Кендл. Я не знаю, как вы себя чувствуете, а я чувствую себя так, будто меня разорвали на части, потом кое-как собрали и связали ржавой проволокой...

Сиделка *(взбивает подушки и оправляет простыни)*. Ну, ну — нам не стоит так уж себя жалеть...

Кендл. Ерунда! В жизни осталось только одно удовольствие — немного пожалеть самого себя...

Сиделка. Как насчет чашки горячего чаю и ломтика поджаренного хлеба? А потом я подготовлю вас к приходу доктора.

Кендл. Мы уходим такими же, как пришли: наследим, напачкаем, а потом умоемся и — какой милый бэби, какой чистенький старикашка! Ну что ж, идите.

Она выходит. Оставшись один, Кендл с усилием приподнимает голову и с явным недовольством оглядывает комнату, он может попытаться достать отвратительную календарную картинку. Потом останавливается. Ясно, что он хочет что-то вспомнить.

Кендл. Что-то... что-то очень важное... но что, что, что же это?

Стук в дверь. В комнату заглядывает ухмыляющийся Томми.

Томми. Как вы себя чувствуете? Вы меня помните? Я Томми.

Кендл *(улыбаясь)*. Томми. Ты, кажется, единственное, что я еще помню. Мой друг Томми. Заходи, заходи.

Томми осторожно закрывает дверь и, ухмыляясь, входит в комнату. Кендл с видом заговорщика жестом подзывает его к себе.

Томми. О вас во всех газетах написано, хотите посмотреть?

Кендл. Спасибо. Нет, не хочу. Послушай, Томми, как тебе нравится моя сиделка?

Томми. Боюсь я их — этих женщин, мистер Кендл.

Кендл. Я тоже, Томми. Ты, когда узнаешь, что ее здесь нет, сразу заходи — вот как сейчас; ведь может случиться, что ты сумеешь сделать для меня то, чего она не сумеет или не захочет, а? *(Томми радостно кивает и улыбается)*. Я старше тебя, Томми, но ты тоже не маленький.

Томми *(торжествующе)*. Да, я куда старше, чем они тут думают...

Кендл. Ну, вот мы с тобой оба вредные, хитрющие старики... Мы наивные, простодушные старики, и мы должны помогать друг другу, Томми, — не то они нас одолеют. А теперь достань-ка из внутреннего кармана пальто мой бумажник...

С видом бывалого конспиратора Томми идет за бумажником, не переставая, однако, разговаривать.

Томми. Я вам скажу, мистер Кендл, тут из-за вас такое будет! Газеты. Радио. Телеграммы. Из редакций приходят.

Кендл. Вот потому-то мне и нужен союзник, друг. *(Берет бумажник, вынимает две или три фунтовых ассигнации)*. Возьми эти деньги, Томми, может быть, мне нужно будет что-нибудь купить. Если же мне ничего не понадобится, оставишь деньги себе.

Томми. Большое спасибо, мистер Кендл. Но если нужно сделать что-то серьезное, я не подойду — у меня смекалки не хватит. Здесь вам может помочь только Стэн.

Этот разговор должен протекать в доверительном тоне.

Кендл. Кто это Стэн?

Томми. Стэн Бистон — сын здешних хозяев. Он инженер, и у него хорошее место, только он не живет дома — не поладил с отцом. Но его нельзя осуждать...

Кендл. А я и не осуждаю. Я тоже не ладил со своим отцом. А мой сын не ладит со мной.

Томми. Ну, я ручаюсь, что нрав у вас не такой крутой, как у Джорджа Бистона. Он служил в полиции, и даже для них оказался слишком свиреп. Но Стэн навещает мать — он ей дороже всего на свете. Она славная женщина, миссис Бистон.

Кендл. Разумеется. Но единственный, на кого можно положиться, если нужна будет помощь,— это Стэн. Так, что ли? Ловкий парень, а?

Входит сиделка с подносом. Она с негодованием уставилась на Томми.

Сиделка *(возмущенно)*. Ну, знаете ли...

Томми *(поспешно)*. Я не забуду, что вы сказали насчет вторника, мистер Кендл. *(Торопливо выходит)*.

Сиделка. О чем это он говорит? *(Ставит перед Кендлом поднос)*.

Кендл. Я не знаю. И он не знает. Он должен был что-нибудь сказать. Он вас боится. И я тоже.

Сиделка. С каких это пор? Теперь завтракайте. Сейчас придет доктор.

Бистон, внизу, у телефона.

Бистон *(сердито)*. Нет, не можем. Вы что, думаете, здесь «Савой»? *(Нажимает рычаг, потом набирает номер)*. Коммутатор? Говорит Рейлвэй Армз — Скруп 228... Да, не сомневаюсь, что этот номер вам знаком. Ну, так я выключаю телефон — на сегодня с меня хватит.

Кладет трубку. Замечает доктора Эджа, который только что приехал. Смотрит на него.

Доктор Эдж. Уже за работой?

Бистон. Вашими стараниями.

Доктор Эдж. С таким характером — и дéржите гостиницу, приятель! Наймитесь ночным сторожем, тогда вам не придется на каждом шагу встречаться с людьми...

Бистон. Да, это по мне. С большинством людей не стоит встречаться. А уж прислуживать им...

Мы следуем за ним по коридору, за кадром голос миссис Бистон.

Миссис Бистон *(возбужденно)*. А, доктор Эдж, сиделка уже здесь, она только что отнесла ему слабого чая.

Бистон сталкивается с молодым репортером, которого мы видели раньше; теперь он с двумя коллегами.

Бистон *(грубо)*. Чего вам нужно? Вы же знаете, что у нас еще закрыто.

Молодой репортер. Мы — представители прессы. Что сказал доктор?

Бистон. Посоветовал мне пойти в ночные сторожа. Я бы так и сделал, если бы им удвоили жалованье.

Молодой репортер. Что вы чувствуете, имея в своем заведении больного, который так знаменит?

Бистон. Чувствую, что мне задают идиотские вопросы. *(Кричит)*. Томми, Томми! *(Уже за сценой)*. Полезай в погреб...

Молодой репортер *(угрюмо — двум другим)*. Я позавтракал в шесть, и если нам удастся получить здесь ленч, мы можем считать себя счастливчиками. Ну и жизнь! *(Замечает телефон)*. Хэлло! Телефон выключен... *(Включает телефон. Сразу же раздается звонок)*. Да?.. Да... Нет, но я могу передать... Сэр Джеффри Брок, врач-консультант, уже выехал? Хорошо, надеюсь, он захватил с собой постель и завтрак. *(Кладет трубку и обращается к своим коллегам)*. Слыхали, ребята? Сэр Джеффри Брок.

Один из репортеров. Это один из букингемских придворных докторов. Сенсационный материал.

Снова звонит телефон. Молодой репортер бросается к трубке, отталкивая двух других.

Молодой репортер. Как его самочувствие? Послушайте... Скажите... Мы только представители прессы... *(Двум другим, после того как он положил трубку, раздраженно)*. Как его самочувствие?!

Комната наверху. Доктор Эдж, по-видимому, только что осмотрел Кендла. После некоторого колебания обращается к сиделке.

Доктор Эдж. Хорошо, сестра. Отнесите этот поднос вниз и выпейте чаю. Подождите меня там, я должен вам кое-что сказать. *(Мы слышим, но не видим, как сиделка уходит).* Вы, мистер Кендл, вероятно, захотите услышать еще чье-нибудь мнение...

Кендл *(с насмешливой улыбкой).* Я? Я еще и вашего мнения не спрашивал.

Доктор Эдж. Я всего лишь местный врач, по горло увязший в работе...

Кендл. Я очень вам обязан за все, что вы вчера ночью для меня сделали, поэтому, если вам от этого станет легче, можете мне сказать, что́ со мной. А если вы предпочитаете не рассказывать, тогда не надо. Но я скажу вам вот что. Я чувствую, мое время уходит, как песок из лопнувшего мешка. Часть моего «я» уходит — не в какой-то другой мир, но в наш, земной, на много лет назад. Сейчас я здесь, а в следующее мгновение — я уже вижу перед собой ряд тополей или темный пруд, заросший лилиями, на которые я глядел последний раз, когда вас еще не было на свете. Почему далекое прошлое становится таким близким, когда мы стареем?

Доктор Эдж. Я не знаю.

Кендл. Сказано по-мужски. Что со мной?

Доктор Эдж. Одностороннее воспаление легких, по-моему. Усталое сердце. Истощение нервной системы.

Кендл. Да, да. Вы сообщаете бедняку, что у него не так уж много денег...

Доктор Эдж. Ну так вот, мистер Кендл. У вас мало сил для борьбы с болезнью, и вы не должны попусту их тратить. Никаких волнений. Никаких эмоций. Может быть, мне следовало бы помалкивать относительно вашего пребывания здесь, но я не могу брать на себя такую ответственность — ваши родные и друзья должны узнать...

Кендл. Моя жена давно умерла, но мой сын и моя дочь и, вероятно, *его* дочь и *ее* сын — двое моих внуков — сейчас уже в пути...

Доктор Эдж. Я обязан предупредить их — никаких сцен, никаких волнений.

Кендл. Попытайтесь. Но мой сын — преуспевающий делец, и на него произведет впечатление только диагноз преуспевающего дельца от медицины...

Доктор Эдж. Найдется и такой. Я побился об заклад с женой, что это будет Джеффри Брок.

Кендл. Моя дочь Гермион, бедная девочка — она испытала все. А теперь стала истеричкой и слишком много пьет. У меня взгляды весьма либеральные, так что уж если я говорю «слишком много», значит, так оно и есть. Ее сын и моя внучка Фелисити... — ну, это не имеет значения. Но будут и другие посетители, такие, для которых я не человек, а собственность. Я должен стать достоянием Нации, чтоб они водили ко мне экскурсии — два шиллинга за вход. К тому же, мне принадлежит немало ценностей, и кое-кому из этих молодчиков было бы очень выгодно, если бы меня признали психически больным...

Доктор Эдж. Ну, это вам не угрожает. Что же вы сделали вчера, мистер Кендл? Убежали от них?

Кендл *(теперь вспоминает).* Ну конечно! Разумеется, убежал. Скрылся. Единственное, что оставалось. Я... куда-то ехал... Что-то с собой взял... *(Он счастлив, что ему удалось вспомнить).* Ну конечно. А теперь, доктор, я хочу попросить вас об одном маленьком одолжении... Ни о чем серьезном я не могу вас просить, потому что вы очень заняты — со своими бесчисленными пациентами, которые болеют сейчас, когда о людях так заботятся и все так счастливы. Совсем небольшое одолжение.

Доктор Эдж. Да?

Кендл. Как же его зовут? Тед? Боб? Берт? Что-то в этом роде. Ден? Нет. Стэн — вот как. Скажите женщине внизу или моему другу, этому коротышке Томми: когда придет Стэн, я должен поговорить с ним — это очень важно...

Доктор Эдж. Хорошо. Но не волнуйтесь...

Кендл. Мне сразу стало легче, как только я вспомнил то, что так долго не мог вспомнить. Доктор, там, на дне моего чемодана, вы найдете угольный карандаш, а если вы мне его не дадите, я сам его достану, как только вы уйдете. И еще я хочу снять со стены это уродство, я знаю — это чужая собственность, но подобных вещей не должно быть ни у кого. Вот так, я вам очень благодарен...

Доктор Эдж наклоняется над чемоданом. Теперь он держит в руках угольный карандаш и календарь.

Доктор Эдж. Я зайду сегодня вечером.

Кендл. Не забудьте передать насчет юноши по имени Ден.

Доктор Эдж. Вы сказали — Стэн...

Кендл. Совершенно правильно — Стэн. *(Собирается рисовать на календаре).*

Доктор Эдж. Не забуду. *(В дверях).* Что бы вы хотели покушать?

Кендл *(иронически).* О! Дайте подумать: pâte maison, sole bonne femme, антрекот с зеленым салатом, немножко выдержанного бри, полбутылки рислингу к первому и бутылку шамберти к антрекоту...

Доктор Эдж. Великолепно. Но не удивляйтесь, если все это примет вид яйца всмятку и чашки слабого чаю. *(Выходит).*

Кендл берет угольный карандаш и начинает с трудом, не спеша подрисовывать картинку на календаре. Раза два он останавливается, будто от приступа боли. Возвращается сиделка.

Сиделка. Сядьте поудобнее и укройтесь, если уж вы не можете лежать спокойно.

Кендл. Я не хочу, чтобы меня усаживали и укрывали.

Она подходит поближе, хочет посмотреть, что он делает.

Сиделка. А что скажет миссис Бистон, когда увидит, что вы испортили такой красивый календарь?

Кендл. Гр-р-р-р-р-р. *(Или какой-нибудь другой звук, по усмотрению актера).*

Бар внизу теперь открыт. Бистон и Томми обслуживают репортеров, среди которых трое уже известны нам. Все они разговаривают и смеются, но мы не разбираем слов. В конце коридора разговаривает по телефону разбитная девица-репортер.

Девица. Дайте мне редакцию... Алло, коммутатор, не прерывайте меня, я разговариваю с Лондоном. «Дейли уайер». Редакция? Позовите Сэма Филипса... Сэм? Это Пенелопа. Да, я говорю из гостиницы в Скрупе... Конечно, это богом забытая дыра. Ты зачем подстроил мне такую поездку, чудовище?.. Пока еще ничего, но сегодня к вечеру ожидают все семейство. Им оставили комнаты, все, какие здесь есть. И сэр Джеффри Брок уже в пути, так что бедному старикану скоро достанется... О, сегодня я для тебя вытяну нужные сведения у кого угодно — но не держи меня здесь долго, нужно же иметь сердце!.. Национальная галерея и все такое? Да, может получиться грандиозно... О'кэй, я жду тебя. Отвезешь меня ночью на машине в Берпул, а утром обратно... Вот еще! Чтоб я ночью ездила с мальчиками в такси?.. И я тебя, Сэмми.

Комната наверху. Сумерки. Идет дождь. Унылая атмосфера. Кендл спит, но очень тревожно. Сиделка смотрит на него, потом, скучая, выглядывает в окно. Сквозь пелену дождя видно несколько автомобилей, стоящих у входа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ранний вечер. Бар снова открыт. Виден коридор и дверь в бар, где шумят посетители. Приехали родные Кендла: сэр Эдмунд со своей дочерью Фелисити, Гермион (миссис Бикли) с сыном Кеннетом. Сэру Эдмунду лет пятьдесят пять. Это видный чиновник, самодовольный, никогда не улыбающийся человек, ничем не похожий на своего отца. Фелисити — хорошенькая двадцатичетырехлетняя девушка. Она не замужем. Вид у нее очень грустный. Гермион Бикли — лет под пятьдесят, это добрая, но истеричная и неуравновешенная женщина, много пьет. Кеннет — двадцати двух лет, он очень неряшлив, сентиментален и невоспитан, неплохой, но испорченный и совершенно безвольный юноша.

Первым входит сэр Эдмунд. Его встречает миссис Бистон.

Сэр Эдмунд. Добрый вечер! Я сэр Эдмунд Кендл. Для нас заказаны комнаты.

Миссис Бистон *(виновато)*. Только две. Вам придется расположиться всем вместе.

Гермион *(в ужасе)*. Всем вместе?! Да вы с ума сошли!

Миссис Бистон. В каждой комнате по две кровати.

Сэр Эдмунд. В таком случае, Гермион, ты с Фелисити займешь одну комнату, а мы с Кеннетом — другую. А есть ли у вас какая-нибудь гостиная, которой мы могли бы воспользоваться?

Миссис Бистон. Только небольшая комнатка, мы называем ее приемной. Я покажу ее вам, как только вы осмотрите свои спальни. Сюда, пожалуйста.

Миссис Бистон выходит первая, Гермион отходит в сторону, чтобы пропустить вперед Фелисити и Кеннета.

Гермион. Моя сумка у тебя, Кеннет? Фелисити, милая, я догоню вас через минуту. Не закрывайте двери.

Они выходят, Гермион подходит к стойке и подзывает Томми.

Томми. Слушаю, мэм.

Гермион. У вас водка есть?

Томми. Нет, ни капли.

Гермион. Тогда двойную порцию джину.

Томми. Чем разбавить?

Гермион. Ничем. Просто джин. *(Томми поворачивается к двери, она говорит немного громче)*. Как мой отец?

Появляется молодой репортер из «Берпул пост» с кружкой пива в руке.

Молодой репортер. Я из «Берпул пост». Вы — миссис... э-э...

Гермион. Бикли...

Молодой репортер. И вы только что прибыли из Лондона, да? *(Появляется Томми с джином)*. Идет, Томми, запиши это за мной.

Гермион *(берет джин)*. Благодарю. Это как раз то, что мне нужно. *(Залпом выпивает джин)*.

С другой стороны подходит Пенелопа.

Пенелопа *(поспешно)*. Миссис Бикли, вряд ли вы меня помните, но мы с вами встречались — Пенелопа Бейн из «Дейли уайер». Скажите: за вами посылали, или вы сами приехали?

Гермион. Последнее время мы очень беспокоились за отца. А вчера он исчез, бедняжка... *(Допивает джин)*.

Пенелопа *(быстро)*. Повторить, Томми. *(К Гермион)*. Просто взял и скрылся, да?

Спальня Кендла. Сэр Эдмунд уже снял пальто и подошел к постели. На нем строгий черный пиджак и полосатые брюки. Кендл проснулся. В глубине сцены — сиделка.

Сэр Эдмунд *(с упреком)*. Мы просто терялись в догадках, отец. У меня полдня ушло на розыски. Кстати, министр просил тебе передать

наилучшие пожелания. Он сказал, что в случае необходимости он или даже премьер-министр сделают всё...

Кендл *(язвительно)*. Э, мой мальчик, единственное, что *может* сделать для меня правительство — это оставить меня в покое и не просить у меня больше денег.

Сэр Эдмунд. С нами в поезде ехал сэр Джеффри Брок. Он скоро придет к тебе. Он отправился за здешним врачом — как его зовут? — за Эджем. В руках Брока ты в безопасности. Очень разумный и положительный человек.

Кендл. Не люблю я очень разумных и положительных людей.

Сэр Эдмунд. Чепуха, отец. Без них государство не могло бы существовать.

Кендл. А вышло бы неплохо, черт побери, если бы мы попробовали существовать без них, прежде чем они окончательно погубят страну или замучают нас до смерти. *(Злорадно)*. У тебя хорошая комната, Эдмунд?

Сэр Эдмунд. Хуже этой, и я должен жить там вместе с Кеннетом, который вблизи оказался еще более мерзким, чем я предполагал.

Кендл хмыкает и начинает кашлять. Сиделка встает и подходит ближе.

Сиделка *(к Кендлу, обычным для нее тоном)*. Теперь вам ясно, что вы наделали. *(К сэру Эдмунду)*. Я думаю, вам лучше уйти, сэр. Вы его волнуете.

Кендл *(снова хмыкает, дышит со свистом.)* Держу пари, тебе никто никогда не говорил ничего подобного, Эдмунд. А теперь больше не волнуй меня.

Стук. Сиделка открывает дверь. В дверях — миссис Бистон.

Миссис Бистон *(спокойно)*. Сестра, вас просит к телефону доктор.

Сиделка выходит. Сэр Эдмунд подходит ближе к Кендлу.

Сэр Эдмунд *(настойчиво, но спокойно)*. Отец, я должен сказать тебе что-то очень важное. Нам известно, что вчера ты увез с собой два больших ящика с рисунками и картинами. Они в надежном месте? И *где* они?

Кендл. Не знаю, Эдмунд. Я не могу вспомнить, что случилось вчера в поезде. Я знаю только, что здесь их нет.

Сэр Эдмунд *(изумленный)*. Но это ужасно!

Кендл *(весело)*. Досадно, не правда ли?

Сэр Эдмунд *(еще более изумленный)*. Досадно?

Кендл. Только не вздумай снова волновать меня.

Осторожный стук, затем дверь немного приоткрывается.

Фелисити *(за дверью, настойчиво, но мягко)*. Папа, на минуточку. SOS.

Кендл *(зовет, в то время как сэр Эдмунд выходит)*. Это ты, Фелисити?

Фелисити. Да, дед, я сейчас... *(К сэру Эдмунду, который уже за дверью)*. Там внизу, в баре, тетя Гермион напилась, ее окружили репортеры, бог знает что она им там говорит...

Сэр Эдмунд *(пораженный, с ужасом)*. Это нужно немедленно прекратить...

Он поспешно уходит. Фелисити входит в спальню и присаживается на кровать деда, чтобы поговорить с ним.

Фелисити. Родной мой, скажи мне правду, как ты себя чувствуешь?

Кендл. Не знаю. Я слишком стар.

Фелисити. Ты просто успокаиваешь меня.

К е н д л. Нет, родная. В твои годы человек или вполне здоров, или болен. А в моем возрасте не поймешь, что за чертовщина с тобой происходит и как ты себя на самом деле чувствуешь. А теперь ты мне скажи, как у тебя дела с тем безмозглым парнем? Все еще влюблена в него?

Ф е л и с и т и. Это ты об Энтони? Нет. Все кончено.

К е н д л. Правильно! Не вводи к нам в семью безмозглого мужчину...

Ф е л и с и т и. Хорошо, обещаю тебе, милый. Но у нас уже есть уроды. Первый — кузен Кеннет. Между прочим, он здесь, если ты захочешь взглянуть на него. Затем — тетя Гермион, она уже напилась и буйствует там, внизу. Я послала отца, чтобы он спас ее от репортеров.

К е н д л. Ага, они уже здесь?

Ф е л и с и т и. Их там столько набилось, что шагу негде ступить. Должна тебе сказать, дед, милый, ты выбрал не особенно удачное место, а?

К е н д л. Я ничего не выбирал, моя родная. Мне сказали, что я, вероятно по ошибке, сел не в тот вагон...

Ф е л и с и т и. В вагон, который идет до этой станции, можно сесть только по ошибке. Но куда ты ехал? Ты действительно потерял память?

К е н д л *(уклончиво)*. Да, иногда случается...

Она с упреком смотрит на него, чуть не плачет.

Ф е л и с и т и. Дед, по-моему, это предательство...

К е н д л. Предательство? Почему?

Ф е л и с и т и. Ты прекрасно знаешь, если только все решительно не забыл,— мы всегда были друзьями. Мы всегда друг другу все рассказывали. А теперь ты так себя ведешь, будто мы не друзья, будто я заодно с отцом и всей его компанией, будто я не целиком на твоей стороне...

К е н д л. Нет, нет, Фелисити. Это просто... *(умолкает)*.

Ф е л и с и т и. Просто *что?*

К е н д л. Да ничего. Ты вот что мне скажи: как ты думаешь, могла бы ты чем-нибудь помочь молодому человеку по имени Стэн?

Ф е л и с и т и. Чем-нибудь — да. Только без панибратства. Что до меня, то ни о каких Стэнах не может быть и речи. Это «неприкасаемые».

К е н д л *(печально)*. Должно быть, он чувствует то же самое. Поэтому-то вы и погубите Англию...

Ф е л и с и т и *(с полушутливым-полусерьезным отчаянием)*. О ты, старое чудовище, я знаю, нельзя поднимать шум из-за пустяков, но *что* ты такое говоришь? Как мы можем погубить Англию? И кто этот Стэн? И почему я должна ему помогать?

Торопливо входит сиделка.

С и д е л к а *(сурово)*. Мне все равно, о чем вы тут говорите, но я не могу разрешить вам оставаться здесь, мисс. Через несколько минут придут врачи, мы не можем допустить, чтобы больной был так взволнован. Я должна еще прибрать здесь...

Ф е л и с и т и *(вскакивая)*. Хорошо, я ухожу... *(Она поспешно прикасается губами ко лбу Кендла. Нежно)*. Спокойной ночи, родной. Я здесь — когда бы ты меня ни позвал.

К е н д л *(устало)*. Спокойной ночи, милая.

Фелисити уходит, чуть не плача. Видно, как сиделка начинает оправлять постель.

Маленькая комната с надписью на двери «приемная», о которой говорила миссис Бистон. Кеннет разговаривает с Пенелопой, у обоих в руках рюмки.

П е н е л о п а. Писатель, да? Что же вы пишете?

К е н н е т *(очень торжественно, почти мрачно)*. О, ничего серьезного, эпического. Легкая остроумная вещь...

П е н е л о п а. Ну, еще бы! Что вы уже сделали?

К е н н е т. Я закончил первую половину балета об эскимосах, который называется «Жизнь в и́глу*». А также часть ревю, еще не завершенного, под названием «А нам наплевать».

П е н е л о п а. Рискованное заглавие.

К е н н е т *(многозначительно)*. Написано очень остро, прямо-таки беспощадно. О, хэлло, Фелисити! *(Входит Фелисити)*. Знакомьтесь, Пенелопа Бейн из «Дейли уайер». Моя кузина — Фелисити Кендл.

П е н е л о п а. Вам удалось повидаться с дедушкой?

Ф е л и с и т и. Да, но я ничего не узнала. Правда, врачи только что приехали. Так что вам придется подождать. Простите! *(Кеннету)*. Где же наша комната?

К е н н е т. Да я как раз туда шел. *(Пенелопе)*. Извините!

Они уходят в комнату.

Гостиная — маленькая, мрачная, запущенная комната. Сэр Эдмунд сидит за столом, перед ним какие-то бумаги и большой чиновничий портфель. Он пытается работать, но Гермион все время с ним заговаривает. Она полупьяна, вид у нее несчастный и жалкий.

Г е р м и о н. Может быть, я ему и не нужна — это я и сама понимаю, но у меня столько же прав на свидание с отцом, сколько и у тебя. На самом деле, даже больше. Он по-своему любит меня, а тебя терпеть не может — тебя вообще никто терпеть не может, я имею в виду разумных людей, а не политиков, чиновников и джентльменов из «Атенеума». *(Замечает Фелисити и Кеннета)*. Хэлло, и вы здесь. Вы когда-нибудь видели комнату хуже этой? Ну как, ты была у него, Фелисити?

Ф е л и с и т и. Только одну минутку. Потом какая-то кошмарная сиделка вышвырнула меня оттуда.

Сэр Эдмунд задумчиво смотрит на нее.

С э р Э д м у н д. Что он тебе сказал?

Ф е л и с и т и. Он сказал, что не знает, как он себя чувствует.

С э р Э д м у н д. И это все?

Ф е л и с и т и *(явно не хочет рассказывать)*. Когда я у него спросила, что все это значит, он начал что-то сбивчиво рассказывать, но тут в комнату ворвалась сиделка.

С э р Э д м у н д *(угрюмо)*. Я полагаю, мы будем вынуждены признать, что рассудок его не совсем в порядке...

Г е р м и о н. Ты считаешь, что только твой рассудок в порядке...

С э р Э д м у н д *(раздраженно)*. Ах, не говори глупостей, Гермион.

К е н н е т *(который пытается что-то написать на конверте)*. Она не глупее тебя. С чем бы срифмовать «аборт»?

Г е р м и о н *(быстро)*. Может быть, «порт»? А это не глупо? Как ты думаешь, Эдмунд? Но, Кеннет, милый, не пиши здесь свои непристойные песенки. *(Обращается к Фелисити)*. Он и все его друзья теперь только и делают, что сочиняют непристойные песенки. А потом распевают их до двух часов ночи...

Ф е л и с и т и. Я проголодалась. Где и когда мы будем есть?

С э р Э д м у н д *(торжественно)*. Я договорился, чтобы нам принесли что-нибудь сюда попозже — после того, как мы услышим мнение врачей и поговорим с репортерами. И послушайте, Фелисити, Кеннет, я настаиваю, чтобы ими никто, кроме меня, не занимался. Я знаю, как себя вести с этой публикой, а вы нет. Запомни это, Гермион. *(Пытается работать)*.

Г е р м и о н. Отец никогда не был напыщенным. Мать тоже. В кого ты такой, Эдмунд? У тебя это еще в школе было.

С э р Э д м у н д *(не отрываясь от бумаг)*. Вздор.

* Зимнее жилище канадских эскимосов, сложенное из снежных плит.

Ф е л и с и т и. Кеннет, ты знаешь кого-нибудь по имени Стэн?

К е н н е т. Знаю. Тенора-саксофона из джаза Джамбо Джексона.

Ф е л и с и т и. Да нет, идиот! Какого-нибудь Стэна здесь.

Кухня более или менее как в первом действии. Миссис Бистон, разгоряченная и взволнованная, разговаривает со своим сыном Стэном. Стэн Бистон — молодой человек под тридцать, решительный, хорошего сложения, типичный студент технического колледжа, в его речи, немного меньше, чем у его родителей, чувствуется местный выговор.

М и с с и с Б и с т о н. Не беспокойся, Стэн. Сегодня нам нечего бояться. Отец сюда не зайдет до самого закрытия, они там все с ног сбились с этой толпой. А если хочешь мне помочь, сынок, нарежь холодного мяса, я обещала дать им на ужин. Ты знаешь, Стэн, здесь какой-то сумасшедший дом, с тех пор как сюда привезли этого бедного старого джентльмена...

С т э н. Ведь это великий человек, мама. По-настоящему великий человек, а не какой-нибудь подражатель. *(Он оглядывается и замечает Томми).* Хэлло, Томми!

М и с с и с Б и с т о н *(довольно резко).* Послушай, Томми, мы заняты, да и у тебя много работы. Не стой без дела.

Она поспешно уходит, Томми остается. Он говорит в высшей степени доверительным тоном.

Т о м м и. Стэн, этот мистер Кендл, там наверху, по-моему, хочет, чтобы ему помогли — без шума. Я ему сказал, что ты самый подходящий человек. Денег у него уйма, и он не скупится...

С т э н. Мне нет дела до его денег. Разве он сказал, что я могу ему помочь? А его родные тогда уже здесь были?

Т о м м и. Нет, их еще не было. Но если хочешь знать, это не имеет значения. Держу пари, он ни с кем из них не считается, кроме внучки. Она молодец.

С т э н. Давай-ка, Томми, объясни мне все это. Выкладывай, что он сказал, и поскорее, а то...

Т о м м и. Я ему и говорю: «Если у вас дело серьезное, то у меня смекалки не хватит. Стэн — вот кто вам нужен». А он и говорит: «В этом я не сомневаюсь».

Спальня Кендла. Сэд Джеффри Брок, упитанный и видный мужчина, из числа врачей, которые ценят каждое свое слово, только что закончил осмотр Кендла. Доктор Эдж и сиделка — в глубине сцены.

С э р Д ж е ф ф р и. Я старался как можно быстрее закончить осмотр, мистер Кендл. Надеюсь, он вам не показался слишком утомительным. Ваш сын, сэр Эдмунд, насколько мне известно, находится здесь. Вы, вероятно, захотите, чтобы я с ним поговорил?

К е н д л *(с издевательской усмешкой).* Да, сэр Джеффри, захочу...

С э р Д ж е ф ф р и. По-моему, это очень разумно с вашей стороны.

К е н д л. Не знаю, но я думаю, вы оба получите огромное удовольствие от этого *совещания.*

С э р Д ж е ф ф р и *(не отвечая на его замечание).* Утром я снова зайду. Мы сделаем все возможное, чтобы вы хорошо спали ночью. Как обстоит дело с ночной сиделкой, доктор Эдж?

Д о к т о р Э д ж. Сиделка есть. Она уже здесь — скоро заменит дневную.

С э р Д ж е ф ф р и. Отлично! Мы вас покидаем. Спокойной ночи, мистер Кендл. Сиделка!

Для нее это — приказание последовать за ним, что она и исполняет. Они выходят. Крупным планом — Кендл. Он шепчет.

К е н д л. Их и хлебом не корми — только дай позаседать! Тра-та-та, сэр Эдмунд, тра-та-та, сэр Джеффри... О боже, о боже, о боже...

Слышно, как отворяется дверь. Он поднимает голову. На пороге две сиделки: Петтон и Сомерсет.

Сиделка Петтон. Мистер Кендл, это сиделка Сомерсет, она меня сменяет. Спокойной ночи. Я приду утром.

Кендл. Спокойной ночи.

В комнату входит сиделка Сомерсет. Ей около сорока лет, у нее довольно красивое, выразительное лицо, она задумчива и грустна. Она подходит к кровати. У нее очень спокойный голос.

Сиделка Сомерсет. Может быть, мне не следует этого говорить, мистер Кендл...

Кендл *(которому очень нравится ее внешность)*. Значит, обязательно скажите.

Сиделка Сомерсет. Я считаю, что это большая честь для меня. Я полюбила ваши картины, когда была еще совсем ребенком.

Кендл. Спасибо, милая. Я верю вам.

Сиделка Сомерсет. К сожалению, я еще не очень опытная сиделка. Хотя, конечно, когда-то я закончила курс обучения.

Кендл. Как вас зовут, когда вы не на работе?

Сиделка Сомерсет. Миссис Сомерсет. Или просто Джудит.

Кендл *(очень мягко)*. Вы должны извинить меня, Джудит. Но я старик, жизнь моя прошла... Расскажите мне о том, что с вами было, что оставило следы на вашем лице,— и мы узнаем друг друга...

Джудит *(очень медленно и спокойно, без выражения)*. Мой муж был врачом в Гонконге. Двое наших детей жили с нами. Потом мужу дали шестимесячный отпуск. Я вылетела раньше, чтобы снять дом. Дом я сняла. Но их самолет разбился при вылете из Карачи. Вот почему я снова стала сиделкой. Может быть, вам дать что-нибудь, мистер Кендл?

Кендл. Нет, Джудит. Мне нужно только новое Небо и новая Земля.

Джудит. Может быть, вам лучше не разговаривать...

Кендл. Может быть, мне лучше не дышать. Это не слишком легко... *(Он делает беспокойное движение)*.

Джудит. Повернитесь на другой бок. Дайте я вам помогу. Для чего же я здесь... *(Помогает ему повернуться на другой бок)*.

Кендл. Спасибо, милая. Но вы здесь не для этого. Вы будете меня слушать до тех пор, пока не скажете, что с вас довольно. Три часа ночи, когда я не могу заснуть, а вы стараетесь не спать, — это самое подходящее время начать откровенный разговор...

В гостиной: сэр Эдмунд, Гермион, Фелисити и Кеннет, а также сэр Джеффри и доктор Эдж. Сэр Джеффри, по-видимому, председательствовал на этом «совещании» и только что закончил свой доклад. Гермион тихо плачет, Фелисити подавлена.

Сэр Джеффри. Имеется, конечно, целый ряд... э-э... крайних мер... и... э-э... доктор Эдж сделал необходимые приготовления, на случай если они... э-э... понадобятся. Но усталое сердце может остановиться в любую минуту... часто это случается во время сна. Утром я, конечно, снова его осмотрю...

Сэр Эдмунд. Вы здесь не останетесь?

Сэр Джеффри. Нет, я буду у моего старинного друга лорда Делби — неподалеку отсюда: в нескольких милях от Берпула. Он прислал за мной машину, и так как она уже довольно долго ждет...

Сэр Эдмунд *(настойчиво)*. В таком случае, только два небольших вопроса, сэр Джеффри. Во-первых, этот дом совершенно не подходит — нельзя ли увезти отсюда отца?

Сэр Джеффри. Уверяю вас, сэр Эдмунд, сейчас об этом не может быть и речи. Надеюсь, вы того же мнения, доктор Эдж?

Доктор Эдж. Я бы не взял на себя такой ответственности.

Сэр Эдмунд. В таком случае, мы постараемся устроить его здесь получше. Гермион, я прошу тебя! Второй вопрос — вы понимаете, что это чрезвычайно важно, со всех точек зрения, — можем ли мы констатировать, что мой отец не в состоянии более вести свои дела?

Сэр Джеффри *(с некоторым колебанием)*. В целом... основываясь на его бессвязных ответах и некоторых признаках амнезии * — я полагаю, вы можете считать себя в праве постараться... э-э... освободить его от какой бы то ни было ответственности в ведении своих дел. Полагаю, вы согласитесь со мной, доктор Эдж?

Доктор Эдж. Нет, не совсем. Память у него все еще плохая и может остаться в таком состоянии. Но он гораздо более в своем уме, чем многие мои пациенты.

Сэр Эдмунд *(игнорируя замечания доктора Эджа)*. Сэр Джеффри, надо бы дать репортерам какое-нибудь сообщение...

Сэр Джеффри. Конечно...

Они уходят, не обращая внимания на доктора Эджа. Теперь он стоит в дверях и говорит, обращаясь то ли к самому себе, то ли к оставшимся в комнате.

Доктор Эдж *(с иронией)*. Не обращайте на меня внимания. Я всего лишь местный врач.

Фелисити *(настойчиво)*. Доктор Эдж, пойдите послушайте, что они говорят, и опровергните их, если они не правы. Прошу вас! Ради моего дедушки.

Он испытующе смотрит на нее, кивает в знак согласия и уходит, закрывая за собой дверь.

Кеннет *(хмуро)*. Завтра приедет еще несколько бонз...

Фелисити. Кто?

Кеннет *(неопределенно)*. О, бонзы из государственных картинных галерей, бонзы — адвокаты, бонзы — комиссионеры по продаже картин. Уже получены и отправлены десятки телеграмм.

Гермион. Я чувствую себя отвратительно. Через минуту закажу немного бренди. Фелисити, милая, почему ты говорила с доктором Эджем так, будто ты подозреваешь что-то неладное?

Фелисити. Потому что я действительно кое-что подозреваю.

Кеннет. Правильно, черт побери, не спускай глаз с этих бонз.

Входит Томми, в руках у него очень большой поднос с холодным мясом, салатом, картофелем, вилками, ножами и тарелками.

Томми *(ставит поднос на стол)*. Вы тут сами разберетесь, у меня совсем нет времени.

Гермион. Хорошо. Но вы принесете мне большой стакан бренди, а?

Томми. Конечно. *(Он делает знак Фелисити, которая подымается, чтобы расставить тарелки)*. Послушайте, мисс! *(Она подходит поближе, он говорит тихо, но многозначительно)*. Вас вызывает Стэн.

Фелисити. Ах вот как! Меня вызывает Стэн? Ну, так Стэну придется прийти сюда самому.

Томми *(таинственно)*. Это невозможно, мисс. Здесь дело сложное. Он в кухне, возле кладовой. И лучше поторопитесь. Стэн долго ждать не будет.

Томми поспешно выходит. Фелисити недоуменно смотрит ему вслед.

Фелисити. Какая наглость, черт возьми!

Гермион. Что все это значит, дорогая?

Фелисити *(не поворачивая головы)*. Это известно одному только богу — или Стэну. *(Выходит)*.

---

* Старческая потеря памяти.

Гермион *(кричит ей вслед)*. Принеси мне бренди, милая. *(Кеннету)*. На нее, правда, мало надежды.

Кеннет. Да, она сейчас пойдет командовать. И еще как! Давай-ка ужинать.

Ярко освещенная кладовая с широкими полками для хранения продуктов. Дверь распахнута. Стэн ест большой бутерброд и запивает пивом. На тарелке лежат еще два бутерброда. Стремительно входит Фелисити, видно, что она очень раздражена.

Фелисити *(резко)*. Я Фелисити Кендл. Это вы дали такое нелепое поручение?

Стэн. Нелепых поручений я не давал. Я Стэн Бистон.

Фелисити. И вы всегда передаете: «Вас вызывает Стэн»?

Стэн. Да, занимаюсь этим каждый день на заводе.

Фелисити. Но здесь не завод, и я даже не знакома с вами.

Стэн. Но теперь мы познакомились, не правда ли?

Фелисити. Я пришла только для того, чтобы сказать, какое впечатление произвела на меня ваша наглость.

Стэн. Вы пришли — все остальное неважно. *(Он очень серьезен)*. А теперь послушайте меня, мисс Кендл. Если я могу чем-то помочь вашему дедушке — насколько я понимаю, дело обстоит именно так,— то я буду счастлив и горд сделать все, что в моих силах...

Фелисити *(холодно)*. Но почему? Вы только что прочли о нем в газете?

Он смотрит на нее с презрением.

Стэн. Нет, и не потому, что я очарован его милой, вежливой внучкой... *(Медленно, бесстрастно)*. По профессии я инженер. Но последние два года я по вечерам занимаюсь в художественной студии. Я люблю живопись. А Саймон Кендл великий, изумительный художник. Я ему многим обязан. И мне бы хотелось что-нибудь для него сделать. Но я вижу, без вашей помощи я сделаю это лучше. Извините за беспокойство! Спокойной ночи...

Фелисити *(порывисто)*. Прошу вас, не обижайтесь! Я вела себя глупо — очень об этом сожалею. Ведь мой дедушка просил меня помочь вам. И ради бога, дайте мне бутерброд. Я просто умираю от голода. *(Берет бутерброд)*. Что вы хотели мне сказать?

Стэн. Только одно. Я могу взять отпуск на два-три дня: в моем цехе меняют оборудование. У меня есть мотоцикл — и я готов поехать куда угодно. Правда, я не могу прийти сюда днем, когда мой отец здесь, но в доме, где я живу, есть телефон. Вот здесь записан адрес и номер телефона... *(Он подает ей листок бумаги)*. Так что, как только вы узнаете, в чем дело, звоните...

Фелисити *(ест)*. Но, может быть, я сама сумею лучше выполнить это поручение, чем вы...

Стэн. Очень хорошо, мы не будем соперничать, но если я *могу* что-нибудь сделать, я охотно это сделаю. Вы не знаете, в чем дело?

Фелисити *(медленно, задумчиво)*. Наверно, речь идет о двух больших ящиках с рисунками и картинами. По-видимому, никто не знает, где они. И мне известно, что это очень беспокоит моего отца. Он считает, что дедушка должен был предоставить ему ведение всех своих дел, потому что последнее время дедушка стал забывчив, он ведь так стар...

Стэн *(это скорее утверждение, чем вопрос)*. Вы его любите.

Фелисити. Больше всех на свете. Всегда его любила. Не потому, что он так знаменит, — мне все равно, пусть бы никто и не знал о нем. По правде говоря, я ненавидела его славу. Я люблю его потому, что он такой хороший, удивительный, замечательный человек... *(Она пристально смотрит на Стэна, будто только сейчас понимает весь ужас происходящего)*. А этот кабачок переполнен людьми, которых интересует только

одно: когда же он умрет... Сам он их не интересует... Проклятье! Я сейчас заплачу. Ну же, скажите опять какую-нибудь грубость...

Стэн *(быстро)*. О'кэй. Но все-таки хныканье ему не поможет...

Фелисити *(негодующе)*. Я не хнычу...

Стэн. Как только вам покажется, что вы узнали что-то новое, звоните мне. И не думайте, пожалуйста, что вы все можете сделать сами: десять против одного, что без меня вы не справитесь...

Фелисити. Откуда вы это знаете?

Стэн. Он и сам так считает, не правда ли? Беда в том, что вы ревнуете...

Фелисити. Ну, знаете ли, хватит!

Стэн. Что может сделать какой-то Стэн? Какой-то простой парень...

Фелисити. Вы правы... *(Она уходит)*.

Стэн. Вы не доели ваш бутерброд — *мой* бутерброд...

Фелисити *(надменно)*. Спокойной ночи! *(Она с силой хлопает дверью)*.

Повторяется прежняя сцена. Репортеры у телефонов: «Мистер Саймон Кендл при смерти, в Скруп прибыл сэр Джеффри Брок». «Брок дал заключение о состоянии здоровья Кендла». «Брок утверждает, что состояние серьезное, но не безнадежное». «Сын, дочь и двое внуков Кендла остановились в Рейлвэй Армз».

Диктор ...на четыре пенса в час, начиная со следующего месяца... Врачи запретили перевозить художника Саймона Кендла из Скрупа, где он лежит в гостинице в тяжелом состоянии. Мистеру Кендлу — восемьдесят два года... Мы передавали последние известия.

Спальня Кендла. Полумрак. Кендл мечется во сне—он просыпается. Подходит Джудит.

Джудит *(очень спокойно)*. Что, мистер Кендл?

Кендл *(ему трудно говорить)*. Горло пересохло — пить... *(Она дает ему напиться, поддерживая чашку)*. Мне снилось, что я снова мальчик... Знаете, я ведь родился милях в пятидесяти отсюда. Маленькое местечко под названием Лонгстоун-бридж... отец мой был каменотесом — мои дети и внуки не любят об этом вспоминать... Мы, англичане, всегда были снобами...

Джудит *(спокойно, но уверенно)*. По-моему, мы стали хуже — когда я вернулась из Гонконга, я была потрясена...

Кендл. Несомненно. У меня есть старый друг, он до сих пор живет в Лонгстоун-бридж — Рубен Холмс, он пишет акварелью, это наш лучший пейзажист со времен Котмана. Он живет в том же доме, где родился, ни разу не заработал больше нескольких фунтов в неделю — зачем ему? Простой счастливый человек. Я пережил трех жен, у меня были любовницы всех цветов кожи: от бело-розового до сепии, я заработал и растратил несколько состояний, мои картины висят в любой хорошей галерее мира, у меня полный сундук медалей, наград, премий, дипломов и почетных званий, я чертовски важная персона — но я ни разу не испытал и половины того удовлетворения, какое получил от жизни Рубен Холмс. Пока я делал всякие глупости, он жил счастливой жизнью. Должно быть, он самый старый из всех моих друзей, оставшихся в живых... *(Теперь он вспоминает, говорит с энтузиазмом)*. Ну да, конечно! Я старый дурень! У вас есть карандаш, не правда ли? Записывайте: «Два ящика с картинами и рисунками отправлены Рубену Холмсу в Лонгстоун-бридж». Я вез их к нему, потому что хотел у него остановиться на день или два и сказать ему, что с ними надо сделать. А сам сел не в тот вагон. Как все это просто. Вы записали про эти два ящика? Молодчина! Положите сюда.

Он показывает на столик возле кровати, и она кладет туда листок. Он улыбается и хмыкает от удовольствия. Она печально на него смотрит.

Джудит. Мистер Кендл, вы не читаете газет?

К е н д л. Нет, не читаю. Вот уже год или два. Глупая болтовня! Никогда не интересовался газетами.

Д ж у д и т. И я тоже. Но месяца три назад там что-то писали о Рубене Холмсе, акварелисте из Лонгстоун-бридж.

К е н д л *(удивленно)*. Как не похоже на Рубена...

Д ж у д и т *(очень мягко)*. Мистер Кендл, это было сообщение о его кончине.

Кендл — крупным планом. Он смотрит на нее скорее ошеломленный и растерянный, чем несчастный. Наплыв.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Из темноты возникает маленькая гостиная. День. Льет дождь. Сэр Эдмунд работает. Фелисити ходит по комнате. По-видимому, она чем-то очень обеспокоена.

С э р Э д м у н д *(взглянув на нее, раздраженно)*. Фелисити, ты сядь почитай что-нибудь или пойди немного погуляй.

Ф е л и с и т и. Здесь нет ни одной стоящей книги. А гулять как я пойду? Идти некуда, и дождь не прекращается. Гермион и Кеннет правильно сделали — сразу же после завтрака забрались в постели. Но я не буду тебе мешать...

Она идет по коридору, заглядывает в распивочную, где Томми занимается уборкой.

Ф е л и с и т и. Хэлло!

Т о м м и *(подходит к ней, улыбается)*. Доброе утро, мисс. *(Конфиденциально)*. Как вы вчера договорились со Стэном?

Ф е л и с и т и *(холодно)*. Никак.

Т о м м и. Стэн — парень не промах. Себе на руку топора не уронит.

Ф е л и с и т и. Терпеть не могу ничего топорного.

Она поворачивается и уходит. Потом от нечего делать заглядывает в бар, где Бистон подбирает с полу осколки стекла. Он без пиджака.

Ф е л и с и т и *(праздно)*. Вам не жаль, что репортеров на время отослали отсюда?

Б и с т о н *(угрюмо)*. Нет. Толку от них мало, а хлопот не оберешься.

Ф е л и с и т и *(после некоторого колебания)*. Можно мне задать вам один вопрос?

Он уже выпрямился и смотрит на нее.

Б и с т о н. Я не могу вам запретить, но вообще не стоит. Вы же видите, я занят. Ну, что еще?

Ф е л и с и т и. Почему вы поссорились со своим сыном?

Б и с т о н. Это уж мое дело. Но если хотите знать — потому что он зазнался.

Ф е л и с и т и. Понимаю. То есть я как будто знаю, что́ представляют собой современные молодые люди...

Раздается громкий стук в дверь.

Б и с т о н *(раздраженно)*. А это еще что за чертовщина?

Бистон спешит к двери, стук не прекращается.

Б и с т о н *(кричит)*. Перестаньте колотить в дверь!

Бистон отпирает дверь и распахивает ее. Сразу же врывается Лео Моргенштерн. На нем плотное пальто, в руках чемодан. Это немолодой австрийский еврей, темпераментный и пылкий. Бистон останавливает его.

Б и с т о н. Эй, мистер, постойте. Если вам нужна комната, здесь вы ничего не найдете. А если хотите выпить, то заходите попозже.

Лео замечает Фелисити, которая стоит в глубине коридора.

Л е о *(возбужденно)*. Мисс Кендл, Фелисити, я Лео — Лео Моргенштерн.

Ф е л и с и т и. Хэлло! Не беспокойтесь, мистер Бистон. Это комиссионер моего дедушки — он продает его картины.

Б и с т о н *(собирается запереть дверь)*. Ну, здесь он торговать не будет!

Л е о *(к Фелисити)*. Как Саймон?

Ф е л и с и т и. Врачи еще у него.

Л е о. Мне нужно как можно скорее повидать его. Это просто ужасно. Я был в Кап Фэрра — думал купить там Матисса, — услышал это известие — бросил все и помчался сюда. Но — мой бог — что за гостиница! Какие дикари! Здесь даже хозяин похож на свирепого полисмена...

Ф е л и с и т и. Он и был когда-то свирепым полисменом. Кажется, я слышу голоса врачей. Сейчас они сойдут вниз.

По лестнице спускаются сэр Джеффри и доктор Эдж. Лео бросается вперед.

Л е о *(взволнованно)*. Как он себя чувствует? Скажите, скажите скорее...

С э р Д ж е ф ф р и *(холодно)*. Мой дорогой сэр, я собираюсь сообщить о состоянии его здоровья сэру Эдмунду Кендлу...

Л е о *(страстно)*. Да, да — но скажите мне — меня зовут Лео Моргенштерн — спешил сюда за тысячи миль — Саймон мой клиент — мой друг — мы много лет работали вместе...

С э р Д ж е ф ф р и. Вполне возможно, но вам следует обратиться к сэру Эдмунду. Извините меня!

Он проходит мимо Лео, за ним доктор Эдж. Они направляются в маленькую гостиную. Когда они уходят, Лео подходит к Фелисити. Крупный план.

Л е о *(чуть не плачет)*. Вы слыхали? Мой бог — великий художник лежит беспомощный среди таких людей. Все равно, что умирать в Гренландии. Фелисити, миленькая, мне надо увидеть его сию секунду. Это очень важно. Проводите меня.

Ф е л и с и т и. Я постараюсь, Лео.

Они поднимаются по лестнице.

Комната Кендла. Он чем-то обеспокоен и выглядит гораздо хуже, чем прежде; сердито смотрит на сиделку Петтон.

К е н д л. Глупости, женщина! Разве я могу спокойно лежать и не волноваться, когда я знаю, как много нужно сделать и как мало времени осталось? Неужели у вас совсем нет воображения?

С и д е л к а П е т т о н. Нет, у меня есть только определенные указания. *(Робкий стук в дверь, Петтон раздраженно оглядывается)*. Ну, что там еще?

В комнату врывается Лео.

С и д е л к а П е т т о н. Не смейте входить!

К е н д л *(повелительно)*. Пусть войдет. Он хочет говорить со мной. Я хочу говорить с ним. Оставьте нас, сестра.

С и д е л к а П е т т о н *(уходя, ворчит)*. Хорошо, но только на несколько минут.

Лео бросается на колени у постели. Его голова возле подушки Кендла. По щекам Лео льются слезы.

Л е о. Саймон — я сразу же приехал — за тысячу миль — бросил выгоднейшую сделку — восемь отличных Матиссов — чтобы вас повидать — сделать страшное признание, Саймон, друг мой. Если сейчас я не сделаю этого страшного признания, Саймон, очень страшного признания, я никогда не буду знать покоя...

К е н д л *(не совсем серьезно, подмигивает)*. Неужели так уж страшно, Лео? Хорошо, признавайтесь...

Л е о *(с убитым видом)*. Вы помните шесть эскизов Ариадны, еще я говорил, что они утеряны во время войны? Это неправда. Они благополучно прибыли в Нью-Йорк — я их продал тому коллекционеру в Филадельфии. Вы мне поверили — вы всегда такой доверчивый, такой благородный — и я вас обманул. Конечно, были смягчающие обстоятельства: я остался без гроша — пришлось бы уехать из Нью-Йорка — другого выхода не было. Но я себя вел как последний мошенник, как вор. Саймон, вы можете простить мне это?

К е н д л *(мягко)*. Я уже давно простил, Лео...

Л е о *(потрясенный)*. И вы знали?

К е н д л. Знал. Давайте забудем об этом. У меня к вам есть более важное дело: вам известно, Лео, у меня оставалось много картин...

Л е о *(с готовностью)*. Ну, конечно. Где они, Саймон? Что вы собираетесь с ними делать, когда вернетесь в Лондон?

К е н д л *(спокойно)*. Мне вряд ли придется возвращаться в Лондон, Лео. Ну вот, а вам я верю по-прежнему. Мне кажется, вам бы хотелось загладить свою вину...

Л е о *(торопливо)*. Да, Саймон, я все сделаю... Все что угодно...

К е н д л *(дружески)*. Хорошо, только сейчас вы ничего не можете сделать, Лео, но потом, когда кто-нибудь унаследует мое имущество, все эти картины...

Л е о. Кто же унаследует картины, Саймон?

К е н д л *(медленно)*. Я еще не решил, Лео. И даже если бы я знал, я бы вам все равно не сказал. Но кто бы ни был наследником, нужно, чтоб он мог на вас положиться, Лео.

Л е о *(пылко)*. Клянусь прахом моей матери, Саймон, я сделаю все.

Входит сиделка Петтон.

С и д е л к а П е т т о н *(решительно)*. Довольно, у вас было очень много времени.

Маленькая гостиная. Фелисити читает. Сэр Джеффри заканчивает разговор с сэром Эдмундом.

С э р Д ж е ф ф р и. Я рассчитываю быть здесь к шести часам...

С э р Э д м у н д. Надеюсь, что наш адвокат Генри Марч и сэр Маркус Коннор к этому времени будут здесь. Коннор, как вам известно, назначен теперь инспектором всех государственных картинных галерей. Я полагаю, сэр Джеффри, вы должны сказать им несколько слов о том, в каком состоянии рассудок моего отца, об ответственности и обо всем... что из этого вытекает...

Фелисити все это слышит.

С э р Д ж е ф ф р и. Разумеется. Но по-моему, сейчас самое разумное — обойтись без доктора Эджа. Он... э-э... весьма упрям, и в нужный момент с ним будет трудно найти общий язык...

С э р Э д м у н д. Вот именно.

Врывается Гермион.

Г е р м и о н *(резко)*. Как себя чувствует мой отец?

С э р Д ж е ф ф р и *(не очень вежливо)*. Непосредственной опасности нет, но нет и никакого улучшения. Я доложил сэру Эдмунду...

Г е р м и о н. Но он, знаете ли, также и мой отец...

С э р Э д м у н д. Сэр Джеффри не может разговаривать с тобой, если тебя здесь нет, Гермион. *(Уводит сэра Джеффри)*. Итак, мы встречаемся в шесть...

Они выходят. Гермион сердито жалуется Фелисити.

Гермион. Видишь, как со мной обращаются. Пусть я слабовольная, пусть слишком много пью, пусть я болтаю с репортерами, но там, наверху, *мой отец* — и хоть мы с ним, может быть, и ссорились, но я всегда была ему в тысячу раз ближе, чем Эдмунд. И представь себе, я до сих пор не видела отца. Я дважды пыталась пройти к нему, но там эта кошмарная сиделка — я ее боюсь. Я всегда боюсь таких женщин...

Фелисити. Я сейчас к нему пойду — будет там сиделка или не будет. Надо его предупредить, что против него объединились эти высокопоставленные типы.

Гермион. Эти бонзы, как их называет Кеннет. Несносный мальчишка! Но ведь он очень забавен, верно, дорогая?

Фелисити. Да нет, не очень. Вы мне гораздо больше нравитесь, тетя Гермион. Только почему вы такая слабовольная и почему вы так много пьете? Это всегда меня удивляло.

Гермион *(просто и искренне)*. И меня тоже, милая. В твоем возрасте я была, конечно, совсем не такая, как сейчас: меня окружали блестящие мужчины, друзья моего отца, они боготворили меня, с ними было так приятно и весело. Потом я вдруг взяла и вышла замуж за Сирила Бикли. Бог знает, почему я это сделала — отец меня предупреждал. Ничего хорошего из этого не вышло, и я стала метаться — от одного к другому: тайные поездки, страшные, беспорядочные дни. Бойся этого, дорогая, все это ни к чему. А потом понемногу началось вот это — все казалось не таким уже мерзким — вся твоя жизнь, когда немного выпьешь. А потом, не успеешь оглянуться — и ты уже «бедняжка Гермион, возле которой нельзя поставить графин». Разве это не ужасно?

Она внезапно начинает смеяться, и Фелисити тоже смеется.

Гермион *(снова становится серьезной)*. Ах, милая, мы здесь смеемся, смеемся без всякой причины, а бедный отец лежит больной, может быть умирает. *(Она вскакивает)*. Мне нужен один глоток для храбрости — и тогда меня не задержит никакая сиделка.

В комнату заглядывает Лео. Она замечает его и очень рада его приходу.

Гермион. Лео! Вы откуда? Отца видели?

Лео *(в дверях)*. Гермион, Фелисити, милые мои,— что это за человек! Я вам скажу: настоящий гений велик во всем — величие ума, величие духа и сердца. Когда не станет гениев — мир превратится в муравейник...

Фелисити. Гении не могут исчезнуть — некоторые сейчас ходят в школу, а один, может быть, родился сегодня утром.

Лео. Для моей галереи это слишком поздно. Сейчас я еду в Берпул, к знакомому коллекционеру...

Гермион берет его под руку.

Гермион *(весело)*. Но сначала мы с вами выпьем, не правда ли, милый Лео?

Она уводит его.

Комната Кендла. Сэр Эдмунд стоит у кровати и смотрит на своего отца. Сиделка в глубине комнаты, может быть зрителю она не видна.

Сэр Эдмунд *(по-видимому, он продолжает свою реплику)*. Но хоть что-нибудь ты должен помнить, отец? Эти ящики были заранее упакованы, наверно ты собирался их *куда-то* отправить. Ты сел в поезд...

Кендл *(с оттенком скрытого издевательства, увиливает от ответа)*. Вот именно, мой мальчик. А прибыл сюда. Что это — Скруп? Я хочу спросить тебя, Эдмунд, для чего человек уезжает из Лондона — чтобы его уложили в постель в Скрупе? Разумно ли это?

Сэр Эдмунд. Нет, неразумно. Ты, конечно, ехал в какое-то другое место, куда и отправлены эти два ящика с твоими работами. Весь вопрос в том, куда именно.

Кендл *(прежним тоном)*. Да — весь вопрос именно в этом. Беда только, мой мальчик, что я уже старик, память ослабела... *(Кашляет и зовет сиделку)*. Сестра! Помогите мне лечь на другой бок.

Она помогает ему повернуться спиной к двери и к сэру Эдмунду. Он хрипит, кашляет, дышит со свистом, умышленно прерывая разговор, сэр Эдмунд не знает, уходить ему или нет, и вдруг замечает записку, которую написала Джудит. Берет ее и читает.

Сэр Эдмунд. Что это, отец? «Два ящика с картинами и рисунками отправлены Рубену Холмсу в Лонгстоун-бридж».

Кендл хрипит.

Сэр Эдмунд *(против обыкновения довольно сильно взволнован)*. Это, вероятно, именно то, что мы ищем. Но почерк чужой! Кто-то дал тебе эту записку, чтобы ты знал, где твои ящики. Хорошо, отец, ты, наверно, хочешь отдохнуть... *(Кладет записку на стол)*.

Сиделка. Он очень устал, сэр Эдмунд.

Сэр Эдмунд. Простите, сестра. Я зайду попозже, отец. *(Выходит)*.

Кендл. Помогите мне повернуться.

Сиделка *(помогая ему)*. На том боку неудобно?

Кендл. Дьявольски неудобно. Просто я не хотел разговаривать со своим сыном. Теперь мне надо поговорить с внучкой...

Сиделка *(с сомнением)*. Боюсь, что мне не следует этого разрешать...

Кендл *(резко перебивает ее)*. Но это же смешно. Если я в течение получаса мог выслушивать идиотские расспросы моего сына, значит я могу несколько минут провести со своей внучкой. Ну вот, пришлите-ка ее ко мне, а сами побудьте внизу, выпейте чашку чаю, сыграйте там во что-нибудь — делайте, что хотите. Идите...

Сиделка уходит. Кендл надевает очки, читает записку. Роется в бумажнике. Входит Фелисити.

Кендл. Что делает твой отец?

Фелисити. Названивает, как сумасшедший, по телефону.

Кендл. Он прочел вот эту записку *(протягивает Фелисити записку)*.

Фелисити. «Два ящика с картинами и рисунками отправлены Рубену Холмсу в Лонгстоун-бридж».

Кендл. Рубен Холмс умер. Ты должна найти эти два ящика, Фелисити. Ты и этот, как его там зовут?

Фелисити. Стэн.

Кендл. Стэн. Хотя он, наверно, на работе...

Фелисити. Нет. Он ждет моего звонка.

Кендл. Сейчас же позвони ему, милая. Ты с ним уже виделась?

Фелисити. Да, ну и противный же он. Самодовольный, нахальный и грубый. Но я ему скажу, чтобы он немедленно приезжал. Ради тебя, дорогой. *(Идет к дверям, но останавливается)*. Тебе не очень утомительно и скучно было бы поговорить с отцом Стэна — мистером Бистоном? Они поссорились, потому что у Бистона невыносимый характер: он со всеми страшно груб, и это очень тяжело для Стэна и для его матери.

Кендл. Попроси его прийти сюда.

Фелисити. А вдруг он тебе нагрубит?

Кендл. Рискнем.

Фелисити выходит. Сразу же появляется сиделка.

Сиделка. Все эти приходы и уходы нам, знаете ли, не на пользу.

Кендл. Мне они на пользу — я забываю, что болен.

Сиделка. Но ведь на самом деле вы больны. И боюсь, сэру Джеффри не очень понравится ваш вид...

Кендл. А мне не нравится *его* вид. Ну, теперь идите и поиграйте еще немного...

Сиделка *(возмущенно)*. Поиграть? Вы что думаете...

Стук в дверь. Бистон осторожно входит в комнату. Он угрюм и подозрителен.

Кендл. Вы мистер Бистон, да? Пожалуйста, сестра, оставьте нас вдвоем. Садитесь, мистер Бистон.

Сиделка выходит.

Бистон *(неохотно садится)*. Не могу я здесь сидеть. У меня дел по горло.

Бистон подозрительно смотрит на Кендла, а тот неожиданно ему улыбается. Лицо Кендла сразу преображается — становится неотразимо привлекательным.

Кендл. Я знаю, что у вас много дел, мистер Бистон, и что последние два дня вам пришлось трудно. Никто, кроме меня, в этом не виноват. Я, кажется, превратился в глупого старика, который сам не знает, что с ним. А они делают из меня знаменитость — и поднимают всю эту шумиху. Вы меня извините, мистер Бистон. Вы были так терпеливы, так добры...

Бистон *(честный человек, несмотря на свои недостатки)*. Нет, неправда, мистер Кендл. Я был хуже, чем всегда, никому не давал спуску, особенно жене.

Кендл *(очень мягко)*. Почему вам так тяжело?

Бистон *(совсем откровенно)*. Господи, я и сам не знаю, мистер Кендл, сэр. У меня хорошая жена, хороший сын — хотя он и не подозревает, что я считаю его хорошим. Торговля здесь тоже идет неплохо. Никто никогда не сделал мне ничего дурного. Но я не могу жить спокойно, меня так и гложет злоба, мистер Кендл, всю мою жизнь. Поэтому и на работе вышли неприятности, я тогда оставил службу и приехал сюда — думал, здесь будет лучше. Но я остался таким же, сам вижу, и это тяжелее всего. Иной раз я самого себя не выношу, а уж остальных и подавно.

Кендл. Когда-то и со мной было то же — много лет назад. Я сделал такое, чего не следовало делать, а потом, вместо того чтобы все поправить и простить себе, стал непримирим к себе, непримирим к другим. Друг мой, я не знаю и не хочу знать, что вы сделали плохого, но простите это себе. Забудьте о прошлом. Вам предстоит жить с Джорджем Бистоном, как мне все эти годы надо было жить с Саймоном Кендлом, так не будьте к нему таким безжалостным. Многие люди слишком себя жалеют, но есть и такие — и вы принадлежите к их числу,— которые относятся к себе чересчур беспощадно. Скажите: «Бедный старый Джордж!», а потом само собой получится: «Славный старый Джордж!» А?

Он улыбается Бистону, который сидел задумавшись, и теперь мы впервые видим, как улыбается Бистон.

Бистон. Большое вам спасибо, мистер Кендл. Я попробую. Теперь скажите, что я могу для вас сделать?

Кендл. Вот что. Я здесь лежу совсем беспомощный, а мне очень, очень нужна помощь — от этого зависит судьба моих картин, имущество моей семьи,— и в этом мне может помочь ваш сын Стэн. Но если он почувствует, что вам не по душе его визиты, всем будет трудно — и ему, и его матери, и мне... *(Кендл вопросительно смотрит на Бистона, который начинает хмуриться)*. Вы снова разжигаете в себе злобу. Чувствуете?

Бистон усмехается и встает.

Бистон. Да.

Входит Гермион. Она несет поднос с бульоном, тонкими ломтиками поджаренного хлеба и со своим стаканом виски.

Бистон. Все будет в порядке, мистер Кендл.

Он выходит. Гермион подходит к кровати и ставит поднос на постель или рядом с постелью. Разговаривая, берет свой стакан. Она уже выпила немного внизу.

Гермион. Я стащила поднос, как только эта чертова сиделка отвернулась. Не знаю, хочешь ли ты есть, но это приготовлено для тебя. Как ты себя чувствуешь, отец? Из разговоров Эдмунда с этим ханжой сэром Джеффри я ничего не могу понять. По их словам, ты не совсем нормальный или что-то в этом роде, но ведь все это выдумки, да? *(Она сидит очень близко от него).*

Кендл. Вот уже тридцать пять лет, как мы с Эдмундом считаем друг друга не совсем нормальными. Он принадлежит к другой разновидности человеческого рода. И вот теперь эта другая разновидность побеждает.

Гермион. А от меня тебе нет никакого проку, надо это признать. От меня теперь никому нет проку, даже Кеннету. Как было хорошо, когда он был маленький. А теперь Кеннет и его друзья ведут себя так, будто они свалились с другой планеты...

Кендл. Он здесь?

Гермион. Да, пишет на чем попало свои непристойные песенки...

Пауза.

Кендл. Если я пошлю его в Лондон по важному делу, сможет он спокойно и разумно выполнить поручение?

Гермион. Вероятно, я должна сказать: да, конечно. Но я ни разу в жизни тебе не лгала, отец, милый. Поэтому я могу сказать только одно: честное слово, не знаю.

Кендл. Лео Моргенштерн уже уехал?

Гермион. Да, к какому-то знакомому коллекционеру. Мы с ним выпили — он только о тебе и говорит. И он прав, конечно, но почему эти прирожденные бизнесмены всегда так сентиментальны?

Кендл. Они обретают сердце только в часы, свободные от дел.

Он закрывает глаза. Минуту Гермион озабоченно на него смотрит, потом тихо говорит.

Гермион. Отец, ты устал. Я не хочу тебя утомлять. Но что должен сделать Кеннет?

Кендл *(открывает глаза, говорит медленно)*. Выяснить, когда идет ближайший поезд в Лондон, и перед тем как ехать, зайти ко мне...

В комнату врывается сиделка. Она страшно возмущена.

Сиделка *(сердито)*. Так это *вы* забрали обед? Явились сюда, чтобы утомлять его своими разговорами!

Гермион *(встает, держа в руке стакан. Говорит злобным шепотом)*. А сами-то *вы* что делаете? Колыбельную поете?

Сиделка провожает ее до двери и становится на пороге как страж.

Внизу, у входной двери, появляется Стэн, одетый в костюм для езды на мотоцикле и уже промокший. Из бара выходит Бистон и замечает его.

Стэн *(решительно)*. Извини, папа, но мне необходимо было приехать... Мистер Кендл...

Бистон. Знаю, сынок. Кто старое помянет, тому глаз вон. Тебя ждет мисс Кендл.

Он уходит. Быстро входит Фелисити.

Фелисити. Наконец-то! Я теперь знаю, что нам нужно делать...

Стэн. Нам? Здесь не может быть никакого «мы». Вы-то тут при чем?

Фелисити. Да не будьте вы таким грубияном...

Стэн. Грубиян я или не грубиян, но я выполню все, что мне прикажет Саймон Кендл...

Фелисити. Вы просто теряете драгоценное время...

Стэн. Я только поднимусь к нему — это отнимет не больше минуты.

Он твердыми шагами проходит мимо Фелисити к лестнице. На площадке лицом к лицу сталкивается с сиделкой, у которой очень решительный вид.

Стэн. Мне нужно поговорить с мистером Кендлом.

Сиделка. Это невозможно, я даже его родных и близких не пущу к нему, пока он как следует не отдохнет. А уж вас-то в вашей мокрой одежде и подавно.

Стэн *(встревоженный)*. Ему... очень плохо?

Сиделка *(с безжалостной иронией)*. Восьмидесятидвухлетнего старика врачи не разрешают перевозить из этой гостиницы. Сюда прибыл из Лондона знаменитый врач — дневная и ночная сиделки — вся его семья здесь! Теперь спросите у самого себя — как его самочувствие. Только мне больше вопросов не задавайте.

Стэн, очень обеспокоенный, уходит.
Внизу Фелисити уже надела пальто и сейчас повязывает голову шарфом.
Входит Стэн.

Стэн. Я его не видел. Она никого не пускает.

Фелисити *(с издевательской любезностью)*. В таком случае, если вы не хотите больше терять времени, вы будете слушаться меня, не правда ли? Я, пожалуй, могу ехать на заднем сиденье вашего мотоцикла.

Стэн. Можете, но через десять минут вы насквозь промокнете и будете похожи на мокрую курицу.

Фелисити *(высокомерно)*. Я, кажется, могу купить все, что полагается для езды на мотоцикле. Вам должно быть известно, что́ именно надевают девушки, когда ездят на мотоцикле, вам, а не мне...

Стэн *(мстит ей)*. О — всего только какую-то дешевую вульгарную одежду из пластиката... Вам ведь известно, что это за люди. *(Идет к двери)*.

Фелисити. Пока еще нет: я к ним только еще присматриваюсь. Пойдемте.

Они открывают дверь: сумерки холодного дождливого дня.

Стэн. Я не поеду, пока вы не скажете, куда и для чего надо ехать. Это вполне разумное желание.

Фелисити. Да, но из-за вашего тона даже самые разумные желания становятся невыносимыми.

Стэн. Послушайте, мисс Кендл, давайте уточним: вы меня терпеть не можете, я вам тоже не очень симпатизирую — вот и все. Но мы должны кое-что сделать для Саймона Кендла. Ну так что именно?

Фелисити. Он упаковал свои лучшие работы в два больших ящика. И отправил их Рубену Холмсу в Лонгстоун-бридж. Дедушка и сам ехал именно туда. Он не знал, что Рубен Холмс уже умер. Последнее время дедушка плохо себя чувствовал, стал все забывать...

Стэн *(нетерпеливо)*. И он сел не в тот вагон — а ящики уехали без него. Ну, так зачем тут было панику подымать? Утерян багаж — только и всего! Ведь такие вещи случаются на каждом шагу...

Фелисити. Да, но обычно багаж стоит меньше ста пятидесяти тысяч фунтов...

Стэн. Это, конечно, имеет значение...

Фелисити. Но это не главное, только вы все равно ничего не поймете, вы ведь не знаете, о чем идет речь...

Сзади, из глубины коридора, раздается голос сэра Эдмунда: «Фелисити, Фелисити»
Вместо ответа она выбегает на улицу.

Фелисити *(на бегу)*. Скорее, нельзя, чтобы он меня видел.

Они подбегают к мотоциклу и стоят близко друг к другу.

Стэн *(воплощение сарказма)*. Вероятно, вашему отцу не хочется, чтобы вы промокли...

Фелисити. Пожалуй. Но больше всего ему не хочется, чтобы я нашла для дедушки эти два ящика.

Стэн. Ого!

Ф е л и с и т и. Вот вам и ого! Мой отец и некоторые из его знакомых в последнее время утверждают, что дедушка выжил из ума и не может распоряжаться судьбой своих картин. Поэтому мы должны найти эти два ящика раньше, чем это сделают они. Отец уже звонил своим знакомым в Лондон, и кое-кто из них скоро будет здесь. Теперь-то вам понятно, почему поднялся такой шум?

С т э н. Вы победили. Едем. Через час я доставлю вас на станцию Лонгстоун-бридж, если только вы не свалитесь по дороге.

Она садится на заднее сиденье, он тоже садится.
В дверях появляется сэр Эдмунд.

С э р Э д м у н д *(зовет)*. Это ты, Фелисити? Что это ты тут делаешь?

Пока он спускается с крыльца, мотоцикл трогается и с шумом уносится прочь.
Сэр Эдмунд возвращается возмущенный и сталкивается с Бистоном.

С э р Э д м у н д *(негодующе)*. Вы, кажется, сказали, что на мотоцикле поедет ваш сын? Если так, то будьте любезны мне объяснить: почему он увез мою дочь?

Б и с т о н *(сердечно)*. Не знаю. Но не волнуйтесь. Стэн аккуратно водит машину.

С э р Э д м у н д *(злобно)*. Это совершенно недопустимо! Ну, знаете ли... Нашли время!

Проходя по коридору, сэр Эдмунд замечает Кеннета, который уныло ожидает кого-то возле лестницы. Это тоже раздражает сэра Эдмунда.

С э р Э д м у н д *(раздраженно)*. Что ты тут торчишь, Кеннет? Неужели ты не можешь себе найти какое-нибудь занятие?

К е н н е т. Могу, но меня хочет видеть дедушка...

С э р Э д м у н д. Чепуха! Кто тебе это сказал? Наверно, твоя мамаша...

На лестнице появляется сиделка. Она кивает Кеннету.

С и д е л к а *(неохотно)*. Можете зайти — на одну-две минуты...

С э р Э д м у н д *(сиделка, вероятно, его не видит)*. Ну что же, я тоже, пожалуй, зайду...

С и д е л к а *(перебивает, резко)*. Нет, вам нельзя. Только он один.

Сэр Эдмунд раздражен. Он поворачивается и видит Гермион, которая стоит у стойки.

С э р Э д м у н д *(недовольно)*. Что это еще за ерунда — отец хочет видеть Кеннета?

Г е р м и о н. Это его идея, а не моя. А почему бы и нет?

С э р Э д м у н д. Он, вероятно, лишился рассудка. *Кеннета!*

Г е р м и о н. У тебя, Эдмунд, больше денег, чем у меня, но я тебе поставлю пару стаканов, если только ты соизволишь понять, что ты здесь не в своем чертовом министерстве.

Кендл говорит с Кеннетом. Он произносит слова очень медленно, с большим трудом.
Его пальто лежит на кровати. Он что-то ищет в карманах.

К е н д л. Видишь, мой мальчик, я стал похож на своего старого друга Сикерта: не мог удержаться, чтобы не снять еще одну маленькую студию. А, вот он... *(Он находит ключ и дает его Кеннету)*. Ключ от номера седьмого в Йорк-Гарден Мьюз, — впрочем, адрес вот тут записан. Повтори, что ты будешь делать, мальчик.

К е н н е т *(повторяет инструкции)*. Возьму такси, вывезу оттуда холсты, наброски, записные книжки, все это спрячу в своей комнате и никому не скажу ни слова...

К е н д л. Это самое трудное — держать язык за зубами. Ты на это способен?

К е н н е т. Будь спокоен. Уж я-то себя знаю, дед. Правда, у меня нет денег...

В это время Кендл уже нашел свой толстый бумажник и трясущимися руками достает несколько банкнот по пять фунтов стерлингов.

Кендл *(дает деньги Кеннету)*. Двадцать фунтов — этого тебе хватит на расходы и на чертовски шикарный обед для твоей девушки...

Кеннет. Мне не нравятся девушки, которые любят чертовски шикарные обеды. Мы все предпочитаем таких, которых можно повести в закусочную.

Кендл. Все вы — дикари, бьющие в барабаны среди каменных джунглей. *(Пристально смотрит на Кеннета)*. Но будь честным дикарем, Кеннет, мой мальчик. Я тебе верю.

Кеннет *(серьезно)*. Я бы мог подвести кого угодно. Ни за грош. Но не тебя, дед. Ты считаешь, что я могу быть полезным, — и я помогу тебе. Вот увидишь.

Фелисити и Стэн, оба совершенно промокшие, разговаривают с носильщиком. Слышны гудки и шум паровозов.

Носильщик. Два больших ящика? Как же, помню, помню. Прибыли позавчера, в восемь пятьдесят вечера.

Фелисити *(радостно)*. Значит, они здесь?

Носильщик. Ну, нет. Мой напарник погрузил их вчера утром на семичасовый поезд... Если только их не отправили обратно в Лондон или на Берпул, они должны быть на станции Грэнгли.

Стэн. Позвоним туда.

Носильщик. Это вам ничего не даст. Лучше поезжайте сами. Здесь всего тридцать миль.

Фелисити. О господи, я так хочу есть.

Носильщик. Вы еще успеете в «Белый лев»...

Стэн. И вы увидите, как я ем горошек с ножа...

Фелисити. Да замолчите вы!

Она поворачивается и идет, он следует за ней.

Кендл в полузабытьи, пальцы его беспокойно шевелятся. Сиделка Петтон подходит к нему и поправляет подушку и простыню. Она очень мрачна.

Снова железнодорожная станция. На этот раз Фелисити и Стэн разговаривают с пожилым железнодорожным служащим, медлительным и туповатым.

Железнодорожник. Да, здесь была какая-то путаница с этими двумя ящиками. Мы их отправили на Берпул-сентрал, а они говорят, что отправили их обратно, но мы ящиков еще не видели...

Стэн. Куда же они делись?

Железнодорожник. Ну, здесь-то их нет, и в Лонгстоун-бридж, говорят, их тоже нет. Значит, если Берпул-сентрал не отправил их обратно в Лондон — они по ошибке могли это сделать,— так эти ящики застряли где-нибудь между нашей станцией и Берпул-сентрал...

Фелисити *(с негодованием)*. О, проклятие! Что ж нам теперь, искать их по всем станциям?

Стэн *(с оттенком снисходительности)*. Может, вы лучше бросите поиски — давайте я сам все сделаю.

Фелисити *(возмущенно)*. Ни за что. Даже если эта проклятая машина вытряхнет из меня все внутренности. Едем. *(Они уезжают)*.

Бар. Ранний вечер. Зажжены лампы. Гермион, взволнованная, растрепанная, поднимается по лестнице и заглядывает на лестничную площадку, куда выходит дверь комнаты Кендла.

Вместе с нею мы видим сэра Джеффри, доктора Эджа, сиделку Петтон и сиделку Джудит, столпившихся возле комнаты Кендла. Мы не слышим, о чем они говорят, но видим, что сэр Джеффри говорит внушительно и авторитетно.

Доктор Эдж и сиделка Петтон уходят.

Гермион поспешно спускается вниз, одним залпом проглатывает содержимое своего стакана и возвращается к лестнице, по которой спускаются доктор Эдж и сиделка Петтон.

Гермион *(возбужденно)*. Скажите мне правду. Ему хуже, да?

Доктор Эдж. Сильных болей у него нет, и мы делаем все, что возможно. Я сейчас принесу кислородную подушку, на случай если она понадобится. Извините меня.

Он проходит мимо нее. Сиделка Петтон уже ушла. Гермион, совершенно подавленная, подходит к двери в маленькую гостиную и открывает ее. На пороге, преграждая ей путь, появляется сэр Эдмунд.

Гермион. Отцу хуже, Эдмунд. Я так и знала.

Сэр Эдмунд. Мы еще не слышали заключения сэра Джеффри. Здесь у меня Генри Марч и сэр Маркус Коннор, мы ждем сэра Джеффри — нам предстоит решить важный вопрос.

Гермион. Неужели у вас опять будет совещание?

Сэр Эдмунд. Ну, конечно, ты ведь не захочешь принять в нем участие. *(Понижая голос)*. И пожалуйста, не пей ты так много. Вероятно, скоро опять вернутся репортеры,— прошу тебя, будь осторожней...

Гермион *(горько)*. Осторожней? В чем? Кеннет уехал. Фелисити еще не вернулась. Сюда ты меня не пускаешь. К отцу — тоже. Я не должна пить. Так куда же мне идти и что мне делать?

За спиной Гермион появляется сэр Джеффри.

Сэр Джеффри. А-а! Я вижу, меня здесь ждут. *(К Гермион, которая уступает ему дорогу, любезно)*. Какая скверная погода, не правда ли?

Он проходит в комнату, дверь закрывается. Гермион медленно возвращается в бар и садится в углу. Томми подходит к ней.

Гермион. Пожалуйста, Томми, двойную порцию джину.

Томми подает джин.

Томми. Пожалуйста. Что вам сказал этот хлыщ доктор?

Гермион. Он сказал, что сейчас скверная погода.

Томми. Ну, а что здесь делает большое начальство?

Гермион. Устроили себе совещание, а нам оставили эту погоду. *(Берет стакан)*. Благодарю. Господи! Как я несчастна, Томми! *(Пьет, потом смотрит на дверь в маленькую гостиную и бормочет)*. Бонзы!

Маленькая гостиная. Сэр Эдмунд, сэр Джеффри, Генри Марч, сэр Маркус Коннор. Марч — пожилой человек, типичный адвокат. Сэр Маркус моложе, это официального вида человек, с вкрадчивыми манерами. Они расположились солидно, значительно. Вчетвером они как будто заполнили всю комнату — так, что в этом есть нечто неестественное. Все в этой сцене — общий вид, голоса — подчеркивает, что перед нами официальная Англия, столпы общества. Нужно постараться передать эту атмосферу, но ни в коем случае нельзя ничего утрировать, чтобы не получился фарс. Это скорее зловещая сцена, чем комическая. Зритель должен почувствовать, что все участники ее понимают друг друга с полуслова.

Сэр Эдмунд *(заканчивая объяснения)*. Итак, сэр Джеффри, мы решили, что Трест Кендла принимает это ценнейшее собрание картин и рисунков. Некоторые из них выполнены тридцать-сорок лет назад. В свое время мой отец отказался их продать, не так ли, Генри?

Генри Марч. Я бы лучше пояснил, что правление Треста — сэр Эдмунд, представляющий семью Кендл, сэр Маркус, представляющий национальные галереи, и я, как адвокат и финансовый поверенный в делах,— будет иметь право продать или передать в дар все картины, составляющие собственность Треста...

Сэр Маркус. Я, разумеется, всегда хотел, чтобы некоторые известные мне картины стали достоянием Нации. Но Саймон Кендл всегда был очень упрям и несговорчив.

Сэр Эдмунд. Откровенно говоря, когда его рассудок стал слабеть, он занял враждебную и совершенно нелепую позицию по отношению к государству и к правительственным кругам. И это, конечно, очень усложнило мои отношения с ним...

Сэр Джеффри. Не стану хвастать, что он оказался легким пациентом. Джентльмены, в этом вопросе я с вами вполне согласен, однако доктора Эджа мне не удалось убедить в том, что больной больше не может вести свои дела. Но я повторяю: его упрямство и странности безусловно можно объяснить его возрастом и состоянием здоровья. А как я уже говорил, в состоянии больного следует ожидать внезапного ухудшения, ему угрожает полная потеря сознания, и в то же время, как я заявил после первого же осмотра, его сердце может сдать в любую минуту...

Сэр Эдмунд. Так что же вы предлагаете, сэр Джеффри?

Сэр Джеффри. В течение нескольких часов он будет в полном сознании, так как ему сделана специальная инъекция. Если действовать спокойно и по-деловому, я думаю, самое разумное и надежное — пойти к нему. Я полагаю, у вас уже готов официальный документ, который он мог бы подписать...

Генри Марч *(берет внушительного вида документ)*. Вот он — все готово...

Сэр Джеффри. Отлично! Я предлагаю, чтобы вы продумали, что именно вы должны ему сказать, и сказали это тактично, спокойно, но твердо.

Комната Кендла. Он разговаривает с Джудит. Кендл уже не выглядит таким измученным и утомленным, как накануне, он кажется более энергичным, но состояние у него лихорадочное, неспокойное.

Кендл. Так вы сказали, Джудит, там внизу, что я хочу видеть мою внучку и Стэна, как только они вернутся?

Джудит. Да, мистер Кендл. Всем сказала.

Кендл. Я уже спрашивал вас об этом, не правда ли?

Джудит *(в замешательстве)*. Да...

Кендл. Я, наверно, чертовски вам надоел. Но это очень важно, во всех отношениях.

Она смотрит на него с любопытством. Его взгляд блуждает по комнате. Замечает на стене текст из священного писания: «Бог — есть любовь».

Кендл. «Бог — есть любовь». Я всегда считал, что это не так.

Джудит *(удивленно)*. Что не так? Что бог есть любовь?

Кендл. Да. Бог — мы говорим, что он создал все: миллионы галактик, и каждая из них состоит из миллионов солнц,— и в то же время он есть любовь. Значит, каждый предмет вселенной — это любовь, она дешевле навоза, так ее много. И люди считают: незачем им беспокоиться, незачем любить, незачем самим созидать любовь. Если бы мы сказали, что Бог есть могущество, но хочет быть любовью, мы вели бы себя разумнее...

Джудит. Мне кажется, я всегда чувствовала то же...

Кендл. Конечно. Настоящие женщины инстинктивно чувствуют, что любовь — это нечто созидательное. Так же, как мужчины знают, что они должны создавать произведения искусства — любые — есть много видов искусства... Женщины без любви, мужчины без искусства, народ, который ничего не создает и прозябает в жалкой, бесполезной жизни, — это скопище уродов и чудовищ, которые думают только об уничтожении друг друга, это тухлые яйца, из которых ничего не вылупится...

В дверях появляется сэр Джеффри.

Сэр Джеффри *(профессионально-сердечным тоном)*. Отлично, отлично, мистер Кендл, вы полны сил.

К е н д л. Когда я не могу рисовать, я начинаю проповедовать. Этой бедняжке приходится все выслушивать.

С э р Д ж е ф ф р и *(тем же тоном)*. В таком случае, вы не откажитесь уделить несколько минут посетителям. *(Оглядываясь)*. Ну что ж, входите, джентльмены.

Входят сэр Эдмунд, сэр Маркус, мистер Марч и сэр Джеффри. Они стоят, глядя вниз на Кендла. Показать их надо с его точки зрения — массивными, внушительными и зловещими.

К е н д л. Сэр Эдмунд, сэр Джеффри, сэр Маркус и сам Закон в лице мистера Марча — не слишком ли это много для больного художника и заботливой ночной сиделки? Что вы на это скажете, Джудит? Это не просто люди — с жалким умом, который не в силах охватить всего происходящего, люди из плоти и крови, как вы и я. Нет, каждый из них—это ведомства, учреждения, законы — это Англия, в которой нам позволили жить...

С э р Э д м у н д. Да, и без которой ты, отец, жить не сможешь...

К е н д л. Мой мальчик, не думаю, что мне осталось долго жить...

С э р Э д м у н д *(поспешно)*. Надеюсь, ты ошибаешься, но это лишний раз доказывает, что ты должен помнить о своих обязанностях...

К е н д л *(прерывает его)*. Я помню, помню...

С э р Э д м у н д *(очень спешит)*. Мы принесли документ нашего Треста...

М а р ч *(показывая документ)*. Вот он, мистер Кендл...

С э р Э д м у н д. Нам нужна только твоя подпись.

С э р М а р к у с. Тогда вы можете быть уверены, что Трест примет на себя все заботы по...

К е н д л *(прерывая)*. Да, да, Маркус, я знаю, я уже слышал все это раньше.

С э р Д ж е ф ф р и. Совершенно верно, мистер Кендл. Но сейчас...

К е н д л *(прерывая)*. Сейчас у меня осталось немного времени...

С э р Д ж е ф ф р и *(поспешно)*. Я не говорил этого...

К е н д л *(прерывая)*. Так я говорю за вас. И это правда. Времени осталось немного. Его всегда не хватает, это вам может подтвердить любой художник, но если вы живете творческой жизнью, всем сердцем и умом, тогда вам хватит времени...

С э р Э д м у н д. Для того, чтобы привести в порядок свои дела?

К е н д л. Да, Эдмунд, и для этого.

М а р ч. Насколько я знаю из своей практики, вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, какие затруднения могут возникнуть...

К е н д л *(прерывая реплику на слове «затруднения»)*. Может быть, я и не знаю — я старик, глупый, упрямый, несговорчивый, надоедливый, но я еще принадлежу себе, а не вам, джентльмены. Это и к тебе относится, Эдмунд, — уходите...

С э р Э д м у н д *(гневно)*. Ты вынуждаешь нас предпринять кое-какие шаги...

К е н д л *(с явным презрением)*. Сделайте несколько шагов и закройте за собой дверь.

Кендл берет с кровати или со столика календарь, на котором он рисовал, и рассматривает его, ни на кого не обращая внимания. Присутствующие не знают, что им делать. Обмениваются многозначительными взглядами, затем покидают комнату. Джудит смотрит на Кендла.

Д ж у д и т *(нерешительно)*. Вы... считаете, что поступили справедливо, мистер Кендл?

К е н д л. Напрасно я так говорил со своим сыном. Он не может не быть таким, каков он есть. Он — полная противоположность мне,— возможно, это моя вина. Но не забывайте, что мне пришлось выслушать этой болтовни в тысячу раз больше, чем вам.

Джудит *(старается быть справедливой к ним)*. Но они, вероятно, не хотели причинить вам вред, они просто старались выполнить свой долг...

Кендл. Мир переполнен людьми, которые могут всех нас растоптать и выбить нам зубы только потому, что они выполняют свой долг. Мне бы хотелось, чтобы большинство из них перестало выполнять свой долг. А эти господа только и могут что причинять вред — вам, мне и всем людям. Они ничего не вносят в жизнь, и все вокруг них в результате их стараний лишено жизни. А в Лондоне сейчас из-за них шагу негде ступить; сотни и сотни солидных служащих, без единой живой мысли, без единого благородного порыва, замораживают сердца и души всех окружающих, лишают вкуса и запаха все то, к чему прикоснутся. Уже несколько недель они пытаются заставить меня вступить в очень солидный трест. Нет, им нужен не я, а мои работы, а меня они с удовольствием запрятали бы в сумасшедший дом, если бы могли. Вот почему я упаковал все картины и удрал. Я не люблю их Англию — все это слишком уж гадко, я не хочу с ними иметь ничего общего.

Внезапно он останавливается, по-видимому совершенно обессиленный. Джудит подходит ближе, очень озабочена.

Джудит. Это все я виновата. Не надо было разрешать вам так много говорить...

Кендл. Но я... хочу говорить. Все это выдумки, будто женщины много говорят! Всякий раз, когда я встречал женщину, которая мне нравилась, я заговаривал ее до потери сознания...

Легкий стук в дверь, в комнату заглядывает ухмыляющийся Томми.

Томми. Не волнуйтесь, сестра, я только на минутку. Но тут опять пришли репортеры и задают вопросы. Так что́ им сказать?

Кендл. Все, что придет тебе в голову, Томми. Но нет ли у тебя каких-либо известий от моей внучки или от твоего героя — Стэна?

Томми. Ни слова.

Кендл. Как только они появятся, Томми, они должны прийти прямо сюда. Не забудь об этом...

Томми. Не забуду, мистер Кендл. Ваша дочь только что пошла в маленькую гостиную. Счет огромный, все большое начальство беснуется — а ей и горя мало... *(Он уходит)*.

Кендл. Джудит... если мое пальто здесь... подайте мне его, пожалуйста. *(Она подходит к шкафу)*. А потом спуститесь вниз, скажите моей дочери Гермион, что это я прислал вас проводить ее в ее комнату.

Джудит кладет на кровать его пальто.

Джудит. На это уйдет много времени. Я не должна вас оставлять одного...

Кендл. Мне будет легче, когда я узнаю, что Гермион в своей комнате. Идите, моя милая.

Она выходит. Он медленно тянет к себе пальто, нащупывает в кармане флягу, достает ее, отвинчивает пробку и пьет.

Кендл *(шепчет про себя)*. Ну, последний глоток — на дорогу, Саймон, старина,— на дорогу!

Когда он снова поднимает флягу, входят Фелисити и Стэн. Промокшие и утомленные, но торжествующие, воплощение жизнерадостности и молодости.

Фелисити *(увидев флягу)*. Старый обманщик — ты пьянствуешь! Ведь тебе же это вредно.

Кендл *(протягивая ей флягу)*. Ничуть. Теперь твоя очередь.

Фелисити *(берет флягу)*. Как раз то, что мне нужно. *(Делает большой глоток)*.

Стэн. А мне?

Фелисити *(передает флягу Стэну, он пьет)*. Мы нашли твои ящики. Нам не хотели их отдавать — но Стэн рассвирепел. Он без ума от твоих картин, и это придало ему сил.

Стэн. Ничего бы мы не добились, если бы она не вручила им доверенности с вашей подписью, которую она преспокойно подделала, она ни перед чем не остановится.

Фелисити. Мы, конечно, не привезли их сюда, но они спрятаны в надежном месте. Отец со своей бандой уже здесь побывал? Конечно, как же иначе! Ну, а что ты теперь собираешься делать?

Кендл. Теперь я собираюсь больше ни о чем не волноваться. Так вам нравятся мои картины, Стэн?

Стэн. Всегда нравились — очень. Я и сам пробую немного рисовать — в свободное время.

Кендл. Ну и денек выдался для вас, не правда ли?

Фелисити. Он показался мне целой неделей.

Кендл. Ты считаешь, что Стэн невыносим?

Фелисити *(поспешно)*. Да.

Стэн. Ну, и она тоже фруктик, я вам скажу!

Фелисити. «Фруктик»! Как он говорит, этот человек!

Стэн. Но я все-таки должен признать — здóрово она держалась, когда мы тряслись на мотоцикле, а потом улыбалась этим проклятым железнодорожникам, а я выходил из себя. Да, нужно отдать ей справедливость... ей и ее классу...

Фелисити. Классу! Вот как он говорит! Это ужасно! И все же я рада, что сегодня со мной рядом был он, с его энергией и решительностью, а не один из этих очаровательных юношей, этих безмозглых молодых людей. Это я для тебя говорю, дорогой.

Входят доктор Эдж и Джудит.

Доктор Эдж. Знаете ли, мистер Кендл,— я все-таки не могу этого разрешить в вашем состоянии.

Кендл. Доктор, теперь я знаю о своем состоянии больше, чем вы. У меня осталось только время, чтобы закончить свои дела, а потом я могу отдохнуть. Во внутреннем кармане моего пиджака есть заготовленный текст завещания, достаньте его, Джудит, и дайте, пожалуйста, доктору... *(Она выполняет его просьбу. Кендл обращается к доктору)*. Вы, конечно, не запретите человеку передать свое имущество...

Стэн *(собираясь уйти)*. Не буду вам мешать...

Кендл. Вы мне нужны. Сидите спокойно и слушайте. Итак, доктор, из этого документа вам станет ясно, что два лица, обозначенные в завещании, получают в наследство все мои картины и рисунки. Они имеют право продать эти картины, отдать их в дар — сделать с ними все, что им будет угодно...

Доктор Эдж. Да. Здесь все написано, кроме фамилий...

Кендл. Вы их сейчас внесете, а потом вы и Джудит подпишетесь в качестве свидетелей. Фамилии наследников — Фелисити Кендл и Стэн Бистон.

Стэн *(потрясенный)*. Я? Но вы же не можете...

Кендл *(перебивая)*. Успокойтесь. Я разговариваю с доктором Эджем, а не с вами. Видите ли, доктор, мои дети — сын и дочь — получат определенный капитал, но я долго не мог решить, что делать со всеми этими картинами, которые останутся после меня. Теперь я больше всех верю этим двоим: Фелисити и Стэну. Они делают вид, что терпеть друг друга не могут, оба они снобы, ни на минуту не забывают об общественном неравенстве, как и многие англичане, —а мое завещание выбьет из них всю

эту дурь. Им придется часто видеться, чтобы решить, что делать с моими картинами; не успеют они оглянуться, как уже будут женаты...

Стэн. Ну, знаете ли!

Фелисити. Никогда!

Крупный план. Они с негодованием смотрят на Кендла, потом друг на друга, но негодование им плохо удается. Их лица выражают что-то совсем другое. Кендл продолжает говорить — за кадром.

Кендл. Словом, доктор, если вы и Джудит поставите здесь свои подписи, все будет в порядке — никаких забот, никаких тревог, никаких недоразумений...

Внизу, в баре, — эта сцена должна быть очень многолюдной, шумной и беспорядочной. Все репортеры, которых мы видели раньше, снова здесь, а также много новых репортеров и фотокорреспондентов. Невероятный шум. Бистон, миссис Бистон и Томми Дарт с трудом успевают подавать. Видно, что в баре хозяйничают репортеры. Нижеследующий диалог слышен отчетливо только потому, что ведется в повышенном тоне. Сэр Эдмунд, сэр Маркус и мистер Марч стоят в дверях маленькой гостиной. Сэр Эдмунд, взбудораженный и злой, громко отвечает группе репортеров.

Сэр Эдмунд *(так, будто он заканчивает заявление, предназначенное для печати)*. Мой отец, подобно Тэрнеру, с которым его так часто сравнивают, отказался продать многие из самых значительных своих произведений. Сэр Маркус Коннор и я решили создать специальный Трест, который будет ведать всеми этими делами...

Его прерывает молодой репортер, которого мы видели раньше.

Молодой репортер *(выкрикивает из задних рядов)*. Ваша дочь говорит совсем другое, сэр Эдмунд...

Сэр Эдмунд *(раздраженно)*. Что вы имеете в виду? Никто не уполномочил мою дочь делать какие бы то ни было заявления...

Слышен голос Стэна.

Стэн *(громко)*. Я думаю, что заявлений делать не следует.

Фелисити и Стэн спускаются с лестницы и останавливаются на нижней ступеньке, в другом конце бара. Репортеры смотрят им вслед, Фелисити стискивает руку Стэна. Шум не стихает.

На верхней площадке лестницы сэр Джеффри спорит с доктором Эджем.

Доктор Эдж. Очень сожалею, сэр Джеффри, что не могу с вами согласиться. Он слабеет с каждой минутой, пульс почти не прощупывается, мы должны быть готовы ко всему, сейчас дадим кислородные подушки,— но рассудок его в полном порядке.

Сэр Джеффри *(резко)*. Я не могу согласиться с вами, доктор, и вынужден настаивать на изменении диагноза...

Комната Кендла. Он протягивает Джудит календарь, на котором рисовал.

Кендл *(теперь он очень слаб)*. Это был календарь Бистона... они не будут возражать... теперь это последний рисунок Саймона Кендла... возьмите его себе...

Джудит *(берет календарь)*. О... благодарю вас... но вы действительно хотите, чтобы такая ценная вещь досталась мне?

Кендл. Да, моя милая. Последний рисунок — последнему из моих друзей. Вот, посмотрите... *(Она смотрит, одно мгновение мы видим лицо Кендла, затем — ее лицо, а голос Кендла — за кадром)*. Эта девица, которую здесь нарисовали, была нереальна — плоская, нелепая... Но несколько штрихов, если вы знаете, как их следует нанести, придадут ей форму, реальность, цель и смысл — вдохнут в нее жизнь...

Он заканчивает коротким, странным криком. Джудит, которая слушала его улыбаясь, страшно напугана этим криком, она бросается к нему, потом бежит к двери и кричит.

Д ж у д и т. Доктор! Доктор!

Оба доктора бегут в комнату, Эдж впереди.

Снова в баре, невероятный шум. Сэр Эдмунд и сэр Маркус спорят с группой репортеров. Это не диалог, сцена протекает стремительно. Стэн и Фелисити отрицательно качают головами в ответ на вопросы другой группы репортеров.

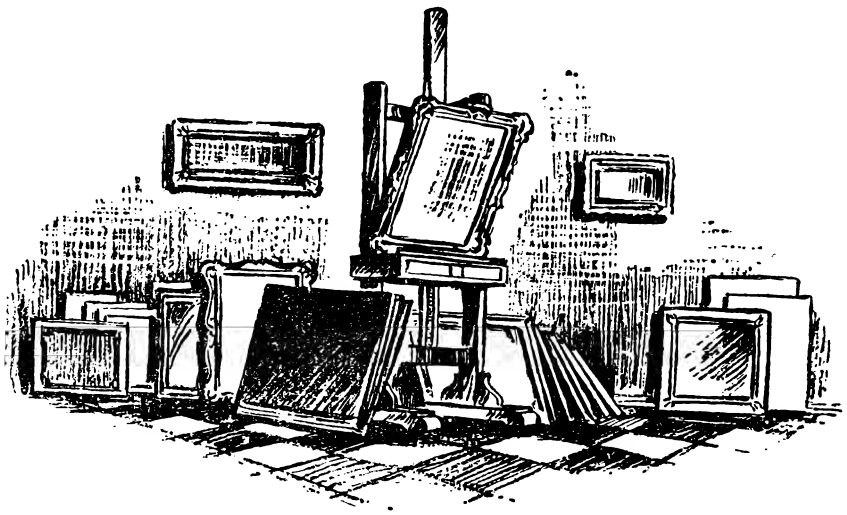
М о л о д о й р е п о р т е р *(выкрикивает, заглушая шум)*. Да замолчите же, ребята! Смотрите!

Внезапно наступает полная тишина. Взоры всех присутствующих обращены к лестнице. По ступенькам спускается доктор Эдж. Он мрачен.

Д о к т о р Э д ж *(ничего не выражающим голосом)*. Саймон Кендл скончался.

Мы не видим, какое впечатление произвели эти слова на публику в баре. Музыка. Фасад гостиницы, в спальне гаснет свет. Ночь. Дождь. От станции, кажется, отходит поезд.

Конец



Из турецкой поэзии

Перевод с турецкого Р. Фиша

Суад Ташер

СРЕДИ НОЧИ

Добрые мысли приходят ко мне.

Скажем, любовь или, скажем, свобода.
Родина,— говорю я себе,—
ничего прекраснее нет.
Родина —
наша нива, наш розовый сад и наша могила,
и мать, и сестра, и милая.
Родина,— говорю я себе, —
наша участь — в твоей судьбе.
Родина,
ради тебя мы живем
и ради тебя умрем.

Добрые мысли приходят ко мне.

А это безмолвие?
Жесткое,
черное,
тяжкое, словно свинец,
оглушающее безмолвие?
И эта смерть, наконец,
или как ее там зовут,
черт бы ее побрал?!
Однако
добрые мысли приходят опять ко мне.
Держись,— говорю я себе, —
держись, брат мой, Суад!
Полжизни, полночи прошло.
Друзья тебя ждут впереди.
Держись, друзьям и врагам назло.

Добрые мысли приходят ко мне.

Жизнь,— говорю я, — за нас.
Любовь и надежда — за нас.
За нас — на ветке цветок,
за нас — на небе звезда.
И день, что скоро придет,
тоже будет за нас.
Знаю.
Но эта смерть
и этот бескрайный гнет
за кого?

Снег беспрерывно идет.
Юность моя далеко.
В глаза мне уставилась тьма.
Время песню поет,
что мы не слыхали вовек.

Полночь.
Медленно падает
снег.

Добрые мысли приходят ко мне.

Месуд Тарджан

СЧАСТЬЕ

Ты — солнечный день, когда я остаюсь без гроша.
Ты — тихая полночь, когда я домой возвращаюсь.
Ты — пчела, что в часы одиночества
торопится медом налить
соты в моей душе.

Что там зря говорить!
Лишь довелось бы друзьям его полною чашей испить.

Джанид Сытны Таранджы

ПУСТЬ ДЕНЬ...

Не знаю, что скажут грядущие дни,
И тех, кто их мог бы понять, не найти.
От мыслей о смерти никак не отбиться,
От мыслей о свете, о саде, о птице.

Всем сердцем к судьбе я взываю:
Беды не страшусь я и все принимаю.
За горе и муки прошу лишь одно —
Пусть день непрестанно мне светит в окно.

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ...

Я хочу, чтобы в нашей стране
были зелень в ветвях, желтизна на полях, синева в небесах,
рай для птицы в лесах, для цветов на лугах.

Я хочу, чтобы в нашей стране
ни богатых, ни бедных не стало,
чтобы не было горем разбитых сердец и голов, от заботы усталых.

Я хочу, чтобы в нашей стране
не лилась больше братская кровь,
чтобы каждый имел зимою над своей головою кров.

Я хочу, чтобы в нашей стране
жилось как любилось, мечталось.
Я хочу, чтобы в нашей стране
смерть единственным горем считалась.

«ЧОЧАРА». *Рис. Д. Дубинского.*

Альберто Моравиа

Чочара

РОМАН

Перевод с итальянского Г. Богемского и Г. Брейтбурда

Под редакцией Н. Георгиевской

ГЛАВА ПЯТАЯ

Вскоре после посещения Тонто с его зловещими рассказами о немецких облавах полили дожди. А весь октябрь простояла прекрасная погода, без малейшего ветра, небо было ясное, воздух свежий, чистый. Когда мы жили там в горах, в такую погоду, чтобы скоротать дни, казавшиеся нам совершенно нескончаемыми, мы могли хотя бы пойти погулять или же попросту посидеть на воздухе, любуясь открывавшимся видом на Фонди. Но однажды погода внезапно переменилась: встав поутру, мы почувствовали, что па́рит, а потом увидели, что море затянуто пеленой, а небо покрыто тяжелыми темными тучами, нависшими над свинцовым морем, будто пар над кастрюлей с бурлящим кипятком. Не прошло и нескольких часов, как тучи, подгоняемые слабым влажным ветром, дувшим с моря, закрыли все небо. Беженцы отлично понимали, что это значит, они ведь родились в здешних местах, и сказали нам, что тучи эти дождевые и дожди будут лить не переставая, до тех пор пока сирокко, дующий с моря, не сменится трамонтаной — ветром с гор. Так действительно и было: около полудня начали падать первые капли, и мы забились в нашу комнатку, ожидая, когда дождь перестанет. Но как бы не так: дождь лил весь день и всю ночь, а на следующее утро море стало еще темнее и все небо сплошь затянуло черными тучами. Облака клубились на горах, а снизу, из долины, вместе с порывами сырого ветра ползли все новые набухшие влагой облака. После небольшой передышки снова полил дождь и с тех пор, уж не знаю сколько дней, наверно более месяца, не переставал ни днем ни ночью.

Людям, живущим в городе, дождь нипочем. Выходишь на улицу, идешь по тротуару или по асфальту мостовой, держа над головой зонтик; а если сидишь дома, у тебя в комнатах деревянный или каменный пол. Но там, в горах, в Сант-Эуфемии, в хижинах на «мачере», дождь был сущим наказанием божьим. Целыми днями сидели мы дома, в своей темной комнатке со скошенным потолком, с распахнутой настежь дверью, так как окон не было, и смотрели на дождь, который все лил и лил, образуя перед нашей дверью плотную дымящуюся завесу. Я сидела на постели, а Розетта на стуле, который я заполучила у Париде, уплатив ему за прокат. До обалдения глядели мы на дождь и молчали, а если и говорили, то о дожде да о бедах, какие он несет людям. О том, чтобы выйти на улицу, и думать было нечего, только в случае крайней необхо-

---

Продолжение. Начало см. в № 1.

димости выбирались мы из домика, к примеру сказать, чтобы собрать хворост или по естественной надобности. Мы проваливались по щиколотку в грязь, а дождь безжалостно хлестал нас. Даже самому злейшему своему врагу не пожелала бы я испытать того, что испытали мы тогда. Добавлю, что дождь досаждал нам не только на дворе, но и дома: ведь в нашем сарайчике пола не было, и по утрам была такая грязь под ногами, что нам, вставая с постели, приходилось прыгать, как лягушкам, с камня на камень, которые мы специально положили на землю, чтобы не угодить в грязь и не вымазать ноги в густой, шоколадного цвета жиже. Словом, дождь проникал повсюду, и сырость развелась вокруг ужасающая. Стоило за что-нибудь взяться, сделать хотя малейшее движение, как мы оказывались обрызганными грязью: она была на юбках, на ногах — везде, где только можно. Грязь на земле и дождь с неба; Париде и его семья к этому привыкли и всё утешали себя, говоря, что эти дожди — дело обычное и даже необходимое, они повторяются из года в год, и ничего другого не остается, как ждать, когда они кончатся. Но для нас с Розеттой это было настоящим мучением, самым ужасным из всего, что нам до тех пор довелось испытать.

Однако еще худшим последствием этих дождей, как нам в конце концов удалось узнать, было то, что англичане из-за дурной погоды остановились на реке Гарильяно и об их наступлении не могло быть и речи. Понятно, стоило только англичанам отказаться от мысли идти вперед, как немцы — по крайней мере, так говорили — сразу же решили больше не отступать, а, напротив, закрепиться там, где остановились. Ничего я не смыслю ни в войне, ни в сражениях; знаю только, что однажды, в обычное дождливое утро, прибежал, запыхавшись, крестьянин и принес листок, на котором было что-то напечатано: это был приказ, расклеенный немцами во всех деревнях и селениях. Микеле прочел его и объяснил нам, о чем в нем говорилось: немецкое командование решило эвакуировать население из всего района между морем и горами, в том числе из деревушки, где мы жили,— она действительно упоминалась в приказе. Для каждого населенного пункта был назначен особый день, когда должна была произойти эвакуация, предписывалось не брать с собой ни чемоданов, ни узлов, а только немного продуктов. Словом, надо было бросить на произвол судьбы дома, хижины, скот, сельскохозяйственные орудия, мебель и все свое добро, посадить на плечи детей и идти по горам, крутыми козьими тропами, под дождем, все дальше и дальше, в сторону Рима. Разумеется, эти негодяи немцы, сукины они дети, как обычно, угрожали тем, кто не подчинится, различными наказаниями: арестом, конфискацией имущества, угоном в Германию, расстрелом. Для эвакуации нашей местности был дан срок в два дня, а через четыре приказано было освободить вообще весь район, чтобы немцам и англичанам было где развернуться и на свободе убивать друг друга.

Филиппо и другие беженцы, а также и крестьяне, теперь уже привыкшие смотреть на немцев как на единственных оставшихся в Италии представителей власти, услышав об этом приказе, в первую минуту не столько негодовали, сколько пришли в отчаяние: немцы требовали невозможного, но ведь это же власть и никакой другой власти, кроме них, нет; значит, скрепя сердце приходится подчиниться или... впрочем, жители не знали, что им остается делать. Беженцам однажды уже пришлось оставить свои жилища, покинув Фонди, и они понимали, что значит бежать; теперь им снова предстояло бежать—по горным тропинкам, в холодную пору, под дождем, лившим, не переставая, с утра до вечера, по топкой грязи, по которой невозможно было добраться не только что до Рима, но даже до конца «мачеры»; идти наобум, без проводника, не зная толком, куда держать путь,— и они совсем пали духом. Женщины плака-

ли, мужчины кляли все на свете, а когда не бранились, то молчали, совсем подавленные. Крестьяне, как Париде и другие знакомые мне семьи, которые тяжело трудились всю жизнь, вручную возводя террасы «мачер», обрабатывая их, строя там домики и хижины, — мало сказать, что пали духом, они просто стали как невменяемые: никак не могли они поверить, что придется уходить. Кто все повторял: «А куда же мы пойдем?..», кто просил еще раз, слово в слово, прочесть приказ и, прослушав его, говорил: «Нет, быть этого не может, это немыслимо». Бедняги, не понимали они, что для немцев ничего невозможного не существовало, когда речь шла о том, чтобы навредить другим. Невестка Париде Анита, у которой было трое малышей, а муж воевал в России, выразила волновавшее всех чувство, вдруг преспокойно, безразличным тоном заявив:

— Да я скорее убью своих детей, а потом себя, чем уйду отсюда!

И я поняла, что говорила она так не только с отчаяния, а потому, что сознавала — идти с тремя маленькими детьми, в зимнюю стужу, по горным тропкам, значило обрекать их на смерть. Так не лучше ли убить их сразу, и дело с концом.

Лишь один Микеле не терял головы, и это, я думаю, потому, что он никогда не считал немцев законной властью: в его глазах, как он часто об этом говорил, они были бандитами, разбойниками и преступниками, просто временно сила оказалась на их стороне, потому что у них было оружие и они пускали его в ход. Прочитав приказ немецкого командования, Микеле только усмехнулся и сказал:

— Ну-ка, шаг вперед тот, кто говорил, что немцы и англичане — это одно и то же и сто́ят друг друга.

Все промолчали, молчал и Филиппо, его отец, к кому эти слова были обращены. Сидели мы все в хижине вокруг очага, дело было вечером. Париде сказал:

— Ты вот над нами смеешься, а ведь для нас это все равно что смерть... У нас здесь дома, скот, вещи, тут у нас всё... Если мы уйдем, что с этим всем станется?

Микеле, насколько, мне кажется, я поняла его характер, любопытный был человек: добрый и в то же время черствый, если хотите, даже великодушный, но вместе с тем и жестокий. Он снова засмеялся:

— Ну и что ж, потеряете все свое добро, а потом, может, и сами умрете... Что же тут особенного? Разве не лишились всего и не умерли тысячи поляков, французов, чехов — словом, все те, чьи страны поработили немцы... Теперь настал наш черед, итальянцев. Пока это происходило с другими, никто из нас и не думал возмущаться, а вот теперь дело коснулось нас самих... нынче мой черед, а завтра твой!

Все были огорошены его словами и больше всех Филиппо. Его так сильно била нервная дрожь, что он едва мог произнести:

— У тебя всё шутки на уме... но сейчас не до шуток.

А Микеле в ответ:

— А тебе-то что? Разве ты не говорил, что немцы и англичане для тебя одно и то же?

Филиппо спросил:

— Что же нам все-таки делать?

И я впервые увидела, что вся его мудрость, выраженная в словах «здесь нет дураков», не стоила ломаного гроша, не могла помочь не только нам, но и ему самому.

Микеле пожал плечами:

— А что, разве не немцы здесь хозяева? Ступайте к немцам и спросите у них, что вам делать. Впрочем, они заставят вас делать то, что написано в этом приказе.

Тогда у Париде вырвалась фраза вроде той, что сказала о своих детях Анита:

— Я возьму ружье и застрелю первого пришедшего сюда немца... Пусть убивают меня потом, ничего не попишешь... по крайней мере, на тот свет я пойду не один.

Микеле засмеялся и сказал:

— Молодчина, вот теперь ты начинаешь кое-что соображать.

Никто из нас не знал, что сказать, Микеле продолжал посмеиваться, а остальные молчали, тупо уставившись на угасавший огонь.

Наконец Микеле сделался серьезным и неожиданно проговорил:

— Хотите знать, что вам делать? — все с надеждой поглядели на него, и он продолжал:— Ничего вам не следует делать, вот и все. Притворитесь, будто никогда и не слыхали об этом приказе. Оставайтесь на своих местах, живите, как жили, наплюйте на немцев, на их приказы и угрозы. Если они и вправду хотят эвакуировать население из этого района, пусть делают это не при помощи клочков бумаги, которым грош цена, а силой. У англичан тоже есть сила, однако плохая погода мешает им применить ее, и они стоят на месте. А что касается немцев, то поверьте, если вы никуда отсюда не тронетесь, они не раз подумают, прежде чем решатся послать сюда в горы, по этим тропкам, солдат. Ну, а если даже немцы и придут, ведь не уносить же им вас отсюда на руках. Одним словом, притворитесь глухими. А там видно будет. Разве вы не знаете, что немцы и наши фашисты расклеивают свои приказы где только можно и всегда в них угрожают смертью ослушникам? Я сам во время событий 25 июля служил в армии и дезертировал, а потом фашисты вывесили приказ, в котором под угрозой смерти требовали, чтобы все вернулись в свои части. А я вместо того, чтобы возвратиться в свою казарму, взял да и пришел сюда. Следуйте моему примеру и не трогайтесь с места.

В нашем трудном положении это был самый простой и правильный выход, и все-таки никому он раньше не приходил в голову, потому что — как я уже говорила — все смотрели на немцев как на власть и всем нужна была власть, какая бы она ни была; кроме того, когда люди видят что-нибудь напечатанное на бумаге, всем кажется, что тут уж возражать нечего и надо подчиняться. В общем, в тот вечер все легли спать почти успокоившись, уже с большей надеждой на будущее, чем поутру, когда вставали. На следующий день будто чудо совершилось — никто и не заикался ни о немцах, ни о приказе. Словно все дали себе слово не вспоминать об этом и делали вид, что вообще никогда никакого приказа и в помине не было. Прошло несколько дней, и все убедились, что Микеле был прав; никто не тронулся с места ни в Сант-Эуфемии, ни — насколько нам было известно — в других деревнях. Немцы, видно, передумали и отказались от своего намерения, потому что больше никаких приказов не появлялось.

Сколько дней лил дождь? Думаю, что не менее сорока, как при всемирном потопе. Теперь к дождям прибавился еще и холод, так как время было уже зимнее. С моря дул порывистый ветер, приносивший туман и сырость; теперь он стал к тому же нестерпимо холодным, и потоки воды, изо дня в день низвергавшиеся на горы из тяжелых туч, смешивались со снегом и маленькими острыми льдинками, коловшими лицо, будто тысячи невидимых игл. Для обогревания в нашей комнатке была лишь маленькая жаровня с углями, которую мы по очереди держали на коленях. Однако чаще всего мы с Розеттой, тесно прижавшись друг к другу, лежали в постели или же шли в хижину и там сидели впотьмах перед очагом, где всегда был разведен огонь. Дождь шел обычно все утро, потом к полудню немного прояснялось, но только самую малость — по небу по-прежнему плыли бесформенные обрывки низко нависших туч, будто на-

биравшихся сил для новых ливней, а грязно-серое море было сплошь затянуто туманом. Затем, во второй половине дня, вновь начинался дождь и лил беспрерывно весь вечер и всю ночь. Микеле целые дни проводил с нами; он говорил, а мы слушали. О чем он говорил? Да обо всем понемногу. Микеле любил говорить и был речист, как профессор или проповедник, так что у меня не раз вырывалось:

— В самом деле, жаль, Микеле, что ты не сделался священником... знаешь, какие бы ты произносил красивые воскресные проповеди!

Я совсем не хочу сказать, что был он пустой краснобай; говорил он всегда что-нибудь интересное, а разговоры всяких болтунов наскучивают, и потом их и вовсе перестаешь слушать. Микеле же мы всегда слушали очень охотно, и иногда я даже бросала свое вязанье, чтобы лучше понять его мысли. Когда он говорил, то не замечал ни позднего времени, ни потухающей лампадки, ни того, что мы с Розеттой по каким-нибудь своим причинам хотели остаться одни; загоревшись, убежденный в своей правоте, он все говорил и говорил мерным своим голосом, и если я его прерывала словами: «Ну, теперь пора ложиться спать» или же: «Ну, теперь надо обедать», — он всегда с досадой умолкал, и лицо его принимало огорченное выражение, будто он хотел сказать нам: «Вот что значит разговаривать с такими глупыми и вздорными бабами, как вы, — напрасный это труд».

В течение тех сорока дней, когда лили дожди, ничего примечательного не произошло, кроме одного события, о котором я хочу рассказать: касалось оно Филиппо и его кума Винченцо. Так вот, однажды утром, когда, по обыкновению, шел дождь и на небе громоздились одна на другую черные тучи, которые непрерывно нагонял ветер со стороны моря, бурлившего, как кипяток, мы с Розеттой стояли и смотрели, как резали козу, купленную Филиппо у Париде. Филиппо собирался часть мяса оставить себе, а остальное распродать по кускам. Коза, белая с черными пятнами, стояла привязанная к столбу, а вокруг толпились беженцы; от нечего делать они глазели на нее, высчитывая, сколько она весит да сколько мяса выйдет, когда ее освежуют и выпотрошат. Розетта, стоя вместе со мной среди луж и грязи, под моросящим мелким дождиком, сказала мне вполголоса:

— Мама, как мне жалко эту бедную козочку... сейчас она жива, а через минуту ее зарежут. Будь это в моей власти, я бы ее не убивала.

Я сказала:

— А что бы ты тогда ела?

Она ответила:

— Хлеб, овощи... разве нельзя обойтись без мяса? Ведь я тоже создана из костей и мяса, и пожалуй, мое мясо мало чем отличается от мяса этой козочки. Разве ее вина, что она животное и не умеет мыслить, не может защитить себя?

Привожу я эти слова Розетты прежде всего для того, чтобы вы могли иметь представление о том, как она рассуждала и что думала даже в те дни, в разгар войны и голода. Может, слова ее покажутся наивными и даже глупыми, но свидетельствовали они об особом нравственном совершенстве Розетты, про которое я уже говорила: не могла я найти в ней ни одного недостатка, будто святая она была; может, совершенство ее шло от неопытности и незнания жизни, но как бы то ни было оно было искренним и от всего сердца. Позже, как уже я говорила, убедилась я, что было оно очень хрупким и отчасти искусственным, подобно красоте выращенного в теплице цветка, который сразу же никнет и вянет, как только его вынесут на свежий воздух. Однако в ту минуту я не могла не растрогаться и не подумать: какая у меня добрая и милая дочка, а я вовсе не стою ее.

Между тем мясник — звали его Иньяцио — снял пиджак и остался в одной жилетке. Глядя на него, никак нельзя было признать в нем мясника — это был печального вида вялый мужчина с копной седеющих волос, длинными усами и глубоко запавшими голубыми глазами. На столике, поставленном возле столба, к которому была привязана коза, уже лежали два ножа и стоял тазик, совсем как в больнице, когда делают операцию. Иньяцио взял со столика нож, провел им по ладони, пробуя, острый ли он, потом подошел к козе и схватил ее за рога, отогнув ей голову назад. Коза беспомощно поводила глазами — казалось, от страха они вылезут у нее из орбит, — ясно было, она понимала, что ее ожидает. Блеяла она жалобно, будто хотела сказать: «Сжальтесь, не убивайте меня». Иньяцио, все еще держа ее за рога, закусил нижнюю губу и одним ударом всадил ей в горло нож по самую рукоятку. Филиппо, помогавший ему, поспешно подставил тазик под горло козы, и из раны, дымясь на холодном воздухе, фонтаном хлынула черная, густая кровь. Коза задрожала, глаза у нее полузакрылись и стали тускнеть — с каждой каплей крови, стекавшей в тазик, жизнь покидала ее. Потом колени у нее подогнулись, и она, можно сказать, доверчиво повалилась на руки человека, убившего ее. Розетта пошла домой под непрерывно лившим дождем, я хотела догнать ее, но пришлось остаться, так как мяса было мало и я боялась, что мне не достанется. К тому же Филиппо обещал отдать мне кишки, а они очень вкусны, если их слегка поджарить на решеточке на медленном огне, причем плиту или таганок надо топить не каменным углем, а древесным или же дровами. Между тем Иньяцио поднял козу за задние ноги и поволок по грязи к двум врытым неподалеку в землю шестам, потом подвязал к ним козу головой вниз: одной ногой к одному шесту, другой — к другому. Все мы столпились вокруг Иньяцио, наблюдая, что он будет делать дальше.

Сначала он взял одну из передних ног козы и отрезал копытце, будто отсек кисть руки. Потом нашел тонкий, но крепкий прутик и просунул его между шкурой и мясом на ножке. Кожа у козы прикреплена к мясу тонкими волоконцами, и содрать ее ничего не стоит, все равно как плохо приклеенный листок бумаги. Просунув прутик, Иньяцио повертел его, чтобы проделать дырочку, а потом, вынув прутик, взял обрубок ножки в рот, словно дудочку, и стал с такой силой в него дуть, что лицо у него побагровело и на шее вздулись жилы. Иньяцио все дул и дул — и коза начала надуваться, так как постепенно наполнялся воздухом промежуток между шкурой и мясом. А Иньяцио все продолжал дуть, и наконец коза раздулась, как полный бурдюк, и качалась в воздухе меж двух шестов, став чуть ли не вдвое толще, чем была. Тогда он выпустил изо рта ножку, обтер выпачканные в крови губы и разрезал ножом кожу вдоль всего брюха — от хвоста до самого горла. Затем начал руками отдирать шкуру от мяса. Было просто странно видеть, как легко снималась шкура, ну будто перчатка. Иньяцио быстро-быстро сдирал шкуру, подрезая ножом жилки там, где она еще крепко держалась. Словом, он постепенно совсем стянул ее и, окровавленную и пушистую, кинул на землю, будто снятую одежду. Коза теперь была точно голая, вся красная, кое-где в белых и синеватых пятнах. Дождик все шел, но никто не двигался с места. Иньяцио снова взял нож, распорол козе брюхо во всю длину и, засунув в разрез руку, крикнул мне:

— На, Чезира, держи!

Подбежала я к нему, и он вытащил груду кишок, разматывая одну за другой аккуратно, будто клубок шерсти. То и дело он кишки обрезал ножом и вешал мне на руку — были они еще горячие, ужасно воняли и выпачкали мне весь рукав. А Иньяцио повторял, будто говоря сам с собой:

— Рубец — блюдо что надо, прямо для королей... даже лучше сказать, раз оно для вас, — блюдо для королев. Вымойте их как следует и поджарьте на медленном огне.

В эту минуту раздался крик:

— Филиппо! Филиппо!

Тут мы обернулись, и вот видим — над краем «мачеры» появляется сперва голова, потом плечи и наконец весь Винченцо — кум Филиппо, у которого мы жили до того, как ушли в горы в Сант-Эуфемию. Со своим горбатым носом, глубоко запавшими глазами, запыхавшийся, насквозь промокший и забрызганный грязью, он еще больше, чем всегда, походил на взъерошенную птицу. Еще не поднявшись на «мачеру», он начал уже снизу кричать:

— Филиппо, Филиппо, несчастье... несчастье...

Филиппо, наблюдавший вместе со всеми нами за Иньяцио, со всех ног, задыхаясь от волнения, бросился к нему навстречу:

— Что случилось, говори же, что случилось?

Но Винченцо — он ведь был известный хитрец — сделал вид, что не может перевести дух после такого крутого подъема, и, прижимая к груди руку, повторил глухим голосом:

— Большое несчастье!

Мигом все мы оставили Иньяцио с его козой и окружили Филиппо и его кума; окно в домике Филиппо, стоявшем чуточку повыше, между тем открылось, и в нем показались две женщины — жена и дочь Филиппо. Наконец Винченцо сказал:

— Случилось то, что пришли немцы и фашисты, стали простукивать стены, нашли тайник и выломили стену...

Тут Филиппо перебил его, завопив:

— И они украли мои вещи?!

— Разумеется,— сказал Винченцо, приободрившись, уж не знаю почему, может оттого, что выложил свое известие. — Все украли, ничего не оставили, ну ничегошеньки.

Сказал он это так громко, что его услышали стоявшие у окна дочь и жена Филиппо. Сразу же начали они во весь голос причитать и, высунувшись из окна, заламывать руки. Но Филиппо не стал терять времени, слушая его объяснения.

— Ложь, все ложь! — принялся он вопить. — Это ты все украл, ты— вор, и немец, и фашист... ты, и эта ведьма твоя жена, и эти преступники твои сыновья! Всех я вас знаю. Вы — шайка бандитов, вы даже святого Джованни не побоялись!

Кричал он как одержимый; вдруг, не успели мы оглянуться, он схватил со столика один из ножей Иньяцио и занес его над Винченцо. По счастью, беженцы успели наброситься на него: они вчетвером держали его за руки, а он отчаянно отбивался, на губах у него выступила пена, и он кричал:

— Пустите меня, я убью его! Пустите меня, я хочу его убить!

А обе женщины в окне заламывали руки и пронзительно визжали:

— Мы разорены! Разорены!

Дождь, мелкий и частый, все шел да шел, поливая всех толпящихся на «мачере».

Микеле наблюдал за этой сценой, можно сказать, чуть ли не с удовлетворением, будто втайне радовался, что его сестра лишилась приданого, а мать — всех домашних вещей. Но вдруг неожиданно подошел он к Винченцо, который продолжал возмущенно повторять: «Кто украл?! Немцы украли, фашисты украли, а мы тут ни при чем», и, будто знал об этом раньше, залез к нему в верхний карман куртки и, вынув оттуда маленькую коробочку, спокойно проговорил:

— Вот кто украл. Ты украл... это кольцо моей сестры.

Открыл он коробочку и действительно показал нам колечко с бриллиантом — потом я узнала, что Филиппо подарил его дочери на день рождения. Едва увидев кольцо, Филиппо издал страшный вопль и, одним рывком освободившись от державших его рук, бросился с поднятым ножом на Винченцо. Но кум его оказался еще проворнее: он в свою очередь прорвался через окружавших его людей и пустился наутек вниз по «мачерам». Филиппо хотел было броситься за ним вдогонку, но сразу же сообразил, что толку будет мало: он коротконогий и пузатый, а кум его худой, с длинными, как у страуса, ногами. Поэтому Филиппо поднял с земли камень и запустил им в Винченцо с истошным криком:

— Вор, вор!

Но если Филиппо не бросился за ним, то зато в погоню пустились другие беженцы, и не потому, что им было дорого добро Филиппо, а просто потому, что, когда вспыхивает ссора, все распаляются и у всех начинают чесаться руки. И вот мы видим, как вниз по «мачерам» сломя голову бросаются двое или трое парней; они, будто на крыльях, летят вслед за старым Винченцо, а он мчится, как заяц. Наконец его догнали, схватили за руки и потащили обратно наверх. Филиппо, все время бросавший вниз здоровенные камни, которыми можно было убить человека, теперь обессиленный и задыхающийся, поджидал на краю «мачеры», когда ему приведут его куманька, сжимая в руке нож Иньяцио, еще красный от крови козы. Микеле тогда подошел к отцу и сказал ему:

— Советую тебе войти в дом.

— Нет, я убью его!

— Ты пойдешь домой.

— Я хочу убить его, я должен его убить!

— Дай сюда нож и иди домой.

К моему удивлению, Филиппо, видя спокойствие сына, тоже успокоился, положил нож на стол и побрел к своему домику, из которого неслись вопли и стоны, как из чистилища. А дождь продолжал лить не переставая, и теперь на «мачере» никого не осталось, кроме несчастной козы с распоротым брюхом, покачивавшейся от ветра меж двумя шестами.

Тем временем догнавшие Винченцо парни приволокли его на «мачеру». Беженцы и крестьяне толпой окружили их, расспрашивая Винченцо, как все случилось, причем, как я заметила, скорее с любопытством, чем с осуждением. Винченцо не заставил себя долго просить.

— Не хотел я делать этого, — сказал Винченцо своим замогильным голосом, — никто из нас не хотел делать этого... разве можно, ведь святой Джованни... Филиппо крестил моего сына, а я крестил его дочь... Ведь кровь-то не вода... Я скорее, вот клянусь вам, отрублю себе руку, чем украду... Разрази меня гром, провались я на этом самом месте, если вру...

— Верим тебе, Винченцо, верим, но все-таки как же так случилось, что вы украли?

— Голос виноват... я слышал внутри себя голос, изо дня в день он мне твердил: «возьми молоток и разломай стену... возьми молоток и разломай стену...» Голос этот не оставлял меня в покое ни днем ни ночью...

— И значит ты, Винченцо, в конце концов взял молоток, да и разломал стену... так что ли?

— Именно так.

Тут все обступившие его беженцы и крестьяне расхохотались, а потом, порасспросив еще немножко, отпустили его и вернулись к Иньяцио и козе. Однако Винченцо что-то не торопился уходить. Он пошел бродить по деревушке из дома в дом, от хижины к хижине и всюду просил стакан-

чик вина. И потом снова и снова рассказывал про голос, и все покатывались со смеху; он же сам не смеялся и смотрел на смеющихся с обалделым видом, похожий на оглушенную, взъерошенную птицу, и, казалось, не понимал, над чем хохочут люди. Наконец уже под вечер он ушел грустный-грустный, будто обокрали его, а не Филиппо.

В тот же вечер Микеле, зайдя в хижину, где я с Париде и его семейством готовила из кишок козы рубец, сказал, как бы поясняя происшедшее днем:

— Мой отец неплохой человек, но из-за нескольких простынь и кое-каких золотых вещиц он сегодня чуть не убил человека. А вот во имя идеи все мы неспособны даже курицу зарезать.

Париде, смотря в огонь, медленно проговорил:

— Разве ты не знаешь, Микеле, что для людей их добро важней, чем идеи?.. Возьмем, к примеру, наших попов: если на исповеди ты ему покаешься, что украл, он тебе ласково-ласково велит читать молитву святому Джузеппе, а потом, через некоторое время, снимет с тебя эпитимию— и все в порядке. А вот если ты придешь в его домик при церкви и что-нибудь украдешь у него самого, ну там серебряную ложку или вилку, так он сразу поднимет такой крик... и, будьте покойны, греха этого он тебе не отпустит, а пошлет за карабинером и велит тебя арестовать. А уж если так поступает священник, то что же требовать от всех нас грешных?

Вот это было самое примечательное, что произошло во время дождей. В остальном жизнь текла своим чередом: пустые разговоры о войне и погоде, о том, что мы будем делать, когда придут англичане, и что мы будем делать потом, а главное, сон, долгий сон, по двенадцать, четырнадцать часов кряду. Порой, проснувшись, мы прислушивались к шуму дождя, стучавшего по черепичной крыше и булькавшего в водосточной трубе. И снова еще крепче засыпали, тесно прижавшись друг к другу на нашей кровати из шатких досок, на тюфяке, набитом сухими кукурузными листьями, а доски нередко под нами разъезжались, и каждую минуту мы могли очутиться посреди ночи на полу. У семейства же Филиппо и вообще у беженцев было лишь одно занятие: досыта есть. Можно сказать, они только и делали, что с утра до вечера пировали, нажираясь до отвала. По их словам, еда была единственным средством прогнать тоску; говорили они еще, что запасы не к чему беречь, потому что с приходом англичан всего будет вдоволь, цены упадут и все эти продукты никому не будут нужны. Но я про себя думала: «Надейся на добро, а жди худа».

Я тоже была уверена, что англичане рано или поздно придут. Но когда? Стоило им, по каким-то своим причинам, на месяц-два задержаться — и кончено: все здесь умрут с голоду. И поэтому в то время, как другие жрали в три глотки, я в нашей лачуге ввела строгий порядок. Ели мы раз в день, около семи часов вечера: полную мисочку фасоли и немного мяса, чаще всего козлятины, ломоть хлеба, всегда одинаковой толщины, несколько сушеных фиг. Иногда я варила поленту, иногда вместо фасоли мы ели горох или чечевицу, а вместо козлятины — говядину. По утрам же мы с Розеттой отрезали на двоих один ломоть хлеба и съедали с ним сырую луковицу. Иной раз мы обходились и без хлеба, а грызли сладкие рожки, которые обычно идут на корм лошадям, но в голодное время и для людей сойдут. Розетта нередко жаловалась, что она голодна — молодым, известно, больше хочется есть, — и тогда я советовала ей поскорей ложиться спать; я знала, что спать — все равно что есть: во сне человек сил своих не тратит, а, наоборот, их накапливает. Короче говоря, жила я, как крестьяне, которые, в отличие от беженцев, были благоразумны, даже скупы и ценили продукты на вес золота. Конечно, они были люди, привычные к голоду, и чутье им подсказывало, что и при немцах, и при англичанах они все равно будут жить впроголодь, потому что денег

у них по-прежнему не будет, а урожай никогда не бывает достаточно хорош, чтобы хлеба хватило до будущего года. Так вот в некотором смысле чувствовала я себя больше крестьянкой, чем беженкой, и не могла побороть в себе неприязни к беженцам, особенно к лавочникам, которые за чужой счет обогащались и теперь рассчитывали, как только придут англичане, снова взяться за свое дело. Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что ведь я сама-то лавочница; да, верно это, но я родилась крестьянкой и теперь, живя вместе с крестьянами, в деревне, снова почувствовала, что я крестьянка, как чувствовала это в те времена, когда девушкой оставила свое селение и, выйдя замуж, уехала в Рим.

Ну, хватит об этом. Так мы жили, значит, дней сорок, а потом, в конце декабря, в одно прекрасное утро, как обычно, проснулись — и увидели, что ночью ветер переменился. Небо было ослепительно голубое, яркое, глубокое, еще розовевшее от зари и усеянное множеством уносившихся прочь красноватых и серых тучек — последних дождевых туч кончавшейся осени. Далеко внизу, в стороне Понцы, впервые после долгих дней виднелось сверкающее море, темно-темно-синее, почти черное. Равнина Фонди, уже в зимнем уборе, не зеленая, а скорее серая, была подернута дымкой утреннего тумана, как всегда бывает перед погожим, ясным и солнечным днем. С гор дул трамонтана — ледяной, сухой, режущий лицо ветер, а под ветром скрипели и гнулись голые ветви дерева, росшего около нашего домика. Выйдя из дому, я увидела, что жидкая грязь на «мачере» подсохла, покрылась твердой коркой, хрустевшей под ногами, она искрилась и сверкала, словно усеянная осколками стекла: за ночь здорово подморозило. Эта перемена погоды вновь вселила надежду в сердца беженцев. Все высыпали из своих домиков на утренний морозец и принялись обнимать и поздравлять друг друга: вот теперь, когда настала хорошая погода, англичане начнут широкое наступление — и конец войне!

Англичане действительно явились час в час, только не совсем так, как их ожидали беженцы. В то первое погожее утро, около одиннадцати часов, когда все, как закоченевшие ящерицы, вылезли из домов погреться на солнышке, мы вдруг услышали далекий рокот — постепенно приближаясь, он все нарастал, становился все мощнее и, казалось, наполнил небо. Сначала все мы не знали, что это такое, потом поняли, в чем дело. Поняла и я: такой рокот я уже слышала много раз в Риме, и днем и ночью.

Беженцы закричали:

— Англичане! Самолеты, летят английские самолеты!

И вот в самом деле из-за вершины горы в солнечном, безоблачном небе появилась первая четверка. Самолеты, серебристые и красивые, сверкали на солнце и казались высоко в небе тончайшими серебряными брошками, какие делают в Венеции. Но вот вслед за ними летят еще четыре самолета, потом — еще четыре, в общем двенадцать самолетов. Летели они ровнехонько, словно связанные между собой невидимой ниточкой. Теперь гул наполнил все небо, и, сказать по правде, хотя он мне и напомнил немало ужасных часов, проведенных в Риме, услышав его, я даже немножко обрадовалась — мне казалось, что в этом рокоте будто звучит какой-то грозный, но вместе с тем обнадеживающий нас, итальянцев, голос и он приказывает фашистам и немцам убраться из Италии. Я, как и все, с сердцем, замирающим от волнения и полным надежды, смотрела, как самолеты уверенно летели прямо на Фонди, на его раскинутые в долине белые домики, утопавшие в темной листве апельсиновых садов. Потом вокруг самолетов вдруг замелькали в небе маленькие белые облачка, и сразу же вслед за этим захлопали один за другим сухие и торопливые выстрелы немецких зениток. Видно, много было у немцев

этих зениток: стреляли они со всех концов долины. Нужно было только послушать, что говорили беженцы:

— Палят, бедняги... напрасно стараются, все равно не попасть... завтра им всем капут... Стреляйте, стреляйте, ни черта вы им не сделаете!

Казалось, действительно огонь зениток нисколько не мешал самолетам — они все летели и летели вперед. Затем мы услышали более сильный и более глухой удар и увидели белое облачко уже не на небе, а на земле, среди домов и садов Фонди. Самолеты начали сбрасывать бомбы.

Не скоро я забуду то, что произошло после взрыва первой бомбы, потому, наверно, что я еще никогда в своей жизни не видела, чтобы люди так быстро переходили от радости к отчаянию. Теперь бомбы сыпались на город одна за другой, и я не успевала считать белые облачка разрывов, которые появлялись совсем близко друг от друга.

«Мачера» огласилась воплями беженцев, а всего минуту назад они так радовались самолетам. Они плакали и громко причитали, совсем как дочь и жена Филиппо, когда Винченцо заявил, что немцы украли приданое. Все кричали, бегали взад и вперед по «мачере» и махали руками, словно хотели отогнать самолеты.

— Убийцы, там мой дом! Они разрушают наши дома! Горе нам! Мой дом! Мой дом!

А бомбы между тем продолжали сыпаться, как сыпятся спелые яблоки, если потрясти яблоню. Зенитки били без передышки, яростно, со всех сторон; оглушающий их грохот не только наполнял все небо, но, казалось, даже сотрясал землю. Самолеты пролетели над всей долиной, до самого берега, а потом там, где в лучах солнца сверкало море, сделали крутой поворот и вернулись обратно, сбросив новую порцию бомб. Беженцы сначала попритихли, думая, что самолеты совсем улетают, а теперь снова принялись рыдать и вопить еще громче, чем раньше. Но в тот самый момент, когда эскадрилья, все так же ровно и четко держа строй, уже, казалось, действительно собиралась улететь в ту сторону, откуда появилась, второй самолет в последнем звене вдруг вспыхнул ярким красным пламенем, потянувшимся за ним, будто шарф, по голубому небу. Зенитки наконец попали в цель: подбитый самолет отстал от других, и огненный шарф, широкий и яркий, окутал целиком всю маленькую серебристую машину. Вы только бы послушали, что теперь кричали беженцы:

— Молодцы немцы! Всыпьте этим убийцам, сбейте их всех!

Розетта вдруг закричала:

— Мама, смотри, как красиво — парашютисты!

В самом деле, в то время как горящий самолет летел в сторону моря, я увидела, как в небе один за другим раскрываются белые зонтики парашютов. Под каждым из них, покачиваясь от ветра, чернело что-то маленькое: то были фигурки летчиков. Парашютов открылось семь или восемь, и они медленно-медленно опускались вниз. Зенитки замолчали, а подбитый самолет, кувыркаясь в воздухе, падал все ниже, пока не исчез за холмом, откуда сразу же донесся оглушительный взрыв. Потом все стихло.

Теперь снова наступила тишина; только вдалеке, в той стороне, где скрылись самолеты, еще раздавался слабый металлический звон да на нашей «мачере» оглашали воздух рыдания и проклятия беженцев. Серебристые зонтики парашютов продолжали медленно опускаться вниз, а всю долину Фонди окутал серый дым, сквозь который то здесь, то там пробивалось яркое пламя пожаров.

Итак, англичане пришли, но пришли они, чтобы разрушить дома беженцев. И теперь также Микеле проявил какое-то странное жестокосердие, причем совершенно неожиданным для меня образом. Вечером

того дня, когда мы, сидя в хижине, говорили о воздушных налетах, он вдруг сказал:

— Знаете вы, что говорили эти самые беженцы, которые теперь так жалобно оплакивают свои дома, в те дни, когда газеты сообщали, что наши бомбардировщики превратили, как тогда выражались, в новое Ковентри какой-нибудь город противника? Вот что они говорили — я это слышал своими ушами: «Ну что ж, если их бомбят, значит они того заслуживают». Я спрашивал их: «Неужели же вам не жаль этих несчастных, которые теперь остались без крова и должны бежать неизвестно куда, голые и босые, как цыгане?» А они в ответ: «Да, их жаль, конечно, но не больше, чем всех тех, кто лишился крова раньше их». Так вот я говорю тебе, Чезира,— нынче мой черед, а завтра твой. Они ликовали, когда бомбили англичан, французов, русских, а теперь настал и их час. Разве это не справедливо? Скажи, Розетта, ты веришь в бога, разве ты не видишь в этом перста божьего?

Розетта, как обычно, когда он касался религии, ничего не ответила, и разговор наш на этом и кончился.

Словом, после той первой бомбежки беженцы, все как один, бросились в долину посмотреть, целы ли их дома, и почти все вернулись с хорошей вестью, что дома их уцелели и вообще разрушения в городе не так ужасны, как казалось поначалу. Правда, было двое убитых: старик нищий, спавший в разрушенном доме на окраине города, и, как это ни удивительно, тот фашист, который прозывался Обезьяна и угрожал нам ружьем, когда мы жили у Кончетты. Обезьяна умер, как и жил: в то утро, благо была хорошая погода, он пошел в Фонди и взломал железную штору одной галантерейной лавки. В дом попала бомба, и Обезьяну нашли под обломками среди мотков тесьмы и рассыпанных пуговиц — в руке он еще сжимал какую-то украденную вещь. Я сказала Розетте:

— Ну что ж, если умирают такие люди, как этот фашист, то мы только должны сказать войне спасибо.

Но я удивилась, увидев, как по лицу у нее текут слезы, и услышав ее ответ:

— Не надо так говорить, мама... он такой же несчастный, как и все.

А вечером Розетта вздумала молиться за него, за спасение его души, хотя душа его была еще черней, чем та черная рубашка, что была на нем, когда его убило бомбой.

Забыла сказать я, что в те дни был еще один покойник — Томмазино. Я хорошо знаю, как и почему он умер,— была я вместе с ним, когда произошло то, что было причиной его смерти. Несмотря на дождь, холод и непролазную грязь, он продолжал все это время торговать. Покупал он продукты у крестьян, у немцев, у фашистов и потом перепродавал их беженцам. Продуктов теперь стало мало, но он все ловчил и где-то раздобывал соль, табак, апельсины, яйца. Конечно, он сильно взвинтил цены и, насколько я знаю, здорово наживался. Целыми днями он бродил по долине, не обращая внимания на опасность, и не потому, что был смельчаком, а потому, что деньги были ему дороже собственной шкуры. Ходил он небритый, в подвернутых выше щиколоток рваных брюках, всегда в забрызганных грязью ботинках — ни дать ни взять вечный жид. Семью он давно поселил у каких-то крестьян, обитавших еще выше по склону, чем Париде, а тем, кто спрашивал его, почему он не живет с семьей, отвечал:

— Торговля у меня, хочу торговать до самой последней минуты.

Подразумевал он — до самой последней минуты войны, но не знал, однако, что ему суждено было торговать до последней минуты жизни.

Ну так вот. Положила я однажды в корзиночку восемь яиц и пошла вместе с Розеттой вниз, в долину, где в апельсиновых рощах разбили

свои палатки немцы, чтобы выменять у них яйца на солдатский хлеб. Случайно как раз в тот день в Сант-Эуфемию пришел по делам Томмазино и вызвался проводить нас. Уже пятый день после той первой бомбежки стояла хорошая погода. Томмазино шел как всегда впереди, без разбору шагая по камням и выбоинам сбегающей вниз тропинки, и молчал, погруженный в свои расчеты; мы же шли позади и тоже не разговаривали. Узкая тропка вилась зигзагом по левому склону горы, а потом, миновав загромождавшую путь скалу, шла вдоль пологого уступа и затем вновь сбегала вниз по правому склону. Этот плоский уступ, вернее площадка, был поистине странным местом: весь он был усеян голыми острокопечными скалами забавной формы, напоминавшими сахарные головы. Скалы были серые, будто кожа у слона; здесь и там среди них зияли большие и маленькие пещеры. Меж этих скал росло множество кактусов с утыканными острыми иглами зелеными мясистыми листьями, которые топорщились, точь-в-точь как накрахмаленные круглые воротнички священников. Тропинка вилась между кактусами и скалами вдоль ручейка. Я просто никак не могла на него налюбоваться — вода была в нем прозрачная, как хрусталь, и бежал он по зеленому, мягкому мху. Когда мы вышли на эту площадку — Томмазино шел впереди метрах в тридцати от нас,— мы услышали гул моторов целой эскадрильи самолетов. Мы не обратили на него внимания: для нас это уже стало привычным делом, да и самолеты летели в сторону фронта; мы думали, что горы они бомбить не станут — ну зачем им было тратить бомбы, которые стоят денег, и сбрасывать их на камни «мачер»? Поэтому я совершенно спокойно сказала Розетте:

— Смотри, самолеты.

В самом деле, в солнечном небе появилась сверкающая, как серебро, летевшая в три ряда эскадрилья, а впереди — один самолет, который будто вел за собой остальные. Потом, продолжая на них смотреть, я увидела: вот головной самолет выбросил красный флажок, и, сама уж не знаю как, вдруг вспомнила, что Микеле мне говорил — это сигнал сбрасывать бомбы. Не успела я об этом подумать, как дождем посыпались бомбы; вернее сказать, бомб мы не видели — с такой быстротой они падали, но тут же услышали совсем близко от себя очень сильный взрыв, и земля вокруг нас ходуном заходила, как при землетрясении. Может, в действительности не так уж сильно закачалась земля, но в воздух взмелось и засвистело вокруг нас множество мелких камней и еще больше острых, искореженных железных осколков — каждый из них был, как я увидела потом, по крайней мере с мой мизинец, и попади хоть один в нас, мы были бы убиты на месте. Между тем нас окутало облако такой едкой пыли, что я закашлялась и сквозь ее плотную завесу уже ничего не могла видеть. Меня охватил страх, и я принялась звать Розетту. Пыль постепенно осела, я увидела, что земля вокруг меня вся усыпана этими железными осколками и разорванными в клочья, искалеченными листьями кактуса. Потом я услышала голос Розетты, говорившей мне:

— Да я ведь рядом с тобой, мама.

Никогда я не верила в чудеса, но, сказать по правде, увидев на земле эти осколки, только что свистевшие вокруг нас, подумала, прижимая к себе мою Розетту, живую и здоровую, — это настоящее чудо, что нас не убило. Обнимала я ее, целовала, ощупывала со всех сторон, словно не верила своим глазам, что она невредима; потом стала искать взглядом Томмазино, который, как я уже говорила, шел впереди шагах в тридцати от нас. Но ни близко, ни далеко на уступе, усыпанном искореженными, изуродованными кактусами, его не было. Наконец, не знаю откуда, до меня донесся его голос. Он жалобно стонал:

— Боже мой, святая Мадонна, боже мой, святая Мадонна...

Подумала я, что он, наверно, ранен, и мне вдруг стало стыдно за радость, охватившую меня, когда я увидела Розетту целой и невредимой. Правда, я всегда недолюбливала Томмазино, но как-никак он тоже был человек, да и помог нам, хотя и не без выгоды для себя. И вот, ожидая увидеть его лежащим на земле, в луже крови, я направилась к тому месту, откуда доносился его голос. Это была неглубокая маленькая пещера, просто углубление в одной из скал. Сидел он там, весь сжавшись, как улитка в своей раковине, обхватив голову руками, и громко причитал. Сразу же я увидела, что на нем нет ни единой царапины, а просто он перетрусил. Я сказала ему:

— Томмазино, все уже кончилось. Что ты делаешь в этой щели? Слава богу, все мы остались целы.

Ничего он мне не ответил, а все продолжал бормотать:

— Боже мой, святая Мадонна...

Удивилась я и решительно говорю ему:

— Томмазино, вылезай, надо идти, и так уже поздно.

А он:

— Я отсюда не двинусь.

Спрашиваю его:

— Ты что, хочешь здесь остаться?

А он отвечает:

— Не пойду я вниз, в долину... я заберусь на самую верхушку горы, так высоко, как только смогу, забьюсь там в какую-нибудь глубокую пещеру, под самую землю, и не выйду оттуда... Там я и умру.

— А как же, Томмазино, твоя торговля?

— К черту торговлю.

Услышав, что он посылает к черту торговлю, ради которой до сих пор подвергал себя стольким опасностям, я поняла, что говорит он всерьез и настаивать бесполезно. Все же я сказала:

— Но хотя бы проводи нас... сегодня, будь покоен, самолеты больше не появятся.

Он ответил:

— Идите одни... никуда я не пойду отсюда,— и опять весь затрясся и начал призывать Мадонну.

Попрощалась тогда я с ним и пошла по тропинке в сторону долины.

Спустились мы в долину и сразу же у апельсиновой рощи наткнулись на немецкий танк, весь покрытый ветками, и палатку в камуфляже, то есть разрисованную голубым, зеленым и коричневым, а рядом с ней шестерых или семерых немцев. Они стряпали, а еще один немец сидел поодаль под деревом и играл на аккордеоне. Молодые все они были, с наголо остриженными головами и бледными, одутловатыми лицами, покрытыми шрамами и рубцами: до того как их прислали в Фонди, были они в России, а там, по их словам, война была в сто раз хуже, чем в Италии. Знала я их потому, что однажды уже выменяла у них хлеб на яйца. Еще издали я показала им, высоко подняв над головой, свою корзиночку с яйцами; немец с аккордеоном тотчас же перестал играть, пошел в палатку и вынес маленькую буханку солдатского формового хлеба весом в килограмм. Подошли мы к немцу, и он, не глядя мне в лицо и держа подальше от меня хлеб, будто боясь, что я его у него вырву, поднял листья, которыми у меня в корзиночке были покрыты яйца, и стал их одно за другим громко считать по-немецки. Потом с недовольным видом взял одно из них и поднес к уху, встряхнув, чтобы проверить, свежее ли.

Я ему сказала тогда:

— Яйца свежие, прямо из-под курочки, будь покоен, нечего тебе бояться. Мы жизнью своей рисковали, чтобы принести их сюда, сегодня ты должен дать нам не одну, а две буханки.

Немец, видимо, не понял меня, и лицо его приняло вопросительное выражение. Тогда я взяла и показала на небо, а потом руками стала изображать, как падают бомбы, и сказала: «Бум, бум», чтобы лучше описать взрывы. Понял он наконец и произнес какую-то фразу, я только слово «капут» разобрала, немцы его всегда употребляют, по-нашему оно означает, как однажды объяснил мне Микеле, что-то вроде «конец» или «крышка». Догадалась я, что он говорит о сбитом самолете, и сказала:

— Вместо одного, что вы сбили, сотня других прилетит, я на вашем месте кончала бы войну да вернулась в Германию... Так лучше было бы для всех — и для вас и для нас.

На этот раз он ничего не ответил, опять, верно, не понял, но протянул мне хлеб и взял яйца, сделав жест, будто желая сказать: «Приходи еще меняться».

Попрощались мы с ним и отправились в обратный путь по той же тропке в Сант-Эуфемию.

Томмазино в тот же день забрался высоко-высоко в горы, еще выше Сант-Эуфемии, в деревушку, где жила его семья. На следующее утро послал он крестьянина с двумя мулами забрать из его домика в долине все вещи, в том числе матрасы и сетки от кроватей, и привезти все это в горы. Но дом, где поселилась его семья, показался ему не совсем надежным, и несколько дней спустя перебрался он с женой и детьми в пещеру, находившуюся на самой макушке горы. Пещера была просторная и глубокая, со входом, скрытым деревьями и зарослями колючего кустарника. Над этой пещерой вздымалась к небу высоченная серая скала, похожая на огромную сахарную голову,— такая высокая, что ее хорошо было видно даже из долины,— так что пещеру сверху защищала эта скала, а толщиной она была, наверное, в несколько десятков метров. Вот Томмазино и поселился со своей семьей в этой пещере, которая в давние времена служила убежищем для разбойников, и вы, конечно, подумаете, что уж здесь-то он почувствовал себя в безопасности от бомб и что страх его прошел. Но Томмазино хлебнул такого страху, что, если можно так сказать, он вошел ему в кровь, как лихорадка, и даже теперь, укрывшись в своей пещере под толщей скалы, он целыми днями не переставал дрожать всем телом. Закутавшись с головой в одеяло, он сидел, прислонясь спиной к стене пещеры, то в одном, то в другом ее углу и беспрестанно повторял хриплым, жалобным голосом: «Плохо мне, плохо...»,— не спал он, не ел, словом на глазах угасал, тая с каждым днем, как свеча. Я как-то зашла его проведать и нашла его таким исхудавшим и подавленным, что просто жалко было на него глядеть. Он сидел у входа в пещеру, весь закутанный в свое одеяло, и дрожал мелкой дрожью. Помню, как, не понимая того, что он болен всерьез, я немножко подшутила над ним:

— Послушай, Томмазино, чего ты боишься? В этой пещере не страшны никакие бомбы. Чего же ты боишься? Ты что думаешь, бомбы ползают здесь, как змеи, и когда-нибудь заползут в пещеру и нападут на тебя в твоей постели?

Посмотрел он на меня, будто не понял, и все продолжал повторять:

— Плохо мне, плохо...

Короче говоря, через несколько дней мы узнали, что он умер. Умер от страха — ведь он не был ни ранен, ни болен, а лишь напуган той бомбежкой, под какую мы с ним попали. На похороны я не пошла, потому что печальное это дело, а у меня печального и так было хоть отбавляй. Хоронить Томмазино пошла его семья да семья Филиппо; покойника положили не в гроб, так как не было ни досок, ни плотника, а на две большие ветки, связанные наподобие носилок. Могильщик, тощий, длинный блондин, тоже беженец, который теперь по мелочи спекулировал,

разъезжая на своей вороной лошади по окрестным горным деревушкам, привязал Томмазино поперек седла и, ведя лошадь под уздцы по крутой тропинке, отвез его вниз на кладбище. Потом мне рассказывали, что никак нельзя было найти священника, все попы удрали, и бедняге Томмазино пришлось довольствоваться молитвами своих родственников; воздушные тревоги трижды прерывали похороны, а на могилу, за неимением другого, поставили крест, сколоченный из двух дощечек, оторванных от ящика из-под патронов. Потом я узнала, что Томмазино оставил жене порядочно денег, но никаких запасов — торгуя и спекулируя, он распродал все до последнего килограмма муки и последнего кулечка соли. Таким образом, его вдова очутилась с деньгами, но совершенно без продуктов и, чтобы не умереть с голоду, была вынуждена втридорога покупать то, что продавал муж. Я думаю, что к концу войны от тех денег, что ей достались от Томмазино, у нее почти ничего не осталось, ведь они к тому же обесценивались с каждым днем.

Хотите знать, что сказал Микеле по поводу смерти своего дяди?

— Жалко мне его, хороший он был человек. Но умер он так, как умирают многие, подобные ему люди: он гнался за деньгами, думая, что на свете только и есть, что деньги, а потом вдруг напугался до смерти, увидев, что́ за ними скрывается, да и отдал богу душу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Хорошая погода, кроме бомб, принесла нам еще другое наказание: немецкие облавы. Нам их предсказывал Тонто, но в глубине души никто этому не верил. Теперь же бежавшие в горы крестьяне нам рассказывали, что немцы устроили облаву в долине, схватили всех мужчин, годных к работе, посадили их на грузовики и угнали работать невесть куда: кто говорил — на строительство укреплений на фронт, а кто — вовсе в Германию. Потом дошло до нас и другое дурное известие: немцы оцепили соседнюю с нами долину, поднялись на вершину горы, а потом, рассыпным строем, обрушились вниз. В ловушку эту попалось, как стая мелкой рыбешки, много мужчин, и немцы увезли их на грузовиках. Услышав об этом, беженцы сильно струхнули — ведь среди них было, по крайней мере, четверо или пятеро молодых парней, в момент падения фашизма служивших в армии и ставших потом дезертирами, а их немцы как раз и искали: они их считали изменниками и хотели отплатить им за предательство, заставляя работать, как рабов, одному богу известно где и в каких условиях. Больше всех, конечно, боялись родители этих парней и особенно Филиппо за своего сына Микеле — хотя тот ему всегда перечил, но отец им очень гордился. Словом, однажды все собрались в домике Филиппо, и было решено, что парни эти в ближайшие дни, пока не минует опасность облав, должны каждое утро на рассвете в одиночку забираться на вершину горы и спускаться обратно домой только после захода солнца. Наверху, даже если бы немцы вздумали туда забраться, много было тропинок, вели они в другие долины и на другие горы, да и немцы ведь тоже люди — охота им была исходить десятки километров по горам, чтоб поймать одного-двух парней. Ну, а Микеле, по правде сказать, не хотел укрываться, как все остальные, и не столько из храбрости, сколько потому, что он никогда не хотел поступать так, как другие. Но мать, плача, умоляла его, если он не хочет делать этого ради себя, сделать хотя бы ради нее, и в конце концов он согласился.

Мы с Розеттой решили подниматься вверх в горы вместе с Микеле не потому вовсе, что боялись — женщин немцы не хватали,— а главным образом чтобы как-нибудь скоротать время, ведь мы на «мачере» просто подыхали со скуки. Да и с Микеле нам не хотелось расставаться —

в горах он был единственным человеком, к которому мы привязались. Так для нас началась странная жизнь: помирать стану — ее не забуду. Глубокой ночью Париде, вставший всегда с петухами, стучал в нашу дверь, и мы наспех одевались при тусклом свете лампадки. Потом выходили на холод, в кромешную тьму; по «мачере» уже двигались какие-то тени, и в домиках одно за другим освещались окошки. Наконец мы находили Микеле — маленького, закутанного с ног до головы, в десяти фуфайках, с палкой в руке, похожего на сказочного гнома — из тех, что живут в пещерах и сторожат сокровища. В полном молчании мы шли за ним следом и поднимались вверх по тропинке.

Подъем наш начинался в темноте, мы пробирались по тропинке, покрытой еще корочкой льда, сквозь густые высокие заросли, доходившие нам до груди. Кругом не видно ни зги, но у Микеле был карманный фонарик, он время от времени направлял на тропинку тонкий лучик света, и мы шли дальше, по-прежнему молча.

Между тем, пока мы поднимались, небо над горами начинало бледнеть, постепенно становясь мутно-серым, но перед рассветом звезды все еще ярко горели. Громады гор чернели на фоне этого постепенно светлеющего, усыпанного звездами неба, но потом понемногу начинали светлеть и горы, и уже можно было различить их зеленые склоны с пятнами темнеющих здесь и там лесов и зарослей. Теперь звезд уже не было видно, небо становилось серым, почти белесым, и глазам нашим открывались заросли — голые, тронутые морозцем, безжизненные, безмолвные, еще погруженные в дремоту. Но вот небо мало-помалу начинало розоветь на горизонте и голубеть над нашими головами, и с первым брызнувшим из-за гор лучом солнца, тонким и сверкающим, как золотая стрела, вспыхивали вокруг все цвета: ярко-красный — каких-то диких ягод, изумрудно-зеленый — лесного мха, желтовато-белый — султанов тростника, иссиня-черный — гнилых сучьев. Заросли кустарника сменялись рощей остролиста, простиравшейся до самой вершины горы. Деревья были довольно толстые и высокие, они росли на склоне, далеко друг от друга, никогда они не касались одно другого и теперь протягивали свои ветви, будто гигантские руки, словно собирались поддержать друг друга, взявшись за руки, чтоб не упасть на крутом склоне под порывами ветра. Сквозь негустую рощицу этих искривленных, редко растущих деревьев был виден склон, усеянный белыми камнями вплоть до самой вершины горы, врезавшейся в голубое небо. Тропинка по этой рощице шла почти полого; солнечные лучи будили птиц, спавших на ветвях остролиста, и мы слышали, как у нас над головой порхают и щебечут целые стаи, хотя их не было видно.

Микеле, шедший впереди нас, казалось, был счастлив уж не знаю отчего — он шагал быстро, весело помахивая, словно тросточкой, срезанной им палкой и насвистывая что-то на манер военного марша. Мы поднимались все выше по склону; роща постепенно редела, все мельче и корявей становились деревья, а затем, наконец, остролисты кончались, тропинка бежала вверх по ослепительно белому скалистому склону, и уже совсем близко, почти над нашей головой, была макушка горы, или, вернее, узкий проход меж двух вершин, куда мы и направлялись. Дойдя до конца тропинки, мы оказывались на площадке; после каменистого склона это было просто неожиданностью: вся эта площадка была покрыта ковром мягкой ярко-зеленой травы, среди которой здесь и там белели округлые каменные глыбы, будто спины каких-то животных. Посреди этой изумрудной полянки стоял старый, сложенный из камней колодец.

Отсюда открывался на редкость чудесный вид, и даже я, хотя и не поражают меня красоты природы, может потому, что родилась я в горах

и знаю в них каждый камень, — даже я, сказать по правде, когда в первый раз пришла туда, просто рот раскрыла от восхищения. С одной стороны виднелся величественный склон, весь в уступах «мачер», словно огромная лестница, спускающаяся в долину, к сверкающей вдалеке синей полоске моря. С другой же, куда ни кинь взгляд, одни горы — горы Чочарии, то слегка посеребренные снегом или совсем белые, то коричневато-серые, выжженные солнцем. Наверху было холодно, но не очень — светило ослепительно яркое солнце, и на солнышке припекало, да и ветра не было, по крайней мере пока мы туда ходили, иначе говоря, около двух недель.

Наверху приходилось проводить весь день; добравшись туда, мы сразу же раскладывали на траве одеяло и кидались на него. Сперва мы немного отдыхали, а потом нас охватывало беспокойство, и мы отправлялись побродить вокруг. Микеле и Розетта уходили собирать цветы или просто поболтать, вернее говорил всегда он, а она его слушала. Чаще всего я не ходила с ними и оставалась на полянке. Любила я побыть одна — в Риме я могла оставаться в одиночестве когда только хотела, но в Сант-Эуфемии это было почти невозможно, так как ночью я спала с Розеттой, а днем всегда толклись рядом беженцы. Когда я бывала одна, мне казалось, что жизнь останавливается и я могу оглянуться вокруг; на самом же деле время все равно шло вперед, но, когда я была на людях, я этого так не замечала.

Там, наверху, всегда стояла глубокая тишина, лишь иногда снизу, из маленькой долины, доносилось позвякивание колокольчиков отары овец, но это был единственный шум, причем он не только не мешал, но даже придавал этому месту особенное спокойствие, и тишина казалась еще более глубокой. Любила я иногда подойти к колодцу, перегнуться через край и долго-долго смотреть вниз. Колодец был глубокий или, по крайней мере, мне так казалось, каменные его стенки были совершенно сухи, и только далеко-далеко внизу слабо поблескивала вода. Папоротник «венерин гребень», такой красивый со своими тонкими веточками, блестящими, как черное дерево, и зелеными листочками, нежными, похожими на перья, густо пробивался меж камней и отражался в темной воде на дне колодца. Так вот, я ложилась грудью на край колодца и подолгу глядела вниз, и мне вспоминалось, что в детстве я любила заглядывать в колодцы — и страшно мне было, и в то же время тянули они меня: я представляла, что они сообщаются со всем подземным миром, где живут феи и гномы; часто у меня даже являлось желание броситься вниз в воду, чтобы переселиться в этот таинственный мир и уйти из того, в котором я жила. Иногда я смотрела в колодец до тех пор, пока мои глаза не привыкали к темноте, а когда я начинала различать свое отражение в воде, то брала камень и кидала его в колодец, стараясь попасть в самую середину лица, и видела, как оно разлеталось вдребезги, едва лишь камень касался поверхности и вода шла кругами, а потом оно и совсем исчезало.

Нравилось мне еще бродить среди этих странных белых округлых скал, возвышавшихся тут и там на зеленой траве площадки. Я ходила среди них, и мне также чудилось, что я возвращаюсь к дням своего детства. У меня даже являлась смутная надежда найти в траве какое-нибудь сокровище — ведь сама трава, такая изумрудная, казалась настоящей драгоценностью, да к тому же мне рассказывали в детстве, что именно в таких местах бывают зарыты клады. Но видела я одну только траву, а она, известно, ровным счетом ничего не стоит и идет лишь на корм скоту. Только однажды я нашла клевер с четырьмя листиками и подарила его Микеле, а он, скорее чтобы сделать мне приятное, чем веря в такие приметы, спрятал его себе в бумажник.

Так, медленно шло время; солнце поднималось все выше и становилось все горячее — иногда я даже расстегивала кофту и, растянувшись на траве, загорала, будто на пляже. Когда наступал час завтрака, Микеле и Розетта возвращались со своей прогулки, и мы, сидя на траве, съедали немного хлеба и сыра. Приходилось мне в жизни и до того и после есть немало вкусных вещей, но вспоминаю я теперь тот темный и черствый хлеб с примесью отрубей и кукурузной муки и тот овечий сыр, такой твердый, что разбивать его надо было молотком, и кажется мне, что в жизни ничего вкусней не ела. Может, особый вкус еде придавал аппетит, он у нас появлялся от ходьбы и горного воздуха, а может, мысль об опасности была своего рода приправой. Во всяком случае, ела я со странным ощущением, будто впервые в жизни поняла, что еда вещь хорошая и необходимая и как восстанавливаются силы, когда ты ешь и насыщаешься. К слову сказать, там в горах, в Сант-Эуфемии, будто заново мне открылось многое, причем чудно даже, вещи-то были самые простые, которые делаешь обычно совершенно не думая, совсем машинально. Вот, к примеру, сон: раньше я не замечала, что спать, как и есть, можно с аппетитом и крепкий, долгий сон доставляет удовольствие и дает силы, а заботы о чистоте тела именно потому, что этим было трудно, почти невозможно заниматься, казались теперь чуть ли не наслаждением. Одним словом, я стала обращать внимание на все, чему, живя в городе, мы уделяем мало времени и что делаем совсем безотчетно. Думается, что если бы там, в горах, повстречался мне мужчина, который приглянулся бы мне и я полюбила бы его, то и любовь открыла бы мне новые радости, была бы глубже и сильнее. В общем, я стала совсем как животное — я думаю, что животные, которые только и заботятся, что о своем теле, пожалуй должны испытывать те же чувства, что и я; ведь обстоятельства заставили меня быть всего лишь животным, а это значит — питаться, спать, чиститься и стараться жить как можно безопаснее и лучше.

Солнце постепенно совершало свой круг по небу, опускаясь в сторону моря. Когда море темнело и на нем начинали играть красные отблески заката, мы отправлялись в обратный путь, но уже не по козьей тропе, а бегом вниз по склону, без всякой тропы, скользя по траве, спотыкаясь о камни, пробираясь сквозь колючие заросли и груды щебня. В общем, та дорога, которая на рассвете отнимала у нас два часа, теперь, при возвращении, занимала не больше получаса. Мы прибегали как раз к ужину, все в пыли, наши юбки были в колючках и листьях, и сразу же шли в хижину ужинать. Потом быстро ложились спать, а на заре вновь были на ногах.

Однако не всегда там наверху, на площадке, все было так спокойно и так далеко была от нас война. Я уж не говорю о самолетах, частенько пролетавших над нами и в одиночку и целыми эскадрильями, или о взрывах, слабые отзвуки которых доносились к нам из долины и означали, что эти проклятые немцы продолжают взрывать дамбы на осушенных болотах, чтобы затопить всю равнину и вызвать малярию. Я хочу еще сказать, что война напоминала нам о себе и всякими встречами, которые довелось нам иметь несколько раз на вершине горы. Все дело в том, что этот столь уединенный перевал лежал на пути тех, кто пробирался по горам, держась как можно выше и обходя долины, из занятого немцами Рима и даже из Северной Италии на юг страны, где высадились англичане. Чаще всего это были солдаты распавшейся итальянской армии или же бедняки, хотевшие вернуться в селения, откуда всех прогнала война, или же пленные, бежавшие из немецких концлагерей.

Одна из этих встреч мне хорошо запомнилась. Сидели мы и закусывали неизменным хлебом и сыром, как вдруг откуда-то из-за скалы по-

явились двое вооруженных дубинами людей такого вида, что я с первого взгляда приняла было их за дикарей. На них были лохмотья, но как раз это меня ничуть не испугало — лохмотья там в горах дело обычное, однако их плечи невиданной ширины и лица, совершенно не похожие на лица итальянцев, нагнали на меня такой страх, что я не могла пошевельнуться. Меж тем они к нам все приближались, а я так и застыла на месте от испуга, с хлебом и сыром в руках. Микеле же, который никого и ничего на свете не боялся, и не потому, что был так уж смел, а просто он ко всем относился с доверием, пошел навстречу этим двум людям и жестами начал с ними объясняться. Мы с Розеттой тоже набрались храбрости и подошли. Лица у пришельцев были желтые и плоские, без всякой растительности, на лоснящейся коже вдоль щек шли глубокие морщины, волосы были черные и густые, глазки маленькие, раскосые, носы приплюснутые, а рты запавшие, как у покойников, с обломанными, темными зубами. Микеле сказал нам, что это двое русских пленных, но монгольской расы, вроде китайцев, и что они, как ему думается, бежали из какого-нибудь немецкого концлагеря для военнопленных. Я никак не могла оторвать глаз от их широченных плеч и подумала, что, может, это неосторожно с нашей стороны — не спрятаться или не убежать: эти двое были такие силачи, что, вздумай они наброситься на нас с Розеттой, нам от них не поздоровилось бы. Однако оба монгола держали себя как нельзя лучше, все время они объяснялись жестами и провели с нами час или немного больше — пока не отдохнули. Микеле предложил им хлеба и сыра, они взяли, но очень мало и что-то при этом сказали, наверно поблагодарили за угощение. Они, бедняги, без конца смеялись, может потому, что не понимали, что мы говорим им, а мы не понимали их, своим смехом они будто хотели показать нам, что у них на уме ничего плохого нет. Микеле, по-прежнему жестами, объяснил им, куда надо идти, и немного погодя они ушли, опираясь на палки, которые сами себе сделали, обломав ветки дерева.

В другой раз мимо проходил итальянский рабочий; работал он на строительстве укреплений, не помню уж точно где. Убежал он, потому что нечего было там есть, немцы обращались с людьми хуже, чем с собаками, и заставляли работать, как рабов. Он еле держался на ногах. Это был красивый, воспитанный юноша, с тонким смуглым лицом и резко выделяющимися острыми скулами, с печальными, глубоко запавшими глазами, худой, как скелет, кожа да кости. По его словам, семья у него живет в Апулии, и он надеется до нее добраться, идя все время по горам. Шел он уже неделю и сильно ослабел, одежда висела на нем клочьями, ботинки развалились. Он ничего особенного нам не рассказал — от слабости он говорил тихо-тихо, с трудом, короткими фразами, будто ему не хватало воздуха. Сказал только, что, по слухам, в Риме было восстание и убили нескольких немцев, а немцы в ответ начали расправу над итальянцами. Однако он не знал, ни когда, ни как, ни где это произошло. Затем, говоря о немцах, он добавил:

— Проклятые негодяи. Знают они прекрасно, что уже проиграли войну, но им нравится воевать, к тому же они ни в чем нужды не терпят, живут на наш счет, и поэтому они будут воевать до последнего солдата. Если война скоро не кончится, они всех нас уморят — все мы сдохнем с голоду и от лишений. Либо войне конец, либо всем нам.

Микеле дал ему хлеба и сыра, а также немного табаку; не пробыв с нами и получаса, он, еле волоча ноги, побрел дальше, и при каждом его шаге казалось, что вот-вот он упадет и больше не встанет.

Однажды утром мы грелись на солнышке, как вдруг неожиданно услышали свист. Вся наша троица сразу же укрылась за одной из белых скал, чтобы посмотреть, кто идет. Мало ли что могло случиться, мы постоянно были начеку и всегда боялись попасть в облаву и угодить в лапы

к немцам. Немного погодя Микеле выглянул и увидел напротив чьи-то головы, которые поспешно спрятались за другую скалу неподалеку от нашей. Так мы некоторое время по очереди наблюдали друг за другом, то мы за ними, то они за нами, и наконец убедились, что это не немцы, а они увидели, что мы — итальянцы, и вышли из-за скалы. Это были двое офицеров, уроженцы Южной Италии. Один из них — лейтенант, другой — сублейтенант, как они нам сказали; одеты они были в штатское, так как укрывались в горах, подобно многим, и теперь пробирались на юг, в надежде перейти линию фронта и добраться до родных мест, где у них были семьи. Один был жгучий брюнет, высокий, смуглый, круглолицый, с черными, как угли, глазами, белыми зубами и почти лиловыми губами; другой — блондин, с длинным лицом, голубыми глазами и большим острым носом. Брюнета звали Кармело, а блондина Луиджи. Из всех встреч, там в горах, эта, пожалуй, была наименее приятной и совсем не потому, что эти офицеры сами по себе были такие уж несимпатичные, — может, встретив их в мирное время где-нибудь в их городках, я не смогла бы сказать о них ничего плохого, а потому, что, как мы увидим, война плохо повлияла на них, как, впрочем, и на многих других. Она обнаружила такие черты их характера, которые, не будь войны, остались бы скрытыми. Хочется мне к слову сказать, что война — это великое испытание; люди проверяются на войне, а не в мирной жизни — не тогда, когда существуют законы, уважение к окружающим и страх божий, а когда от всего этого и следа не остается, каждый поступает, как ему подсказывает его истинная натура, уже не сдерживаемая никакой уздой.

Так вот, эти двое в момент перемирия находились в своем полку, стоявшем в Риме. Они дезертировали и прятались, а потом бежали из Рима, намереваясь добраться до своих городков. Около месяца жили они у одного крестьянина у подножия горы Фей; они сразу же произвели на меня плохое впечатление, когда о крестьянине, давшем им приют, заговорили с глубоким презрением, будто это неотесанный, невежественный мужлан, который читать и то не умеет, а жилище у него просто хлев. Один из них, смеясь, даже сказал:

— Ну, известное дело, все приходилось терпеть: в голодный год хлеб и из вики едят!

Рассказали они еще, как им пришлось уйти с горы Фей: крестьянин этот намекнул им, что больше не может держать их у себя, так как нет у него продуктов. Тут брюнет заметил, что все это неправда и будь у них деньги — продукты, конечно, сразу бы нашлись: известно-де, что все крестьяне очень корыстны. В заключение они сказали, что идут на юг и надеются перейти линию фронта.

Как раз подоспело время завтрака, и Микеле, хотя, наверно, и скрепя сердце, предложил им разделить с нами обычную нашу трапезу — хлеб и сыр. Брюнет сказал, что хлеб они у нас охотно принимают, а сыру у них самих есть целая головка — стащили они ее у того жадного крестьянина, и он даже не заметил. С этими словами он достал из мешка головку сыру и с хохотом потряс ею в воздухе. Не по себе мне стало после этого слишком откровенного признания, и пожалуй, не столько из-за самой кражи — обычного явления в те времена, когда крали кому было только не лень и воровство уже не считалось воровством, — сколько из-за наглости, показавшейся мне неприличной в человеке, имевшем, как он, чин лейтенанта, и, судя по его манерам, важном синьоре. Кроме того, подумала я, как нехорошо отплатить за гостеприимство бедняку-крестьянину — украсть у него то немногое, что у него было. Но я промолчала, и так мы, сидя на траве, принялись закусывать и за едой болтали, вернее слушали брюнета, который трещал без умолку и все только о себе, будто бы он очень важная персона — и в своем селении как помещик, и на войне как

боевой офицер. Блондин слушал его, щурясь от солнца, и время от времени чуточку насмешливо одергивал его; однако брюнет не унимался и все продолжал хвалиться. Вот, к примеру, что он говорил:

— Возле городка, где я живу, у меня целое поместье...

А блондин:

— Да полно тебе, лучше скажи — два-три клочка земли с носовой платок каждый.

— Нет, у меня именно поместье, приходится его на лошади объезжать.

— Да брось ты, всего несколько шагов сделаешь — и готово дело!

Или же:

— Взял я патруль и отправился в лесок. А в этом леске залегло не меньше сотни вражеских солдат...

— Да перестань ты, я глазами своими видел, было их самое большее четверо или пятеро!

— А я тебе говорю, не меньше сотни... когда они поднялись из кустарника, где засели, я их, правда, не считал, в такие моменты надо другим заниматься, а не считать солдат противника, но уверяю тебя — их была сотня, если не больше.

— Да что с тобой... вспомни-ка лучше... их было всего пять или шесть человек!

И дальше все в таком же духе. Брюнет бахвалился вовсю, причем очень уверенным тоном; блондин же возражал ему довольно вяло, но все же спуску ему не давал. В заключение брюнет рассказал, какую штуку он выкинул в тот день, когда объявили перемирие и итальянская армия перестала существовать.

— Я как раз был в своем городке в интендантском управлении, и на складе у меня было полным-полно всякого добра. Как только я услышал, что война кончилась, я, ни минуты не задумываясь, взял да и нагрузил полный грузовик всем, чем только мог: мясными и фруктовыми консервами, кругами сыру, мешками муки, словом, разными продуктами и отправил все это прямым ходом домой, своей матери.

Тут он, сверкая ровными, белыми зубами, стал смеяться, довольный тем, как ловко он всех провел.

Тогда Микеле, который до сих пор слушал его, не проронив ни слова, очень сухо заметил:

— Короче говоря, вы, значит, украли.

— Что вы этим хотите сказать?

— Я хочу сказать, что до этой минуты вы были офицером итальянской армии, а потом стали просто вором.

— Дорогой синьор, я не знаю, ни кто вы, ни как вас зовут, но я мог бы...

— Что вы могли бы?

— И вообще, кто сказал, что я украл?.. Я сделал лишь то, что делали все вокруг... Если бы не взял эти продукты я, так взял бы кто-нибудь другой.

— Весьма возможно, но вы все равно украли.

— Вы только посмотрите, как он разговаривает, да вы знаете, что я способен...

— Ну... интересно посмотреть, на что вы способны.

Здесь блондин, усмехаясь, сказал брюнету:

— Мне очень жаль, Кармело, но приходится признать, что этот синьор положил тебя на обе лопатки; он попал в самую точку.

Брюнет пожал плечами и сказал, обращаясь к Микеле:

— Я не собираюсь унижаться до того, чтобы спорить с таким субъектом, как вы.

— И правильно делаете,— произнес внушительным тоном Микеле,— а я вот вам скажу еще, почему вы вели себя, как вор: вам мало того, что вы украли, вы еще и хвастаете этим, вы считаете, что всех перехитрили... Если бы вы, украв, стыдились этого потом, то можно было бы подумать, что вы поступили так из-за нужды или, по крайней мере, что вы поддались стадному чувству... но вы этим хвалитесь, и значит — вы не сожалеете о своем поступке и готовы его повторить.

Брюнет, взбешенный словами Микеле, вскочил на ноги, схватил палку и, замахнувшись на него, завопил:

— Замолчите, иначе я...

Но Микеле не успел ничего ответить. Блондин разом унял брюнета, сказав ему со своим смешком:

— Опять в самую точку, не так ли?

Тогда Кармело с яростью набросился на своего приятеля:

— Ты-то хоть бы молчал, разве ты не участвовал вместе со мной в этом деле, признавайся?

— Это не значит, что я одобрял его, я просто подчинялся... ведь ты же чином старше. Нет, ничего не поделаешь, в самую точку!

Короче говоря, завтрак закончился в полном молчании; брюнет совсем помрачнел, а блондин все ухмылялся.

После завтрака некоторое время все сидели молча. Но Кармело никак не мог примириться с тем, что его назвали вором, и вскоре вызывающе сказал Микеле:

— А собственно говоря, можно узнать, кто вы такой? На каком основании вы так решительно высказываете свои мнения и позволяете себе называть ворами людей, которые сто́ят гораздо больше, во сто крат больше, чем вы сами? Я могу сказать, кто я: я Кармело Али́, офицер, землевладелец, окончил юридический факультет, награжден за доблесть, кавалер ордена короны Италии. А вы кто такой?

Блондин с усмешкой заметил:

— Ты забыл еще сказать, что ты секретарь фашио * в нашем городке. Почему ты об этом не сказал?

Кармело с досадой ответил:

— Фашио больше не существует, только поэтому я и не сказал... но ты-то знаешь, что меня как секретаря фашио никто никогда не мог в чем-либо упрекнуть.

Блондин, по-прежнему посмеиваясь, поправил его:

— За исключением того, что ты использовал свое положение и заставлял спать с тобой всех самых хорошеньких крестьянок, которые приходили к тебе с просьбами... Ведь ты, всем известно, большой донжуан.

Кармело слегка улыбнулся, польщенный этим обвинением, и не стал его опровергать, но потом он снова повернулся к Микеле и настойчиво повторил:

— Итак, уважаемый синьор, скажите же, есть ли у вас какое-нибудь звание, ну диплом какой-нибудь или награда, орден — одним словом, что-то такое, что дало бы возможность судить о том, кто вы и по какому праву вы критикуете других?

Микеле пристально на него посмотрел сквозь толстые стекла своих очков и спросил:

— А зачем вам знать, кто я?..

— Есть у вас хотя бы диплом?

— Да, я кончил университет... но даже если бы диплома у меня не было, ничего бы не изменилось.

— Что вы хотите этим сказать?

---

* Низовая организация итальянской фашистской партии.

— Я хочу сказать, что вы и я — просто люди и то, что мы из себя представляем, проявляется в наших поступках, а не в титулах и дипломах... а то, что вы сделали, и все ваши разговоры рекомендуют вас как человека, по меньшей мере, легкомысленного и с весьма гибкой совестью... Вот и все.

— Прямое попадание,— сказал блондин и опять усмехнулся.

На этот раз брюнет предпочел сделать вид, что это его не трогает. Потом, поднявшись, он неожиданно заметил:

— Как глупо, что я унижаюсь до спора с вами. Пойдем, Луиджи, уже поздно, а нам ведь еще далеко идти... За хлеб ваш спасибо, и не сомневайтесь, я его вам с лихвой возвращу, если вы попадете в мой городок.

Микеле ответил, как всегда, со спокойной язвительностью:

— Хорошо, только если ваш хлеб не будет испечен из муки, украденной у итальянской армии.

Но Кармело был уже довольно далеко от нас и ограничился тем, что, пожав плечами, крикнул:

— Катитесь вы ко всем чертям вместе с итальянской армией!

Затем мы услышали, как блондин снова со смешком повторил:

— Опять попадание... в самую точку.

Потом они обогнули одну из скал и скрылись из виду.

В другой раз мы увидели вдалеке, на тропинке, которая вилась вокруг горы, довольно много людей, шедших гуськом, будто крестный ход, через перевал в нашу сторону. Было их не менее тридцати человек — почти все мужчины в воскресных черных парах, женщины чуть ли не в национальных костюмах—длинных юбках с лифами и в шалях. Женщины, подложив круг, несли на голове узлы и корзины и вели за руку детей поменьше; ребята же постарше шли с мужчинами. Эти бедняги, как они нам рассказали, были жителями одного маленького селения, стоявшего на самой линии фронта. Однажды утром немцы разбудили их на заре, когда все еще спали, и дали полчаса времени на то, чтобы одеться и собрать самые необходимые вещи. Потом всех посадили на грузовики и отвезли в концлагерь около Фрозиноне. Но спустя несколько дней они убежали из лагеря и теперь пробирались по горам обратно в свою деревню, чтобы возвратиться в свои дома и снова начать обычную жизнь. Микеле стал расспрашивать красивого пожилого мужчину с большими седыми усами, который был у них за старшего, и тот наивно сказал:

— Вот скот нас беспокоит. Кто там без нас позаботится о животных? Не немцы же?

Не хватило у Микеле мужества сказать им, что, когда они возвратятся в свои края, не найдут они там ни домов, ни скота — вообще ничего. Передохнув минутку, они побрели дальше. Я сразу почувствовала большую симпатию к этим несчастным, таким спокойным и уверенным в своей правоте,— может, потому, что они немножко напоминали нас с Розеттой: так же война выгнала их из домов, так же и они, ища пристанища, бродили по горам, голые и босые, как цыгане. Однако через несколько дней я узнала, что их вновь схватили немцы и отправили обратно в лагерь Фрозиноне. Потом больше о них я ничего не слыхала.

В общем, такая жизнь, когда на рассвете мы поднимались на перевал, а в сумерки спускались вниз, длилась около двух недель; потом, наконец, стало ясно, что немцы отказались от всяких облав, по крайней мере в наших горах; мы перестали ходить на перевал, и жизнь пошла своим чередом. Однако потом я часто тосковала по тем чудесным дням, что провела на вершине горы, в одиночестве, так близко к природе. Ведь там, наверху, не было ни беженцев, ни крестьян, одолевавших нас разговорами о войне, об англичанах, о немцах и о голоде, не было ежедневных забот о том, чтобы приготовить обед, скудный и невкусный, на сырых ветках, в

темной хижине,— словом, кроме тех двух-трех встреч, о которых я рассказала, не было ничего такого, что напоминало бы о войне и тяжелой жизни. Приходя туда, я просто могла думать, что поехала с Микеле и Розеттой на загородную прогулку — вот и все. Тот зеленый лужок, где можно было погреться на зимнем солнышке, как в мае, со снежными вершинами гор Чочарии на горизонте, со сверкающим в другой стороне, за долиной Фонди, морем казался мне каким-то заколдованным местом — здесь действительно мог быть зарыт один из тех кладов, о которых мне рассказывали, когда я была маленькой. Но никакого сокровища, как я это хорошо знала, под землей не было; однако я нашла его внутри себя, и с неменьшим удивлением, чем если бы я выкопала клад своими руками из-под земли,— то было глубочайшее спокойствие, полное отсутствие всякого страха и тревоги, вера в себя и в будущее — чувства, которые росли у меня в душе, когда я бродила одна-одинешенька по тому лугу. За долгие годы это были, пожалуй, мои самые счастливые дни; право странно, именно те дни, когда я была беднее всего, не имела самого необходимого, питалась лишь хлебом да сыром, а постелью служила трава и не было у меня даже шалаша, чтобы укрыться,— словом, когда я жила, как дикое животное, а не человеческое существо.

Декабрь был уже на исходе, и как раз в первый день Рождества наконец-то пришли к нам англичане. Разумеется, я имею в виду не английскую армию, стоявшую все еще на Гарильяно, а двух англичан, которые так же, как многие другие, скрывались в горах и появились в Сант-Эуфемии утром 25 декабря. Погода по-прежнему стояла чудесная— холодная, сухая, ясная. Однажды утром, выйдя из своего домика, я увидела, что на «мачере» толпится народ. Подойдя ближе, я увидела, что беженцы и крестьяне окружили двух молодых парней по виду не итальянцев: один был белокурый и маленький, с голубыми глазами, прямым тонким носом, ярко-красным ртом и белокурой остроконечной бородкой, другой—высокий, худой, голубоглазый и темноволосый. Блондин с трудом говорил по-итальянски, но все же кое-как рассказал нам, что они англичане: он — морской офицер, а его спутник — простой матрос; высадили их у Остии, около Рима, чтобы они там что-то взорвали — что именно, я не поняла, но, как обычно, это принадлежало нам, бедным итальянцам. Потом, выполнив приказ, они возвратились на берег, но судно, привезшее их, за ними не вернулось, и потому им пришлось бежать и прятаться, как многим другим. Время дождей они провели в доме одного крестьянина около Сермонеты; но теперь, когда погода хорошая, они будут пытаться перейти линию фронта, чтобы добраться до Неаполя, где находится их штаб. Рассказ их прерывали всякими расспросами: беженцы и крестьяне хотели знать, как идет война и скоро ли она кончится. Но англичане знали не больше нашего: все эти месяцы они прожили в горах и встречали там лишь неграмотных крестьян, которые вообще-то и не понимали, что идет война. Едва беженцы увидели, что двое эти не только ничего не знают, но и сами нуждаются в помощи, потихонечку один за другим все улизнули, толкуя меж собой, что, дескать, эти люди — англичане, и с ними опасно иметь дело, и окажись тут доносчик, немцы обо всем разузнают, и всем не сдобровать. Короче говоря, в конце концов эти двое англичан остались в одиночестве посреди «мачеры» под ослепительно яркими лучами холодного зимнего солнца, в лохмотьях, обросшие щетиной, растерянно озираясь вокруг.

Сознаюсь, я тоже сначала побаивалась оставаться с ними, и не столько за себя, сколько за Розетту; но именно она-то и пристыдила меня за мои страхи, сказав:

— Мама, у них, бедняжечек, такой несчастный вид... и потом ведь сегодня Рождество, а им даже нечего есть... сегодня им, наверно, хотелось бы

побыть со своими семьями, а они так далеко. Почему бы нам не пригласить их к нашему столу?

Говорю, мне стало стыдно, и я подумала, что Розетта права и могу ли я презирать беженцев, как я их презираю, если сама веду себя не лучше, чем они. И вот мы объяснили этим англичанам, что приглашаем их на рождественский обед и пусть они идут с нами: они сразу же с радостью согласились.

Чтобы встретить Рождество, пришлось мне поднатужиться; старалась я прежде всего для Розетты, которая каждый год праздновала этот день лучше, чем любая дочка важных господ. Купила я у Париде курицу и зажарила ее вместе с картофелем. Потом приготовила дома тесто, сказать по правде немного, так как у меня было совсем мало муки, и сделала ушки с мясом. У меня было две колбаски, и я нарезала их тонкими ломтиками и положила на тарелку вместе с несколькими крутыми яйцами. Я даже сладкое приготовила: за неимением лучшего, я мелко-мелко накрошила много сладких рожков, смешала всю эту массу с крупчаткой, изюмом, кедровыми орехами и сахаром и испекла в печи подобие торта, низенького и твердого, но довольно вкусного. У одного беженца мне удалось купить бутылку марсалы, а сухого вина мне дал Париде. Фруктов зато было вдоволь: в Фонди деревья ломились от апельсинов, и стоили они совсем дешево; незадолго до Рождества я купила пятьдесят килограммов, и мы целые дни только и делали, что жевали апельсины. Решила я также пригласить и Микеле и сказала ему об этом, когда он торопливо шел к домику отца. Он, не задумываясь, согласился прийти, и, как мне кажется, главным образом из-за неприязни к своему семейству. При этом он добавил:

— Дорогая Чезира, сегодня ты сделала доброе дело. Если бы ты не пригласила этих парней, я бы потерял к тебе всякое уважение.

Как бы то ни было, он крикнул отца и, когда Филиппо выглянул в окошко, сказал ему, что мы его пригласили и он пойдет к нам. Филиппо вполголоса — он боялся, что его услышат англичане, — начал заклинать сына не делать этого:

— Не ходи ты к ним, ведь эти двое — беглецы, узнают немцы — крышка нам.

Но Микеле только пожал плечами и, даже не обождав, пока отец кончит говорить, направился к нашему домику.

Праздничный стол мы накрыли тяжелой льняной скатертью, которую одолжили у крестьян. Розетта положила вокруг тарелок зеленые веточки с красными ягодками, наломала она их в кустарнике, и они немножко походили на ту зелень, какой в праздник принято украшать стол в Риме. Посреди на блюде красовалась курица, правда для пятерых она была маловата; на тарелках были разложены колбаса, яйца, сыр, апельсины и сладкий пирог. Хлеб я испекла специально к этому дню — булочки были еще теплые, разрезала я их на четыре части и перед каждым положила по четверть булки. Обедали мы с открытой дверью, так как в домике не было окон и, если бы закрыть дверь, пришлось бы сидеть в темноте. За дверью сверкало солнце и открывался великолепный вид на залитую светом долину Фонди, вплоть до самого моря, ослепительно сверкавшего вдали.

Микеле во время обеда напал на англичан за то, как они ведут войну. Он выкладывал им правду без стеснения, говорил с ними напрямик, как равный с равными, и они, казалось, были немного удивлены — может, потому, что не ожидали услышать подобные речи в такой лачуге, как наша, и от такого оборванца, каким выглядел Микеле. А Микеле, значит, сказал им, что они совершили ошибку, высадившись не возле Рима, а в Сицилии; сделай они так, они теперь без всякого сопротивления прекрасно могли бы уже захватить Рим и всю Южную Италию. А сейчас, медленно,

шаг за шагом продвигаясь с юга на север, они разрушают всю страну и заставляют ужасно страдать население, оказавшееся, так сказать, между молотом и наковальней, то есть между немцами и ими. Англичане отвечали, что они ничего знать не знают, они-де солдаты и их дело — лишь повиноваться. Тогда Микеле атаковал их с другого бока: зачем они воюют, во имя какой цели? Англичане ответили, что они воюют, чтобы защититься от немцев, которые хотели подчинить себе все народы, в том числе и англичан. Микеле сказал, что этого еще мало: люди ожидают от них, что они после войны построят новый мир, в котором будет больше справедливости, больше свободы и больше счастья, чем в старом. Если они не сумеют построить этот новый мир, значит, по существу они тоже проиграют войну, даже если и одержат победу.

Белокурый офицер слушал Микеле с недоверием и отвечал ему коротко и неохотно, но матрос, как мне кажется, полностью был на его стороне, хотя из уважения к офицеру, у которого он был в подчинении, не решался высказаться. В конце концов офицер решительно оборвал спор, сказав, что сейчас главное — это победить, а во всем остальном он полностью полагается на свое правительство, а оно несомненно уже имеет план, как создать тот новый мир, о котором говорил Микеле. Поняли мы все, что он не хочет впутываться в такой затруднительный для него спор, и даже Микеле, хотя ему и не понравился этот ответ, понял офицера и, также желая прекратить спор, предложил выпить за новый мир, который родится из войны. Мы наполнили наши стаканы марсалой и все выпили за этот новый мир. Микеле даже растрогался, на глазах у него выступили слезы, и после этого первого тоста он предложил выпить за здоровье всех союзников, в том числе и русских, по слухам как раз в эти дни одержавших большую победу над немцами.

Все мы были очень довольны, как и полагается в первый день Рождества, и пусть на одно мгновение, но мне показалось, что нет уже различий в языке и воспитании, и мы действительно братья и сестры, и что теперь, в день, когда много веков назад родился в яслях Иисус, снова родилось нечто подобное Иисусу, что-то хорошее и новое, благодаря чему люди станут лучше. В конце обеда мы выпили последний стакан за здоровье обоих англичан, а потом все мы обнялись — я обняла Микеле, Розетту и англичан, а они обняли нас, и все мы сказали один другому: «Поздравляем с Рождеством и Новым годом»,— и я почувствовала себя счастливой впервые с тех пор, как пришла в Сант-Эуфемию. Однако немного погодя Микеле заметил, что все это очень хорошо, но самопожертвование и любовь к ближнему тоже должны иметь свой предел. Он объяснил англичанам, что мы с Розеттой можем приютить их самое большее на одну ночь, но потом лучше им уйти, а если они задержатся здесь, это будет и вправду опасно как для них, так и для нас: немцы могут разнюхать об этом, и тогда уж никому не спастись от их мести. Англичане ответили, что они вполне это понимают, и уверили нас, что уйдут на следующий день.

Весь этот день они провели с нами. Говорили обо всем понемножку с Микеле, и я не могла про себя не отметить, что тогда как Микеле, казалось, решительно все знал об их стране чуть ли не лучше их самих, они, напротив, мало знали или совсем ничего не знали об Италии, в которой они как-никак находились и вели войну. Офицер, к примеру, нам сказал, что учился в университете — значит, он был человек образованный. Но Микеле мало-помалу выяснил, что он даже не знает, кто такой Данте. Вот я, скажем, человек необразованный и Данте никогда не читала, но имя Данте я знала, а Розетта мне сказала, что в школе у монахинь, где она училась, им не только рассказывали про Данте, но даже заставляли его читать. О том, что англичане не знают Данте, Микеле сказал нам шепотом. Потом так же тихо, улучив момент, когда они нас не слышали,

добавил, что именно этим и объясняется очень многое, к примеру сказать бомбардировки, разрушившие столько итальянских городов. Летчики, которые сбрасывали бомбы, ничего не знали ни о нас, итальянцах, ни о наших памятниках старины; невежество делало их хладнокровными и безжалостными.

— Невежество, — закончил Микеле, — может, и есть причина всех несчастий и наших и других народов, ведь жестокость — это лишь одна из форм невежества, а человек просвещенный не может причинять другим людям зло.

Англичане переночевали на сеновале и наутро, не простившись с нами, поспешно ушли. Мы с Розеттой обе ужасно устали, не привыкли мы так поздно засиживаться — обычно ложились мы спать, как говорится, с курами. Поэтому в то утро, хотя было уже далеко за полдень, спали мы еще мертвым сном. И вот, когда нам снился двадцатый сон, вдруг раздался страшный стук в дверь нашей комнаты, а вслед за тем чей-то ужасный голос, оравший что-то не по-нашему.

— Боже мой, мама, — воскликнула Розетта, прижимаясь ко мне,— что случилось?

На мгновение я остолбенела, будто не веря своим ушам, но вот опять раздался стук и вслед за ним какие-то непонятные выкрики. Тогда я сказала Розетте, что пойду посмотреть, кто там, слезла с постели и пошла к двери как была, в одной рубашке, растрепанная, босиком, и, приоткрыв ее, выглянула на улицу. Тут я увидела двух немцев—один, наверно, был сержант, а другой—рядовой. Сержант был помоложе, с коротко остриженной светлой головой, белым, как бумага, лицом, выцветшими голубыми глазами без ресниц, очень тусклыми и без всякого выражения. Нос у него был слегка свернут набок, а рот перекошен в другую сторону; два длинных зарубцевавшихся белых шрама придавали его лицу странное выражение, будто рот у него шел до самой шеи. Второй немец был мужчина средних лет, приземистый, темноволосый, с огромным лбом, печальными, глубоко сидящими темно-синими глазами и тяжелой, бульдожьей челюстью. Сказать по правде, меня больше всего испугали глаза сержанта — холодные, без всякого выражения, такого неприятного голубого цвета, что казались глазами зверя, а не человека. Однако я не показала виду, что испугалась, и во всю глотку заорала ему в лицо:

— Эй, ты чего ломишься, черт бы тебя побрал, что тебе здесь надо? Не видишь разве, что здесь женщины и мы еще спим... теперь, может, и спать нельзя?

Сержант сделал рукой жест, будто приказывал мне замолчать, и сказал на ломаном итальянском языке:

— Ладно тебе, ладно,— а затем, повернувшись к солдату, знаком велел ему следовать за собой и вошел в дом. Розетта, которая еще лежала в постели, с ужасом смотрела на них широко раскрытыми глазами, натянув на себя до самого подбородка простыню. Немцы шарили повсюду, даже под кровать заглянули, а сержант очень уж увлекся и приподнял простыню, что была на Розетте, будто тот, кого они искали, мог прятаться у нее в постели. Потом они вышли из домика. Тем временем на «мачере» собрались беженцы; и теперь, когда я вспоминаю об этом, думается мне, ведь это просто было чудо, что немцы не стали расспрашивать беженцев о тех двух англичанах, потому что наверняка кто-нибудь из них, больше, правда, по глупости, мог все выболтать, и тогда нас с Розеттой поминай как звали. Впрочем, странно, что немцы нагрянули в Сант-Эуфемию как раз на другой день после появления англичан, похоже, будто им об этом кто-то донес или, во всяком случае, проболтался. Но немцы, по-моему, не хотели лишних хлопот и поэтому ограничились поспешным посещением и никого не расспрашивали.

Однако беженцам, которым в диковинку было видеть немцев, хотелось узнать, как идет война и скоро ли кончится. Кто-то сходил за Микеле, немного говорившим по-немецки, и когда немцы уже собирались уходить, его, как он ни упирался, вытолкнули вперед, крича ему:

— Спроси-ка их, когда кончится война!

За версту было видно, что Микеле вовсе не хотелось разговаривать с немцами. Но он сделал над собой усилие и что-то им сказал.

Передаю здесь то, что немцы и Микеле говорили между собой по-немецки — кое-что Микеле перевел слово в слово беженцам, а остальное перевел мне потом, когда немцы ушли. Так вот, Микеле спросил их, когда кончится война, и сержант ответил, что война кончится скоро и победит Гитлер. Добавил он еще, что у немцев есть секретное оружие и с его помощью они, самое позднее весной, сбросят англичан в море. Затем он произнес фразу, которая произвела на беженцев сильное впечатление:

— Мы начнем наступление и сбросим в море англичан. Из Германии поезда будут нам привозить боеприпасы, мы же будем жить за счет итальянцев, а они за то, что нас предали, пусть себе подыхают с голоду.

Сказал он все именно так, слово в слово, убежденным тоном, до того спокойно и безжалостно, будто говорил не об итальянцах — таких же людях, как он,—а о мухах или тараканах. При этих его словах беженцы просто замерли — они не ожидали такого; кто знает почему, но они думали, что немцы относятся к ним дружелюбно. Микеле, который теперь вошел во вкус, спросил немцев, кто они. Сержант ответил, что он из Берлина и до войны у него была там маленькая фабрика картонных ящиков, но теперь ее разрушили, и ему не остается ничего другого, как воевать и стараться делать это возможно лучше. Солдат же, прежде чем ответить, задумался и, отведя в сторону свои печальные, глубоко запавшие глаза и сделав огорченное лицо — при этом он стал похож на побитую собаку, — сказал, что он тоже из Берлина и делать ему ничего другого не остается, как воевать, — у него во время бомбежки погибли жена и единственная дочь. Говорили примерно оба одно и то же, то есть, что, лишившись всего из-за бомбежек, теперь они ни о чем больше не думают, кроме войны; было ясно, как божий день, что сержант воюет с рвением и пылом и, пожалуй, также со злобой, тогда как солдат, такой мрачный, с огромной головой, полным-полнехонькой, наверно, всяких печальных мыслей, воюет теперь прежде всего с отчаяния, хорошо зная, что никто его не ждет дома. И я подумала: этот солдат, может, и не плохой человек, но, потеряв жену и дочь, он мог озлобиться, и если бы, не приведи бог, они нас обеих арестовали, то, возможно, он, не колеблясь, убил бы Розетту именно потому, что у него самого убили дочь — однолетку Розетты.

Пока я обо всем этом думала, сержант, который, видно, действительно крепко ненавидел итальянцев, вдруг спросил, чем объяснить, что вот, мол, все немцы сражаются на фронте, а здесь среди беженцев столько молодых парней, и они сидят сложа руки. Тогда Микеле, повысив голос чуть ли не до крика, ответил, что он и все остальные сражались за Гитлера и за немцев в Греции, в Африке и в Албании и готовы сражаться вновь, до последней капли крови; и что все тут, в горах, ждут не дождутся, когда великий и доблестный Гитлер одержит решающую победу и сбросит в море всех этих сукиных сынов англичан и американцев. Сержант, казалось, был несколько удивлен этой тирадой; он подозрительно оглядел Микеле с ног до головы, и видно было, что он ему не очень-то верит. Однако придраться к словам Микеле было трудно и сказать немцу было нечего, даже если он и не верил. И вот, еще немного покрутившись в домиках беженцев и все обшарив, но как-то спустя рукава, с неохотой и очень вяло, немцы, к большому облегчению для всех нас, ушли вниз, в долину.

Однако я была совсем огорошена поведением Микеле. Не скажу, что он должен был ругать немцев в глаза, но все это вранье, которое он преподнес им с таким нахальным видом, меня крайне удивило. Высказала ему я это, а он, пожав плечами, ответил:

— С нацистами все дозволено: и врать, и предавать, и, если возможно, убивать. Как ты вела бы себя с ядовитой змеей, с тигром, с разъяренным волком? Ты ведь старалась бы справиться с ними, не очень-то разбираясь в средствах. Небось, ты не пыталась бы их уговаривать или как-нибудь задобрить, заранее зная, что это бесполезно. Так же и с нацистами. Они поставили себя вне рода человеческого, они жестоки, как дикие звери, и потому по отношению к ним все средства хороши. Ты тоже, как и этот столь образованный английский офицер, никогда не читала Данте. Но если бы ты его читала, знала бы, что Данте говорит: и любезностью была в нем грубость его.

Спросила я, что же означает эта фраза Данте, и он тогда объяснил мне, что он хотел этим сказать: по отношению к таким людям, как нацисты, даже лгать им и их предавать — это и то слишком большая любезность, не заслуживают они даже этого. Тогда я сказала, просто так, лишь бы что-нибудь сказать, что ведь среди нацистов, как всегда это бывает, могут быть и хорошие, и плохие люди, и откуда он может знать, что эти двое плохие? Но Микеле тут рассмеялся:

— Здесь дело не в том, хорошие они или плохие. Может, они и хороши со своими женами и детьми: ведь волки и змеи тоже хорошо относятся к своим детенышам и самкам, но по отношению ко всему человечеству — а это ведь самое главное,—то есть к тебе, ко мне, к Розетте, ко всем этим беженцам и крестьянам они могут быть только плохими.

— А почему?

— Потому,— сказал он, на минуту задумавшись,— что, по их убеждению, то, что мы называем злом, это добро. И поэтому, совершая зло, они думают, что делают добро, то есть исполняют свой долг.

Не убедил меня Микеле, мне казалось, что я не до конца поняла его слова. Однако он меня уже не слушал и закончил, словно говоря сам с собой:

— Да, конечно, сочетание всяческого зла и чувства долга — вот это и есть нацизм.

В самом деле, любопытный тип был этот Микеле — такой добрый и в то же время такой суровый.

Помню другую нашу встречу с немцами, произошла она совсем при других обстоятельствах. Как всегда, у нас было очень мало муки — теперь, когда я пекла хлеб, то пускала в ход не только мелкие, но и крупные отруби. Поэтому однажды мы решили сходить в долину и попытаться достать там немножко муки в обмен на яйца. Купила я у Париде яйца, их было шестнадцать штук, и я надеялась, доплатив еще денег, получить за них несколько килограммов белой муки. Мы еще ни разу не спускались в долину с того самого дня, как попали под бомбежку, которая до смерти напугала бедного Томмазино, и, сказать по правде, отчасти тоже поэтому неохота мне было идти в долину. Уж не помню, как я сказала об этом Микеле, и тогда он предложил нас сопровождать. С радостью я согласилась, с ним мне было спокойнее; не знаю почему, там, в горах, он единственный вселял в меня смелость и уверенность.

Так вот, положили мы яйца в корзиночку, прикрыли их соломой и рано поутру отправились в путь. Было это в первых числах января — в самый разгар зимы и, как я чувствовала, хотя и не могла себе этого хорошенько объяснить, в самый разгар войны, иными словами, в самый тоскливый, самый холодный, самый безнадежный момент того отчаяния, которое длилось уже столько лет. В последний раз я спускалась в долину как раз

тогда, когда мы ходили вместе с Томмазино,—на деревьях еще были листья, хотя уже пожелтевшие, на лугах из-за обильных дождей зеленела трава, а на склонах гор кое-где еще виднелись последние осенние цветы—цикламены и лесные фиалки. Но теперь, чем ниже мы спускались, тем больше нам бросалось в глаза, что все вокруг высушено, выжжено, серо и голо, все выглядит безжизненным в холодном, не согретом солнцем воздухе, под пасмурным и тусклым небом. Вышли мы из дому в довольно веселом настроении, но сразу же приумолкли: день стоял тихий-тихий, какие именно бывают в самые холода, и эта тишина сковывала нас и мешала нам говорить. Сначала мы спустились вниз по склону с правой стороны долины, потом пересекли площадку, где среди кактусов и скал упала бомба, сброшенная с самолета в тот день, когда мы шли с Томмазино, а затем направились по левому склону горы.

Так шли мы, не разговаривая, еще с полчаса и наконец через ущелье вышли в долину, как раз к тому месту, где на перекрестке, у мостика, стоял домик, в котором жил Томмазино до той злосчастной бомбежки. Мне запомнилось это место — такое веселое, живописное, такое просторное, и очень я удивилась, увидя его теперь таким печальным, серым, голым и убогим. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть женщину без волос? Я видела однажды — это была одна девушка в моей деревне, у нее после тифа часть волос выпала, а часть ей пришлось остричь под машинку. Будто ее подменили, у нее появилось даже новое выражение лица; ее голова напоминала огромное безобразное яйцо, гладкая и лысая, каких никогда не бывает у женщин, а лицо, не оттененное волосами, казалось при ярком свете словно расплющенным. Точно так же, без густой зеленой листвы трех высоких платанов, отбрасывавших тень на домик Томмазино, без травы, скрывавшей камни на берегу речки, без кустов, росших по обе стороны дороги и канавы, — правда, тогда я их не замечала, но они, конечно же, там росли, так как теперь я ощущала их отсутствие,— без всего этого место было ничем не приметным, просто никаким, утратило всю свою прелесть, совсем как женщина, если ей остричь волосы. И не знаю сама почему, при виде этого обезображенного уголка у меня сжалось сердце, и показалось, что он, пожалуй, чем-то напоминает сейчас наши жизни, ставшие такими же серыми и убогими из-за этой нескончаемой войны, отнявшей у нас все мечты и надежды.

Ну, хватит об этом. Мы зашагали по шоссе, и вот здесь-то произошла первая встреча, ожидавшая нас в тот день. Какой-то человек вел под уздцы двух замечательно красивых холеных вороных коней. Это были немецкие кавалерийские кони, но на солдате была форма, которой я никогда раньше не видывала. Когда мы с ним поравнялись, он сперва посмотрел на нас, а потом поздоровался и, так как мы шли в одну сторону, заговорил с нами на ломаном итальянском языке. Так довольно долго мы шли вместе и разговаривали. Солдату было лет двадцать пять, и такого красивого парня сроду мне не доводилось встречать. Высокий, широкоплечий, с очень тонкой, как у женщины, талией, подтянутый, в желтых хромовых сапогах на длинных ногах. У него были волосы как золото, глаза голубовато-зеленые, миндалевидные, какие-то странные и чуточку мечтательные, прямой, большой и тонкий нос, красный, красиво очерченный рот, а когда он улыбался, то показывал чудесные зубы, до того белые и ровные, что просто приятно было на них смотреть.

Солдат сказал нам, что он не немец, а русский, из очень далекого селения — он даже назвал его, но теперь я уже позабыла. Спокойно он рассказал нам, что изменил своим и перешел к немцам, потому что не по душе пришлись ему русские, хотя это, однако, вовсе не значит, что он полюбил немцев. Рассказал он нам еще, что вместе с другими русскими предателями служит у немцев, добавив, что немцы теперь наверняка проиграют

войну, своей жестокостью они весь мир восстановили против себя, и весь мир ополчился на них. Полное поражение немцев, закончил он, вопрос каких-нибудь нескольких месяцев, и он знает, что тогда ему конец, — тут он сделал жест, от которого я вся похолодела: рукой он провел по шее, будто желая сказать, что русские перережут ему горло. Говорил он спокойно, словно собственная судьба была ему теперь совершенно безразлична, и даже улыбался — он улыбался не только ртом, улыбались и его странные лазурные глаза — ни дать ни взять два кусочка глубокого-глубокого моря. Было ясно, что он ненавидит немцев, ненавидит русских, ненавидит себя самого и нисколько не боится умереть. Он спокойно шагал, ведя под уздцы лошадей. На пустынной дороге среди серых, тронутых морозом полей был лишь он да его кони, и просто не верилось, что этот такой красивый парень, так сказать, уже приговорен к смерти и должен совсем скоро умереть, может даже до конца этого года. У развилки, где мы с ним расстались, он, погладив гриву одного из коней. сказал:

— Вот эти два коня — единственное, что у меня осталось в жизни, да и то они не мои.

И пошел по направлению к городу. Мы постояли минутку, смотря ему вслед. Я не могла удержаться, чтобы не подумать, что и он также жертва войны. Ведь не будь войны, красивый этот парень остался бы в своей деревне, женился бы наверно, работал и стал порядочным человеком, как все вокруг него. Война же заставила его покинуть родной край, сделала предателем, а теперь война его убивала, и он уже смирился со смертью, а это из всех ужасов, пожалуй, самое страшное и наименее понятное.

Мы свернули налево, на проселочную дорогу, которая вела к апельсиновой роще, надеясь, как в прошлый раз, выменять яйца на хлеб у немецких танкистов, разбивших там свои палатки. Однако у рощи мы никого не нашли; танкисты уехали, и мы увидели лишь примятую траву на месте, где стояли их палатки, да несколько ободранных и сломанных деревьев — вот и все. Растерявшись, я тогда сказала, что, пожалуй, стоит пройти по этой дороге немного вперед, может танкисты или какие-нибудь другие немецкие части разбили свои палатки чуть подальше. Прошли мы еще с четверть часа, по-прежнему молча, и наконец, примерно через километр, повстречалась нам белокурая девушка, она брела одна-одинешенька, будто шла не в определенное место, а так, просто гуляла без всякой цели. Шла она тихим шагом, с непонятным интересом вглядывалась в серые, обнаженные поля, и все смотрела куда-то вдаль, время от времени откусывая кусочек хлеба. Я пошла ей навстречу и спросила:

— Послушай, ты нам не скажешь, если идти по этой дороге, есть тут где-нибудь немцы?

Она резко остановилась, услышав мой вопрос, и посмотрела на меня. На голове у нее был платочек, девушка была красивая, цветущая, крепкая, с широким и немного массивным лицом и большими светло-карими глазами. Она сразу же поспешно ответила:

— Немцы... что за вопрос... конечно, тут есть немцы... повсюду немцы...

Спросила я ее:

— Но где же они?

Она опять посмотрела на меня, но теперь уже с испуганным видом, и вдруг, не ответив мне, повернулась и хотела было идти дальше. Тогда я схватила ее за руку и повторила свой вопрос, а она мне шепотом ответила:

— А если я тебе скажу, ты никому не расскажешь, где я прячу свои запасы?

При этих ее словах я рот разинула от удивления, потому что, с одной

стороны, они по тем временам вроде были как бы к месту, а с другой — были совершенно бессмысленны. Я сказала:

— Что ты мелешь? При чем тут твои запасы?

А она, покачивая головой:

— Приходят и забирают... приходят и забирают... известное дело — немцы... Знаешь, что я им сказала, когда они пришли ко мне в последний раз? Сказала я им: ничегошеньки у меня нет, ни муки, ни фасоли, ни сала, ничего больше нет... у меня осталось только молоко для моего ребенка... если хотите, возьмите... вот оно...

И пристально глядя на меня своими широко раскрытыми глазами, она начала расстегивать кофточку. Оторопела я просто, Микеле и Розетта тоже. Смотрела она на нас, шевеля губами, будто разговаривала сама с собой, и тем временем уже расстегнула кофточку донизу, а потом, растопырив пальцы, совсем так, как это делают матери, когда собираются кормить ребенка, стала вынимать грудь.

— У меня нет ничего — вот только это... возьмите,— повторила она тихим голосом, будто в беспамятстве.

Теперь ей уже удалось высвободить из кофточки всю грудь — округлую, белую, налитую, с такой тонкой, словно прозрачной, молочно-белой кожей, какая бывает обычно только у кормящих матерей. Но обнажив грудь, она вдруг повернулась и побрела дальше, что-то напевая, рассеянно смотря по сторонам, в расстегнутой кофточке и с одной грудью наружу. Надолго запомнилась она мне так: вот она медленно идет, откусывая по кусочку хлеб, с не закрытой от зимней стужи грудью — что-то светлое, единственно живое, яркое, теплое, что было в ту минуту вокруг нас в тот пасмурный и серый, холодный осенний день.

— Да ведь она помешанная,— наконец проговорила Розетта.

Микеле сухо подтвердил:

— Да, конечно.

И мы молча пошли дальше.

Однако немцев нигде не было видно, и Микеле предложил пойти к одним его знакомым, которые, как ему было известно, бежав из Фонди, поселились в какой-то лачуге близ одной из этих апельсиновых рощ. Он сказал, что они хорошие люди и хотя бы смогут посоветовать нам, где найти немцев, которые хотели бы выменять яйца на хлеб. И вот вскоре мы свернули с шоссе на вьющуюся среди садов узкую дорожку. Микеле сказал мне, что все эти апельсиновые сады принадлежат человеку, к которому мы идем. Он адвокат, холостяк, живет со старухой матерью. Шли мы, может, минут десять, а затем вышли на маленькую полянку, где стоял крошечный кирпичный домик с крышей из гофрированного железа. Домик имел всего два окна и дверь. Микеле подошел к одному из окон, заглянул и сказал, что хозяева тут, и дважды стукнул в стекло. Прождали мы довольно долго, наконец дверь медленно и будто нехотя отворилась и на пороге появился адвокат. Это был мужчина лет под пятьдесят, плотный, лысый, с бледным, лоснящимся, как слоновая кость, лбом, над которым торчала копна растрепанных черных волос, с водянистыми глазами чуточку навыкате, крючковатым носом и мягким, бесформенным ртом — нижняя губа у него некрасиво отвисала на жирный подбородок. На нем было городского покроя пальто, какие носят по вечерам, темно-синего сукна с черным бархатным воротником, но из-под этого столь франтовского пальто виднелись истрепанные, все в бахромке брюки и подбитые гвоздями грубые солдатские ботинки. Он увидел нас, и — я это сразу заметила — ему стало не по себе, однако тут же он овладел собой и обнял Микеле даже с преувеличенной сердечностью.

— Микелино... вот молодец, что пришел... какой попутный ветер занес тебя в наши края?

Микеле познакомил нас с ним, и он, не подавая руки, поклонился нам смущенно и довольно холодно. Между тем мы все стояли в дверях, но он и не подумал пригласить нас войти.

Тогда Микеле сказал:

— Мы проходили мимо и решили вас навестить.

Адвокат ответил, будто очнувшись:

— Ну что ж, хорошо сделали... мы как раз собирались садиться за стол... заходите, будете гостями.

Потом помедлил немного и добавил:

— Микеле, я хочу предупредить тебя... ведь я знаю твои чувства, впрочем, я сам их вполне разделяю... Дело в том, что я пригласил немецкого лейтенанта, он командует стоящей здесь рядом зенитной батареей. Знаешь, я должен был его позвать... ах, ничего не поделаешь, такие теперь времена...

Так, извиняясь и охая, он ввел нас в свой домик. У окна стоял уже накрытый круглый стол, и это была единственно чистая и аккуратная вещь в комнате — повсюду валялись разные мелочи, горы тряпья, связки книг, стояли нагроможденные друг на друга чемоданы и ящики. За столом уже сидели мать адвоката, маленькая старушка, одетая во все черное, с морщинистым лицом и боязливым взглядом — точь-в-точь испуганная обезьянка, и немецкий лейтенант — затянутый в мундир тощий блондин, плоский, как бумажный лист, в кавалерийских бриджах и высоких сапогах на длинных ногах, которые он весьма бесцеремонно вытягивал под столом то в одну, то в другую сторону. Похож он был на собаку, и лицо у него напоминало собачью морду — как говорится, один нос торчал, глаза совсем близко посажены, почти желтые, без ресниц и бровей, глядят настороженно и враждебно, а рот большой над срезанным назад подбородком. Он поднялся с любезным и вежливым видом, поздоровался с нами, стукнув каблуками, но руки никому не подал и сразу же снова сел, будто желая сказать: «Делаю я это не для вас, а лишь потому, что я воспитанный человек». Адвокат же меж тем объяснял нам, что лейтенант служит на зенитной батарее — об этом мы уже знали — и что этот обед — просто встреча добрых соседей.

— И будем надеяться,— сказал в заключение адвокат,— что война скоро кончится и лейтенант сможет пригласить нас к себе, в Германию.

Лейтенант ничего не ответил, даже не улыбнулся, и я подумала, что он не знает по-нашему и не понял. Но потом, обращаясь к матери адвоката, которая жалобным голосом предлагала ему вермут, он вдруг неожиданно проговорил на хорошем итальянском языке:

— Спасибо, я не пью вина перед едой.

И тогда я поняла, сама не знаю почему: не улыбается он, так как по каким-то своим причинам зол на адвоката. Затем Микеле рассказал о нашей встрече с помешанной, и адвокат равнодушно проговорил:

— Ах, да это Лена. Она всегда была ненормальная. В прошлом году во время всей этой неразберихи, когда одни части уходили, другие приходили, какой-то солдат поймал ее, ведь она всегда бродит одна по полям, и сделал ей ребенка.

— А где же теперь ее ребенок?

— Ребенок остался в семье, и о нем очень заботятся. Однако эта бедная дурочка вбила себе в голову, что его хотят у нее отнять, потому что у нее будто нет молока, чтобы кормить ребенка. Но любопытнее всего, что она его регулярно кормит — мать ее в определенные часы кладет ей ребенка на руки, и она делает все, что та ей велит. Но все же ее не оставляет навязчивая идея, будто у нее не хватает молока, чтобы кормить ребенка.

Адвокат говорил об этой бедняжке Лене совершенно безразличным тоном. А на меня встреча с ней произвела такое сильное впечатление, что я никогда ее не позабуду. Когда она посреди большой дороги предлагала свою обнаженную грудь первому встречному—мне казалось, это было воплощением того положения, в каком очутились мы, итальянцы, той зимой 1944 года — лишенные всего, как животные, у которых нет ничего, кроме их молока, чтобы кормить своих детенышей.

Меж тем мать адвоката, испуганная, дрожащая, без конца ходила в кухню, принося оттуда тарелки и держа их двумя руками с такой осторожностью, словно это были святые дары. Она поставила на стол нарезанные ломтиками ветчину и колбасу, буханку немецкого формового хлеба, как раз такого, какой мы искали, а потом принесла суп — настоящий бульон с тонкой лапшой — и, наконец, большую вареную курицу с гарниром из маринованных овощей. Поставила она также и бутылку хорошего красного вина. Видно было, что адвокат и его мать не поскупились на расходы ради этого мальчишки-немца, стоявшего теперь со своей батареей по соседству с ними и которого, значит, надо было задобрить. Но у лейтенанта и вправду был скверный характер; едва увидя формовой хлеб, он сразу же указал на него пальцем и заявил:

— Могу ли я спросить вас, синьор адвокат, каким путем вы достали этот хлеб?

Адвокат, плотно закутанный в свое пальто, точно его сильно знобило, ответил нерешительным, но вместе с тем шутливым тоном:

— Ах, это подарок... нам его один солдат преподнес, а мы тоже сделали ему подарок... время теперь, сами знаете, военное...

— Всякий обмен, — безжалостно продолжал немец, — запрещен... простите, а кто был этот солдат?

— Да что вы, лейтенант, ведь и на исповеди каются в грехе, но не называют имя грешника... попробуйте лучше эту ветчину, она не немецкая, а наша, отечественная...

Лейтенант ничего не ответил и занялся ветчиной.

С адвоката лейтенант вдруг перенес свое внимание на Микеле. Глядя в упор, он спросил Микеле, чем он занимается, и тот, не задумываясь, сказал:

— Учитель, преподаю в школе.

— Что же вы преподаете?

— Итальянскую литературу.

Тогда лейтенант, к превеликому изумлению адвоката, спокойно сказал:

— Да, я знаком с вашей литературой.. я даже перевел на немецкий язык один итальянский роман.

— Какой?

Лейтенант сказал название романа и фамилию автора, но я теперь не помню ни того, ни другого. Микеле, который до сих пор не проявлял к лейтенанту никакого интереса, теперь, как я заметила, заинтересовался им; адвокат же, видя, что лейтенант разговаривает с Микеле чуть ли не со своего рода уважением, как равный с равным, также стал держаться по-другому: теперь он, казалось, был доволен приходу Микеле и даже дошел до того, что, похлопав его по плечу, сказал лейтенанту:

— Вы не шутите, наш Феста очень образованный человек, большой знаток литературы...

Но лейтенант, видно, считал делом своей чести не обращать внимания на адвоката, хотя тот был хозяин дома и пригласил его, и продолжал, обращаясь к Микеле:

— Я прожил два года в Риме и изучал ваш язык... но сам я занимаюсь главным образом философией.

Адвокат попытался было ввязаться в разговор и шутливо сказал:

— Ну, тогда вы понимаете, почему мы, итальянцы, стараемся относиться ко всему, что с нами случилось в эти последние годы, философски... да, да, именно философски...

Но лейтенант и на этот раз не удостоил его даже взглядом. Теперь он без умолку трещал, обращаясь к Микеле, так и сыпал фамилиями писателей и названиями книг — видно было, что он и вправду знает литературу, и я заметила, что Микеле, почти против своей воли, будто упираясь, слово за слово уступал чувству если не уважения, то, по крайней мере, любопытства. Так они некоторое время меж собой говорили, а потом, уж не знаю как, разговор перешел на войну и на то, что она может дать ценного писателю или философу, и лейтенант, заметив, что война обогащает важным и, пожалуй, необходимым опытом, произнес такую фразу:

— О да, она дает новые, скажу даже эстетические, ощущения, — он так вот и сказал «эстетические», хотя в тот момент я его совсем не поняла, но вся эта фраза запечатлелась у меня в памяти, будто выжженная огнем. — Особенно сильно я испытал их во время балканской кампании, и знаете, синьор учитель, при каких обстоятельствах? Когда очищал огнеметом пещеру, полную вражеских солдат!

Услышав его слова, все мы четверо — Розетта, я, адвокат и его мать — просто окаменели. Потом я подумала, что это, может, только пустое хвастовство, и в душе понадеялась, что он этого никогда не делал и это ложь — он выпил несколько стаканов вина, лицо у него раскраснелось, глаза немного заблестели; но в ту минуту я почувствовала, что сердце у меня будто оборвалось и вся я похолодела. Посмотрела я на остальных. Розетта сидела, опустив глаза, мать адвоката нервно разглаживала дрожащей рукой складку на скатерти, адвокат же, как черепаха в панцирь, весь ушел в свое пальто. Только Микеле смотрел на лейтенанта пристально, не отводя взгляда, а затем сказал:

— Интересно, ничего не скажешь, интересно... и еще более новым и эстетическим, я полагаю, должно быть ощущение летчика, когда он сбрасывает бомбы на какую-нибудь деревню, где после того как он пролетел, от домов остается лишь куча мусора.

Лейтенант, однако, не был так глуп, чтобы не почувствовать насмешки в словах Микеле. Помолчав немного, он изрек:

— Благодаря войне мы приобретаем незаменимый опыт, без которого человек не может зваться человеком... К слову сказать, синьор учитель, почему вы здесь, а не на фронте?

Микеле, с простодушным видом, не задумываясь, в свою очередь спросил:

— На каком фронте?

Как ни странно, но на этот раз лейтенант ничего не сказал и лишь метнул на него злобный взгляд, а потом снова нагнулся над своей тарелкой.

За версту было видно, что немец недоволен и понимает, что его окружают здесь люди если не открыто ему враждебные, то, во всяком случае, недружелюбно настроенные. Внезапно он оставил Микеле в покое, может тот показался ему недостаточно запуганным, и снова набросился на адвоката.

— Дорогой синьор адвокат, — неожиданно сказал он, указывая на стол, — вы купаетесь в изобилии в то время, когда почти все, кто живет вокруг, умирают с голоду... Как это вам удалось раздобыть столько вкусных вещей?

Адвокат и его мать переглянулись; в глазах матери был испуг и растерянность, адвокат же посмотрел на нее ободряюще, а затем сказал:

— Могу вас заверить, у нас не всегда такой стол... мы все это приготовили в вашу честь.

Лейтенант помолчал минутку, а затем спросил:

— Вы ведь землевладелец, у вас здесь в долине земля, не так ли?

— Да, некоторым образом да.

— Только некоторым образом? А мне говорили, будто вам принадлежит чуть ли не половина всей долины.

— Полноте, дорогой лейтенант, тот, кто вам это сказал, или лгун или завистник, а может, и то и другое вместе... У меня, собственно, несколько садов... мы зовем садами эти красивые рощицы апельсиновых деревьев...

— А я слышал, что эти, как вы их называете, сады приносят огромные доходы... вы богатый человек.

— Ну, синьор лейтенант, назвать меня богатым нельзя... Однако на жизнь хватает.

— А вы знаете, как живут тут в долине ваши крестьяне?

Адвокат, теперь понявший, к чему клонится разговор, ответил с достоинством:

— Живут они хорошо... в нашей долине крестьянам живется лучше, чем во многих других местах.

Лейтенант, который резал в этот момент лежавший перед ним на тарелке кусок курицы, угрюмо сказал, тыча ножом в сторону адвоката:

— Если, по-вашему, здешние крестьяне живут хорошо, то воображаю, как же живут те, кому плохо живется. Видел я, как живут ваши крестьяне. Живут как свиньи, голодают и ходят в лохмотьях, их дома это настоящие хлева. Ни один крестьянин в Германии так не живет. Мы, в Германии, стыдились бы обрекать своих крестьян на такую жизнь.

Адвокат, может для того, чтобы сделать приятное матери, которая бросала на него умоляющие взгляды, будто желая сказать: «Не спорь ты с ним, молчи», — пожал плечами и ничего не ответил. Однако лейтенант не отставал:

— Что вы, дорогой адвокат, на это скажете, что можете возразить?

Адвокат на этот раз сказал:

— Уверяю вас, лейтенант, это они сами хотят так жить... вы их не знаете.

Но лейтенант резко ответил:

— Нет, это вы, помещики, хотите, чтобы они жили в таких условиях. Все зависит вот от чего, — он похлопал себя по макушке, — от головы. Вы — голова Италии, и ваша вина, если крестьяне живут не по-человечески.

Теперь адвокат, казалось, и впрямь испугался, и было заметно, что ему буквально кусок не лезет в горло — глотая, он каждый раз дергал головой, совсем как куры, когда они наспех, давясь, заглатывают пищу. У матери его был совершенно растерянный вид, и я заметила, как она тайком, под скатертью, сложила на коленях руки и молилась, прося у бога защиты. Лейтенант продолжал:

— Прежде я побывал только в немногих итальянских городах, самых красивых, и в этих городах знал лишь памятники старины. Теперь же, благодаря войне, я хорошо узнал вашу страну, изъездил ее всю, вдоль и поперек. И знаете, уважаемый адвокат, что я вам скажу? У вас в Италии существуют такие различия между классами, что это просто позор.

Адвокат промолчал, однако слегка пожал плечами, как бы желая сказать: «А при чем здесь я?». От лейтенанта не укрылось это его движение, и он вновь накинулся на него:

— Нет, дорогой мой, это вас касается так же, как и всех людей вашего положения — адвокатов, инженеров, врачей, учителей, вообще всей интеллигенции. Мы, немцы, к примеру сказать, были возмущены той

огромной разницей, какая существует между итальянскими офицерами и солдатами: офицеры покрыты галунами, носят мундиры из особой материи, получают особое питание, пользуются везде и во всем особыми льготами и привилегиями. Солдаты же одеты в лохмотья, едят, как собаки, да и отношение к ним — собачье. Что вы скажете по этому поводу, дорогой синьор адвокат?

На этот раз адвокат ответил:

— Я вам скажу вот что: все это, может, и действительно так. И я первый сожалею об этом. Но что же я могу сделать один?

Но немец опять пристал:

— Нет, дорогой мой, вам не следует так говорить. Это касается непосредственно вас, и если бы вы и люди, подобные вам, захотели бы по-настоящему, чтобы такое положение изменилось, вы могли бы его изменить. А знаете ли вы, почему Италия проиграла войну, и теперь нам, немцам, приходится жертвовать драгоценными жизнями наших солдат на итальянском фронте? Вот именно из-за этих различий между вашими солдатами и офицерами, между народом и вами, господами, что стоят у власти. Итальянские солдаты не хотят воевать, потому что считают эту войну вашей, а не своей. И их враждебность к вам сказывается именно в том, что они не желают воевать. Ну, что вы можете на этот счет сказать, уважаемый адвокат?

Адвокату, может из-за сильного раздражения, на этот раз удалось побороть страх, и он сказал:

— Вы правы, итальянский народ не хотел войны. Я тоже не хотел. Эту войну нам навязало фашистское правительство. А фашистское правительство — это не мое правительство, в этом вы можете быть совершенно уверены.

Но лейтенант, немного повысив голос, не отставал:

— Нет, дорогой мой, вы это бросьте. Правительство это ваше.

— Мое? Изволите шутить, лейтенант.

Здесь вмешалась мать адвоката:

— Франческо, ради бога... умоляю тебя...

Лейтенант продолжал настаивать:

— Да, это ваше правительство, хотите доказательств?

— Не откажусь.

— Я все про вас знаю, дорогой мой, я вот знаю, что вы антифашист, либерал. Однако вы, в этой долине, не водитесь с крестьянами или рабочими, а водитесь с секретарем фашио. Ну, что вы на это скажете?

Адвокат вновь пожал плечами:

— Ошибаетесь, я не антифашист и не либерал, и вообще не занимаюсь политикой, я слишком занят своими собственными делами. И потом, при чем тут секретарь фашио? Мы с ним вместе учились в школе и даже некоторым образом родственники — моя сестра вышла замуж за его двоюродного брата... Вы, немцы, многого не можете понять... Вы плохо знаете Италию.

— Нет, дорогой мой, это очень хорошее доказательство: все вы — и фашисты и антифашисты — связаны одной веревочкой, потому что принадлежите к одному классу... и это правительство является вашим правительством, оно представляет всех вас без всякого различия — и фашистов и антифашистов, так как оно — правительство вашего класса... Эх, дорогой адвокат, факты говорят за себя, а все остальное одна болтовня.

Лоб у адвоката покрылся капельками пота, хотя в комнате было холодно. Мать его, не зная, что делать, встала из-за стола и, совершенно растерявшись, проговорила дрожащим голосом:

— Я пойду в кухню, сварю хорошего кофейку... — и исчезла из комнаты.

Лейтенант же между тем говорил:

— Я не таков, как большинство моих соотечественников, которые так глупо ведут себя с вами, итальянцами: они любят Италию, здесь много прекрасных памятников старины, да и пейзажи Италии самые красивые в мире... зачастую они находят какого-нибудь итальянца, который говорит по-немецки, и приходят в умиление, что он говорит на их языке... а случается, что кто-нибудь их угощает вкусным обедом, к примеру, как вы сегодня угостили меня, и они становятся собутыльниками. Я не так глуп и наивен, как эти немцы. Я, синьор адвокат, вижу все насквозь и говорю вам об этом в лицо.

Тогда я, сама не знаю почему, может потому, что мне стало жалко беднягу адвоката, взяла да вдруг и выпалила:

— А вы знаете, почему адвокат пригласил вас на этот обед?

— Почему же?

— Да потому, что вы, немцы, нагоняете на всех страх, все вас боятся, вот он и пытался вас задобрить, как пытаются задобрить хищного зверя вкусным куском.

Как ни странно, лицо его, правда на одно мгновение, приняло чуть печальное и огорченное выражение: никому, даже немцу, не нравится, когда ему говорят, что он вызывает страх и что люди с ним любезны только потому, что его боятся. Остолбеневший от ужаса адвокат попытался как-то загладить мои слова:

— Не обращайте внимания, лейтенант, на эту женщину... Она простой человек и многого не понимает...

Но лейтенант знаком приказал ему замолчать и спросил меня:

— А скажите, почему же это нас, немцев, так боятся? Разве мы не такие же люди, как и все остальные?

Я, начав, уже не могла удержаться и хотела было ответить ему: «Нет, ни один человек, если он вправду человек и христианин, не может найти удовольствия в том, чтобы очищать, как вы недавно выразились, огнеметом пещеру, полную живых солдат», — но, по счастью — кто знает, что бы со мной потом случилось, — не успела я открыть рта, как вдруг над долиной затрещали беспорядочные, сухие выстрелы — наверно, это зенитки, — чередуясь с глухими разрывами падающих бомб. И в то же самое время воздух наполнился далеким гулом, и с каждой минутой он приближался и становился все отчетливей. Лейтенант сейчас же вскочил и воскликнул:

— Самолеты... я должен бежать на свою батарею! — и, опрокидывая стулья и все, что попадалось ему на пути, выскочил из домика.

Первым пришел в себя после бегства лейтенанта адвокат:

— Скорее, скорее, идемте... идемте в укрытие!

Он встал и, идя впереди нас, вышел на лужайку перед домиком. Там, в сторонке, виднелась какая-то щель в земле, защищенная накатом из балок и мешочками с песком. Адвокат кинулся к этой щели и стал спускаться по деревянной лесенке, повторяя:

— Скорее, сейчас они будут у нас над головой!

В самом деле, гул, хотя его временами и заглушал грохот зениток, становился все страшнее и нестерпимее, будто шел он уже из-за деревьев, окружающих лужайку. Потом внезапно все стихло, и мы очутились впотьмах, в подземной комнатке, вырытой как раз под полянкой.

— Конечно, это от бомбы не спасет, — сказал адвокат, — но защитит, по крайней мере, от огня пулеметов... над нами здесь метр земли да еще мешочки с песком.

В общем простояли мы там уж не знаю как долго, в полной тьме, не дыша; время от времени доносилось приглушенное хлопанье зениток, потом все стихло. Наконец адвокат, немного приоткрыв дверцу,

убедился, что самолеты улетели, и мы вышли на воздух. Адвокат указал нам на несколько разорванных и продырявленных мешочков с песком и, подняв пулю длиной с палец, сказал:

— Такой бы наверняка хватило, чтобы отправить нас на тот свет.

Потом, подняв глаза к небу, добавил:

— Благословенные самолеты, прилетайте к нам чаще. Будем надеяться, что вы освободите нас от этого лейтенанта, который в самом деле хуже всякого хищного зверя.

Мать сказала ему с упреком:

— Не говори так, Франческо. Ведь он тоже человек, не надо никому желать смерти.

Но адвокат ответил:

— Разве он человек? Будь проклят он вместе со своей батареей и тот день, когда он на наше горе тут появился. Когда он отсюда уберется, я устрою обед в тысячу раз лучше, чем сегодня. И разумеется, я вас всех на него приглашаю!

Короче говоря, он долго еще на все лады проклинал немецкого лейтенанта. Потом мы возвратились в его домик и выпили кофе, а после этого его мать взяла у нас яйца и дала нам в обмен немного муки и фасоли. Затем мы с ними попрощались и ушли.

Было уже поздно, яйца мы выменяли, и мне не терпелось вернуться в Сант-Эуфемию. Наши встречи в долине были одна хуже другой: сперва этот русский с конями, потом бедняжка помешанная и в конце концов этот немецкий лейтенант. По дороге домой Микеле сказал мне:

— Больше всего меня бесила в этом разговоре одна вещь.

— Какая же?

— А то, что он прав, хоть и нацист.

Я сказала:

— А почему тебя это злило? Иногда ведь и нацисты могут быть правы.

А Микеле, опустив голову:

— Нет, никогда.

Хотела я спросить его, как же это получается, что этот жестокий нацист, которому доставляло особенное удовольствие своим огнеметом живьем сжигать людей, в то же время сознавал, что у нас в Италии царит несправедливость. Ведь сам Микеле всегда нам говорил, что люди, чувствующие несправедливость, — хорошие люди, лучше всех других, единственные, кого он не презирает. А теперь, вот вам пожалуйста, — этот лейтенант, который к тому же еще и философ, чувствовал несправедливость и вместе с тем испытывал удовольствие, убивая людей. Как же это могло быть? Но я не осмелилась поделиться с Микеле этими своими думами да к тому же видела, что он и без того расстроен и печален. Так мы карабкались все выше и выше, долина осталась далеко внизу, и мы возвратились в Сант-Эуфемию, когда уже давно стемнело.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В один из тех январских дней, когда по-прежнему дул трамонтана и небо было прозрачно и чисто как хрусталь, мы с Розеттой, проснувшись поутру, вдруг услышали, что со стороны моря раздается какой-то далекий и равномерный гул, будто где-то высоко в небе. Сперва мы услыхали глухой удар, точно кто-то хватил по небу кулаком, а вслед за ним второй, уже более громкий и отчетливый, казавшийся отзвуком первого. Бух, бух, бух — удары беспрерывно следовали один за другим, не замолкая, и слыша этот зловещий, грозный гул, мы сильнее чувствовали, как прекрасен день, как ярко светит солнце, как лазурно небо.

Прошло еще два дня, и гул этот не смолкал ни днем ни ночью; потом, на третий день утром, пришел к нам пастушонок и принес какой-то печатный листок, который он нашел в колючем кустарнике.

Листок этот оказался газеткой, напечатанной англичанами, но написано там все было по-немецки и для немцев. Так как в Сант-Эуфемии единственный, кто немного знал немецкий, был Микеле, то газетку отнесли ему: прочитав ее, он рассказал нам, что англичане высадили большие силы около Анцио, неподалеку от Рима — теперь там идет большое сражение, в котором участвуют корабли, артиллерия, танки и пехота; англичане продвигаются к Риму и, видно, уже подошли к Веллетри. При этом известии все беженцы от большой радости стали обниматься, поздравлять и целовать друг друга. В тот вечер никто не хотел идти спать рано, как обычно ложились, а все ходили из одного домика в другой, из одной хижины в другую, обсуждая это известие и радуясь, что англичане наконец высадились.

Однако последующие дни не принесли никаких новостей. Правда, глухой гул орудий не прекращался, и в стороне Террачины, высоко в небе, по-прежнему грохотало; но немцы, как мы тут же разузнали, и не думали уходить. А затем, спустя несколько дней, пришли первые верные известия: англичане и вправду высадились, но немцы были наготове и послали туда уж не знаю сколько дивизий, чтобы остановить их, и после долгих боев им это удалось. Теперь англичане закрепились на берегу, на совсем маленьком пятачке, и немцы палят по этому пятачку из множества пушек, будто в тире, и, в общем, дело идет к тому, что скоро они заставят англичан сесть обратно на свои корабли, стоящие там, неподалеку от берега, на тот случай, если высадка не удастся. После этих известий лица у всех беженцев вытянулись, и они все твердили, что англичане не умеют воевать на суше, так как они моряки, а у немцев это умение в крови, и что англичане вряд ли справятся с немцами, и немцы, наверно, все-таки победят в этой войне. Микеле же не пускался ни в какие разговоры с беженцами, чтобы, по его словам, не портить себе нервы. Но он с полным спокойствием убеждал нас, что немцам ни за что в жизни не победить, и когда я однажды спросила его, почему он так думает, он лишь ответил:

— Немцы уже проиграли войну в ту самую минуту, когда ее начали!

Здесь мне хочется рассказать вам одну довольно смешную историю, чтобы показать, до чего в горах мы ничего толком не знали и как местные крестьяне, которые были почти все неграмотные, перевирали даже то немногое, что удавалось узнать. Поскольку мы так и не смогли ничего как следует выяснить о высадке у Анцио, Филиппо вместе с другим беженцем — тоже торговцем — решили заплатить Париде, чтобы он по горным тропам сходил в одно селение Чочарии, довольно далеко от нас, где, как мы знали, у местного врача был радиоприемник. Правда, Париде был неграмотный, не умел ни читать ни писать, но уши-то у него есть, и он мог, как и все остальные, слушать радио, а если чего и не понял бы, мог попросить врача растолковать ему. Кроме того, они дали Париде немного денег, чтобы он по дороге, если удастся, купил каких-нибудь продуктов — муки, фасоли, жира, одним словом, все, что ему попадется. Париде на следующее утро оседлал осла и на рассвете уехал.

Париде не было три дня, и вернулся он на четвертый день к вечеру, когда уже стемнело. Как только завидели, что он спускается по тропинке с горы, таща за узду своего осла, все бросились ему навстречу, а впереди всех Филиппо и его приятель-торговец, заплатившие Париде за то, чтобы он послушал радио. Не успел Париде сойти на «мачеру»,

как сразу же объявил, что не сумел купить никаких продуктов, повсюду такой же голод, как и в Сант-Эуфемии, если еще не хуже. Затем он направился в хижину, а за ним хвостом потянулись все остальные. Войдя, он опустился на лавку, вокруг уселись его родственники, Микеле и Филиппо и другие беженцы, а многие остались снаружи у дверей, потому что места в хижине не хватило, а всем хотелось послушать, что Париде узнал по радио.

Париде рассказал нам, что слушал радио, но о высадке говорили очень немного, передавали только, что англичане и немцы стоят на своих позициях и с места не двигаются. Но он разговаривал с врачом и многими, кто слушал радио и раньше, и узнал от них, почему высадка провалилась. Тогда Филиппо спросил его, почему же все-таки так случилось, и Париде простодушно ответил, что виной всему женщина. Услышав это, все мы рты разинули от изумления, а Париде продолжал свой рассказ: высадкой, мол, командовал американский адмирал, однако на самом деле он был немец, но никто об этом не знал. У этого адмирала была дочь, красивая, как звезда, а у нее жених был — сын генерала, который командовал всеми американскими войсками в Европе. Однако жених оказался обманщиком и оскорбил их: он нарушил свое слово, возвратил кольцо и все подарки и женился на другой. Тогда адмирал — отец невесты, немец, значит — решил в отместку потихоньку сообщить немцам о высадке. Поэтому, когда англичане подплыли к Анцио, немцы были уже тут как тут и ожидали их со своими пушками. Однако теперь все это раскрылось, и дознались, что адмирал этот на самом деле немец, хоть и выдавал себя за американца; его арестовали и скоро, наверно, будут судить, и в общем, надо думать, расстреляют.

Мнения слушателей по поводу новостей, принесенных Париде, разделились. Самые невежественные и простодушные покачивали головами и все повторяли:

— Известное дело, всегда всему причиной женщина... Как поищешь хорошенько, сразу наткнешься на какую-нибудь юбку...

Но многие даже возмутились, говоря, что быть не может, чтобы по радио рассказывали этакую чушь. Что касается Микеле, то он лишь спросил Париде:

— А ты уверен, что эти известия действительно сообщали по радио?

Париде подтвердил: врач, мол, и все другие, с кем он говорил, уверяли его, что эти сведения сообщило лондонское радио. А Микеле ему:

— Скажи-ка, а не услышал ли ты их ненароком от какого-нибудь народного сказителя на площади селения?

— Какого такого сказителя?

— Да нет, я так к слову сказал. В общем, это новая версия истории о Гано из рода Маганца. Очень интересно, ничего не скажешь.

Париде, не увидев в этом насмешки, повторил, что мы можем не сомневаться, обо всем этом рассказывали по радио. Я же немного погодя спросила Микеле, кто же был этот Гано из рода Маганца, и он мне объяснил, что когда-то, много веков назад, был такой полководец, который во время битвы с турками изменил своему императору.

Тогда я сказала:

— Ну вот видишь, значит такое действительно может случиться... конечно, Париде мог и перепутать, но все-таки это уже не так невероятно...

Микеле рассмеялся и проговорил:

— Неплохо, если бы и теперь все шло, как в те времена.

В общем, раз эта высадка так или иначе оказалась неудачной, не оставалось ничего другого, как ждать. Но ничего нет хуже, чем ждать и

ждать напрасно. А мы все там в Сант-Эуфемии только и делали, что томились от ожидания, сначала весь январь, а потом и февраль, и чем дальше, тем больше. Время тянулось однообразно, потому что изо дня в день повторялось одно и то же, и ни разу не произошло ничего такого, чего бы уже не случалось за последние месяцы. Каждый день, встав утром, надо было идти за сучьями и хворостом, разводить в хижине огонь, варить обед, есть, а потом бродить по «мачере», чтобы скоротать время, остающееся до ужина. Так же каждый день прилетали самолеты и сбрасывали бомбы. Каждый день с утра до вечера и с вечера до утра слышался равномерный гул этих проклятых орудий, которые без конца палили у Анцио, но, как видно, все мимо, раз ни англичане, ни немцы, как мы знали, не двигались с места. Одним словом, хотя дни как две капли воды походили один на другой, нетерпение наше дошло до предела, и каждый новый день казался еще более напряженным, тягостным, тоскливым, чем предыдущий, бесконечно долгим и до ужаса мучительным.

По началу нашей жизни в Сант-Эуфемии нам казалось, что время летит стрелой, теперь же оно ползло до того медленно, что мы просто изнемогали и приходили в такое отчаяние, что и не выразишь словами.

Особенно отравляли наше и без того однообразное существование разговоры о продуктах, только и слышавшиеся вокруг. О продуктах с каждым днем говорили все больше, потому что с каждым днем их становилось все меньше; и в разговорах этих теперь сквозила уже не тоска по вкусной еде, а боязнь, что скоро вообще нечего будет есть. Теперь все ели только один раз в день и остерегались приглашать к своему столу друзей. Совсем как говорил Филиппо: дружба дружбой, а табачок врозь. Получше остальных жили, как всегда, те, у кого водились денежки, то есть мы с Розеттой, Филиппо и другой беженец, которого звали Джеремия, но и мы, что называется денежные люди, также чувствовали, что скоро и деньги не помогут. В самом деле, крестьяне, которые вначале были так жадны на деньги, потому что они, бедняги, до войны их никогда и в глаза не видели, теперь начали разбираться что к чему и постепенно поняли: продукты дороже денег. Они угрюмо, будто в отместку, говорили:

— Настало наше времечко... теперь покомандуем мы, крестьяне, — продукты-то наши... деньгами сыт не будешь, не то что хлебом....

Но я знала, что им просто хочется немного прихвастнуть и у них тоже продуктов было не ахти как много: ведь это были крестьяне-горцы, которые из года в год кое-как перебивались, чтобы дотянуть до нового урожая; и когда наступал апрель или май, им всегда приходилось самим выкладывать денежки, чтобы купить немного продуктов и дожить до июля.

Что мы тогда ели? Раз в день — немного вареной фасоли с ложечкой жира и капелькой томатной пасты, маленький кусочек козлятины и штучки две-три сухих винных ягод. А по утрам, как я уже говорила, сладкие рожки или луковицу с одним тонким ломтиком хлеба. Хуже всего было с солью, и это было самое ужасное, ведь пища без соли буквально не лезет в горло — положишь ее в рот, а она сразу же идет обратно, до того она безвкусная и даже какая-то сладковатая, точно падаль или тухлятина. Оливкового масла даже капли у нас не было, сала осталось на самом донышке глиняного горшочка. Правда, иногда подвертывался счастливый случай, к примеру, однажды мне удалось купить два килограмма картошки. А в другой раз мне повезло, и я купила у пастухов овечий сыр. Весил он четыреста граммов и был твердый как камень, но зато вкусный и острый. Но такие счастливые случаи выпадали редко, и нечего было на них рассчитывать.

Наступил март, и вокруг уже стали появляться первые приметы весны. Как-то утром, например, подойдя к краю «мачеры», мы увидели сквозь туман, что внизу, на склоне, ночью раскрылись первые цветы на миндалевом дереве. Белые и нежные, они дрожали будто от холода, и дерево в сером тумане белело, точно призрак. Для нас, беженцев, цветение миндаля было радостным признаком: близилась весна, значит дороги вскоре высохнут и англичане снова начнут наступление. Но крестьяне покачивали головами: весна несет за собой голод. По опыту они знали, что запасов у них не хватит до нового урожая, и всячески ухитрялись экономить: не трогая до поры до времени оставшихся у них продуктов, они пока что пытались раздобыть себе что-нибудь съестное. К примеру, Париде ставил в зарослях сплетенные из веток силки для жаворонков и реполовов, но птички были до того малы, что их надо сразу класть в рот штуки четыре, чтоб почувствовать вкус. Кроме того, он расставлял капканы на лисиц — они там в горах были маленькие и рыжие как огонь. Потом он с них сдирал шкуру и вымачивал несколько дней в воде, чтобы мясо стало мягче, и приготавливал под сладким и в то же время острым соусом, чтобы отбить неприятный запах.

Главным же нашим подспорьем теперь стал цикорий. Это не тот цикорий, что едят в Риме, — у того всегда одинаковой формы листья и определенный вкус: здесь цикорием называли всякую съедобную траву. И мне все чаще тоже приходилось есть этот так называемый цикорий, и иногда по утрам я вместе с Розеттой и Микеле собирала его на «мачерах». Мы раненько вставали и, вооружившись каждый ножом и корзинкой, отправлялись вдоль по склону, когда ниже, когда выше нашей «мачеры», собирать разную траву. Просто трудно себе представить, как много существует съедобных трав — почти все их можно есть. Раньше я немного понимала в травах, так как собирала их еще в детстве, но потом почти все позабыла, особенно названия; Луиза, жена Париде, в первый раз пошла вместе со мной, чтобы поучить меня, и очень скоро я стала разбираться в них не хуже крестьян и знала все виды цикория, как они называются и как выглядят. Теперь я помню только несколько из них: «криспиньо», в городе его называют кресс-салатом, с нежными и сладкими листьями и стебельками темно-зеленого цвета; заячья капуста, растущая среди камней на «мачерах», голубовато-зеленая, с тонкими, длинными мясистыми листьями; четырехлистник — плоская трава с четырьмя-пятью стелющимися по земле мохнатыми желтовато-зелеными листьями; настоящий цикорий — с длинными стеблями и зубчатыми, заостренными листьями; белая горчица, дикая мята, котовик и множество всяких других растений.

Мы ходили, как я уже сказала, вверх и вниз по «мачерам», но собирали цикорий не мы одни: в самом деле, странное это было зрелище — весь склон горы, усеянный людьми, медленно бредущими с опущенной головой — ни дать ни взять души в чистилище. Смотреть со стороны, так кажется, они ищут какую-то потерянную вещь, а в действительности это голод заставлял их искать то, что они вовсе не теряли, а напротив, лишь надеялись найти. Цикорий мы собирали подолгу — иногда по два-три и даже больше часов кряду, для одной неполной глубокой тарелки надо было нарвать полный передник, да и было его не так уж много, чтобы могло хватить всем, кто собирал его. Потом пришлось ходить за ним все дальше и дальше и тратить на его поиски все больше времени. Однако результаты всех наших трудов были весьма жалкие: два-три полных передника цикория превращались после варки в два-три зеленых комочка величиной с апельсин. Хорошенько проварив, я выкладывала цирокий на тарелку и добавляла чуточку сала для запаха, и если от такой порции мы не насыщались, то, по крайней мере, набивали себе животы и обманывали голод. Но, собирая цикорий, мы так уставали,

что потом целый день чувствовали себя совсем разбитыми. А ночью ложились мы с Розеттой на наше жесткое ложе, на тюфяк, набитый сухими кукурузными листьями, и стоило мне только закрыть глаза, как передо мной в темноте вдруг появлялся цикорий и множество его кустиков начинали кружиться перед моими глазами. И я напрасно пыталась заснуть — мне все мерещился цикорий, он мелькал и мелькал, пока я после долгой полудремоты в конце концов не проваливалась в какую-то пропасть и не засыпала.

Но, как я уже сказала, самое неприятное в эти недели было то, что голод заставлял беженцев целыми днями говорить только об еде. Я тоже люблю поесть и охотно признаю, что еда — дело серьезное и что на голодный желудок много не наработаешь, даже не сумеешь раздобыть себе еды. Но ведь, как часто повторял Микеле, есть вещи более важные, о которых можно говорить, да кроме того, вести разговор об еде, когда у тебя в животе пусто, это значит причинять себе двойные муки: все время напоминать себе о голоде и вместе с тем о днях сытости. Особенно много говорил об еде Филиппо. Часто проходя по «мачере», я видела его, сидящего на камне в окружении кучки беженцев; я подходила поближе и слышала, как он говорил:

— Вы помните? Телефонный звонок в Неаполь и готово — заказан столик в ресторане. Потом брали машину и вчетвером-впятером, все любители как следует поесть, катили в Неаполь, садились за стол в час и вставали не раньше пяти. Что же мы ели? Ах, конечно, спагетти под рыбным соусом, с кусочками рыбы и каракатицы, с креветками под майонезом; пеламиду с зеленым горошком; рыбу-меч, зубатку и тунца кусками, жаренными на углях, а затем филе разных рыб «а ля лючиана», до чего же это вкусно. В общем, рыбы всех сортов и под разными соусами в течение двух-трех часов! Мы садились за стол чин-чином, в полном порядке, а вставали в расстегнутых жилетках, распустив пояса, рыгая так, что дрожали стекла, и каждый из нас весил, по крайней мере, на два-три кило больше. А выпивали мы не меньше фиаски вина на брата. Да, вот это, я вам скажу, была еда... Удастся ли нам еще когда-нибудь в жизни так поесть?

Кто-то заметил:

— Вот придут англичане, Филиппо, и снова будет всего вдоволь.

Однажды, когда, как обычно, разговор зашел об еде, на моих глазах произошла перепалка между Филиппо и Микеле. Филиппо говорил:

— Ух и хотелось бы мне сейчас иметь хорошенького поросеночка... Я бы его заколол и сразу же нажарил отбивных котлет — жирных-прежирных, с палец толщиной, каждая в пятьсот граммов весу... Знаете, когда съешь полкило свинины, кажется, что ты вновь родился на свет божий.

Микеле, который случайно услышал, что говорил отец, вдруг сказал:

— Это был бы самый настоящий каннибализм.

— Почему?

— Да потому, что свинья съела бы свинью.

Филиппо, когда сын обозвал его свиньей, оскорбился, весь побагровел и закричал:

— Ты не уважаешь своих родителей!

А Микеле:

— Не только не уважаю, но даже стыжусь их.

Филиппо растерялся, видя, что сын продолжает говорить с ним таким резким и непримиримым тоном, и ограничился тем, что уже более спокойно заметил:

— Не будь у тебя отца, который платил за ученье, ты бы не смог учиться и теперь не стыдился бы нас... я сам виноват.

Микеле задумался на минутку, а потом сказал:

— Ты прав, зря я стал слушать, о чем вы говорили. С сегодняшнего дня я постараюсь быть подальше от вас, и говорите об еде сколько вашей душе угодно.

Тогда Филиппо сказал примирительно и будто даже расстроившись, может потому, что впервые с тех пор, как мы очутились в горах, сын признал его правоту:

— Если хочешь, давай говорить о другом... ты прав, к чему эти разговоры об еде? Поговорим лучше о другом.

Но Микеле внезапно опять вскипел и, мгновенно обернувшись к Филиппо, закричал:

— Прекрасно, но о чем же мы будем говорить? О том, что мы будем делать, когда придут англичане? О том, что всего будет вдоволь? О лавке? О вещах, которые у тебя украл твой кум? О чем же нам еще говорить, а?

Филиппо на этот раз промолчал, ведь именно об этом или о подобных вещах он лишь и мог говорить с Микеле, но об этом было уже все сказано и пересказано, а никаких других мыслей ему не приходило в голову. Высказавшись, Микеле ушел. Филиппо, когда убедился, что сын его не видит, сделал рукой жест, будто говоря: чудак он, что с него спросишь? Все беженцы старались, как умели, утешить его:

— Твой сын, Филиппо, столько всего знает. Ты не зря потратил деньги на ученье... вот что главное, а на остальное не стоит обращать внимания.

В тот же день Микеле, которого немножко мучила совесть, сказал нам:

— Отец прав, я не проявляю к нему должного уважения. Но это сильней меня — когда он начинает говорить об еде, я теряю голову.

Тогда я спросила его, почему это его так раздражает. Микеле, немного подумав, ответил:

— Если бы ты знала, что завтра смерть твоя придет, говорила бы ты об еде?

— Нет.

— Ну, а ведь с нами дело обстоит именно так: завтра или через много лет, это неважно, мы умрем. Так неужели в ожидании смерти мы должны говорить о пустяках и заниматься ими?

Я его не совсем поняла и спросила:

— Так о чем же мы тогда должны говорить?

Он задумался опять и потом сказал:

— К примеру сказать, о нашем нынешнем положении нам следовало бы поговорить и о причинах, заставивших нас очутиться здесь.

— А какие же это причины?

Он засмеялся и ответил:

— Каждый из нас должен найти их сам, по крайней мере для себя самого.

Тогда я сказала:

— Может, это и так, но твой отец говорит об еде только потому, что ее у нас нет и мы, так сказать, волей-неволей должны о ней думать.

На это Микеле, заканчивая разговор, проговорил:

— Может, и так, но горе в том, что отец всегда говорит об еде — даже когда ее всем хватает.

Между тем продуктов действительно не было, и теперь уже все старались спасти то немногое, что у них оставалось, поэтому, говоря с другими, каждый старался прежде всего уверить, что у него решительно ничего нет. Например, Филиппо, разговаривая с беженцами, которые были беднее его, изо дня в день твердил:

— Осталось у меня муки и фасоли всего на неделю... а потом, авось, бог не оставит.

Впрочем, говорил он неправду — все знали, что у него дома еще стоит мешок с мукой и другой, поменьше, с фасолью, а он из страха, что у него украдут их, никого теперь не приглашал к себе и даже днем держал дверь на запоре, а выходя на «мачеру», клал ключ к себе в карман. Но что касается крестьян, то у них, бедняг, запасы действительно истощались, потому что в это время года они раньше обычно спускались в Террачину и покупали продукты, чтобы дотянуть до нового урожая. Но в этом году везде был голод, и в Террачине, пожалуй, было еще голоднее, чем у нас в Сант-Эуфемии. Кроме того, повсюду шныряли немцы, и как только им представлялся случай, они отнимали и увозили продукты, и вовсе не потому, что они, все как один, были грабители и злые люди, а потому, что шла война и они воевали, а воевать — это значит не только убивать, но и грабить.

К примеру сказать, в один из тех дней к нам в горы забрел немецкий солдат, безоружный, один-одинешенек, будто шел на прогулку. Был он брюнет с голубыми глазами, круглым добрым лицом, беспокойным и немного печальным взглядом; долго он ходил из хижины в хижину, разговаривая с крестьянами и беженцами. Видно было, что у него нет никаких дурных намерений, а напротив, он полон симпатии ко всем этим несчастным. Рассказал он, что до войны у себя дома в Германии был кузнецом; сказал также, что хорошо играл на аккордеоне. Тогда один из беженцев пошел за своим аккордеоном; немец уселся на камне и стал играть, окруженный детьми, и они все слушали его с открытым ртом. Играл он действительно хорошо и сыграл нам, между прочим, песенку, которая в то время, кажется, была в моде среди немецких солдат, — «Лили Марлен». Песенка эта совсем печальная, даже жалостная, и, слушая ее, я подумала, что ведь и немцы, которых Микеле так ненавидел и даже не считал за людей, тоже люди; у них дома жены и дети, и они тоже ненавидят войну, разлучившую их с семьями. После «Лили Марлен» он сыграл нам много других песен, и все они просто хватали за душу, а некоторые были до того сложные, будто это не песня, а настоящая музыка для концертов. Он же со склоненной над аккордеоном головой не отрывал глаз от клавишей, по которым легко бегали его пальцы, и производил впечатление человека серьезного и тихого; и будто ни к кому он не испытывал ненависти и, если бы мог, охотно отказался бы даже воевать. Поиграв нам почти целый час, этот симпатичный немец ушел, а на прощание даже погладил по головке ребятишек и сказал несколько добрых слов на своем ломаном итальянском языке:

— Держитесь, не падайте духом, война скоро кончится.

Однако тропинка, по которой он стал спускаться вниз, проходила мимо одной хижины; живущий в ней беженец развесил на изгороди посушить красивую рубашку в красную клетку. Увидев ее, немец остановился, потрогал материю, будто желая узнать, хорошего ли она качества, потом покачал головой и пошел дальше. Но через полчаса немец вдруг вернулся обратно, весь запыхавшись. Видно, бежал в гору. Прямым ходом он направился к хижине, сорвал с изгороди рубашку, сунул ее под мышку и пустился наутек в долину. Вы понимаете? Он ушел после того, как поиграл нам на аккордеоне и приласкал детей, будто порядочный человек. И все-таки эта рубашка не давала ему покоя, и он, спускаясь по склону, только и думал, что о ней, и, видно, искушение было сильнее его — он возвратился и стащил рубашку. Пока он играл на аккордеоне, это был такой же, как все, парень, работавший до войны кузнецом; когда же он взял рубашку, это был уже солдат, не знающий разницы между своим и чужим и не уважающий никого и

ничего на свете. В общем, как я уже говорила, воевать — это значит не только убивать, но также и грабить, и у того, кто в мирное время ни за какие блага не убил и не украл бы, во время войны в глубине сердца просыпается то стремление грабить и убивать, которое сидит во всех людях. Оно просыпается именно потому, что солдата все время подстрекают к этому, ведь ему постоянно твердят, что чувство это хорошее и надо ему следовать, если хочешь стать настоящим солдатом. Тогда человек думает: «Сейчас я воюю... Вот кончится война, и я стану вновь таким, каким был, а пока незачем себя сдерживать».

Однако, к сожалению, вряд ли кто-нибудь из тех, кто грабил или убивал, будь то даже на войне, может всерьез надеяться потом стать таким, каким был раньше. Я, во всяком случае, этому не верю. К слову сказать, это все равно, как если бы девушка лишилась невинности, надеясь — уж не знаю, по какому чуду,— что она к ней снова вернется, чего — увы! — конечно, никогда не случается. Кто хоть раз в жизни грабил и убивал, пусть даже одетый в военную форму, с грудью, увешанной медалями, тот навсегда так и останется грабителем и убийцей.

Местные крестьяне теперь уже знали, что за немцами водится грешок — любят они тянуть руки к чужому добру; и поэтому они создали своего рода службу наблюдения и оповещения: по всему склону, от долины до Сант-Эуфемии, дежурило множество мальчишек. Едва на тропинке показывался немец, сразу же первый мальчишка орал во всю мочь: «Малярия!» Другой, стоявший повыше, подхватывал: «Малярия!», а потом еще один, и так подряд они повторяли: «Малярия!». Сразу по этому сигналу начиналась суматоха и всеобщее бегство вверх в горы, к нам, в Сант-Эуфемию: кто нес мешочек с фасолью, кто с мукой, кто горшок с салом, кто домашние сосиски, и все бросались прятать свою снедь в кусты или в пещеры. Иногда, верно, немцы приходили — какой-нибудь солдат, который неизвестно зачем забрел к нам в горы и шнырял вокруг домов. Все ходили за ним по пятам, будто крестный ход, и кое-кто даже разыгрывал комедию и подносил руку ко рту, будто желая показать этим, что мы голодаем. Но зачастую тревога бывала ложной — прождав с часок, беженцы, не видя немцев, с облегчением вздыхали и шли доставать из тайников свои продукты.

Однако с продуктами становилось все хуже, запасы мои были на исходе, и я решила, что должна всерьез позаботиться о том, чтобы их пополнить: деньги у меня были, и кто знает, может, в какой-нибудь глухой деревушке мне и удастся чего-нибудь купить. И вот однажды утром Розетта, Микеле и я отправились в горное селение Сассонеро, до которого было часа четыре ходьбы. Мы рассчитывали добраться туда до полудня, сделать, если удастся, наши закупки, что-нибудь перекусить, а затем пуститься в обратный путь и засветло вернуться в Сант-Эуфемию.

Вышли мы из дому, когда солнце еще пряталось за горами, хотя уже давно рассвело. Дул ветер, утренний морозец пощипывал нос и уши, и казалось, вот-вот пойдет снег; действительно, когда мы дошли до перевала, то увидели снег — несколько белых пятен, таявших на изумрудно-зеленой траве. Наконец показалось солнце, и стало не так холодно; открывшийся перед нами вид на сверкающие под ярким небом снеговые вершины гор Чочарии был так красив, что мы на минутку приостановились, чтобы им полюбоваться. Помню, как Микеле, смотря на эти горы, будто против воли со вздохом произнес:

— Да, хороша наша Италия!

Я, смеясь, сказала:

— Ты говоришь так, словно жалеешь об этом.

А он:

— Да, может, я и сожалею об этом; красота ведь — искушение.

От перевала мы пошли между скал по еле заметной тропинке — сначала это был лишь легкий след в траве, затем тропка делалась все отчетливей, шла она по самому гребню горы. По обе стороны от нее спускались крутые склоны — один из них шел вниз до самого Фонди, другой же, менее отвесный, вел в пустынную долину, густо заросшую кустарником. Извиваясь, как змея, тропинка довольно долго бежала по гребню, а затем начала спускаться по склону в эту маленькую дикую долину, петляя между зарослями колючего кустарника и молодого дубняка. Мы сошли по тропинке до конца и очутились в совершенно пустынной долине, или, точнее говоря, в ущелье. Некоторое время шли мы вдоль горного ручейка, прятавшегося в густых зарослях; бежал он по камням с нежным и веселым журчанием, звонко раздававшимся среди царившей вокруг глубокой тишины. Потом тропинка вновь устремилась вверх, но уже по другую сторону ущелья, и привела нас к новому перевалу, а затем, немного спустившись вниз, полезла на другую гору. Взбираясь все выше и выше, мы добрались до голой, каменистой вершины; на ней, кто знает почему, стоял посреди камней почерневший от времени деревянный крест.

Миновав эту вершину и по-прежнему идя по гребню, мы, наконец, достигли Сассонеро. Это было довольно странное место — мы смогли его как следует рассмотреть с самой вершины, прежде чем туда спуститься. Плоская, как ладонь, площадка была усеяна одиноко растущими дубами и скалами, а над ней навис огромный красный утес, похожий на гигантский кулич. Дубы были высокие, старые, с голыми серыми ветвями, развевающимися на ветру, будто седые космы ведьмы; гладкие, черные скалы были и большие, и маленькие, но все похожие на сахарные головы и до того ровные, словно их обтачивали на токарном станке. Среди дубов и скал здесь и там виднелись хижины с крышами из почерневшей соломы, над которыми вился дымок. У дверей хижин суетились женщины — одни под открытым небом готовили обед, другие развешивали на веревках белье; тут же играли в грязи дети. Мужчин не было видно, Сассонеро — пастушья деревня, и в этот час мужчины были со стадами на горных пастбищах. Когда мы приблизились к хижинам, то увидели, что под огромным, похожим на кулич утесом, о котором я уже говорила, зияет закопченный вход в пещеру, и одна из женщин мне сказала, что в пещере живут беженцы. Я спросила эту женщину, нет ли у нее чего-нибудь продать, но она молча покачала головой, а потом с недомолвками, неохотно сказала, что, может, кое-что для меня найдется у беженцев. Мне это показалось странным — беженцы никогда не продавали продуктов, а наоборот, покупали их.

Мы все же пошли к пещере, чтобы узнать то, что нас интересовало, раз уж нельзя было вытянуть ни слова у этих диких и недоверчивых жен пастухов. Чем ближе мы подходили к пещере, тем гуще земля у нас под ногами была усеяна, вперемешку с камнями мелкими и крупными, костями коз и овец, съеденных беженцами за все время их пребывания здесь. Но, кроме костей, под ногами было также немало всякого мусора — ржавые консервные банки, тряпки, рваные ботинки, грязная бумага: казалось, находишься на каком-нибудь пустыре в Риме, куда из соседних домов выкидывают все отбросы. Там и сям на земле виднелись выжженные черные круги, а внутри их высились кучки серого пепла и валялись обугленные головешки. Вход в пещеру был довольно широкий, весь почерневший, грязный и закопченный. На гвоздях, вбитых в каменные стены, висели кастрюли, поварешки, тряпки и даже четверть козьей туши, видно только недавно освежеванной — с нее еще капала кровь.

По правде сказать, когда мы вошли в пещеру, я просто остолбенела от удивления. Была она высокая и глубокая, с потемневшим от дыма потолком, задняя часть ее тонула во мраке, казалось, что ей нет конца. Пещера служила огромной спальней, вся она была сплошь заставлена кроватями и всевозможными топчанами, которые выстроились рядами, будто в больнице или казарме. В воздухе стояла ужасная вонь, как бывает в приютах или богадельнях, а постели — я сразу же это заметила — были в беспорядке, со смятыми, невероятно грязными простынями. Беженцев в пещере была уйма: кто сидел на краю кровати и почесывал в голове или просто ничего не делал, кто лежал, завернувшись в одеяло, кто расхаживал взад и вперед по узкому проходу между койками. Несколько беженцев сидели друг против друга на двух кроватях за маленьким столиком и играли в карты так же, как и картежники из Сант-Эуфемии — в пальто и шляпах. На одной из коек я заметила полуголую женщину, кормящую грудью ребенка, а на другой — трех или четырех детей; лежали они, тесно прижавшись друг к другу, неподвижно, как мертвые, наверно они спали. В глубине пещеры, где, как я уже сказала, было совсем темно, можно было все же различить горы наваленных друг на друга чемоданов, ящиков, узлов — видно, вещи этих бедняг-беженцев, которые им удалось захватить с собой, когда они бежали.

Около входа я увидела странное зрелище: покрытый красивой вышитой скатертью алтарь, сооруженный из упаковочных ящиков. На скатерти стояло распятие и две серебряные вазы, в которые за неимением цветов были воткнуты пышные ветки остролиста. Под распятием же, вместо образков и всяких священных предметов, было разложено в строгом порядке много разных часов, наверно не меньше дюжины — и это было также необычно. Часы были все старомодные, такие, какие носят в жилетном кармашке, большинство из белого металла, но одна пара, кажется, была золотая. Подле алтаря на скамеечке я увидела священника. Хотя на голове у него была тонзура, но по всему остальному священника в нем признать было довольно трудно. Это был мужчина лет пятидесяти, со смуглым, худым и серьезным лицом. На нем была не черная сутана, а все белое — белая майка, белый кушак, белые брюки, или, вернее, шаровары, и только черные носки и черные ботинки. Словом, неизвестно почему он снял верхнюю одежду и остался в исподнем.

Сидел он неподвижно, опустив голову, сложив на груди руки, быстро шевеля губами, будто молился. Потом он поднял на меня глаза — тем временем я подошла рассмотреть поближе алтарь,— и тут я увидела, что глаза у него безумные и будто пустые.

Шепотом я сказала Розетте:

— Да ведь он сумасшедший,— однако не удивилась, потому что теперь я уже давным-давно ничему больше не удивлялась. Священник продолжал на меня пристально смотреть, и во взгляде его постепенно зажглось какое-то любопытство, будто он знал, кто я, но забыл и теперь пытался припомнить. Вдруг он вскочил и схватил меня за руку:

— Молодец, наконец-то ты пришла... ну, скорее, заведи мне эти часы.

Немного растерявшись, я обернулась к сидящим в пещере, тем более, что он сжимал мне руку со страшной силой — так обычно вцепляется своими когтями сокол или ястреб. Один из беженцев, играющих в карты, краешком глаза видел происходящее и, не оборачиваясь, крикнул:

— Сделай ему удовольствие, заведи его часы... бедняга... у него разрушили и церковь, и домик, где он жил. Он убежал со своими часами и помешался... но он никому не причиняет зла... ты его не бойся.

Немного приободрившись, мы с Розеттой взяли часы и стали их заводить, вернее делать вид, что заводим, так как все они были уже заведены и прекрасно шли. Помешанный стоял рядом и смотрел на нас, как смотрят священники: широко расставив ноги, заложив руки за спину, нахмурив брови и опустив голову. Когда мы завели все часы, он глухо сказал:

— Теперь, когда вы мне их завели, я могу, наконец, начать служить мессу... молодцы, молодцы, наконец-то вы пришли...

В этот момент, по счастью, к нам подошла другая обитательница этой пещеры: молодая монахиня, при виде которой я сразу же почувствовала себя спокойней. У нее было овальное бледное лицо со сросшимися темными бровями — будто черная полоска положена над черными глазами, спокойными и блестящими, как звезды в летнюю ночь. Однако самое большое впечатление на меня произвели и просто даже поразили ее белоснежный нагрудник и все другие белые принадлежности ее монашеской одежды: они сверкали ослепительной белизной и — в данном случае невероятно — были отлично накрахмалены. Кто знает, каким образом удавалось ей в этой грязной пещере сохранять свою одежду в такой чистоте и таком порядке! Она ласково, мелодичным голосом обратилась к священнику:

— Ну, дон* Маттео, идемте же с нами обедать. Только сперва наденьте что-нибудь на себя, нехорошо садиться за стол в нижнем белье.

Дон Маттео — точь-в-точь зуав в своих широких шароварах — слушал ее, широко расставив ноги, склонив голову, с блуждающим взглядом и открытым ртом. Наконец он пробормотал:

— А как же часы? Кто посмотрит за часами?

Монахиня сказала своим спокойным тоном:

— Вам их завели, все они прекрасно ходят... смотрите, дон Маттео, они все показывают одинаковое время — как раз время обеда.

Говоря это, она сняла с гвоздя черную сутану священника и помогла ему ее надеть, заботливо и осторожно, совсем как сиделка, ухаживающая за больным в сумасшедшем доме. Дон Маттео позволил надеть на себя сутану, всю замасленную и пропыленную, потом провел рукой по растрепанным волосам и направился с монахиней, поддерживавшей его под руку, в глубь пещеры, где на треножнике дымился большой черный котел. Монахиня, обернувшись к нам, сказала:

— Идите также и вы, найдется и для вас.

Словом, мы тоже приблизились к котлу, вокруг которого тем временем столпилось много беженцев. Среди них я заметила одного — он все время громко жаловался и лез вперед: это был низенький, толстый человечек, весь в лохмотьях, растрепанный, с давно небритой щетиной. Брюки у него были рваные, и на самом заду вылезал клок белой рубахи. Протягивая тарелку, он скулил:

— Мне вы всегда кладете меньше, чем другим, сестра Тереза, почему мне меньше, чем другим?

Сестра Тереза ничего ему не ответила — она наполняла с сосредоточенным видом мисочки, кладя каждому кусок мяса и наливая две поварешки супу, — но другой беженец, мужчина средних лет с черными усами и красным лицом, саркастически заметил:

— Тико, почему ты не оштрафуешь сестру Терезу? Ты ведь агент муниципальной полиции, оштрафуй же ее за то, что она тебе наливает меньше супу, чем другим.

А потом, смеясь, добавил, обращаясь к Микеле:

---

* Форма обращения в Италии к духовному лицу, а на юге страны — вообще к пользующимся уважением людям.

— У нас тут подобралась неплохая компания: священник-сумасшедший, карабинеров нет — их угнали в Германию, у полицейского из штанов торчит рубаха, а подеста *, то есть я, голодает сильнее всех. Власти больше нет, просто чудо, что мы еще не перерезали друг другу глотки.

Монахиня, не поднимая глаз от котла, ответила:

— Не чудо, это — воля всевышнего, который хочет, чтобы люди помогали друг другу.

Тико между тем ворчал:

— У вас, дон Луиджи, все шутки на уме. Не понимаете вы разве, что полицейский без своей формы — такой же бедняк, как и все вокруг? Дайте мне мою форму, и я вновь смогу следить за порядком.

И я подумала, что, в сущности, он прав. Ведь мундир, форма, по крайней мере в некоторых случаях,— всё. И даже эта добрая монахиня с ее мягкостью и набожностью вряд ли пользовалась бы таким уважением, будь на ней, вместо ее монашеского платья, такие же лохмотья, как на нас с Розеттой.

Ну, хватит об этом. Принялись мы за суп — то была жирная похлебка, в которой варилась козлятина, но от нее так разило козлом, что я, несмотря на голод, с трудом могла ее есть. За едой мы слушали, о чем говорят беженцы. Были это обычные разговоры, хорошо нам знакомые: голод, приход англичан, бомбежки, облавы, война. Наконец, когда мне показалось, что настал подходящий момент, я набралась духу и спросила, не может ли кто-нибудь из них продать нам что-нибудь съестное. Они застыли от изумления и, как я и думала, ответили, что ничего-то у них нет, они, как и мы, покупают продукты где придется или же доедают то, что удалось принести сюда с собой. Мне они советовали обратиться к пастухам, жившим в хижинах вокруг пещеры, говоря:

— Мы сами у них покупаем... у них всегда найдется или сыр, или козлятина... попробуйте, может, они и согласятся вам что-нибудь продать.

Тогда я сказала, что одна женщина послала меня к ним, утверждая, будто у пастухов для продажи ничего нет. Подеста пожал плечами:

— Они так говорят, потому что никому не доверяют и хотят сохранить высокие цены. Но у них есть стада, и они здесь единственные, кто может что-нибудь продать.

Короче говоря, мы поблагодарили монахиню и беженцев за суп, вновь прошли мимо алтаря с разложенными на нем часами рехнувшегося священника и вышли из пещеры на свежий воздух. Как раз в это время среди скал и хижин проходило небольшое стадо овец и коз, погонял его здоровенный мужчина в белых чочах, черных штанах и черной шляпе. Беженка, стоявшая у входа в пещеру и слышавшая наши разговоры, показала мне на него, говоря:

— Вот смотри, идет евангелист... он-то тебе продаст сыру, если ты ему хорошо заплатишь.

Тогда я побежала за этим мужчиной и крикнула ему:

— Не продашь ли ты нам немного сыру?

Мужчина не ответил мне и, даже не обернувшись, продолжал идти дальше, будто глухой. Я ему крикнула опять:

— Синьор Евангелист, может, продадите мне сыру?

Тогда он отозвался:

— Меня зовут не Евангелист, а Де Сантис.

А я:

— А мне сказали, что тебя зовут Евангелист.

---

* Чиновник, назначавшийся в фашистской Италии на должность мэра.

Он ответил:

— Да нет, просто мы протестанты-евангелисты, вот и все.

Короче говоря, он как бы случайно обронил, что, пожалуй, мог бы продать нам сыру, и мы пошли за ним к его хижине. Сперва он загнал овец в другую, соседнюю, хижину, пропуская их по очереди одну за другой и зовя по именам — Беляночка, Толстушка, Капризуля, Светлоглазка и так далее, а затем запер за ними на замок дверь и ввел нас в свою хижину. Она была точь-в-точь такая же, как и хижина, в которой жил Париде, только побольше, и не знаю почему, может из-за не очень-то любезного приема, она показалась мне еще более убогой, пустой и холодной. Вокруг такого же очага, на таких же лавках и чурбанах сидели женщины и дети. Мы тоже сели, а пастух первым делом, сложив руки ладонями вместе, начал молиться, и все, даже дети, последовали его примеру. Увидя, что они все молятся, я очень удивилась, потому что крестьяне, по крайней мере в наших местах, молятся редко и только в церкви; но я вспомнила, что́ он говорил мне про евангелистов, и поняла — не такие они, как мы, верят как-то по-другому. Микеле казался заинтересованным, и лишь только молитва была окончена, спросил их, как это они стали евангелистами,— видно, он знал, что означает это слово. Крестьянин ответил, что он и оба его брата работали в Америке и там встретили одного пастора-протестанта, он-то их и уговорил стать евангелистами. Микеле спросил его, какое впечатление на него произвела Америка, и он ответил:

— Сели мы в Неаполе на судно и высадились в маленьком городке на тихоокеанском побережье, а потом поездом доехали до больших лесов — мы ведь нанялись работать лесорубами. Ну, так вот, если судить по тому, что я видел, там страшно много лесов.

— Ну, а города-то вы видели?

— Нет, только тот, где мы высадились,— маленький городишко... два года мы проработали в лесах, а потом той же дорогой вернулись в Италию.

Микеле, казалось, это и удивило и развеселило. Он потом сказал мне, что в Америке — большущие города, а они ничего там не видели, кроме деревьев, и думают, что Америка — сплошной лес. Мы еще немного поговорили об Америке, а потом, когда уже начало темнеть, я напомнила насчет сыра. Пастух пошарил где-то под соломенной крышей и извлек оттуда две маленькие пожелтевшие головки козьего сыру, без околичностей сказав, что если мы хотим их купить, то вот они сто́ят столько-то. Услышав цену, мы даже подскочили от удивления — она была неслыханной даже по тем голодным временам. Я сказала:

— Не из золота ли твой сыр?

Он важно ответил:

— Нет, лучше, чем из золота. Золотом сыт не будешь, а сыр насытит.

Микеле язвительно спросил:

— Это что, евангелие вас учит брать такие цены?

Он не ответил, и тогда напала на него я:

— Вот только что там, в пещере, сестра Тереза говорила, что бог учит людей помогать друг другу. Нечего сказать, хорошо вы помогаете ближнему.

С тем же наглым видом, совершенно невозмутимо он ответил:

— Так ведь сестра Тереза другой религии. Мы не католики.

— А что значит, по-вашему, быть евангелистом? Драть втридорога со всех католиков? — сказал Микеле запальчиво.

А он все так же серьезно:

— Быть евангелистом, брат мой, значит соблюдать заповеди евангелия. Мы их и соблюдаем.

В общем, на все у него был наготове ответ, и столковаться с этим кремнем было нелегко. Потом он сказал:

— Если хотите, могу продать вам жирненького ягненочка... на святую Пасху... у меня есть ягнята килограммов на шесть... недорого с вас возьму.

Тут я подумала, что, в самом деле, приближается Пасха и ягненок был бы очень кстати. Спросила я у него цену — и опять подскочила от удивления: он запросил столько, что за эти деньги можно было купить не только ягненка, но заодно и родившую его овцу. Вдруг Микеле не выдержал и сказал:

— Знаете, кто вы все, евангелисты? Самые настоящие спекулянты и кровопийцы.

А тот:

— Успокойся, брат мой, евангелие учит, что люди должны любить друг друга.

Наконец, отчаявшись, я сказала ему, что куплю у него головку козьего сыру, если только он немного уступит. Знаете, что он ответил?

— Уступить? Нет, это цена недорогая, дешевле никак не могу продать. Уж лучше, сестра моя, откажись от сыра, потому что, если купишь его по моей цене, будешь ты на меня сердиться, а если я тебе его продам по твоей цене, буду на тебя сердиться я. А ведь евангелие учит, что люди должны любить друг друга. Оставим это дело и будем по-прежнему относиться друг к другу с любовью.

Не послушалась я этого его совета и без конца с ним торговалась, но он стоял на своем, и убедить его не было никакой возможности. Когда я его припирала к стене, доказывая, что он грабитель, евангелист отделывался каким-нибудь евангельским изречением вроде:

— Не дай обуять себя гневу, сестра моя... гнев это тяжкий грех.

В конце концов я заплатила запрошенную им бешеную цену, добившись лишь того, что он дал в придачу ломтик свежей брынзы, которой мы тут же закусили с несколькими кусками хлеба. Затем мы собрались в дорогу, и хотя попрощались с ним весьма холодно, он, стоя у двери, напутствовал нас словами:

— Да благословит вас бог!

Тут я про себя невольно подумала: «Чтобы вас всех черти забрали и утащили в ад!».

Этот поход принес нам лишь головку козьего сыру. И подумать только, что из-за нее мы проделали столько километров по горам и вконец изорвали свои чочи! Но, как это часто случается в жизни, несколько дней спустя мы были вознаграждены, причем совершенно неожиданно, просто чудом: могильщик, разъезжавший на своей черной лошади в поисках продуктов по окрестным горам, продал нам по сходной цене довольно много фасоли с «глазком». Купил он ее у ссыльных югославов, которые в момент перемирия бежали с острова Понца в соседнюю с нами горную долину, а теперь, боясь попасть в руки к немцам, уходили куда глаза глядят и не могли взять с собой свои запасы. Могильщик — блондинистый, бойкий верзила — принес нам также известия о ходе войны, он получил их от ссыльных. Рассказал он нам, что в городе, который называется Сталинград и находится в России, немцам задали ужасную трепку, русские забрали там в плен целую армию со всеми генералами, и Гитлер совсем сдрейфил и приказал немцам отступать. Он сказал еще, что войне скоро конец — теперь это уже вопрос дней, самое большее нескольких недель. Новости эти обрадовали беженцев, но не крестьян: в самом деле, большинство мужчин из Сант-Эуфемии, которых взяли в армию, находились именно в Сталинграде и писали оттуда, называя этот город в своих письмах; поэтому теперь немало женщин дрожали за жизнь своих

мужей и братьев, и не напрасно: как мы узнали потом, ни один из них не вернулся.

Постепенно дни становились длиннее, медленно начинали зеленеть горы и делалось все теплей. Весь март продолжалась бомбардировка; с одной стороны от нас — Анцио, а с другой — Кассино. Сант-Эуфемия стояла, так сказать, на полдороге между Анцио и Кассино, и мы днем и ночью ясно слышали грохот орудий, без передышки, будто наперегонки, стрелявших у этих двух городков. Бум, бум — говорила пушка у Анцио, слышался выстрел, потом звук разрыва; бум, бум — отвечала ей с другой стороны пушка у Кассино. Небо дрожало, как натянутая кожа барабана, раскаты орудий громыхали в нем глухо и тупо, точь-в-точь будто кто-то ударял кулаком по большому барабану. Невыносимо было беспрерывно слышать в те прекрасные весенние дни угрожающий и мрачный гул орудий: казалось, война теперь стала явлением природы, и гул этот как-то связан, смешан с солнечным светом, а весна больна, отравлена войною, как и люди. В общем, грохот орудий вошел в нашу жизнь так же, как лохмотья, голод, опасности, и, ни на минуту не умолкая, стал обычным явлением, и мы до того к нему привыкли, что, если бы он прекратился — а он действительно в один прекрасный день умолк, — мы были бы даже удивлены. Говорю я это для того, чтобы показать — человек ко всему привыкает, и война теперь тоже вошла в привычку. Человека меняют не какие-то из ряда вон выходящие события, что случается однажды в жизни, а именно то, к чему он изо дня в день привыкает; привыкнуть — значит смириться с тем, что с тобой происходит, и больше против этого не восставать.

Теперь, в начале апреля, окрестные горы вновь похорошели, зазеленели и покрылись цветами, воздух стал ласковым и мягким, и можно было проводить целый день под открытым небом. Однако эти цветы, так радующие взгляд, напомнили нам, беженцам, о голоде — когда растение цветет, оно, значит, уже развилось, стало жестким и волокнистым, и его нельзя больше есть. Короче говоря, эти такие красивые на вид цветы означали, что мы лишились нашей последней поддержки — цикория и разных трав — и что теперь уж нас может спасти только приход англичан. Зацвели здесь и там на горном склоне также миндаль, яблони, груши, персики, и цветы их напоминали повисшие в теплом, недвижном воздухе белые и розовые облачка. Но и на деревья мы не могли смотреть, чтобы не подумать о том, что цветы на них должны превратиться в плоды, а эти плоды, которыми мы сможем питаться, созреют еще только через несколько месяцев. И, глядя на пшеницу, еще совсем молодую, зеленую, низкую, нежную, как бархат, я также чувствовала, что у меня опускаются руки: сколько еще надо ждать, пока она поднимется и пожелтеет, будет сжата и обмолочена, пока зерно отвезут на мельницу, муку замесят и поставят в печь и оттуда выйдет целая уйма аппетитных булок в килограмм весом. Да, красотой можно любоваться, когда сыт, а если в животе пусто, все равно мысли вертятся только вокруг еды и красота кажется обманом или еще того хуже — просто насмешкой над человеком.

Что касается молодой пшеницы, то запомнился мне один случай — в те дни помог он мне ясно осознать, что такое голод. Однажды после полудня пошли мы по обыкновению в Фонди в надежде купить немного хлеба. Спустившись в долину, мы остолбенели, увидев трех немецких лошадей, спокойно пасшихся среди поля пшеницы. Лошадей стерег какой-то солдат без нашивок, может русский, как тот предатель, которого мы однажды повстречали на дороге. Он сидел на низенькой изгороди, с травинкой в зубах. Сказать по правде, я никогда еще так ясно, как в ту минуту, не понимала, что такое война и почему во время войны у чело-

века ни сердца нет, ни ближних, все дозволено и возможно. День стоял чудесный, солнечный, напоенный ароматом цветов. Мы трое — Микеле, Розетта и я — так и застыли у изгороди, смотря, раскрыв рот, на этих красивых, выхоленных лошадей, — они, бедняжки, не понимали того, что их заставляют делать хозяева, и щипали, вытаптывали нежную пшеницу, пшеницу, из которой, когда она созреет, пекут хлеб для людей. Помнится, когда я была ребенком, родители говорили мне: хлеб священен, грешно выбрасывать его или не беречь, и даже класть булку нижней стороной кверху — тоже грех. А теперь я видела, что хлеб дают лошадям, между тем как в долине и в горах умирают с голоду тысячи людей. Наконец Микеле, выражая наше общее чувство, произнес:

— Будь я религиозным человеком, я поверил бы, что настали дни апокалипсиса, когда кони вытопчут посевы. Но так как я не религиозен, скажу только, что настали дни немецкой оккупации, а это, пожалуй, одно и то же.

В тот же день, немного позднее, получили мы еще одно подтверждение насчет характера немцев, такого странного и такого непохожего на наш итальянский; не спорю, может у них и много разных там прекрасных качеств, но всегда чего-то не хватает, будто немцы неполноценные люди. Мы опять зашли к адвокату, у кого в прошлый раз встретили того жестокого офицера, который находил удовольствие в том, что, как он выражался, очищал пещеры огнеметом, и на этот раз тоже застали там немца, капитана. Однако нас адвокат предупредил:

— Этот не такой, как другие, он действительно культурный человек, говорит по-французски, жил в Париже и к войне относится так же, как и мы.

Вошли мы в домик, и капитан, как делают все немцы, при нашем появлении встал и, щелкнув каблуками, пожал нам руки. Это действительно был воспитанный человек, настоящий синьор. У него была небольшая лысина, глаза серые, нос тонкий и аристократический, губы надменно поджаты; в общем, он был довольно красив и даже смахивал бы на итальянца, если бы в нем не чувствовалось какой-то скованности и жесткости, чего никогда не бывает у нас, итальянцев. Он хорошо говорил по-итальянски и рассыпался в комплиментах Италии. Сказал, что это его вторая родина, каждый год он ездит к морю, на Капри, и что война дала ему возможность, по крайней мере, посмотреть у нас много красивых уголков, где он не бывал раньше. Немец угостил нас сигаретами, поинтересовался, кто мы и что мы, и, наконец, стал рассказывать про свою семью и даже показал нам фотографию: жена его была красивая женщина с чудесными светлыми волосами, а трое детей тоже хорошенькие, все светловолосые, ну прямо ангелочки. Взяв у нас обратно фотографию, он сказал:

— Сейчас мои дети счастливы.

Мы спросили его, почему же, и он ответил, что они давно мечтали иметь ослика, и он, как раз на этих днях, купил в Фонди осла и отправил им в подарок в Германию. Воодушевившись, он пустился в подробности: нашел он именно такого ослика, как и искал, сардинской породы, и так как это еще сосунок, он отправил его в Германию с воинским эшелоном, поручив одному солдату в дороге все время поить его молоком: в эшелоне была также и корова. Он смеялся, страшно довольный, а потом добавил, что в эту минуту его дети, наверно, катаются на своем сардинском ослике, поэтому он и сказал, что они счастливы. Мы все, в том числе адвокат и его мать, просто ужаснулись: вокруг голод, людям нечего есть, а он, видите ли, посылает в Германию ослика и велит его поить молоком, а ведь оно могло бы пригодиться итальянским детям, которые в нем так нуждаются. Где ж его любовь к Италии и итальянцам, если он не пони-

мал даже такой простой вещи? Однако я подумала, что сделал он это без всякого злого умысла — нет спора, это был лучший из всех немцев, каких я только до сих пор встречала; он поступил так просто потому, что был немец, а немцы, как я уже сказала, скроены на особый лад, может у них и много хороших качеств, но все их достоинства будто только с одной стороны, а с другой — нет ни одного, вроде как это бывает с некоторыми деревьями, что растут вплотную к стене: у них все ветви лишь с одной стороны — с той, что противоположна стене.

Теперь, когда стало нечего есть, Микеле всячески старался помочь нам, то в открытую — принося нам, несмотря на укоряющие взгляды родителей и сестры, часть своего завтрака или ужина, а то и тайком, просто воруя для нас у отца продукты. К примеру сказать, однажды, когда он пришел к нам, я показала ему, сколько у нас осталось хлеба — маленькая булочка, да к тому же испеченная на две трети из кукурузной муки. Тогда он сказал, что теперь будет приносить нам хлеб, каждый день понемногу таская из ящика, где его держала мать. Так он и делал. Каждый день он приносил нам несколько ломтей хлеба — это был еще белый хлеб, без примеси желтой кукурузной муки и отрубей. Такой хлеб у нас в Сант-Эуфемии теперь пекли только в доме Филиппо, хотя он все время плакался и прибеднялся, сообщая каждому, у кого была охота его слушать, что он с семьей пухнет от голода. Но однажды, не знаю почему, Микеле принес нам вместо обычных трех-четырех ломтей две целые булки; у них как раз в то утро пекли хлеб, и он надеялся, что ничего не заметят. Однако пропажу заметили, и Филиппо поднял невероятный шум, крича, что у него украли продукты; но не сказал, что это были булки, иначе он сам бы себя выдал, так как давно уже всех уверял, что у него не осталось ни крупинки муки. Так или иначе, но Филиппо, будто заправский полицейский, занялся расследованием — измерял высоту и ширину окна, изучал землю под окном, чтобы выяснить, не была ли примята трава, разглядывал и стенку под окном, не отвалилась ли ненароком где-нибудь известка, и наконец решил, что, учитывая маленькие размеры и высоту окна, видно, в дом залез и совершил кражу ребенок, причем он не мог забраться в окошко без помощи взрослого. Короче говоря, на основании своего расследования Филиппо решил, что этот ребенок — конечно Мариолино, сынишка одного из беженцев, а помогавший ему взрослый — не кто иной, как отец. Все на этом бы могло и кончиться, если бы Филиппо не поделился своими догадками с женой и дочерью. То, что для него было только одними подозрениями, для обеих женщин сразу же стало твердым убеждением. Сначала они перестали здороваться с беженцем и его женой, проходя мимо молча и не глядя на них, потом перешли к намекам: «Вкусный хлеб был сегодня?» или же: «Присматривайте лучше за Мариолино... как бы он не сломал себе шею, лазая в чужие окна». И наконец однажды напрямик заявили им: «Все ваше семейство — воры, вот вы кто».

Тут пошел дым коромыслом и начался такой скандал, что и не опишешь, с душераздирающими криками и воплями. Жена беженца, маленькая болезненная женщина, растрепанная и оборванная, повторяла громким пронзительным голосом: «Проваливай, проваливай!» — даже неизвестно что желая этим сказать, а жена Филиппо не менее громко кричала ей в лицо, что они воры. Так продолжалось довольно долго; одна повторяла это единственное слово: «Проваливай!», а другая вопила: «Воры!». Так стояли они друг против друга, в кольце беженцев, как две разъяренные курицы, но рукам воли не давали. А тем временем мы с Розеттой, хотя и не без угрызений совести, уплетали хлеб Филиппо. И чтобы не обращать на себя внимания, сидели в темноте, а при каждом вопле двух женщин откусывали за милую душу по кусочку. Признаюсь,

этот краденый хлеб, пожалуй, казался мне вкуснее своего именно потому, что был краденый и ели мы его потихоньку. Во всяком случае, с этого дня Микеле старался брать хлеб осторожнее, отрезал по ломтику от нескольких булок так, чтобы его семья не заметила, и действительно никто этого не замечал и скандалов больше не было.

Так прошел апрель, со своими цветами и сосущим чувством голода, и наступил май, а вместе с ним жара. Теперь к голоду и нашему отчаянию прибавилась новая пытка — тучи мух и ос. В нашей лачуге мух развелось такое множество, что мы, можно сказать, целый день только тем и занимались, что их давили, а ночью, когда мы ложились спать, засыпали и они, сидя на веревках, куда мы вешали нашу одежду, и было их столько, что веревки казались черными. Осиные же гнезда были у нас под крышей, и осы летали целыми роями. Не дай бог их тронуть — они жалили очень больно. Целый день с нас лил пот, видно от слабости; с наступлением жары, не знаю уж сама почему, может оттого, что нам не удавалось ни как следует вымыться, ни переменить платье, мы вдруг увидели, что превратились в самых настоящих оборванок-нищенок, таких, как те существа без пола и возраста, что просят милостыню у ворот монастырей. Несколько платьев, что у нас были, превратились в лохмотья и воняли от грязи, на наши чочи (туфель у нас давно уже не было) просто жалко было смотреть — они были все в заплатах, сделанных Париде из кусков старых автомобильных шин. У нас в комнатке из-за мух, ос и жары невозможно было жить, и она, вместо убежища, каким служила зимой, теперь стала прямо тюрьмой. Розетта, несмотря на всю свою мягкость и терпение, страдала от такой жизни, может, еще больше, чем я, ведь я родилась в крестьянской семье, а она в городе. Однажды она мне даже сказала:

— Ты, мама, все время говоришь об еде... а я бы согласилась голодать еще целый год, лишь бы надеть чистое платье и жить в чистоте.

А все дело в том, что почти не было воды, так как уже около двух месяцев не шел дождь, и Розетта теперь, когда без этого действительно нельзя было обойтись, не могла больше обливаться водой из колодца, как она это делала зимой.

В мае я узнала одну вещь, по которой можно судить, до какого ужасного отчаяния дошли беженцы. Как-то собрались они, кажется у Филиппо, причем одни только мужчины, и решили, что если англичане не придут до конца мая, то беженцы — у них у всех было оружие, у кого револьвер, у кого охотничье ружье, у кого нож,— добром или силой заставят крестьян поделиться своими запасами и отдать их для общего пользования. На этом собрании присутствовал также и Микеле, он сразу же, как потом нам рассказал, стал возражать, заявив, что в таком случае встанет на сторону крестьян. Тогда один из беженцев ему сказал:

— Прекрасно, раз так, то мы будем считать, что ты заодно с ними, и будем обращаться с тобой, как и с крестьянами.

В общем, дело, наверно, все равно кончилось бы одними разговорами, ведь беженцы все же были добрые люди, и я сильно сомневаюсь, чтобы они пустили в ход оружие; однако этот случай показывает, до какого они дошли отчаяния. Другие же, как я узнала, готовились теперь, когда наступила хорошая погода и земля подсохла, уйти из Сант-Эуфемии и пробраться на юг, через линию фронта, или же на север, где, по слухам, будто не было нехватки в продуктах. Некоторые же говорили, что пойдут пешком в Рим, потому, мол, здесь в деревне, можно десять раз умереть с голоду и никто этого и не заметит, а в городе обязательно помогут, потому что там боятся революции. В общем, под жарким майским солнцем все пришло в движение, закопошилось, каждый вновь стал думать о себе и о спасении собственной шкуры, многие теперь даже гото-

вы были рискнуть жизнью, только бы выйти из этого состояния бездействия и бесконечного ожидания.

И вдруг в один прекрасный день пришло долгожданное известие: англичане всерьез начали наступать и продвигались вперед. Я не в силах описать радость беженцев, которые за неимением лучшего — выпить они не могли, вина не было и есть тоже было нечего — кинулись в объятия друг другу и бросали в воздух шляпы. Бедняги, не знали они, что наступление англичан принесет нам новые несчастья. Тяжелые испытания только еще начинались.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Помню, когда я была девочкой, у одного лавочника в нашей деревне хранилась целая кипа «Доменика иллустрата» времен первой войны. Сколько раз вместе с детьми лавочника разглядывала я этот журнал: было там много чудесных цветных картинок, изображавших сражения девятьсот пятнадцатого года. Может, поэтому войну я представляла себе именно такой, как на этих картинках: пушки стреляют, пыль столбом стоит, дым и огонь; солдаты идут в атаку, со штыками наперевес, высоко подняв знамя; дерутся врукопашную, одни замертво валятся наземь, другие все продолжают бежать. По правде говоря, мне нравились эти картинки и казалось, что война, в конце концов, не так уж страшна, как говорят. Или лучше сказать, страшна — что верно, то верно,— но уж если кому убивать охота или не терпится выставить напоказ собственную храбрость, показать, что находчив и ничего на свете не боится,— на войне такой человек получит, что его душа просит. И еще думала я, не надо верить, будто все любят мир. Сколько таких людей, которым на войне раздолье, потому что на войне они могут дать волю своим грубым и кровожадным чувствам. Так думала я, покуда собственными глазами не увидела настоящую войну.

Однажды Микеле пришел и сказал мне, что битва за прорыв фронта теперь уже почти закончена; меня это известие озадачило, потому что вокруг, куда ни кинь взгляд, никаких следов сражения не было.

День такой хороший, над головой спокойное небо, и лишь где-то на горизонте, едва касаясь верхушек гор, плывут розовые облака, а ведь там, за горами Итри,— Гарильяно, одним словом фронт. Справа зеленеют величественные горы в золотых лучах солнца, а слева, за долиной, сверкает и улыбается голубое море, ясное и совсем весеннее. Где же шло сражение? Микеле сказал мне, что оно началось, по крайней мере, два дня назад и сейчас еще идет за горами Итри. Я не хотела ему поверить потому, что, как я уж говорила, представляла себе войну совсем по-другому и даже ему об этом сказала. А он рассмеялся и объяснил, что таких сражений, какими я любовалась на обложках журнала «Доменика иллустрата», теперь больше не бывает: пушки и самолеты теперь сметают солдат с лица земли, даже если ведут огонь на далеком расстоянии от настоящей линии фронта; словом, сражение теперь все больше походит на то, что делает домашняя хозяйка с пульверизатором в руках, когда убивает мух, не пачкая себя и даже не дотрагиваясь до них.

— На современной войне,— сказал Микеле,— нет нужды в ружейных залпах, штыковых атаках и рукопашных. Доблесть теперь не важна: побеждает тот, чьи пушки стреляют дальше и у кого их больше, чьи самолеты летают быстрее и выше. Война,— закончил он,— стала делом машин, а солдаты теперь мало чем отличаются от хороших механиков.

Словом, это сражение, которого не было видно, длилось день, а может и два. А однажды утром пушки будто перепрыгнули через простран-

ство и загрохотали до того близко от нас, что стены в комнате задрожали. Бум, бум, бум!.. Казалось, стреляют прямо из-за горы. Я быстро вскочила и выбежала во двор, чуть ли не надеясь, что вот сейчас увижу ту рукопашную схватку, о которой уже говорила. Но кругом все тихо: все тот же спокойный, прекрасный день, весь пронизанный солнцем, и только где-то там, на линии горизонта, в самой глубине долины, далеко за горами, которые ее окружали, виднелись тоненькие красные следы, которые мгновенно, будто раны, появлялись в небе, а затем растворялись и таяли в его голубизне. Потом мне объяснили, что это пушечные снаряды и что их полет можно некоторое время видеть простым глазом благодаря какому-то особому состоянию воздуха. Казалось, эти красные следы были бритвой прорезаны в голубизне неба: кровь лишь на мгновение вытекала из ран, и тут же все прекращалось. Сначала видны были эти кровавые следы, потом раздавался звук выстрелов и тотчас же, прямо над нашими головами, слышалось протяжное и яростное мяуканье; почти в ту же минуту откуда-то из-за горы доносился страшный звук взрыва, он заставлял небо дрожать, как если бы все происходило в пустой комнате. Словом, над нашей головой стреляли в кого-то или во что-то, находящееся позади нас, а это, как объяснил нам Микеле, означало, что сражение передвигается к северу, и долина Фонди уже освобождена. Я спросила, куда же девались немцы, а он ответил мне, что немцы наверняка бежали в сторону Рима и что прорыв окончен, а эти пушки будто молотом бьют по отступающим. Словом, ни рукопашных, ни штыковых атак с мертвыми и ранеными.

И все же этой ночью мы увидели, как светлеет небо над Итри, иногда становясь даже красным, как бы от внезапной вспышки пламени, и как его прорезают кровавые следы от полета снарядов; невольно вспоминаешь об огнях фейерверка, взлетающих в это черное, усыпанное звездами небо, только теперь на нем были бесконечные следы тонких-тонких порезов вместо тех пышных букетов, которые увенчивают игру бенгальских огней, да и звуки выстрелов были иными, чем при фейерверке — глуше, глубже, и в них была угроза, а не веселье. Мы долго глядели ввысь, затем, смертельно усталые, отправились спать и выспались как могли, хоть было жарко и Розетта болтала без умолку.

Ранним утром мы проснулись от сильного и совсем близкого грохота. Вскочили мы с постели и убедились, что на этот раз стреляют прямо в нас. Тут я в первый раз поняла, что пушки гораздо хуже самолетов: заметив их в небе, можешь быстро укрыться, и у тебя хоть одно утешение — видишь, в какую они сторону летят. А пушек никогда не видишь, они где-то там, за горизонтом; ты-то их не видишь, а они будто ищут тебя, и не знаешь, куда бежать: пушка тебя повсюду найдет, словно перст указательный. Как я уж говорила, этот выстрел раздался совсем рядом, и тут нам сказали, что снаряд разорвался неподалеку от дома Филиппо. Прибежал Микеле, радостный такой, и сказал нам, что теперь остались считанные часы; я возразила ему, что можно умереть и за секунду, а он только плечами пожал, дескать теперь мы уже бессмертными стали, ничего нам не страшно. Будто в ответ ему вдруг прямо над нами раздался страшный взрыв. Задрожали стены и пол, а с потолка посыпалась пыль вместе с известкой; в комнате на мгновение потемнело, и мы было решили, что снаряд угодил в наш дом. Но, выскочив наружу, увидели, что он разорвался вблизи на «мачере» и разворотил все кругом, а на этом месте образовалась большая воронка, наполненная свежей землей вперемешку с травой. Не скажу, чтоб Микеле испугался, но тут и он понял, как я была права, когда говорила, что для смерти достаточно нескольких секунд. Он сказал, что мы должны пойти с ним, а куда — и сам не знает.

— Нужно,— добавил он,— найти мертвое пространство.

Мы побежали вдоль «мачеры», к другому краю ущелья, и добрались до шалаша из веток, служившего укрытием для скота,— он находился под острым выступом скалы.

— Вот это и есть мертвое пространство,— сказал Микеле, очень довольный тем, что смог проявить свои военные познания.— Здесь мы можем спокойно сидеть на траве, снаряды сюда не попадут.

«Ну и мертвое пространство», подумала я, потому что не успел он договорить, как раздался страшный взрыв и нас окутало дымом и пылью, а сквозь дым и пыль мы увидели, как шалаш наш валится набок и так и остается висеть, подобно карточному домику, построенному детьми, который обычно всегда неустойчив. Теперь уж Микеле больше не стал настаивать на существовании мертвого пространства. Он велел нам лечь наземь, и сам, не вставая, крикнул:

— Следуйте за мной до пещеры, будем пробираться туда, только смотрите не подымайтесь, ползите за мной.

Пещера, о которой он говорил, была как раз за шалашом, совсем маленькая, с низким входом. Крестьяне в ней устроили курятник. Мы поползли за Микеле и ползком забрались в пещеру, где очутились среди раскудахтавшихся кур, забравшихся с перепугу в самую глубь. Пещера оказалась чересчур низкой для того, чтобы в ней можно было встать во весь рост, и мы больше часа пролежали, прижавшись друг к другу, а наша одежда была вымазана в курином помете, и куры, вновь расхрабрившись, прогуливались по нашим телам. Вокруг пещеры то и дело раздавались взрывы, и тогда я сказала Микеле:

— Хорошо еще, что это мертвое пространство.

Наконец взрывы стали реже и потом совсем умолкли. Только слышна была вдалеке стрельба пушек, и снаряды теперь, можно сказать, пролетали над нами и разрывались в какой-нибудь деревне по ту сторону Сант-Эуфемии. Микеле сказал, что мины, которые били по шалашу, должно быть выпущены не англичанами, а немцами, стрелявшими из горных минометов, и мы теперь можем спокойно выбраться наружу, потому что немцы прекратили стрельбу, а англичане в нас не стреляли. Так мы и сделали: выбрались из этой пещеры ползком, как и вошли в нее, а затем направились домой.

Был уже час дня, и мы решили перекусить — поесть немного хлеба с сыром. Но только мы стали есть, как прибежал к нам сынишка Париде и, еле переведя дух, сказал, что пришли немцы. Сперва мы ничего не поняли — ведь мы думали, что после такой стрельбы к нам должны были прийти англичане; я даже с ним спорить стала, ведь ребенок мог перепутать:

— Ты хочешь сказать — англичане?

— Нет, немцы.

— Да ведь немцы бежали.

— А я тебе говорю, что они сейчас к нам пришли.

Но тут появился сам Париде и раскрыл нам эту загадку. Действительно, пришло несколько отступавших немцев, и теперь они сидели в тени на соломе, под стогом сена, и никто не мог понять, чего они хотели. Я сказала Микеле:

— Ну что нам до немцев?.. Мы ведь ждем англичан, а не немцев... пусть немцы в собственном соку варятся.

Но, увы, Микеле меня не послушал: глаза у него загорелись, когда он услышал рассказ Париде. Думается мне, он и ненавидел немцев, и в то же время его тянуло поглядеть на них: сколько раз они встречались ему в дни своих побед, надутые и высокомерные, а теперь его искушало желание увидеть их в дни бегства и поражения. Он сказал Париде:

— Пойдем-ка, поглядим на этих немцев,— и направился вслед за ним. И мы с Розеттой тоже пошли.

Немцы, как нам и сказал Париде, устроились в тени за стогом сена. Было их пятеро; сроду мне не доводилось видеть настолько изможденных и замученных людей. Они повалились на солому и лежали как попало, вытянув ноги и раскинув руки, будто мертвецы. Трое из них спали, а может, просто закрыли глаза, в то время как четвертый, лежа навзничь, уставился глазами в небо, пятый также лежал на спине, подложив себе под голову сноп соломы вместо подушки, и пристально глядел прямо перед собой. Я в первую очередь его и заметила: совсем белесый, с розовой и прозрачной кожей на лице, брови и ресницы почти белые, глаза голубые, а волосы светло-золотистого цвета, тонкие и гладкие. На посеревших от пыли щеках — будто следы от размазанных слез; в ноздрях черно от земли или другой грязи; губы потрескались; глаза обведены красными кругами, а под ними две черные полоски, как две царапины. У немцев, известно, мундир всегда в порядке, начищен да выглажен, словно только что от портного. А у этих мундиры мятые, пуговицы расстегнуты; казалось, даже цвет их одежды стал другим, будто ее обдало пылью и черным дымом. Чуть поодаль в кружок собрались беженцы да крестьяне и молча разглядывали немцев, словно присутствовали на невиданном зрелище. Немцы молчали и не двигались. Микеле подошел к ним поближе и спросил, откуда они пришли. Он заговорил с ними по-немецки, но белесый даже не пошевельнулся, как будто его затылок был пригвожден к подушке из соломы, и ответил ему тихим голосом:

— Можешь говорить по-итальянски... я знаю итальянский.

Тогда Микеле повторил свой вопрос по-итальянски и тот ответил ему, что они пришли с фронта. Микеле спросил, что же случилось. Белесый, который лежал неподвижно, как паралитик, ответил ему, с трудом произнося каждое слово, угрюмым и усталым голосом, в котором, однако, чувствовалась угроза. Сказал, что они артиллеристы, два дня и две ночи их страшно бомбили и на воздух взлетали не только пушки, но и земля; под конец, когда большинство их товарищей было убито, им пришлось спасаться и бежать.

— Фронт теперь,— закончил он медленно,— не проходит больше у Гарильяно, он теперь севернее, и мы должны пробраться туда... на севере тоже горы, и там мы еще повоюем!

Как видите, хоть они и походили на мертвецов, а говорили по-прежнему о том, чтоб воевать и сопротивляться.

Тогда Микеле спросил:

— Кто же прорвал фронт, англичане или американцы?

И это был неосторожный вопрос, потому что белесый зло усмехнулся и сказал:

— А вам не все равно? Вам, дорогой синьор, довольно знать, что скоро ваши друзья будут здесь, вот и все.

Микеле, сделав вид, что не заметил язвительного и угрожающего тона, спросил, что́ он может сделать для них. Белесый сказал:

— Дайте нам чего-нибудь поесть.

Все мы теперь сами-то доедали последние крохи, не знаю, нашли бы мы целую буханку хлеба у кого-нибудь из крестьян или беженцев, кроме Филиппо. Вот почему мы в смущении переглянулись, а я, говоря за всех, воскликнула:

— Поесть? А у кого же из нас найдется? Если нам англичане ничего не подкинут, мы все здесь с голоду подохнем. Подождите и вы англичан, тогда и у вас будет еда.

Я увидела, что Микеле сделал неодобрительный жест, будто хотел сказать «Дура!»,— и тогда поняла, что хватила через край. Немец тем временем взглянул на меня пристально, словно желая хорошо запомнить мое лицо, а потом медленно сказал:

— Прекрасный совет: ждать англичан.— Он еще немного пролежал неподвижно и затем, с трудом подняв руку, принялся шарить у себя за пазухой.— Я уже сказал, что мы хотим чего-нибудь поесть.— Теперь он сжимал в руке огромный черный пистолет и наводил его на нас, хоть сам лежал неподвижно и не менял позы.

Мне стало очень страшно, может не столько из-за пистолета, сколько из-за взгляда этого белесого, смотревшего на нас, как хищный зверь, попавший в ловушку, но все еще опасный и скалящий зубы. Однако Микеле не испугался и как-то очень просто сказал Розетте:

— Сбегай к моему отцу и скажи, чтоб он дал буханку хлеба для нескольких немцев, они в нем нуждаются.— Сказал он эти слова по-особому, как бы подсказывая Розетте, чтоб она объяснила, что немцы требовали этот хлеб, угрожая пистолетом. Розетта тотчас же побежала к дому Филиппо.

В ожидании хлеба мы все неподвижно стояли вокруг стога сена. Немного погодя белесый снова заговорил:

— Нам нужен не только хлеб... нам нужен еще человек, который пошел бы с нами и показал дорогу на север, чтоб мы могли найти наши части.

Микеле ответил:

— Вот вам дорога,— и указал на тропу, ведущую к горе.

Белесый сказал:

— Тропу я вижу. Но мы не знаем здешних гор, нам нужен кто-нибудь, к примеру эта девушка.

— Какая девушка?

— Да вот та, что пошла за хлебом.

Кровь у меня застыла при этих словах: если они сейчас, в самый разгар войны, уведут Розетту, с ней невесть что может приключиться, мне ее больше не видеть. Но Микеле тотчас же сказал, не теряя спокойствия:

— Эта девушка не здешняя, дорогу она знает хуже вас.

Тогда белесый ответил:

— Но тогда с нами пойдете вы, дорогой синьор. Вы ведь из этих мест, не так ли?.

Тут хотелось мне крикнуть Микеле: «Скажи, что и ты не отсюда», да не успела. Слишком он был честен, чтобы лгать, и потому сказал им:

— Я здешний, только дороги не знаю. Всегда жил в городе.

Услышав эти слова, белесый чуть не расхохотался и сказал:

— Послушаешь вас — так никто этих гор не знает. Пойдете вы с нами. Вот увидите, сразу окажется, что вы очень хорошо знаете дорогу.

Микеле на это ничего не ответил, только брови нахмурил под очками. Тем временем, запыхавшись, прибежала Розетта и принесла с собой два маленьких хлебца; она положила их прямо на солому, с опаской протянув вперед руку и наклонясь, как это делают, когда кормят диких зверей, которым страшно довериться. Немец заметил ее жест и сказал ей с отчаянием в голосе:

— Дай мне хлеб в руки. Мы ведь не бешеные псы, не кусаемся.

Розетта подобрала хлебцы и протянула их ему. Немец вложил пистолет в кобуру, взял хлеб и приподнялся.

За ним приподнялись и другие, и теперь они все сидели. Видно, они не спали и следили за разговором, хоть глаза у них были закрыты.

Белесый вытащил из кармана нож, разделил оба хлебца на пять равных частей и роздал их товарищам. Ели они медленно-медленно, а мы в полном молчании стояли кружком около них. Когда же они кончили, а это было не скоро, потому что хлеб они ели, можно сказать, крошка за крошкой, одна из крестьянок молча протянула им медный таз с водой, и тогда кто из них выпил по две, а кто даже по четыре кружки: они и вправду умирали от голода и мучившей их жажды. Затем белесый снова вытащил пистолет.

— Теперь,— сказал он,— нам нужно идти, не то стемнеет.— Так он обратился к своим товарищам, которые тотчас же стали медленно подниматься с земли. А затем обернулся к Микеле:— Вы же пойдете с нами, чтоб показать дорогу.

Все мы ужаснулись: ведь мы думали, что белесый сказал это просто так, лишь бы что-нибудь сказать, а теперь оказалось, что он говорил всерьез. Филиппо тоже прибежал и молча глядел, как немцы ели. Но когда он увидел, что белесый навел пистолет на Микеле, стон вырвался из его груди, и со смелостью, которую в нем никто не мог бы и заподозрить, встал он между пистолетом и сыном.

— Это мой сын, понимаете вы?. Мой сын.

Белесый промолчал. А потом взмахнул пистолетом, как бы отгоняя от себя мух. Видно, хотел сказать этим, чтоб Филиппо отошел в сторону. Однако Филиппо закричал:

— Всеми святыми вам клянусь, это мой сын, он не знает гор. Он читает, пишет, учится, откуда ж ему знать горы?

Белесый сказал:

— Пойдет он, и точка.— Немец уже поднялся на ноги и теперь, не опуская пистолета, свободной рукой поправлял на себе пояс.

Филиппо взглянул на него, словно хорошо не понял, что тот ему ответил. Я видела, как он глотнул воздух и обвел языком губы: должно быть, он задыхался, и я, не знаю почему, вспомнила в ту минуту слова, которые он всегда повторял так охотно: «Теперь дураков нет». Бедняга, теперь и он уж не был ни дураком, ни умным, теперь он был просто отцом. Простояв с мгновение словно пораженный молнией, он вдруг снова закричал:

— Возьмите меня! Возьмите меня вместо сына! Я-то горы знаю. Я, прежде чем лавку открыл, был бродячим торговцем. Все горы обошел вдоль и поперек. За руку вас, по самым горам, до вашего штаба проведу. Я знаю самые лучшие, самые тайные тропы, доведу вас, клянусь.— Потом обернулся к жене и говорит ей: — Сам пойду. Вы не волнуйтесь. Завтра вернусь засветло.— Чтоб придать убедительность своим словам, он подтянул брюки, скорчил гримасу, похожую на улыбку, которая в ту минуту показалась мне страшной, подошел к немцу и, положив на его руку свою, сказал с деланной развязностью:

— Ну что ж, пошли. Дорога у нас дальняя.

Но у немца было другое на уме. Он спокойно сказал:

— Вы слишком стары, пойдет ваш сын, это его долг.— А затем, отодвинув Филиппо в сторону стволом пистолета, подошел к Микеле и, направляя на него все тот же пистолет, знаком приказал ему пойти вперед.

Кто-то, уж не помню кто, закричал:

— Микеле, беги.

Видели бы вы этого немца! Хоть он и был до крайности истощен, а тотчас же с быстротой молнии обернулся в ту сторону, откуда раздался крик, и выстрелил. К счастью, пуля застряла где-то среди камней, но немец все равно добился своего, а цель его была в том, чтобы запугать

крестьян и беженцев и помешать им что-либо сделать для Микеле. Все на самом деле бросились врассыпную, стали в кружок чуть подальше и теперь молча глядели вслед немцу, который удалялся, подталкивая Микеле в спину стволом своего пистолета. Так они и ушли, и я до сих пор вижу их перед глазами, будто они и сейчас продолжают идти: немец с пистолетом в согнутой руке, Микеле впереди, и как сейчас помню, одна штанина у него длиннее другой и почти налезает на каблук, а другая покороче, настолько, что видна лодыжка. Шел он медленно, волоча ноги, словно тянул за собой тяжелую цепь, может надеясь, что мы набросимся на немцев и дадим ему возможность удрать.

Процессия из четырех немцев, Микеле и белесого прошла под нами по тропе, ведшей к долине, и медленно стала исчезать в зарослях кустарника. А Филиппо, который, как и другие, после выстрела удрал, а затем остановился неподалеку и все глядел вслед немцам, вдруг, увидев, что белесый и Микеле дошли до самого поворота, завыл от горя и хотел было кинуться за ними. Но крестьяне и беженцы тотчас же окружили его, и старались удержать, а он все вопил и повторял имя сына, и горячие слезы текли по его лицу. Теперь прибежали и мать с сестрой; они сначала ничего не понимали и расспрашивали всех подряд, но как только поняли в чем дело, сразу же стали слезы лить и причитать, все повторяя имя Микеле. Сестра плакала навзрыд и говорила сквозь слезы:

— Беда-то какая, как раз теперь, когда все должно кончиться...

Мы не знали, что и сказать, ведь когда у людей настоящее горе и причины его настоящие, тут словами уже не поможешь, а нужно устранить эти причины, чего мы сделать не могли. В конце концов Филиппо пришел в себя, взял жену за плечи и сказал, помогая ей идти:

— Вот увидишь, он вернется... не может он не вернуться... покажет им дорогу и вернется.

Дочь, хоть и не переставала плакать, поддержала отца.

— Вот увидишь, мама, он еще до вечера вернется.

Но мать сказала то, что матери обычно говорят в таких случаях и, к сожалению, так же часто угадывают, потому что известно, материнское чутье редко обманывает:

— Нет, нет, знаю я, он не вернется, предчувствие у меня — больше я его не увижу.

Здесь должна я признаться, что после этой пушечной пальбы, после известий о поражении немцев, прорыве фронта и о том, что пришел конец нашей жизни в горах, не могла я принять случай с Микеле так близко к сердцу, как нужно было. Мы с Розеттой верили, или лучше сказать, обманывали себя, заставляя верить, что он непременно вернется. Может, это потому, что верь не верь в его возвращение, мы все равно не смогли бы разделить как должно горе семьи Феста: ведь наши мысли, как и наши сердца, были уже далеко отсюда. Обе мы целиком были захвачены этой долгожданной новостью о нашем освобождении и не понимали тогда, что уход Микеле, который был для нас и отцом и братом, оказался даже важнее самого освобождения и уж, во всяком случае, должен был доставить нам огорчение и боль. Но такие уж мы: себялюбие, молчавшее покуда была сильна опасность, теперь, когда опасность миновала, снова давало себя знать. И сама я, направляясь к нашему домику после того как увели Микеле, не могла сдержаться, чтобы не сказать себе: какое счастье, что немцы взяли Микеле, а не Розетту, ведь, в конце концов, его уход больше всего касался его семьи, а нам все равно так или иначе пришлось бы расстаться с ними, и может, даже навсегда. Никогда-то мы их больше не увидим; вернемся к себе в Рим, снова начнем обычную свою жизнь, а об этом времени, проведенном в горах, станем лишь изредка вспоминать, говоря друг другу между делом: «Помнишь ты Микеле?

Кто знает, где он теперь... А помнишь ты Филиппо, жену его и дочь? Что-то они теперь делают...»

В ту ночь мы, несмотря на жару, спали, тесно прижавшись друг к другу, может потому, что пушки продолжали стрелять — взрывы то и дело раздавались вблизи, и мы думали, что если снаряд угодит в нас, то мы хоть умрем вместе. Так только говорится, что спали, а на самом деле удавалось нам лишь задремать минут на пять, на десять, а потом снова раздавался страшный выстрел, и мы подскакивали и садились на кровати; а не то просыпались и так, без всякой причины, должно быть от волнения и от нашей нервности. Розетта волновалась за судьбу Микеле, и теперь мне было ясно, что в отличие от меня она отнеслась к его уходу гораздо серьезнее, чем мне бы этого хотелось. То и дело спрашивала она меня в потемках: «Мама, а что они теперь сделают с Микеле?» или же: «Мама, ты и вправду веришь, что Микеле вернется?», или еще: «Мама, что же будет с беднягой Микеле?» А я, с одной стороны, чувствовала, что она вправе так волноваться, а с другой, меня это злило, потому что, как я уже сказала, мне тогда казалось, что наша жизнь в Сант-Эуфемии подошла к концу и нам теперь надо думать лишь о самих себе. Вот почему я отвечала ей то одно, то другое, все пытаясь ее успокоить, а под конец, потеряв терпение, сказала:

— А теперь спи, все равно ты Микеле ничем не поможешь, даже если и не будешь спать. Поверь, с ним ничего дурного не случится. Теперь он уже поднимается в горы, скоро возвратится сюда.

Она же чуть ли не сквозь сон прошептала:

— Бедняга Микеле,— и умолкла, потому что сразу после этого заснула как убитая.

А утром, едва проснувшись, я заметила, что Розетты нет рядом со мной на кровати. Я выскочила из дому; было уже поздно, солнце поднялось высоко, я увидела, что обстрел кончился и вокруг началось большое движение. Беженцы расхаживали взад и вперед, кто прощался с крестьянами, кто переносил вещи, а некоторые уже гуськом спускались по тропе, которая вела к Фонди. Мне вдруг стало очень страшно за Розетту, я подумала, что и она по какой-нибудь не известной мне причине могла исчезнуть, как Микеле, и тогда я стала бегать и звать ее. Никто на меня не обращал внимания, никто меня не слушал, и тут я поняла: все, что я думала о Микеле, теперь обернулось против меня. Розетты больше не было, каждый занимался своим делом, никто не хотел даже на минуту остановиться и выслушать, что со мной произошло. К счастью, когда я уж совсем было отчаялась, Луиза, жена Париде, вдруг высунула голову из своей лачуги и сказала:

— Чего это ты кличешь Розетту? Она здесь с нами, ест поленту.

Я вздохнула, с немного обиженным видом вошла в их домишко и подсела к столу, на котором стояла миска с полентой. Все, как обычно, молчали, и я тоже не стала разговаривать. Казалось, крестьяне, как всегда, были поглощены едой, хотя в этот день уже произошло и еще должно было произойти столько неожиданных событий. Один лишь Париде, как бы выражая общую мысль, вдруг сказал без всякого сожаления, очень равнодушно, будто речь шла о погоде или о чем-то неважном:

— Вот вы теперь возвращаетесь в город и снова будете барынями... а мы останемся здесь и по-прежнему будем спину гнуть.— Он обтер рот, зачерпнул кружку воды, выпил ее и затем вышел не простившись, как обычно.

Я сказала всем, что мы теперь пойдем складывать вещи, а затем вернемся, чтоб проститься. Потом вышли и мы с Розеттой.

Теперь было у меня только одно огромное, беспокойное и радостное

желание: уйти отсюда как можно скорее. И все же, сама не знаю почему, я сказала:

— Нужно будет зайти к Феста и узнать, что случилось с Микеле.— Сказала я это с неохотой, потому что Микеле мог и не вернуться, и я боялась, как бы в этом случае горе семьи Феста не омрачило моей радости. Розетта ответила мне спокойным голосом:

— Семьи Феста уже нет. Они ушли в долину на рассвете. А Микеле не вернулся. Они надеются найти его в городе.

Услышав об этом, я испытала большое облегчение, пожалуй, не менее своекорыстное, чем мое давешнее нежелание к ним зайти. И я сказала:

— Ну что ж, остается нам только собраться и уйти как можно скорей.

Розетта добавила:

— А я встала на рассвете, ты еще спала, и пошла к Феста. Они, бедняги, совсем пришли в отчаяние. Для них этот прекрасный день стал таким страшным, потому что Микеле не вернулся.

Я призадумалась на мгновение, мне вдруг сделалось стыдно, и я подумала о том, что Розетта куда лучше меня: нарочно встала спозаранок, чтоб пойти к Феста, и не побоялась, как я, что их горе омрачит ее радость. Тогда я обняла ее и сказала:

— Доченька золотая, насколько же ты лучше меня, ведь ты сделала то, чего я не посмела. До того я счастлива, что кончились наши мучения, от радости даже побоялась пойти к Феста.

Она мне ответила:

— Я пошла не против своей воли, пошла оттого, что люблю Микеле. Вот не пойди я, тогда мне действительно пришлось бы мучиться. Всю-то ночь я глаз не сомкнула, только о нем, бедняге, и думала. До чего ж его мать права оказалась: ведь он не вернулся.

Теперь нам, однако, нужно было собираться в дорогу. Войдя к себе в комнату, мы вытащили оба привезенных из Рима фибровых чемодана и уложили в них то немногое тряпье, какое у нас оставалось: несколько юбок, несколько шерстяных рубашек, которые мы здесь связали крючком из грубой крестьянской шерсти, несколько пар чулок, несколько платков. Уложила я туда же остатки продуктов, то есть овечий сыр, купленный у евангелиста, кило с лишком фасоли с «глазком» и небольшой темный хлебец из отрубей и кукурузной муки, он был у нас последним. Я немного сомневалась, стоит ли уносить с собой тарелки и стаканы, купленные у крестьян, а затем решила не брать их и расставила их рядком на подоконнике. Вот и все. Закрыв чемодан, я на минутку присела на кровать рядом с Розеттой и осмотрела комнату — печальное и пустое жилище, которое мы покидали навсегда. Теперь я уж не испытывала ни прежнего нетерпения, ни прежней радости, больше того — мной овладело какое-то тревожное чувство. Подумала я о том, что эти грязные стены, этот топкий земляной пол были связаны с самыми горькими и самыми страшными днями моей жизни, и хоть я стремилась отсюда уйти, а все же с болью расставалась со всем этим. Я прожила здесь девять месяцев, и каждый день, каждый час, каждая минута были полны напряженных надежд и отчаяния, страха и мужества, воли к жизни и жажды смерти. Я ждала освобождения как чего-то не только прекрасного, но и справедливого, нужного не одной мне, но и другим. И тут вдруг поняла, что жизнь людей, которые ждут всего этого, отмечена большей силой и большей правдой, чем жизнь тех, кто не ждет ничего. И перенесясь из маленького мирка в мир большой, я подумала: можно ведь то же сказать обо всех, кто ждет вещей куда более важных, к примеру возвращения Христа на землю или торжества справедливости для бедняков. Правду вам скажу: когда я выходила из этого домика, чтобы больше туда не возвращаться, мне показалось — по-

кидаю я, ну, скажем, если не церковь, то почти святое место, потому что здесь я столько выстрадала и, как уже говорила, здесь ждала и надеялась на хорошее не только для себя, но и для других.

Мы взвалили чемоданы себе на голову и направились к лачуге крестьян, чтоб распроститься с ними, как вдруг люди, которые в ту минуту были на «мачере», стали разбегаться в разные стороны. На этот раз, однако, стреляла не пушка, чей грохот теперь доносился издалека, как раскаты уходящей грозы,— слышался равномерный, очень точный, очень злой треск выстрелов: казалось, он раздавался из зарослей кустарника, с самой вершины горы. Один из беженцев остановился на минутку и крикнул нам: «Пулеметы, немцы стреляют из пулеметов по американцам»,— и быстро исчез. Все уже разбежались и попрятались, кто в пещерах, кто в ямах, лишь мы вдвоем стояли посреди «мачеры», а треск пулеметов не только не стихал, но, казалось, становился все упорнее. На минуту и у меня мелькнула мысль бежать и укрыться где-нибудь, а потом до того мне стало противно в ту самую минуту, когда мы приготовились спуститься в Фонди, снова возвращаться к этой полной страха жизни, которой мы жили девять месяцев, что я, не помня себя от злости, сказала Розетте:

— Да, пулеметы. Знаешь, что я тебе скажу про эти пулеметы? Наплевать на них, все равно пойду в долину.

Розетта ни слова не возразила: от усталости и она осмелела. Мы решили не прощаться с крестьянами, которые столько времени давали нам приют, да мы и не знали, куда они теперь попрятались; а затем, будто позабыв о пулеметах, не спеша пошли по тропе, ведшей к долине. Спускались мы с одной «мачеры» на другую, и по мере того как сходили вниз, нам все яснее становилось, что мы правильно поступили, решив не прятаться: больше не было слышно пулеметного треска, и все казалось спокойным; был прекрасный майский день, похожий на другие дни мая, припекало солнце, в воздухе стоял запах дикорастущих роз и разогретой пыли, кружились и жужжали пчелы, будто никакой войны и не было.

Но война была, и вскоре мы увидели ее следы. Сперва нам повстречалось двое солдат; я приняла их за американцев, скорей по разговору, чем по мундирам, которые я не знала. Выйдя из зарослей кустарника, эти два молодых парня, низкорослые и смуглые, подошли прямо к нам. Один из них сказал «хелло» или что-то в этом роде, другой же произнес какие-то еще слова по-английски, но я ничего не поняла. Прошли они мимо нас и, сойдя с тропы, стали взбираться на гору; а потом, согнувшись, с винтовкой в руках и в низко надвинутых шлемах начали пробираться сквозь заросли кустарника, не сводя глаз с вершины, откуда доносилось потрескивание пулеметов. Это были первые американцы, которых мы встретили, да и то мы увидели их случайно; впрочем, мне кажется теперь, когда я об этом снова думаю, что вся война — это одни случайности; все происходит без причины: сделаешь шаг влево — тебя убьют, пойдешь направо — и цел останешься. Я сказала тогда Розетте:

— Видишь, вот это американцы.

Она ответила:

— Я думала, они высокие и светловолосые, а оказывается, они маленькие и чернявые.

В ту минуту я не знала, что ей ответить, но потом убедилась, что в американской армии люди разные, непохожие друг на друга по внешнему виду: есть и белые, и негры, и блондины, и брюнеты, и высокие, и низкорослые. А эти двое, как я позднее узнала, были итало-американцы; таких тоже немало, по крайней мере в тех частях, которые захватили наши места.

Спускаясь ниже, мы натолкнулись на пункт Красного Креста, расположенный в тени рожкового дерева, в стороне от тропы. Там стояли но-

силки, шкафчик с лекарствами, тут же было несколько солдат; как раз в эту минуту двое из них несли к этому пункту на носилках своего раненого товарища. Мы остановились, чтобы взглянуть на этих двух солдат; они свернули с тропы и, видно, с трудом несли носилки, направляясь к перевязочной. Глаза у раненого были закрыты; он казался нам мертвым, но был еще жив, и те, кто его нес, разговаривали с ним, будто желая его успокоить и сообщить, что скоро придут на место; раненый слегка кивал головой, как бы в знак того, что все понимает и нечего о нем беспокоиться. Увидев все это здесь, на залитом солнцем склоне, на «мачере», где цветы росли чуть ли не по пояс солдатам, шедшим с носилками, я едва не подумала, что этот солдат вовсе не смертельно ранен, и даже солдаты эти вовсе не солдаты, а этот пункт Красного Креста вовсе не пункт Красного Креста; словом, все здесь показалось мне какой-то неправдой, все было странным и бессмысленным, и ничего нельзя было ни объяснить, ни понять. Я сказала Розетте:

— Ранен он из пулемета... могли попасть и в нас.— Думаю, я сказала ей это, чтобы убедить самою себя, что пулеметы действительно существовали и опасность была настоящей. Но тогда я сама не очень хотела в это верить.

Спускаясь по «мачерам» все ниже и ниже, мы добрались до долины и подошли к перекрестку у реки, где стоял дом, в котором прежде жил бедняга Томмазино. Когда мы были здесь в последний раз, эти места были пустынны, как и все другие, занятые немцами; уж не знаю, как этим немцам удавалось повсюду создавать пустыню вокруг себя,— где бы они ни появлялись, люди исчезали и прятались. Теперь же здесь все кишмя-кишело беженцами и крестьянами: кто шел пешком, кто ехал на осле или муле, и все тащили за собой свою рухлядь, возвращаясь, как и мы, с гор по своим домам. Мы пошли вместе с этой толпой; все были веселы и разговаривали друг с другом, как будто давно меж собой знакомы. Все говорили: «Война окончилась, все плохое позади, теперь пришли англичане, пришло изобилие». И казалось, все позабыли уже об этом годе страданий. Вместе с толпой мы добрались до места, где шоссейная дорога перекрещивалась с другой, ведущей в горы. Здесь мы увидели первую колонну американцев. Они шли, вытянувшись в цепочку, и я увидела, что это на самом деле американцы, то есть люди, совсем не похожие ни на немцев, ни на итальянцев. У них была какая-то особая походка, развинченная, ленивая, и казалось, они шли, чем-то недовольные. Каждый носил каску на свой манер, кто надел ее набок, кто надвинул на глаза, а кто напялил на затылок; и все жевали резинку. Казалось, воевали они неохотно, но и без особого страха, подобно людям, которые родились не для того, чтобы воевать, как, к примеру сказать, немцы, но воевать им волей-неволей приходится, потому что их тащат за волосы. На нас они и не поглядели, как не глядели они на всех тех бедняков, которые брели по горной дороге и волочили на себе свой скарб. Должно быть, американцы, с тех пор как высадились в Италии, видели уже не раз такие представления и ко всему пригляделись. Не помню, долго ли шли они мимо нас все тем же медленным и равномерным шагом по направлению к горе. Под конец прошло трое или четверо замыкающих — они казались самыми усталыми и недовольными,— и тогда мы снова вышли на главную дорогу.

Эта дорога вела в Монте Сан-Бьяджо — деревню, вскарабкавшуюся на горы, замыкающие долину Фонди с севера. Чуть подальше эта дорога сливалась с национальной дорогой, кажется с виа Аппиа. Когда же мы подошли к виа Аппиа, то рот разинули от удивления, увидев американскую армию в наступлении. Сказать, что дорога была переполнена людьми, значит сказать слишком мало и выразиться не совсем точно;

толпы-то на ней как раз и не было, а загромождали дорогу лишь машины всякого вида, выкрашенные в зеленый цвет, и на каждой белая звезда, звезда Америки, так непохожая на итальянскую звезду, которая, как говорят, приносит счастье и только счастье, меж тем как американская звезда, казалось, была могущественной и давала силу тем, кто шел за ней.

Я сказала — машины, а не автомобили, да и на самом деле, по той дороге, впритирку друг к другу, едва-едва продвигаясь вперед, шли самые различные машины. Маленькие открытые автомобили, битком набитые солдатами, которые держали винтовки у ног; гигантские танки с гусеницами и броней; пушки, стволы которых задевали ветви платанов, склонившихся над дорогой; большие и маленькие, открытые и закрытые грузовики; малюсенькие, почти игрушечные танки, но и на них поднятые кверху стволы пушек; наконец, огромные, крытые броней вагоны, и сквозь щели в броне можно было рассмотреть кнопки, рычаги, провода.

По правде говоря, нужно было видеть все это, чтобы представить себе, что такое американская армия. Огромный поток больших и маленьких машин, и на каждой примелькавшаяся до одури белая звезда; весь этот поток продвигался медленно-медленно, пожалуй медленней любого пешехода; то и дело движение приостанавливалось, чтобы через мгновение начаться вновь, совсем как бывает с машинами на Корсо в Риме, в самые боевые часы. И повсюду солдаты, взгромоздившиеся на танки, машины, грузовики; и солдаты эти сидят или стоят в машинах, все с тем же видом, говорящим о терпении, безразличии, почти что скуке. Они не переставая жуют резинку и даже разглядывают какие-то свои газетки, со множеством рисунков. Между машинами тем временем, как кошки, шмыгали мотоциклы с одним или двумя седоками, одетыми во все кожаное,— эти мотоциклы двигались быстро, могли даже мчаться и походили на овчарок, охраняющих большое, ленивое и медлительное стадо. Машины шли, так тесно приткнувшись друг к другу, что казалось, если бросить монетку в самую гущу, то она не упадет на землю; и я диву далась, что немцы не используют такой случай и не пошлют свои самолеты, чтобы устроить здесь мясорубку. Это больше всего и убедило меня, что немцы уже проиграли войну и не могут причинить зло, ведь им отрубили когти и вырвали зубы, а пушки и самолеты — это когти и зубы армии.

Тут я еще раз поняла, что такое современная война. Не та рукопашная схватка, которой я так любовалась на картинках в журнале девятьсот пятнадцатого года, а что-то совсем непохожее: сначала самолеты и пушки наводят порядок бомбами и снарядами, затем наступают главные силы, которые редко сталкиваются в открытом бою с противником: солдаты двигаются по дорогам, поудобней устроившись в машинах, зажав винтовки между ног, и жуют резинку, разглядывая газеты с картинками. Потом мне кто-то сказал, что кое-где эти войска понесли немалые потери. Но не в открытом бою с противником, а от огня пушек, которые их обстреливали, пытаясь остановить их продвижение.

О том, чтоб пересечь эту дорогу или пытаться идти по ней, не могло быть и речи. Ведь это все равно, что попробовать перейти разлившуюся реку в том месте, где глубже всего. Вместе с многими другими мы повернули назад и, выйдя на боковую дорожку, направились в сторону города. Мы добрались туда минут за десять, но и там убедились, что о передышке нечего думать. Дома здесь были превращены в груды развалин, там же, где не было обломков, землю покрывали большие лужи гнилой и вонючей воды; а на кусочках чистой земли толпились и сновали взад и вперед американские солдаты вперемежку с беженцами и крестьянами. Все это походило на ярмарку, только нечего было продавать и покупать,

кроме разве надежды на лучшие дни. Но те, кто мог продавать эту надежду, значит американцы, казались безразличными и далекими от тех, кто хотел бы ее купить; что ж до крестьян и беженцев, то они, видно, не знали, как ее покупать, эту надежду. Они вертелись вокруг американцев, расспрашивали их по-итальянски, а те не понимали и отвечали им по-английски; тогда обманувшиеся в своих ожиданиях крестьяне и беженцы отходили от них и вскоре снова возобновляли свои попытки, однако это приводило все к тем же результатам.

Перед одним, чудом уцелевшим домиком была настоящая свалка; и все же я решила подойти поближе. На балконе второго этажа стояли американцы и швыряли оттуда беженцам и крестьянам карамель и сигареты, а те накидывались на все это, барахтаясь в пыли, что выглядело совсем непристойно. И было видно — людям, в конце концов, не так уж важны и карамель, и сигареты, они добивались их с таким ожесточением, понимая, что именно этого ждали от них американцы. Словом, здесь за несколько часов создалось то, что я видела в Риме потом на протяжении всей союзной оккупации: итальянцы выпрашивали подачки, чтоб понравиться американцам, американцы давали их, чтоб угодить итальянцам, и никто из них не отдавал себе отчета, что они, в конце концов, не доставляют никакого удовольствия друг другу. Я думаю, такие вещи, однако, происходят сами по себе, как бы по безмолвному соглашению, хоть их никто и не хочет: американцы — победители, итальянцы — побежденные, и этого достаточно.

Я подошла к небольшой американской военной машине, стоявшей посреди толпы; в ней сидело двое солдат, один — рыжеволосый, голубоглазый, весь в веснушках, другой — брюнет, желтолицый, с острым носом и тонким ртом.

— Скажите на милость, как добраться до Рима? — спросила я их.

Рыжий даже не взглянул на меня, он жевал резинку, погруженный в чтение своей газетки, но черноволосый порылся в кармане и вытащил пачку сигарет. Я сказала:

— Какие там сигареты, мы ведь не курим, только растолкуйте: как до Рима добраться.

— До Рима? — повторил наконец черноволосый солдат.— Нет Рима.

— Как так?

— Немцы в Риме.

Тем временем он порылся у себя в карманах и на этот раз вытащил все ту же карамель, но я, отказавшись и от карамели, сказала ему:

— Если хочешь нам что-нибудь дать, дай нам лучше хлеба, на что нам твоя карамель. Хочешь нам рот подсластить — не выйдет. У меня горечь во рту еще надолго останется.

Он меня не понял и только вытащил свой фотоаппарат из-под сиденья и сделал мне знак, как бы желая сказать, что хочет нас снять. Тут я взбеленилась и закричала:

— Ах, ты, может, хочешь нас сфотографировать в этих лохмотьях, в которых мы похожи на двух дикарок? Нет уж, спасибо, спрячь-ка лучше свой аппарат.

Но он продолжал настаивать, и тогда я взяла у него аппарат из рук и положила под сиденье, как бы желая этим сказать: «Ну-ка, брось свои штучки».

На этот раз он понял и, обернувшись к товарищу, стал ему что-то говорить по-английски, а тот отвечал нехотя, не поднимая глаз от газеты. Затем черноволосый снова посмотрел в нашу сторону и знаком показал, чтоб мы садились в машину. Мы послушались, и тогда рыжий, будто внезапно проснувшись, взялся за руль; машина тронулась с места и рванулась, как ракета, сквозь толпу, которая расступалась по сторонам; мы въехали

в город, то и дело подскакивая на грудах развалин и хлюпая по лужам: как видно, эта военная машина могла ездить по любой дороге. Черноволосый тем временем изучал ноги Розетты, она, как и я, была обута в чочи. Под конец он спросил:

— Туфли? — и нагнулся, чтоб потрогать чочи, а затем провел руками вдоль веревок, которыми были обмотаны ноги, до самых икр. Тогда я хлопнула его по руке и сказала:

— Эй, убери-ка руки... Чочи, что ж тут особенного? Это еще не значит, что ты можешь дочь мою щупать...

И на этот раз он сделал вид, будто не понял. Показывая рукой на обувь Розетты, он снова вытащил свой аппарат и сказал:

— Фотография?

Тут я его отчитала:

— Мы-то чочи носим, а вот не хотим, чтоб ты их фотографировал. Еще, чего доброго, отправишься к себе домой и начнешь рассказывать: все мы, итальянцы, носим чочи, не знаем, дескать, что такое туфли. Вот на родине у вас есть краснокожие, что бы ты сказал, если бы мы их сфотографировали, а потом заявили, что все вы, американцы, носите перья на голове, будто петухи какие? Я сама чочара и этим даже горжусь, но для тебя я итальянка, римлянка или как там хочешь; и ты мне своими фотографиями голову не морочь.

Он в конце концов понял, что нечего настаивать, и положил свой аппарат на место. А тем временем наша машина катила по городу, то подскакивая на грудах развалин, то разбрызгивая грязные лужи; вскоре мы добрались до главной площади.

И здесь огромная толпа, и все та же ярмарка, но больше всего народу собралось у дома, в котором когда-то помещалась мэрия и он чудом остался цел: только кое-где несколько дыр да фасад облупился. Подъехав к нему, рыжий, до сих пор не произнесший ни слова и даже не взглянувший в нашу сторону, показал мне знаком, что нужно сойти. Мы послушались его: за нами сошел и черноволосый, он сказал, чтоб мы подождали, а сам исчез где-то в толпе. Вернулся он через минуту с другим американцем, в офицерском мундире. Этот парень казался настоящим итальянцем: черные волосы, горящие глаза, белые и ровные зубы. Подошел к нам и сразу же объявил:

— Я умею говорить по-итальянски,— и потом продолжал разговаривать с нами на языке, который сам считал итальянским, но это, в лучшем случае, был очень грубый неаполитанский говор, какой в ходу у портовых грузчиков. И все же он нас понимал, и мы его, и тогда я ему сказала:

— Обе мы из Рима и хотим вернуться в Рим. Ты нас должен научить, как попасть в Рим.

Сначала он рассмеялся, показывая свои белоснежные зубы, а потом ответил:

— Знаешь что, тебе лучше всего переодеться солдатом и взобраться на танк, чтоб участвовать в сражении, которое сейчас идет за Рим.

Он меня просто огорошил, и я ему сказала:

— Что, разве вы еще не заняли Рим?

А он:

— Нет, там еще немцы. А если бы и заняли, все равно тебе туда не пробраться, пока не будет приказа. Без приказа никто не сможет попасть в Рим.

Тут я совсем пришла в отчаяние и снова стала кричать:

— Так вот оно ваше освобождение! Чтоб мы с голоду помирали и шлялись бездомные, чтоб нам, как прежде, плохо жилось, а может, еще похуже!

Он пожал плечами и сказал, что тут высшие военные соображения,

а насчет голодной смерти добавил, что у них все заранее предусмотрено: там, куда они пришли, никто не должен умирать с голоду; а чтобы нас убедить в этом, он сейчас даст нам чего-нибудь поесть. Он и на самом деле, все время улыбаясь и выставляя напоказ свои сверкающие зубы, велел нам идти вслед за ним. Мы вошли в тот дом, где раньше была мэрия, а теперь творилось настоящее светопреставление: люди толкали друг друга, кричали и ругались, толпясь в самой глубине белого и пустого зала перед длинным прилавком, за которым стояли какие-то жители из Фонди, с белыми повязками на рукавах, а на прилавке были свалены в кучу банки американских консервов.

Офицер итало-американец подвел нас к прилавку и, пользуясь своей властью, раздобыл для нас немало таких банок. Помню, дал он нам шесть или семь банок мяса с зеленью, две банки рыбных консервов и одну большую круглую банку весом не меньше чем с кило, в ней был сливовый джем. Словом, уложили мы эти консервы в чемодан и с трудом протолкались к выходу. Те двое, которые нас везли в машине, уже куда-то исчезли. Офицер все с той же улыбкой отдал нам честь по-военному, а затем ушел.

Мы принялись без всякой цели толкаться в толпе, так же как и все остальные. Теперь, когда у нас в чемодане были банки с консервами, я чувствовала себя спокойнее: ведь еда — это самое главное, и картина освобожденного Фонди даже стала меня развлекать. Я смогла кое-что заметить и поняла, что положение было не таким, каким мы его себе представляли там, на горе Сант-Эуфемии, когда дожидались прихода союзников. Пока что того пресловутого изобилия, о котором все твердили, не было и в помине. Американцы раздавали сигареты и карамель, все это у них действительно было в избытке. Что ж до остального, то они, видно, были начеку и не слишком разбрасывались. Мне, по правде сказать, поведение этих американцев не очень понравилось. Конечно, они были любезны, этого не отнимешь, и с ними поэтому в любом случае лучше иметь дело, чем с немцами, которых нельзя заподозрить в любезности. Но сама эта американская любезность была бездушной, чужой; словом, американцы обращались с нами, как с детьми, когда они надоедают взрослым и их нужно чем-то задобрить, что они и делали, раздавая нам карамель. Но случалось, что американцы даже о любезности забывали. Чтобы вы получили об этом представление, расскажу вам о том, что сама видела. Для входа в Фонди требовался либо пропуск, либо надо было участвовать в работах, которые итальянцы и американцы уже начали, чтоб как-то разобрать развалины после бомбежек. Мы с Розеттой ненароком очутились в том месте, где на шоссе у заградительного пункта два солдата с сержантом проверяли документы. И вот подходят к этому месту двое итальянцев. По всему видно — господа, хоть одеты они, как и все, в лохмотья. Один из них, совсем седой старик, говорит сержанту:

— Мы инженеры, и союзное командование приказало нам сегодня явиться на работу.

Сержант, молодцеватый парень, без всяких признаков растительности на лице, напоминавшем сжатый кулак, сказал им:

— А где ваши пропуска?

Двое пришедших переглянулись, и старик ответил:

— Нет у нас пропусков... Нам приказано явиться.

Тогда сержант принялся на них грубо орать:

— Чего же вы пришли в такое время? Надо было приходить сегодня в семь утра вместе со всеми рабочими.

— А нам только недавно об этом сообщили, — сказал тот, что помоложе, человек лет под сорок, худой, весьма почтенный, но видно нервный очень: у него был тик, и потому он то и дело дергался и поворачивал голову в сторону, будто шея у него кривая.

— Врете вы, все это ложь.

— Будьте вежливее, — сказал с возмущением тот, что помоложе. — Мы инженеры...

Он хотел еще что-то добавить, но сержант прервал его такими любезными словами:

— Эй ты, дурак, помолчи, не то влеплю тебе пару затрещин, тогда сразу заткнешь глотку.

Как я уже сказала, тот, что помоложе, был человек совсем издерганный, слова эти на него подействовали так, как будто он в самом деле получил пощечину. Он весь побелел, как лист бумаги, и я на мгновение подумала, что он сейчас убьет сержанта. К счастью, вмешался старик, заговорил примирительно, в общем, слово за слово, и их пропустили. Я в тот день немало видела таких случаев. Здесь я вот что еще должна добавить: так почти всегда вели себя те солдаты, которые потом оказывались итало-американцами. Настоящие, то есть англо-американцы, такие светловолосые, высокие и худые, вели себя по-другому. Правда, держались от нас особняком, но вежливо и уважительно. А с этими итало-американцами было чистое наказание, и никогда ты не мог знать заранее, что они преподнесут. Может, они сами, чувствуя, что слишком похожи на итальянцев, хотели убедить себя, что они не такие, как мы, а гораздо лучше нас, и чтобы чем-то выделиться, обращались с нами скверно. А может, просто затаили злобу против Италии, откуда бежали в Америку голые и босые; наверно, их в Америке ни в грош не ставили, и они хоть раз в жизни хотели набить себе цену. Словом, спору нет, они были самыми грубыми или, пожалуй, лучше сказать — наименее любезными. Каждый раз, когда мне о чем-нибудь нужно было просить американцев, я бога молила, чтоб пришлось иметь дело хоть с негром, только не с итальянцем из Америки. Они, кроме всего прочего, уверяли всех, что говорят по-итальянски, а на самом деле все говорили на диалектах Южной Италии, скажем на калабрийском, сицилийском, неаполитанском, и понять их было нелегко. Но стоило с ними познакомиться поближе — и тогда, знаете, видно было, что в общем люди они неплохие, однако первая встреча всегда бывала неприятной.

Но хватит об этом. Мы с Розеттой еще немного побродили между развалин в гуще толпы из итальянцев и солдат, а потом пошли вдоль главной дороги, где по сторонам стояло еще немало уцелевших домов, потому что бомбежка разрушила главным образом городские кварталы. В том месте, где гора под острым углом врезалась в долину, а дорога огибала гору, мы вдруг заметили домик; дверь была открыта, и я сказала Розетте:

— Давай посмотрим, может здесь удастся заночевать.

Мы поднялись по трем ступенькам и вошли в совершенно голую комнату. Видно, стены ее когда-то побелили, теперь же они были обшарпаны хуже, чем в хлеву. Среди пятен от сажи, обвалившейся штукатурки и дыр можно было разглядеть сделанные углем на стенах рисунки — голые женщины, женские лица и всякое другое, о чем и не скажешь: все та же мазня, которую солдаты обычно рисуют на стенах. В углу комнаты была видна куча пепла и обгоревших черных головешек: наверно, здесь разводили костер; стекол в обоих окнах не было, и сохранилась лишь одна ставня, другая, должно быть, пошла на топливо. Словом, я сказала Розетте, что нам на две-три ночи придется устроиться здесь; из окна я заметила в поле, не очень далеко отсюда, стог и решила, что мы сможем принести охапку сена в комнату и приготовить себе какую ни на есть постель. Не было у нас простынь и одеял, но погода теперь уже стояла теплая, да и спать ведь можно одетыми.

Сказано—сделано. Мы немножко поубрались в комнате, кое-как вымели бо́льшую часть грязи, а затем отправились в поле и притащили сена столько, сколько нужно для постели. Затем я сказала Розетте:

— Все же удивительно, что до нас никто не подумал устроиться в этом домике.

Объяснить этот странный случай мы смогли всего через несколько минут, когда вышли, чтоб пройтись по дороге, огибавшей подножие горы. Неподалеку от этого дома была лужайка, вокруг которой росли деревья. И вот мы увидели — на этой лужайке американцы установили три такие огромные пушки, каких мне за всю войну видеть не доводилось. Пушки были направлены в небо; стволы у них, очень широкие у основания, кверху становились тоньше; они были выкрашены в зеленый бутылочный цвет и оказались такими длинными, что сливались с листвой развесистых платанов, под которыми были спрятаны. Стояли они на колесах с гусеницами, у самого основания виднелись щиты с огромным количеством всяких колесиков, кнопок и рычагов: глядя на них, я подумала, как трудно, должно быть, ими управлять. А возле пушек стояли грузовики и бронированные вагоны; как нам объяснили крестьяне, которые разглядывали пушки вместе с нами, в них находились снаряды, они, если судить по пушкам, видно, тоже были очень большие. Неподалеку находились и солдаты, обслуживавшие пушки. Одни валялись на траве, животом кверху, другие уселись на пушечных стволах в одних рубашках; все они были молоды, беспечны и вели себя так, будто это не война, а загородная прогулка, курили, жевали резинку, почитывали свои газетки. Стоявший здесь же рядом крестьянин рассказал нам: солдаты объявили всем живущим поблизости, что если им охота остаться в домах, пусть потом пеняют на себя, потому что немцы, возможно, совершат налет на эти пушки, и тогда могут взорваться боеприпасы и погибнут все, кто окажется в сотне метров от взрыва. Теперь я поняла, отчего, несмотря на нужду в жилье, пустовал наш домик. Я сказала себе: «Что же, видно, попали мы из огня да в полымя. Здесь мы можем взлететь на воздух вместе с этими ребятами».

Но солнце сияло, а солдаты в одних рубашках лениво валялись на траве, повсюду было столько зелени, и воздух в этот прекрасный майский день был таким ласкающим, что мысль о смерти, казалось, и не могла прийти в голову. Я подумала: «Эх, будь что будет, если до сих пор остались живы, не умрем и на сей раз. Останемся в доме».

Розетта, всегда поступавшая, как я хотела, и тут мне сказала, что ей все равно:

— До сих пор Мадонна нас защищала, значит и теперь не забудет.

И мы со спокойной душой продолжали гулять.

А вокруг все было так, будто наступило воскресенье или ярмарка, и люди желали мирно насладиться прекрасным днем праздника. На дороге толпятся крестьяне и солдаты, все курят сигареты, сосут американскую карамель и наслаждаются солнцем и свободой, словно солнце и свобода слились воедино: солнце без свободы не могло ни греть, ни светить, а свобода не могла прийти, покуда стояла зима и солнце скрывалось за тучами. Словом, все было так, будто иначе и быть не могло, казалось — все, что происходило до сих пор, было противно самой природе, и только теперь природа, после долгого ожидания, наконец снова одержала верх.

Мы разговорились с разными людьми, и все рассказывали нам, что американцы раздают продукты, и уже идет слух о том, чтобы восстановить Фонди, причем новый город будет красивее прежнего; все только и твердили — плохие дни миновали, и теперь уже нечего опасаться. Розетта, однако, изводила меня вопросами о Микеле; несмотря на большую радость, в сердце у нее все же осталась эта заноза; я тоже расспрашивала многих,

но никто ничего не знал о его судьбе. Теперь, когда немцы ушли, никто и думать не хотел о чем-нибудь печальном; точь-в-точь как в ту самую минуту, когда, уходя из Сант-Эуфемии, я побоялась пойти проститься с Филиппо оттого, что он был единственным человеком, который не мог радоваться. Люди говорили:

— Да что Филиппо, он, небось, теперь уже хлопочет, черный рынок подготавливает.

О сыне Филиппо никто ничего не мог сказать; все называли его студентом и, насколько я поняла, считали чудаком и бездельником.

В тот день мы съели одну из банок мясных консервов с кусочком хлеба, его дал нам какой-то крестьянин; жара была сильная, делать было нечего, да и устали мы обе смертельно. Поэтому мы с Розеттой отправились в наш домик, закрыли дверь, повалились на сено и уснули. Под вечер нас внезапно разбудил страшный взрыв: стены задрожали, будто были они не из кирпича, а из бумаги. Поначалу я не поняла, откуда этот взрыв, но минут через пять раздался другой, не менее сильный, и тогда мне все стало ясно: американские пушки, те самые, что в пятидесяти шагах от нас, открыли огонь. Хоть мы и поспали несколько часов, но усталость нас еще одолевала такая, что мы продолжали, не двигаясь, лежать в углу комнаты, на сене, прижавшись друг к другу, и, оглушенные стрельбой, даже разговаривать не могли. Пушка продолжала стрелять весь вечер. После первого острого испуга я снова задремала, и звуки выстрелов, несмотря на всю их страшную силу, доносились до меня как бы сквозь сон, странным образом смешиваясь с моими мыслями, которые в свою очередь возникали как будто вслед за выстрелами. Словом, пушка стреляла через равные промежутки, и вскоре я приноровилась к этой равномерности, так что грохот выстрелов перестал меня тревожить. Сперва слышался страшный выстрел, и голос пушки казался глубоким, хриплым, истошным, будто вырывался из самой глубины земли; стены дрожали, и с потолка на нас валились куски известки; затем наступала тишина, но не надолго, и вдруг опять раздавался новый взрыв, и опять дрожали стены и обваливался потолок. Розетта молча прижималась ко мне, а я все думала и не могла перестать думать, хоть и лежала с закрытыми глазами, а голова моя отяжелела от одолевавшего меня сна. Сказать по правде, каждый из этих взрывов наполнял меня радостью, и радость эта с каждым взрывом становилась все сильней.

Думала я о том, что пушки стреляли по гитлеровцам и по фашистам, и тут сама впервые убедилась, до чего ненавидела гитлеровцев и фашистов: взрывы казались мне не взрывами снарядов, а звуками самой природы, раскатами грома или грохотом обвала. Думала я о том, что ведь эти равномерные, упорные, однообразные выстрелы гнали прочь и зиму, и страдания, и опасности, и войну, и нужду, и голод, и все те беды, что гитлеровцы и фашисты валили нам на голову в течение стольких лет. Я думала: «дорогие пушки», «благословенные пушки», «золотые мои пушки», и встречала каждый разрыв снаряда с чувством радости, от которой дрожала всем телом, а каждую минуту затишья чуть не со страхом, что пушки перестанут стрелять.

Закрыв глаза, я в полусне видела перед собой большой зал, тот самый, что не раз попадался мне на газетных снимках, и в зале много красивых колонн и много картин, и там полным-полно фашистов в черных рубашках и гитлеровцев в коричневых, и все они застыли, как раньше писали в газетах, по команде «смирно». А за большим столом Муссолини, широкомордый и толстогубый, глазищи свои вытаращив, стоит с выпяченной грудью, увешанной медалями, и белый султан торчит у него на голове; а рядом с ним другой негодяй и сукин сын, дружок его — Гитлер, с рожей, как у черта, приносящего несчастье, с черными усиками,

наподобие зубной щетки, и глазами, как у тухлой рыбы; лицо у него вытянутое, остроносое, а над самым лбом наглый бандитский чуб. Я видела этот зал таким, каким он не раз попадался мне на снимках, и могла представить себе все до мельчайших подробностей, будто сама там побывала: вот эти двое стоят за столом, а по обе стороны стола фашисты и гитлеровцы; справа фашисты в черном — проклятые, всегда они в черном,— а на черных беретах белый череп со скрещенными костями, а слева — гитлеровцы, таких я видела в Риме, в коричневых рубашках с красной нарукавной повязкой, а на ней этот черный крест, похожий на бегущее на четырех ножках насекомое. Тень от козырьков падает на их жирные лица, животы запрятаны в брюки и туго перетянуты ремнями. Я на них глядела — и не могла наглядеться, будто залюбовалась лицами этих мерзавцев, этих сыновей потаскухи, этих чертей проклятых, затем я внезапно перенеслась мыслью к одной из пушек, стоявших под платанами, рядом с нашим домом,— и тогда перед моими глазами возник солдат, который не стоял навытяжку и не было у него свастики, не было на нем ни черной, ни коричневой рубашки, ни черепа на черной фуражке, ни кинжала за поясом, ни сверкавших глянцем сапог, ни всей той мерзости, которой украшали себя гитлеровцы и фашисты; одет был солдат просто, а день был жаркий, и он закатал рукава рубашки и теперь совсем спокойно, без спешки подымал на руки огромный снаряд и заряжал пушку, а потом двигал рычагами на щите — и пушка вдруг стреляла, задрожав при этом и как бы отскочив назад. Тогда в мой сон врывался настоящий орудийный грохот и стрельба настоящих пушек; а сон мой уже не был сном и становился явью. В своих мыслях я следила за полетом снаряда, когда он со свистом и воем прорезал воздух, и видела, как этот снаряд вдруг врывался в зал, и тогда на воздух взлетали фашисты и нацисты, Гитлер и Муссолини, со своими мертвыми головами, со своими султанами на шляпах, со своими крестами, кинжалами и сапожищами. И этот взрыв наполнял меня глубокой радостью; я понимала, что радость эта нехорошая, ведь она рождена была ненавистью, но я ничего не могла с собой поделать; выходит, я, сама того не зная, всегда ненавидела фашистов и нацистов, и теперь была рада, что пушка стреляла по ним. И так после каждого взрыва я мысленно переносилась из дворцового зала к пушке и затем снова в зал, и снова видела лица Муссолини, Гитлера, лица фашистов и нацистов, и потом снова лицо артиллериста, и каждый раз испытывала все ту же радость и никак не могла ею насытиться.

Потом я слышала много разговоров об освобождении, и поняла, что оно на самом деле пришло: в ту ночь я всем своим существом его ощутила, как чувствует радость человек, который находился в темнице и вдруг снова обрел свободу, или просидел взаперти, и вдруг перед ним открылась дверь. И эта пушка, стрелявшая по гитлеровцам, хоть она и была во всем похожа на те пушки, из которых стреляли сами гитлеровцы,— несла мне освобождение. Она была для меня чем-то обладавшим благословенной силой, которая сильней их проклятой силы, чем-то пугавшим их, после того как они так долго запугивали всех, чем-то убивавшим их, после того как они сами умертвили стольких людей и разрушили столько городов. Пушка эта стреляла по гитлеровцам и фашистам, и каждый ее выстрел был выстрелом по той тюрьме из лжи и страха, какую они столько лет строили. И тюрьма эта, огромная, как небо, теперь рушилась, разваливалась на части под выстрелами пушки, и все могли свободно вздохнуть, даже и сами фашисты и нацисты, которым скоро уже не придется быть ни фашистами, ни нацистами, и они смогут стать такими же людьми, как все мы. Да, вот так я в эту ночь ощутила освобождение, и хоть потом это самое освобождение принесло с собой многие другие

и вовсе не такие прекрасные, а зачастую даже страшные вещи, я до конца жизни буду помнить эту ночь, и эту пушку, и как я по-настоящему почувствовала себя свободной, и какое это было счастье, и как я радовалась даже смерти, которую несла эта пушка, и как в первый и единственный раз во мне заговорила ненависть, и я, вопреки самой себе, могла радоваться гибели других, как радуешься приходу весны, цветам и солнцу.

Так провела я эту ночь, погрузившись в сон, или лучше сказать в дремоту, под звуки страшной пушечной колыбельной, и мне эта колыбельная песня показалась слаще той, какую напевала мать, убаюкивая меня, когда я была ребенком. Дом вздрагивал при каждом взрыве, куски известки валились мне на голову и на тело, сено кололо, и пол под сеном был жесткий, и все же это были, может, самые счастливые часы в моей жизни — сегодня я могу сказать об этом положа руку на сердце. Полузакрыв глаза, я глядела на окна с выбитыми стеклами, и перед моими глазами возникали зеленеющие ветви платанов в ярком свете майского дня. Затем понемногу темнело, листва становилась все мрачней и уже не светилась, как прежде, а пушка продолжала стрелять, и я все крепче прижималась к Розетте, и так была счастлива! До чего ж я ошалела и устала, если, несмотря на эту стрельбу, проспала как камень не меньше часа, и когда снова проснулась, то услышала: пушка продолжает стрелять. И тут мне стало ясно, что пушка не переставала стрелять, пока я спала, и опять я почувствовала себя счастливой. Под конец, уже к ночи, когда в комнате стало почти совсем темно, пушка внезапно умолкла. На смену пришла тишина, после такой пальбы она казалась мертвой, лишь потом я заметила, что эта тишина наполнена обычными звуками жизни: где-то звонил церковный колокол, с улицы доносились голоса прохожих, лаял пес, и слышался рев быка. Мы еще с полчаса пролежали, обняв друг друга в какой-то полудреме, а затем поднялись и вышли. Ночь уже наступила; небо было усеяно звездами, сильный запах скошенной травы разливался в мягком и безветренном воздухе. Со стороны виа Аппиа, проходившей неподалеку, по-прежнему слышался скрежет металла и гул моторов: наступление продолжалось.

Мы съели еще одну банку консервов с кусочком хлеба, и тотчас же после этого снова повалились на сено, и сразу же заснули, прижавшись друг к другу. На этот раз пушка уже не стреляла. Не знаю, сколько мы проспали, может четыре или пять часов, а может и больше. Знаю только, что я внезапно подскочила в испуге и сразу же присела. Вся комната была залита дрожащими лучами очень яркого зеленого света. Все было зеленым: стены, потолок, сено, лицо Розетты, дверь, пол. С каждым мгновением свет становился все сильней, как бывает с болью, когда она с каждой секундой становится все острее, и кажется, что уже сильнее стать не может, до того она остра и невыносима; но затем внезапно свет этот погас, и в темноте я услышала проклятое завывание сирены, которое мне не доводилось слышать после нашего отъезда из Рима. Тогда я поняла, что начался воздушный налет. Я тотчас же крикнула Розетте:

— Скорей бежим из дому,— и в ту же минуту услышала сильные взрывы где-то поблизости от нас, а в промежутках между взрывами раздавался бешеный гул самолетов и сухая стрельба зениток.

Я схватила Розетту за руку и выскочила с ней из дому. Была ночь, но казалось, что на дворе день — таким ярким было красное зарево, отсветы которого озаряли дома, деревья и небо. Потом раздался ужасный взрыв: бомба разорвалась где-то за домом, и воздушная волна, будто дыхание огромного рта, коснулась и меня, сковала мне ноги; мне показалось, что я ранена и, может, даже мертва, а меж тем я бежала, волоча за руку Розетту, через пшеничное поле, пока мы не стали спотыкаться

о камни — и вдруг очутились по колено в воде. Мы попали в ров, полный воды, и холод ее меня немного привел в себе. Я стояла по пояс в воде и прижимала Розетту к груди, а вокруг плясали отблески красного пламени, и в его свете ясно, как днем, были видны разрушенные дома Фонди и все, что от них осталось. А в полях, вокруг нас, вблизи и вдалеке, продолжали громыхать выстрелы. Небо походило на большой букет из маленьких белых облачков — то были разрывы зенитных снарядов. И среди этого светопреставления по-прежнему слышен был хриплый и бешеный рев самолетов, они летали низко над землей, сбрасывая бомбы. Под конец раздался последний взрыв, самый мощный из всех, будто небо стало комнатой и кто-то, уходя, с силой захлопнул дверь; а потом красный свет стал угасать и снова вспыхнул лишь где-то там, на самой линии горизонта, где, должно быть, начался пожар. Вскоре стал стихать и гул самолетов; зенитки сделали еще несколько выстрелов, а затем наступила тишина.

Как только ночь снова стала черной и тихой, а на небе, прямо над нами, снова показались звезды, я сказала Розетте:

— Теперь нам нечего возвращаться в наш домик... Эти сукины дети могут снова начать возню со своими бомбами, и уж тогда нам не сдобровать. Давай останемся здесь, тут нам хоть дом не свалится на голову.

Мы выбрались из воды и кинулись прямо на землю, рядом со рвом. Спать мы не спали, только снова задремали, но уж не так безмятежно и счастливо, как в домике, когда стреляли пушки. Ночь была полна всяких шумов, слышны были далекие крики, вопли, грохот моторов, топот чьих-то ног и какие-то совсем необычные звуки. Ночь была тревожной, и я подумала о том, сколько здесь повсюду убитых и раненых, пострадавших от сброшенных немцами бомб; американцы теперь, видно, бегают по городу, подбирая этих убитых и раненых. Наконец мы заснули, а потом проснулись внезапно и в серой предрассветной дымке смогли все вокруг разглядеть. Лежали мы среди поля; возле моего лица колыхались высокие и желтые колосья, а между ними пробивались красивые красные цветки мака; небо над головой было белое, холодное, и еще сверкали на нем ясные, золотые, утренние звезды. Я взглянула на Розетту, которая продолжала спать, растянувшись рядом со мной, и тут заметила, что ее лицо вымазано черной подсохшей грязью, такими же черными от грязи были ноги чуть не до пояса и юбка. Я тоже была вся в грязи. Все же я чувствовала себя отдохнувшей, ведь, несмотря на все, я только то и делала, что спала со вчерашнего дня и по сию пору. Я сказала Розетте:

— Хочешь, давай пойдем?

Но в ответ она только пробормотала что-то невнятное, повернулась на другой бок и, положив мне голову на колени, обхватила мои бедра руками. Тогда и я снова легла, хоть мне больше спать не хотелось, и я просто лежала с закрытыми глазами среди окружавшего нас моря колосьев и ждала, пока она не проснется.

Розетта, наконец, проснулась, когда уже совсем рассвело. Мы с трудом поднялись с нашего ложа из колосьев и стали вглядываться в ту сторону, где стоял наш домик. Но сколько мы ни смотрели, домика не было видно. Под конец мне все же, хоть и с трудом, удалось разглядеть на самом краю поля небольшую груду развалин, как раз в том месте, где, как я хорошо помнила, стоял дом. Я сказала Розетте:

— Вот видишь, останься мы в доме, нас бы убило.

Она ответила мне спокойно, не двигаясь:

— Мама, может, так было бы лучше.

Я взглянула на нее и увидела отчаяние и еще что-то странное на ее лице. Тогда я мгновенно приняла решение и сказала ей:

— Сегодня же мы любым способом выберемся отсюда.

Она спросила:

— А как?

Я ответила ей:

— Нам нужно уйти, значит мы уйдем.

Тем временем мы, однако, подошли к тому месту, где прежде стоял домик, и увидели, что бомба разорвалась совсем рядом, отбросив домик на дорогу, теперь заваленную почти во всю свою ширину обломками. Бомба вырыла неглубокую, но широкую воронку с неровными краями, заполненную свежей бурой землей вперемешку с травой, вырванной с корнем, а на дне воронки уже появилась лужица желтоватой воды. Итак, мы теперь остались без крова и, что еще хуже, под развалинами были погребены наши чемоданы с тем немногим, что в них еще оставалось. Я вдруг пришла в самое настоящее отчаяние; не зная, как дальше быть, я уселась на развалинах и принялась глядеть прямо перед собой. Дорога, как и за день до этого, кишела солдатами и беженцами, но все проходили мимо, не глядя ни на нас, ни на развалины: дело по нынешним временам обычное, не стоило над этим задумываться. Потом один крестьянин остановился и поздоровался с нами: он был из Фонди, и я познакомилась с ним, когда приходила сюда из Сант-Эуфемии за продуктами. Ночью, сказал он нам, город бомбили немцы, и добавил, что убито полсотни человек, из них тридцать солдат и двадцать итальянцев. Потом он еще рассказал нам случай с одной семьей беженцев, которая, как мы, около года провела в горах, а к приходу союзников спустилась в долину и поселилась в домишке у дороги, совсем близко от нас: бомба угодила прямо в этот домик, и всех поубивало — жену, мужа и четырех детей. Я выслушала его и ничего не сказала в ответ, Розетта тоже промолчала. В иные времена я бы воскликнула: «Как же так? Почему же? Несчастные они. Смотрите, вот судьба какая!»

Но теперь я не нашла в себе сил что-либо сказать. И в самом деле — наши собственные беды делали нас равнодушными к несчастью других. Потом я подумала, что в этом, конечно, одно из самых худших последствий войны: война делает людей бесчувственными, ожесточает сердца, убивает жалость.

Так провели мы это утро, сидя как очумелые на развалинах дома, и даже не могли о чем-либо подумать. Мы были до того ошеломлены, до того огорошены, что даже не в силах были отвечать на вопросы солдат и крестьян, которые, проходя мимо, заговаривали с нами. Вспоминаю, как один американский солдат, увидев Розетту, которая сидела на камнях застыв в оцепенении, остановился, чтоб сказать ей несколько слов. Она не отвечала и только глядела на него; вначале он говорил с ней по-английски, затем по-итальянски, а под конец вытащил из кармана сигарету, ткнул ей в рот и ушел. Розетта так и осталась сидеть; лицо у нее было вымазано черной, уже засохшей грязью, а изо рта торчала, свисая с губы, сигарета; выглядело бы все это смешно, если б не было так страшно.

Наступил полдень, пересилив себя и встряхнувшись, я решила, что нам необходимо что-либо предпринять, хотя бы раздобыть еду, ведь есть все равно нужно. Я сказала Розетте, что мы вернемся в Фонди и попытаемся разыскать того американского офицера, который говорил по-неаполитански и, казалось, отнесся к нам с симпатией. И тогда мы, шагая медленно и нехотя, вернулись в город. Здесь, среди луж и груд щебня, машин и броневиков и американских полицейских на перекрестках, указывавших путь всей этой безвольной и выбитой из колеи толпе, была все та же ярмарка. Мы дошли до площади, и я направилась к зданию мэрии, где, как и вчера, была толкучка и происходила раздача продо-

вольствия. На этот раз, правда, было немного больше порядка: полицейские заставили всех выстроиться в три очереди, каждая вела к американскому солдату, стоявшему за прилавком, где были свалены консервы; а рядом с каждым американцем стоял итальянец с белой повязкой — это были люди, которым мэрия поручила помогать при раздаче продуктов. Среди других людей за прилавком я увидела и того американского офицера, которого искала. Тогда я сказала Розетте, что мы станем в очередь, ведущую к нему, и сможем с ним переговорить. Мы долго ждали, стоя вместе с другими бедняками, пока, наконец, не дошел наш черед. Офицер нас узнал и улыбнулся, снова показав свои ослепительно белые зубы:

— Как дела? Вы еще не уехали в Рим?

Я ответила ему, показывая на свою одежду и на платье Розетты:

— Смотри, как нас отделали.

Он взглянул на нас и сразу понял:

— Ночная бомбежка?

— Да. Мы остались без всего. Бомба попала в домик, где мы жили, и наши чемоданы вместе с консервами, которые ты нам дал, очутились под развалинами.

Он перестал улыбаться. Должно быть, вид Розетты, ее нежное лицо, выпачканное засохшей грязью, согнали улыбку с его лица.

— Продукты я могу вам дать, как и вчера,— сказал он,— и даже кое-что из одежды, но большего, к сожалению, сделать для вас не могу.

— Помоги нам вернуться в Рим,— сказала я,— там у нас дом, вещи и все, что нужно.

Но он, как и вчера, ответил:

— В Рим мы еще сами не добрались. Как же ты сможешь туда попасть?

Я ему ничего не ответила, просто онемела. Он выбрал из кучи несколько банок консервов, дал их нам, а затем приказал одному из этих итальянцев с нарукавной повязкой, чтобы он проводил нас туда, где раздавали одежду. Вдруг, в ту самую минуту, когда мы прощались, чтобы пойти за итальянцем, я, уж сама не знаю почему, сказала:

— У меня родители в деревне, по соседству с Валлекорсом. Вернее, были там, потому что теперь неизвестно, где они. Помоги нам хоть до моей деревни добраться. Там я всех знаю; смогу устроиться, даже если родителей не найду.

Он взглянул на меня и ответил вежливо, но решительно:

— Вам нельзя будет воспользоваться армейским транспортом для поездки. Это запрещено. Только те итальянцы, которые работают для американской армии, могут пользоваться нашим транспортом и то лишь для служебных нужд. Очень жаль, но ничего для вас сделать не смогу.

С этими словами он обернулся к двум другим женщинам, стоявшим позади нас, и тогда я поняла — больше ему нечего нам сказать, и пошла вслед за итальянцем с нарукавной повязкой.

На улице этот итальянец, слышавший наш разговор, сказал мне:

— Как раз вчера двух беженцев довезли до их деревни на военной машине. Но они сумели доказать, что зимой приютили у себя английского пленного. Чтобы их наградить, сделали исключение и доставили их до деревни. Если бы вы обе поступили так же, я думаю, вам удалось бы добраться до Валлекорса.

Вдруг Розетта, молчавшая до сих пор, воскликнула:

— Ты помнишь, мама, тех двух англичан? Мы сможем сказать, что приютили их у себя.

А те англичане, прежде чем уйти, дали мне письмо, написанное на их языке, оба они подписали его, а я положила письмо в мешочек вместе с

деньгами. Денег теперь оставалось мало, но письмо, наверно, еще лежало там. Я позабыла о нем, но, услышав слова Розетты, стала поспешно рыться у себя в карманах и скоро на самом деле его нашла. Оба англичанина просили меня передать это письмо какому-нибудь офицеру, как только подойдут их войска. Вне себя от радости я сказала:

— Ну, значит, мы спасены.

И тут же рассказала итальянцу историю двух англичан: как лишь мы одни пригласили их к себе на Рождество, потому что все другие беженцы боялись им помочь, и как они на следующий день спозаранок ушли, и в то же утро появились немцы, которые их разыскивали. Итальянец сказал:

— Теперь пойдемте со мной, получите одежду, а потом я провожу вас в штаб, и вот увидите: добьетесь всего, чего хотите.

Одним словом, мы перешли с ним в другое здание, где раздавали одежду, и там нам выдали по паре низких мужских ботинок на резиновой подошве, а также зеленые чулки до колен и юбку с курткой того же цвета. Такую одежду носили женщины в их армии, и мы были довольны, когда смогли надеть ее, ведь наши платья уже превратились в лохмотья и все были выпачканы засохшей грязью. Дали нам и кусок мыла, мы воспользовались им, чтобы вымыть лицо и руки; я причесалась, Розетта тоже. Теперь мы выглядели вполне прилично, и итальянец, который нас сюда привел, сказал:

— Ну вот, хорошо, раньше вы смахивали на двух дикарок, а теперь похожи на пристойных женщин. Что ж, пойдемте со мной в штаб.

Штаб помещался в другом здании. Мы поднялись по лестнице, где повсюду стояли военные, они спрашивали у всех приходящих, кто к кому идет, до всего допытывались и все проверяли. Переходя с одного этажа на другой и пробираясь сквозь толпу суетившихся солдат и итальянцев, мы, наконец, поднялись на самый последний этаж. Здесь наш итальянец переговорил с часовым, стоявшим у двери, а затем подошел к нам и сказал:

— Здесь вашим делом очень заинтересовались; примут без всякой задержки. Садитесь на диван и ждите.

Мы прождали недолго. Не прошло и пяти минут, как солдат вернулся и провел нас вслед за собой.

Мы очутились в совсем пустой комнате, здесь стоял только письменный стол, а за ним сидел блондин средних лет с рыжими, подстриженными щеточкой усами. Был он голубоглазый, весь в веснушках, плотного сложения и приветливый. На нем был мундир; чинов я ихних не различаю, но потом узнала, что это был какой-то начальник. Перед письменным столом стояло два стула; когда мы вошли, он очень любезно встал и пригласил нас сесть, а сам уселся на свое место, только когда мы обе сели.

— Не хотите ли курить? — спросил он на хорошем итальянском языке, предложив нам пачку сигарет.

Я отказалась, и тогда он тотчас же начал:

— Мне сказали, что у вас для меня письмо.

Я ответила:

— Вот оно,— и подала ему письмо.

Он взял его, перечитал два-три раза очень внимательно и затем пристально взглянул на меня и серьезно сказал:

— Это очень важное письмо, и вы дали нам ценные сведения. Мы уже давно не имели известий от этих двух военных и очень вам признательны за то, что вы для них сделали. Расскажите мне теперь, как они выглядели?

Я описала их ему, как смогла.

— Один из них блондин, низенький, с острой бородкой, другой — худой и высокий, черноволосый, с голубыми глазами.

— Как они были одеты?

— Кажется, на них были черные брезентовые куртки и брюки навыпуск.

— А на голове?

— Какие-то военные фуражки.

— Оружие с ними было?

— Да, у них были пистолеты. Они мне их показывали.

— А что они собирались делать, когда уходили от вас?

— Они намерены были через горы добраться до линии фронта, перейти его и дойти до Неаполя. Всю зиму они провели в доме у одного крестьянина в Монте делле Фате, а теперь надеялись пройти через линию фронта. Но кажется мне, что им это не удалось, ведь все говорили, что линию фронта не пройти, немецкие патрули так и шныряют повсюду, повсюду пулеметы и пушки.

— Они и на самом деле,— сказал он,— не смогли пройти через линию фронта: так и не добрались до Неаполя. Какого числа побывали англичане у вас?

Я сказала ему, и тогда он через минуту спросил у меня:

— А сколько времени пробыли?

— Только одни сутки; они очень торопились и боялись, как бы их кто-нибудь не выследил. Да и на самом деле, не успели они уйти, сразу нагрянули немцы. А ваши провели с нами Рождество, мы вместе съели курицу и выпили немного вина.

Он улыбнулся и сказал:

— Мы рассчитаемся с вами и за вино и за курицу, но это лишь часть нашего долга перед вами. Теперь скажите мне, что мы можем для вас сделать.

Я ему тогда все выложила начистоту: сказала, что нам нечего есть; что в Фонди нам оставаться невмоготу, жилья у нас нет, а дом, в котором мы остановились, был разрушен во время ночной бомбежки; я сказала ему, что мы хотим отправиться в мою деревню, вблизи Валлекорса, где у меня родители, и мы в любом случае сможем там прожить в моем доме. Он выслушал меня внимательно и сказал:

— То, о чем вы просите, на самом деле запрещено. Но ведь при немцах тоже было запрещено оказывать гостеприимство английским пленным, не так ли?

Тут он улыбнулся, и я улыбнулась вслед за ним. После чего он сразу же продолжал:

— Ну, вот что. Я скажу, что вы поедете с нашим офицером в горы, чтобы собрать сведения об этих наших пропавших военных. Впрочем, такое расследование рано или поздно мы все равно провели бы, правда, не в ваших местах, потому что там они пройти не могли. Значит, офицер сначала довезет вас до Валлекорса, а потом займется расследованием.

Я его поблагодарила, а он ответил:

— Это мы должны вас благодарить, будьте добры, назовите себя.

Я тут же назвалась, и он все записал старательно, а затем встал, распрощался с нами и был до того любезен, что проводил нас до самой двери, где стоял часовой, которому он сказал что-то по-английски. Тогда солдат тоже сразу стал очень любезным и попросил нас следовать за ним.

Он проводил нас в самый конец коридора с голыми белыми стенами и потом ввел нас в пустую, но чистую комнату, где стояли две солдатские койки, и сообщил, что эту ночь мы проведем здесь, а завтра, как приказал майор, поедем в другое место. Он ушел, закрыв за собою дверь, а мы со вздохом облегчения уселись на свои койки. Теперь мы чувствовали себя

совсем по-другому, чем до сих пор. На нас была чистая одежда, мы умылись, у нас были консервы, крыша над головой, две койки и, главное, надежда на лучшие дни. Словом, мы совсем изменились, и этой переменой были обязаны майору и его хорошим словам. Я ведь не раз думала, что с человеком нужно обращаться по-человечески, а не как со скотиной. А что значит обращаться с ним по-человечески? Это значит держать человека в чистоте, в чистом доме, значит показать ему свое дружелюбие, уважение и, главное, не отнимать у него надежду. Если этого не будет, то человеку, который способен на все, ничего не стоит превратиться в животное и вести себя, как скотина, и тогда зачем от него требовать, чтобы он вел себя, как человек, раз уж хотят, чтобы он был скотиной.

Ну что ж, мы обнялись покрепче, и я, поцеловав Розетту, сказала ей:

— Вот увидишь, теперь все наладится, на этот раз по-настоящему. Проживем несколько дней в деревне. Отъедимся там, отдохнем, а потом вернемся в Рим, и все у нас пойдет по-прежнему.

Бедняжка Розетта, она только сказала мне:

— Да, мама,— ну совсем как ягненок, которого ведут на убой, а он того не знает и лижет руку тому, кто тащит его под нож. Да, к несчастью, рука эта была моей, и я не знала, что сама, по своей воле, поведу ее на убой, как вы дальше увидите.

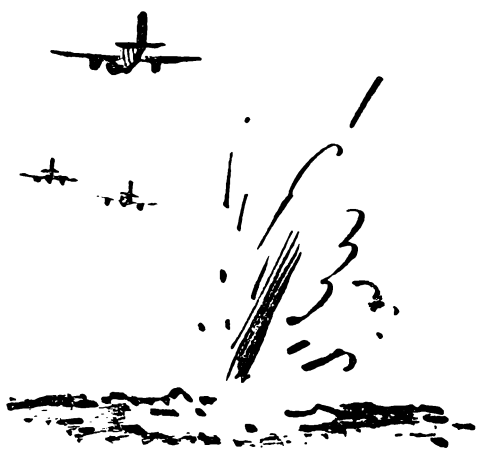
В тот день, пообедав банкой консервов, мы растянулись на койках да так и пролежали в полудреме. У нас не было охоты бродить по улицам Фонди — слишком уж печальна вся эта ярмарочная сутолока, все эти оборванцы и солдаты посреди развалин, которые на каждом шагу напоминали о войне. Ну, а потом усталость у нас еще не прошла, ведь после такого испуга и таких волнений мы ночь провели на открытом воздухе, и кости у нас так и ломило. Мы спали, то и дело просыпаясь, чтобы затем снова задремать. Моя койка стояла у самого окна, ставен не было, и всю комнату заливало голубым светом; то и дело просыпаясь, я замечала, что свет меняет направление и силу по мере того, как полуденное солнце клонится к закату. И тогда я была так же счастлива, как в тот день, когда слушала пальбу пушек: но только теперь я была счастлива за Розетту, спавшую на соседней койке, рядом со мной,— после стольких превратностей судьбы и всяких опасностей она оставалась цела и невредима. Я думала о том, что, несмотря на все, мне удалось благополучно выкарабкаться и, пройдя сквозь эту военную бурю, спастись самой и спасти свою дочь: Розетте было хорошо, мне тоже, и с нами не случилось ничего особенно страшного; скоро мы вернемся в Рим и поселимся в нашей квартирке, я снова открою лавку, и все опять пойдет, как прежде. Даже, пожалуй, лучше, чем прежде, потому что жених Розетты, ведь он, конечно, тоже спасся, вернется из Югославии, и тогда они с Розеттой поженятся. В этой полудреме я с особым удовольствием и глубокой радостью думала о свадьбе Розетты. Представлялось, как она под яркими лучами солнца выходит из портала церкви, вся в белом, в подвенечном уборе, и жених ведет ее под руку, а за ними иду я и все родные и друзья; все счастливые такие, улыбающиеся. Но мне этого было мало, и тогда я мысленно переносилась назад, в самую церковь, чтобы увидеть, как они на коленях стоят перед алтарем, а священник, что их венчал, говорит им в назидание о святых обязанностях, налагаемых браком. Но мне и этого было недостаточно, и тогда я снова переносилась, на этот раз уже в будущее, и видела Розетту вместе с ее первенцем: мы сидим за столом — я, она, ее муж. И вдруг рядом в комнате заплакал ребенок, и тогда Розетта идет за ним и берет его на руки, потом снова садится, расстегивает лифчик и дает ребенку грудь, а тот тянется к ней своим ротиком и обеими ручонками, и она наклоняется над ребенком, чтобы съесть ложку

супу, и теперь за столом нас уже не трое, а четверо — муж Розетты, сама Розетта, малютка и я.

Разглядывая в полусне эту картину, я думала, что уже стала бабушкой, и это меня нисколько не огорчило, ведь я сама больше не хотела любви, и мне хотелось поскорей состариться и прожить долгие годы бабушкой и старой женщиной, рядом с Розеттой и ее детьми. Мечтая обо всем этом, я время от времени поглядывала на Розетту: она лежала на койке рядом со мной, а меня радовало, что она тут же рядышком и, значит, эти мечты, в конце концов, не только мечты — в скором времени, как только вернемся в Рим и снова потечет прежняя жизнь, они станут действительностью.

Настал вечер. Я поднялась и почти в потемках огляделась по сторонам: Розетта еще спала, она сняла с себя юбку и лифчик, и в полутьме я увидела ее голые плечи и руки, белые и крепкие руки молодой здоровой девушки. Во сне она согнула ногу, приподняв сорочку, и подняла колено почти до подбородка, и бедра ее были такие же белые и округлые, как плечи и руки. Я спросила, не хочет ли она поесть, и тогда она тут же, даже не обернувшись, слегка покачала головой в знак отказа. Тогда я спросила у нее, не хочет ли она подняться и выйти, побродить по улицам Фонди; и снова тот же жест, тот же отказ. Тогда я снова повалилась на койку и уж на этот раз заснула по-настоящему; после пережитых волнений мы и в самом деле совсем выдохлись и были без сил, этот наш нескончаемый сон немного напоминал завод давно остановившихся часов — крутишь их, крутишь без конца и все никак завести не можешь, нет у них больше сил двигаться.

(Окончание следует)



«ДЕНЬГИ И ТРУД». *Рис. И. Погожева*

Сибурапа

ДЕНЬГИ И ТРУД

РАССКАЗ

Перевод с таи Л. Моргева

— Поможем! — раздается возглас. И рядом подхватывают:
— Поможем!
— Взяли!
Руки, плечи, спины — все пошло в ход, работа закипела.

Эти слова слышишь здесь, слышишь там. Они раздавались прежде, раздаются теперь. Это — простые слова. Они звучат повсюду. Люди привыкли к ним, и обычно никто не обращает на них внимания и не вникает в их смысл.

Но однажды возник вопрос: неужели эти слова ничего не значат, неужели в них нет глубокого смысла? Вопрос этот возник не у маститых ученых, а у простых, бедных людей. Сама жизнь заронила в них сомнение.

* * *

В небольшой хижине, на полу, покрытом старой циновкой, лежит мужчина средних лет. Он болен. Лицо его мертвенно-бледно, худое тело беспомощно. Лишь по широким плечам видно, что до болезни он вполне мог полагаться на свою силу и делиться ею с другими. И он охотно отдавал ее людям. Но теперь все изменилось: он стал обузой для других. Опираясь дрожащими руками о пол, мужчина медленно приподнимается, берет ложку вареного рису и неторопливо жует. Он съедает всего две-три ложки и горестно покачивает головой. Жена уговаривает его съесть еще немного. Мужчина с трудом проглатывает еще несколько ложек рису и опускается на циновку.

— Похоже, что снадобье лекаря мне не помогло,— говорит он.— Чувствую, силы все больше оставляют меня. Утром сюда заходил Киян; по его словам, ученый доктор, что живет в начале улицы, мог бы вылечить меня от этой проклятой болезни. Нужно сделать несколько уколов. Хорошо бы испробовать это средство, но у нас нет денег. Сходи в зеленый дом, попроси у его хозяина бат* сто в долг.

— Но ведь мы так бедны! Поверит ли он нам? — с сомнением спрашивает женщина.

— Когда-то он несколько раз обращался ко мне за помощью и, верно, не забыл об этом. А теперь мы в нужде. Пойди, попроси... ведь речь идет о жизни...

Речь идет о жизни...

Слова эти взволновали жену больного — Пуй. В ее душе затеплилась надежда.

Уже спустилась ночь, когда она вышла на улицу и направилась к зеленому дому, стоявшему в конце переулка в двух километрах от их

* Денежная единица Таиланда, равная примерно 20 копейкам.

хижины. Подойдя к дому, Пуй увидела, что ворота плотно закрыты на засов.

Приподнявшись на носках и вытянув шею, она долго стояла у высокого забора с колючей проволокой; хотела постучать, но все не решалась. Наконец в доме загорелся огонь, и луч света упал на нее. Послышались торопливые шаги, кто-то остановился за воротами.

— Ты чего здесь шатаешься? — донесся из-за забора недовольный женский голос.

Пуй вздрогнула.

— Я — Пуй, жена Мэна, мы живем в начале переулка. Я пришла на поклон к хозяину дома.

— Хозяин не принимает неизвестных посетителей в такой поздний час,— ответил голос.

— Но Мэн, мой муж, работал у хозяина этого дома.

— Теперь трудно верить людям. Каждый день кого-нибудь грабят или убивают. Хозяин не велит впускать по ночам посторонних.

— Но мой муж очень болен...

— Нас уже не раз обманывали,— прервал голос из-за ворот.— Если тебе что-нибудь надо — приходи днем. Ступай, ступай отсюда.

«Эта женщина права. Теперь действительно трудно верить людям, так часто обманывают!» — думала Пуй, возвращаясь в свою бедную хижину.

Утром Пуй снова отправилась к зеленому дому. На этот раз она беспрепятственно прошла через ворота и, скрестив ноги, уселась возле порога в ожидании хозяина.

Прошло много времени, прежде чем появился плотный мужчина — хозяин дома. При виде посетительницы по лицу его пробежала тень. Он опустился в глубокое мягкое кресло и посмотрел на женщину, та торопливо сообщила ему, кто она и откуда.

— Мой муж уже давно и тяжко болен. Нам нужны деньги на врача, но мы не знаем, к кому обратиться, — заговорила Пуй. — Мэн послал меня поклониться вам и попросить в долг сто бат. Когда он поправится и опять начнет работать, мы соберем эти деньги и вернем вам долг с благодарностью.

Лицо хозяина зеленого дома исказилось, будто кто-то заставил его жевать перец.

— Сто бат — это вовсе не мало,— высокомерно заявил он.— С Мэном я никогда не был знаком, да и вообще, с какой стати стану я раздавать свои деньги?

— Но Мэн сказал, что вы несколько раз обращались к нему за помощью. А теперь мы в нужде. Сделайте милость, помогите нам,— взмолилась Пуй.

— Не знаю, что и делать, — ответил хозяин, разводя руками. —Я в самом деле обращался как-то к Мэну за помощью — он у меня работал. Но труд и деньги — совсем разные вещи. Эка невидаль — труд! Трудиться всякий может. Помочь другому трудом — не велика заслуга! А вот деньги — другое дело. Их добыть не так-то просто. Деньгами все дорожат. Их трудно достать.

— Да, их трудно достать,— словно эхо, откликнулась Пуй; однако, не желая смириться с отказом, она продолжала: — Но ведь мой муж тяжело болен, и я просто не знаю, к кому еще обратиться.

— Сочувствую ему, — сказал хозяин дома и приподнялся в кресле, давая понять, что разговор окончен.— Тебе, пожалуй, стоит зайти к народному представителю *. Я не обязан знать, что надо делать в таких случаях.

* Народный представитель — официальное название члена таиландского парламента, именуемого Палатой народных представителей.

И, уже поднявшись, он добавил:

— Впрочем, подожди немного...

Он вышел из комнаты и вскоре вернулся с бутылкой какой-то жидкости.

— Мэн когда-то помог мне, и я хочу послать ему это лекарство,— сказал он, передавая бутылку Пуй; затем прибавил: — Пусть это исцелит Мэна.

На следующий день весть о том, что Пуй ходила на поклон к хозяину зеленого дома и получила бессердечный отказ, распространилась среди ее соседей. Все допускали, что хозяин зеленого дома мог отказать в помощи, но то, что он оскорбил труд, которым, не задумываясь, пожертвовал для него в свое время их товарищ,— задело их гордость и укрепило в них чувство братства. Они тотчас же начали сбор средств в помощь Мэну и вскоре вручили Пуй нужную сумму.

Доктор лечил больного, и Мэн стал как бы вновь оживать. Он начал поправляться от тяжелой болезни, силы его восстанавливались, и вскоре он окончательно выздоровел.

Как-то вечером в хижине Мэна собралось несколько его приятелей. Они разговаривали, а Мэн внимательно слушал. Речь зашла о труде.

— Хозяин зеленого дома обидел нас. Неужели наш труд действительно ничего не стоит, неужели он не заслуживает никакого уважения? — спросил кто-то.

— Быть может, он прав, и наш труд и впрямь ничего не стоит, — ответил другой. — Разве можно сравнить труд с деньгами? Нельзя! Труд и деньги бесконечно далеки друг от друга, — пояснил он. — Ведь известно, что эти проклятые деньги точно колдовство какое: за деньги все достанешь. У нас есть только труд, и мы хотим лишь одного — быть сытыми, но и это невозможно.

— А каким образом те, у кого есть деньги, стали богатыми? — поинтересовался третий.

— Очень просто: они вкладывают деньги в торговлю, и деньги приносят новые деньги.

— А откуда они берут средства, чтобы вложить их в торговлю?

— Об этом уж спроси у них самих.

— Тут что-то не так. Я хотел бы знать, откуда впервые взялись деньги,— вставил Мэн.

Беседа затянулась. Наконец кто-то спросил:

— Сколько же приходится работать богатым, чтобы иметь денег больше, чем можно истратить? И почему мы должны жить в такой бедности?

— Богатые не утруждают себя, на самом деле не им, а нам приходится работать из последних сил,— ответил один из соседей и, посмотрев на Мэна, спросил: — Это ты сказал, что деньги создают всё?

Взмахом руки Мэн прервал его:

— Нет, я не говорил, что деньги создают всё.

Остальные повернулись к нему, с интересом ожидая, что он скажет дальше.

Медленно, словно взвешивая слова, Мэн продолжал:

— Чьи могучие руки валят деревья в лесу? Кто день и ночь, в жару и в дождь сплавляет плоты по реке? Кто весь день, согнувшись, распиливает бревна на доски, из которых строят дома? Кто, наконец, обхватив руками деревянную чушку, под дружные возгласы вколачивает в землю сваи и походит в такие минуты на брызжущий потом фонтан? Проходит время... вырастает дом, возникает дворец. Но кто построил эти красивые дома и дворцы? Разве не такие же бедняки и обездоленные, как ты? —

спросил Мэн, повернувшись к своему товарищу—плотнику.—Разве деньги создают все это? Нет! Наши умелые руки, наш труд!

Друзья молча слушали Мэна и одобрительно кивали головой. А он продолжал:

— Кто под знойными лучами солнца бредет за упряжкой волов, взрыхляя землю? Кто, стоя по колено в воде, высаживает рис? Проходит немного времени, и по всему полю уже виднеются колоски риса. Им кормится вся страна, а часть риса даже вывозят за границу и обменивают на дорогие вещи, доступные только богачам. Так кто же сеет рис и кормит всех? Кто дает людям жизнь? Это вы, бедные крестьяне! — проговорил Мэн, повернувшись к другому соседу.— Кто решил, что деньги все создают, кто сказал, что богатеи должны властвовать над нами?

Все молчали. Пытливые взоры были устремлены на Мэна.

— Кто, отбивая мотыгой ком за комом, прорывает в земле каналы, из которых люди берут воду и по которым они ездят? Кто носит на своих плечах землю для постройки дорог, по которым бедняки ходят, а богачи катят в свое удовольствие на машинах? — Мэн замолчал, посмотрел на своего соседа и спросил: — Разве это не ты, рабочий, роешь каналы и строишь мосты? — и с гневной усмешкой продолжал: — Так что же создает все — деньги или труд? Прежде я никогда не задумывался над этим. Но услышав презрительные речи хозяина зеленого дома, я взглянул вокруг себя и увидел то, о чем сейчас рассказал.

Еще долго не умолкал этот разговор между простыми людьми. Они и прежде не раз собирались здесь, в жилище Мэна, чтобы за разговором убить время. Но тогда это был ропот бессильных. Теперь же в их голосе появились твердость и уверенность. Они начали постигать: для того чтобы узнать правду, вовсе не обязательно идти на выучку к ученым. Их собственная жизнь будет лучшим учителем, стоит только им пробудиться от спячки и получше разобраться в окружающем.

* * *

Была глухая безлунная ночь. Начавшийся с вечера дождь еще моросил. Все вокруг уже спало крепким сном. Внезапно из глубины переулка вынырнул одинокий автомобиль и, покачиваясь из стороны в сторону, стал медленно пробираться по размытой дождем дороге к шоссе. Как ни старался водитель объезжать частые рытвины, машина все-таки угодила в предательски скрытую водой яму. Он переключил скорость, дал газ, но правое колесо лишь буксовало, разбрызгивая воду, а машина не двигалась вперед. Водитель снова дал газ, и все тщетно: буксовавшее колесо только глубже зарывалось в землю.

Ночь стояла прохладная, но лицо водителя блестело от пота. Он был бледен, в его возбужденных глазах читалось волнение. Руки его бессильно опустились. Он безнадежно вздохнул и простонал:

— О Будда, нет у тебя сострадания к нам.

Это был голос хозяина зеленого дома.

— Но ведь ты никогда не делал ему добра, почему же он должен быть милостив к нам? — донесся из машины едва слышный, слабый женский голос.

— Как это никогда? — поспешно возразил мужчина, словно стараясь, чтобы всемогущий услышал его. — В прошлом месяце я пожертвовал по случаю дня рождения Будды тысячу бат *.

* Считается, что Будда родился в день полной луны мая 543 года. В этот день принято делать подношения и жертвовать деньги на восстановление храмов и изваяний Будды.

— Ведь ты сам говорил, что, жертвуя эти деньги, ты как будто вкладываешь их в собственную торговлю,— возразил голос женщины.— Ты говорил, что жертвуешь тысячу, а получаешь в награду в десять раз больше. Разве Будда принимает такие дары?

Хозяин зеленого дома глубоко вздохнул и промолчал.

Женский голос, доносившийся из машины, был голосом его жены. Она серьезно заболела, и ее нужно было срочно отправить в больницу. Но случилось так, что в ту ночь в доме не оказалось никого из мужчин. Сыновья вместе с шофером отправились в большой машине на прогулку в Бангсон *. Поэтому ему пришлось взять из гаража маленькую машину и самому везти жену к врачу в столь поздний час.

Хозяин зеленого дома обернулся и посмотрел на жену. Она сидела, беспомощно откинувшись назад и склонив голову на плечо служанки, глаза ее были закрыты. В тусклом свете лампочки виднелось бледное, покрытое холодным потом лицо ее мужа, поклоняющегося деньгам, как богу. А теперь, в несчастье, когда деньги были бессильны, он взывал о помощи к Добродетели, перед которой никогда не преклонялся и о которой никогда не вспоминал с тех пор, как возвысился над людьми.

— Мани, я схожу с ума! — пожаловался он служанке.— Нам не выбраться из этой ямы без помощи нескольких мужчин. А в доме у нас никого нет.

Острая молния прорезала небо, на мгновение озарив все вокруг. Послышались глухие раскаты грома. Больная женщина испуганно вскрикнула. Хозяин зеленого дома перегнулся через спинку сиденья и, не находя слов, обнял ее за плечи, чтобы хоть как-нибудь успокоить ее.

Больная прошептала:

— Будда, ты гневаешься на нас?

Когда молния вновь озарила все вокруг, Мани выглянула через приоткрытое стекло в дверце машины, и в ее глазах вспыхнула искорка надежды. Как только умолкли раскаты грома, она сказала:

— Где-то здесь должна быть хижина Мэна. Пойду разбужу его и попрошу помочь вытащить машину. Хорошо?

— Мэн! — воскликнул хозяин зеленого дома так громко, что его жена вздрогнула и приоткрыла глаза. — Тот самый Мэн, который когда-то работал у меня. Скорее беги, разыщи его. Он непременно поможет нам выбраться из этой ямы. Спеши! Время не ждет!

Мани осторожно уложила свою госпожу на сиденье и, освещая себе путь фонариком, направилась к едва видневшейся в темноте хижине.

Прошло немало времени, прежде чем вдали вновь вспыхнул свет фонарика. Длинный узкий луч пробежал по земляной насыпи, разделяющей рисовые поля, и упал на машину. Огонек приближался. Теперь хозяин зеленого дома уже мог различить двигавшуюся по насыпи крепкую мужскую фигуру. Он вынул платок, отер пот с лица, потом как-то несмело и растерянно посмотрел на жену—она лежала на сиденье, склонив голову.

Когда Мэн и служанка перепрыгнули через придорожную канаву, хозяин зеленого дома распахнул дверцу и высунулся из машины. Порыв ветра ударил ему в лицо, и оно мгновенно покрылось каплями дождя. В обычное время он не стал бы подвергать себя такому испытанию. Но теперь...

— Мэн, это ты! — воскликнул он.

Мэн остановился в двух локтях ** от машины. Он был обернут в саронг ***, голова его была повязана полотенцем. Покрытые каплями дож-

---

* Курортное место на побережье Сиамского залива.

** Мера длины, примерно 45 см.

*** Кусок ткани, который обертывают вокруг талии; его носят женщины вместо юбки; реже — мужчины.

дя мускулы его мощных плеч и рук поблескивали. Взгляд был сосредоточен.

— Мне очень нужна помощь,— заикаясь, проговорил хозяин зеленого дома.— Видишь ли, машина попала в яму, чего я только ни делал, а она ни с места. Надо, чтобы кто-нибудь подтолкнул ее сзади, тогда она стронется. Помоги мне, Мэн.

Мэн сурово посмотрел на богача:

— Мы ведь никогда не были знакомы друг с другом, с какой стати я стану отдавать тебе свой труд?

Хозяин зеленого дома вздрогнул от неожиданности, но сдержался и продолжал:

— Я готов заплатить сколько угодно.

— Но ведь труд ничего не стоит, не так ли? Его очень легко найти. Так поищите его в другом месте,— сказал Мэн с достоинством и повернулся, собираясь уйти.

Богач растерянно заморгал глазами и в отчаянии закричал:

— Мэн, не уходи, слышишь, не уходи! Моя жена тяжело больна, я везу ее к врачу, если мы опоздаем, она может погибнуть. Мэн, помоги же. Я, кажется, сойду с ума!

И хозяин зеленого дома выскочил из машины. Мэн пристально смотрел на него.

— Но ведь труд ничего не стоит. Вот деньги — это другое дело! Попробуйте же вытащить машину вашими деньгами, быть может, они помогут вам выбраться из ямы.

Сказав это, Мэн повернулся и быстро пошел к насыпи. Хозяин зеленого дома поспешил за ним. Когда Мэн дошел до насыпи, богач догнал его и, ухватившись за саронг, стал снова умолять о помощи. Но Мэн отстранил его руку, и, лишенный опоры, тот неуклюже опрокинулся на залитое водой поле. Мэн хотел было идти дальше, но в это время из машины донесся дрожащий и слабый женский голос:

— Посочувствуйте тяжело больной женщине. Вспомните о Добродетели, проявите сострадание!

Мэн замер на месте. Жалобный стон женщины острой болью отозвался в его сердце. Переступив с ноги на ногу, он тряхнул головой, заскрипел зубами и, повернувшись к поднявшемуся с земли хозяину зеленого дома, произнес:

— Мое сердце еще не окаменело, как твое. Жди, я сейчас вернусь.

Мэн быстро зашагал по насыпи, а богач вернулся на дорогу. Подойдя к машине, он устало облокотился о крыло и стал жадно вглядываться в темное поле, не обращая внимания на дождь. Вскоре в хижине засветился огонек, и богач различил двигавшиеся в ней тени. Его глаза засияли надеждой. Теперь он смотрел на хижину как на обитель богов. Через некоторое время на насыпи появились люди.

Мэн вернулся с двумя товарищами, неся с собою лом и несколько досок. Богач смотрел на Мэна как на божество. Выражение лица у Мэна было по-прежнему строгим, он даже не взглянул на хозяина зеленого дома и не проронил ни единого слова.

Мэн тотчас же принялся за дело; окопав землю вокруг осевшего колеса, он подсунул под него лом и надавил своими могучими руками. Колесо приподнялось — друзья Мэна ловко подложили под него доску. Мэн разогнулся, отер с лица капли пота, смешавшиеся с дождем, бросил лом на землю и предложил молчаливо стоявшему рядом богачу сесть в машину и завести мотор.

Хозяин зеленого дома покорно влез в машину и нажал на стартер. Мэн пригнулся и, ухватившись за облепленную грязью подножку, стал приподнимать машину, его товарищи толкали автомобиль сзади.

— Взяли! — крикнул Мэн.

— Взяли! — отозвались его друзья.

Водитель дал газ, и дружно подталкиваемая машина выбралась из ямы.

Богач остановил машину, открыл дверцу и, высунувшись наружу, проговорил:

— Спасибо, Мэн! Если мы успеем к врачу и жизнь моей жены будет спасена, то это лишь благодаря вашей помощи.

— Когда я умирал, ты не пришел мне на помощь, — произнес Мэн в ответ.

— Мы только твердим о Будде, но никогда не бываем так близки к Всемогущему, как вы — бедняки, — донесся из машины слабый женский голос.

Мотор загудел. Машина с больной женщиной выехала на шоссе.

Мэн подобрал лом, положил его на плечо и вместе с товарищами зашагал под дождем к невидимой в темноте хижине.

Т. Трифонова

Литература и действительность

(По поводу одного литературного обзора)

Мопассан сказал о Белинском: «Этот человек оказывал решающее влияние на литературное движение России, и его авторитет был значительнее и выше, чем какого-либо другого критика, когда-либо и где-либо». С тех пор как в ноябре 1880 года эти слова были напечатаны в «Голуа», появилось много критиков во многих странах. И все же слова Мопассана сохраняют силу: вряд ли можно назвать другого литератора, обладавшего такой же широтой взгляда на литературу, таким умением извлечь из массы имен и названий именно те, которым суждена не сенсационная известность шумной и цветистой однодневки-бестселлера, а длительная и прочная слава подлинного большого искусства; таким умением уловить тенденции, иной раз на первый взгляд незаметные, но содержащие в себе признаки будущего развития или упадка; таким умением сопоставлять творения литературы не по внешнему сходству или поверхностному различию, а по их глубокой идейно-эстетической сущности... А без этих трудных умений можно ли охватить всю широту литературного процесса и создать обзор, выходящий за пределы простого перечня книг, вышедших из-под типографского пресса?

Но даже Белинский, проявивший в своих удивительных ежегодных «Взглядах на русскую литературу» такую глубину предвидения будущего развития родного искусства, такую прозорливость в оценке не только зрелых талантов, но и первых попыток еще никому не ведомых литераторов,— даже Белинский, немало писавший о произведениях зарубежных авторов, не отважился написать «Взгляда на мировую литературу».

Не потому, конечно, что Белинскому не видны были связи между литературами разных стран, а потому, что охватить все богатство и многообразие литературы мира было не по силам одному человеку. И такие эрудиты, как Сент-Бёв или Брюнетьер, как Брандес или Ипполит Тэн, как Плеханов или Луначарский, не решались предпринять той обширной работы, за которую в 1957 году смело взялись анонимные авторы специального выпуска литературного приложения к лондонской газете «Таймс». Это обозрение, занимающее около тридцати полос убористого текста, состоит из 27 статей о литературах Советского Союза и Южной Африки, Китая и Соединенных Штатов, Норвегии и Латинской Америки, Канады и Индии, Австрии и Новой Зеландии, Италии и Японии, Польши и Австралии, Восточной и Западной Германии, Франции и Испании, Венгрии и Турции, Голландии и Португалии, Дании и Шотландии, Уэльса и Северной и Южной Ирландии.

Может быть, даже не стоило бы подробно останавливаться на этом сочинении, если бы в нем не отразились некоторые весьма распространенные в буржуазной печати тенденции, к тому же весьма тщательно задрапированные пышными словами и замаскированные красивыми декларациями, которые, пожалуй, могут обмануть иных доверчивых читателей.

Но не будем забегать вперед. Обратимся к уяснению той задачи, которую авторы перед собой поставили. Ибо не только о художнике следует судить, как говорил Пушкин, «по законам, им самим себе поставленным». О критическом труде также невозможно составить верного представления, если не уяснить себе его цели, не определить принципов, которыми руководствовался его автор.

Специальный выпуск литературного приложения к газете «Таймс» имеет очень четкое заглавие. Он называется «Чувство направленности» и снабжен длинным, обстоятельным подзаголовком: «Анализ выраженных средствами современной литературы усилий писателей сохранить или восстановить связи с повседневными реальностями жизни»*.

Из этого явствует, что авторы стремились рассмотреть связи литературы с действительностью, стремились определить, каким «чувством направленности» обладают писатели мира, то есть как они понимают

* A sense of direction. Being an examination of the efforts of writers to keep or regain contact with the everyday realities of life in terms of modern literature. The Times Literary Supplement. Friday. August 16, 1957.

(и не только понимают, но и практически выражают средствами художественной литературы) смысл и цель своего творчества.

Обоснованию этой задачи посвящено введение, в котором декларируются весьма серьезные и благородные мысли.

В самом деле, что можно возразить против намерения авторов «рассмотреть, насколько писатели мира предпочитают ограничивать свое искусство областью воображения, или они пришли к убеждению, что лишенное какой-либо общественной цели искусство превращается в роскошь — в нечто, без чего можно обойтись,— и перестает быть той необходимостью, какой оно обычно считалось»?

Автор введения справедливо полагает, что хотя идея «направленной литературы» (определяемой в Англии термином «committed», а во Франции словом «engagée») особенно ясно определилась тогда, когда оформилась «новая наука — социология», но «от жизненных общественных проблем не были оторваны ни «Дон-Кихот», ни «Том Джонс», ни «Персидские письма», ни «Путешествия Гулливера», ни романы братьев Гонкур». Он подчеркивает, что в последней четверти XIX века понятие «направленной» литературы стало вполне отчетливым и что провозглашенный «литературными мандаринами» уход от жизни был по преимуществу теоретическим, ибо в действительности «и Малларме был влюблен и Генри Джеймс платил налоги»... Все это выражено не без изящества, но с той едва уловимой ироничностью, которая настораживает и вызывает настоятельную потребность поставить точки над «и».

Уточняя, можно было бы сказать, что провозглашенный декадентами («литературными мандаринами») уход от жизни не был таким уж «теоретическим», но имел вполне реальный общественный смысл, выражал стремление увести искусство от жизни, в которой все более и более обострялись социальные противоречия. Можно было бы добавить, что определенность понятия «направленной литературы» связана с открытыми Марксом объективными законами классовой борьбы и классовости искусства, а также с обострением этой борьбы в эпоху империализма, особенности которой были так глубоко исследованы Лениным. Можно было бы добавить, что в XX веке понимание общественной направленности обогатилось ленинской теорией партийности познания и партийности искусства, а связи искусства с действительностью отнюдь не исчерпываются вполне земными эмоциями влюбленного Малларме или прозаическим положением Генри Джеймса как налогоплательщика...

Но высказывая эти существенные добавления, мы не склонны упрекать автора за недостаточную четкость его определений. Нас интересует не столько точность формулировок, сколько суть дела. По сути же дела во введении сказано много верного. Так, например, автор прав, утверждая, что еще недавно «было очень модным, почти доказательством «умственного благородства» притворяться вполне свободными от всех земных дел до тех пор, пока столкновение социальных интересов, порожденных Русской революцией, не разделило писателей мира на две главные категории: тех, кто старается видеть окружающий мир как можно меньше, и тех, кто стремится изменить развитие мира своим искусством». Здесь автор вплотную подходит к тому единственно верному критерию, которым определяется прогрессивность или реакционность искусства. И хотя он прямо не говорит об этом, его оценка оторванного от жизни искусства отчетливо звучит в той иронии, с которой он характеризует «очень молодых или нарочито старящихся писателей, считавших искусство самодовлеющим», или говорит о литературах, которые, подобно младенцам, «лежали, в сущности, на сгибе локтя у общества — декоративные, ни с чем не связанные, безобидные», в те времена, когда «структура общества была достаточно крепкой, чтобы поддержать их». Перед нами возникает картина того буржуазного общества, которое действительно было еще недавно достаточно крепким, чтобы поддерживать искусство, способное хорошо обслуживать правящие классы. Но при этом мы, конечно, не забываем, что и по сей день правящие классы готовы поддержать и поддерживают художников, чье искусство притупляет общественное сознание классов угнетенных...

Справедливо замечая, что «как только отбрасываются теории «чистого» искусства, все творчество становится заинтересованным, направленным к какой-то вне его лежащей цели», автор введения пишет: «Трудность состоит в том, чтобы писатель понял, как связать свое чувство цели с чувством формы. Другими словами, дело сводится к ответу на вопрос: заинтересовано в чем?»

Нетрудно заметить, что здесь спутано два вопроса: первый — о сочетании высокой общественной направленности с художественными поисками, с работой над формой (проблема, представляющая большой самостоятельный интерес и имеющая огромное значение для плодотворного развития прогрессивного искусства) и второй — об общественном самоопределении писателя (проблема, решение которой обуславливает направленность художника). По-видимому, автор отдает себе отчет в значении этой, второй, решающей проблемы, хотя и тут избегает точных определений и ограничивается такой характеристикой современной литературной борьбы:

«Не случайно большая часть споров последних тридцати лет кажется почти нелепой, как только испаряется полемический жар: настоящий конфликт — это конфликт между двумя непримиримыми взглядами на место человека в мире, и если писатель не определил сторону, на которую он встанет, — он может посвятить свое время развитию искусства сонета и публиковать результаты для частного удовлетворения своих друзей».

Автор, как видно, не склонен видеть, что литературные споры как прошедших тридцати лет, так и сегодняшнего дня только на первый взгляд кажутся нелепыми: в конечном счете в них выражается именно положение писателя одной из борющихся сторон.

Однако какова же точка зрения самого автора введения? Или он считает, что критик не обязан, в отличие от художника, определить свое отношение к «двум непримиримым взглядам»? Или критику не так же важно, как художнику, иметь свое мнение по поводу «места человека в мире»?

К сожалению, введение не дает ответа на этот вопрос, и его автор внезапно переходит к другой важной проблеме — к проблеме воздействия литературы на читателей.

Автор (или, может быть, авторы?) введения пишет, что «громкие заявления о направленности уже никого не убеждают. Важна верность книги определенной точке зрения. Время, когда идеальным героем романа был хороший стахановец или сверхдобродетельный священник, прошло». Что и говорить, декларации никогда не могли и не могут заменить образов, и плохо нарисованный священник оставлял равнодушным самых горячих приверженцев религии, подобно тому, как схематичная фигура стахановца никогда не могла удовлетворить советского читателя. Это — вопрос о качестве, о мастерстве, о таланте, о том, чтобы искусство было искусством, а не его суррогатом.

Итак, нам достаточно ясны мысли автора введения. Он считает активную общественную направленность неотъемлемой чертой искусства, он хочет, чтобы искусство активно воздействовало на читателей, он недвусмысленно иронизирует по поводу декоративного и «безобидного» искусства, паразитирующего «на сгибе локтя», и требует, чтобы каждый писатель определил свое отношение к «месту человека в мире». Все это было бы хорошо, если бы не было так уклончиво выражено.

Но вдруг автору введения изменяет та уклончивость и ироническая неопределенность, за которой трудно было разглядеть его политические позиции; ему изменяет изящная поза легкомысленного собеседника, невзначай роняющего верные, но ни к чему не обязывающие фразы. Словно другой человек (а может быть, и действительно другой человек?) взял в руки перо и дописал заключительный абзац введения: «Социалистический реализм, гуманизм (как бы ни определять это трудное слово), любой «изм» исчезнет без следа, как только мы согласимся, что искусство чтения и письма — это два аспекта более важного искусства интеллектуального общения».

Но позвольте, скажет читатель, почему же интеллектуальное общение здесь противопоставлено не только социалистическому реализму, но даже гуманизму в самой его общей и неопределенной форме? Почему в результате интеллектуального общения гуманизм должен быть позабыт наряду с прочими «измами»? И о каких это любых «измах» идет речь? Уж не об империализме ли, не о капитализме ли?

Увы! Авторы следующих глав не имеют ни малейшего намерения посягать на империализм, в условиях которого, как известно, интеллектуальное общение сильно затрудняется гонкой вооружений и холодной войной. Они далеки от мысли стать на сторону тех писателей, которые определили свою позицию как позицию борьбы за демократию, против капитализма, за национальное освобождение, против колониализма. Но вместе с тем они всячески избегают четких политических формулировок и лишь иногда проговариваются о своих политических симпатиях. Им хочется занять место если не очень комфортабельное, то во всяком случае приличествующее «независимой» позиции газеты «Таймс»: мы, мол, люди объективные, мы всем спорам и разногласиям внимаем равнодушно, готовые поддержать любую «направленную литературу», куда бы она ни была направлена.

Но сидение между двух стульев никогда не бывает устойчивым: уж такова жизнь! И тот, кто занимает эту шаткую позицию, неминуемо стремясь к равновесию, перемещается на один из стульев.

Так случилось и с авторами обзора: после заявлений (которые, по их собственному признанию, «никого не убеждают»), переходя к литературным фактам, они внезапно утратили столь изящно провозглашенную объективность и обнаружили свои истинные взгляды.

Но задержимся еще, не будем делать поспешных выводов. Обратимся хотя бы к обзору литературы Соединенных Штатов, к главе, названной «Американский путь».

Она начинается с утверждения, что Америка — это не «кровная родина» американцев, так как население ее очень смешанное по национальному составу. Из этого следует не слишком ясная мысль, что направленность американской литературы состоит лишь в том, чтобы постоянно «...открывать нечто из американской сущности, американского образа жизни, того уклончивого состояния ума, которое делает каждого американца — американцем, делает каждого американца равным, какую бы он одежду ни носил и какую бы работу ни выполнял...» Таким образом, задача писателей сводится, по-видимому, к единогласному изображению всеобщего равенства и благополучия.

В странном противоречии с этой литературно-политической идиллией находится рассказ о судьбе Артура Миллера, который «отказывается выдать имена коммунистов» и до сих пор подвергается преследованиям за «неуважение к Конгрессу». Стало быть, имеется борьба? И борьба к тому же политическая?

Авторы описывают различные тематические аспекты американских книг: тут и «повседневная жизнь», и жизнь «служащих контор и учреждений», и «мир наркома-

нов, подонков, спекулянтов», и, «может быть, несколько подчеркнутое внимание к сексуальному». Оказывается, именно изображение всего этого и выражает ту самую «связь литературы с реальностями жизни», которую обозреватели хотели отыскать.

С ироническим высокомерием авторы сравнивают писателей английских, которые «обычно имеют хотя бы среднее образование» и «взгляды средних классов», с писателями американскими, которые «то ли благодаря более универсальной системе образования или менее определенной общественной структуре вырастают из всех областей жизни... с ранчо Техаса, с улиц Нью-Йорка, с берегов Калифорнии, из прерий Небраски». Несомненно, что демократическое происхождение и тем более демократические связи некоторых американских писателей — явление в высшей степени интересное, заслуживающее внимательного анализа. Но оно привлекло внимание авторов обзора лишь в той мере, в какой позволило им упрекнуть американских писателей в необразованности и сделать более чем странное заключение: «Результат очевиден английскому наблюдателю. Немые, косноязычные, примитивные — те, кого мы по своей старомодной европейской привычке назвали бы представителями низших классов,— почти всегда являются наиболее сильными характерами американской литературы». Итак — внимание к простым людям объясняется отнюдь не тем, как писатели определили свое понимание «места человека в мире», а исключительно... антиинтеллектуальностью американских писателей! «Мистер Хемингуэй,— читаем в обзоре,— создал культ грубого, почти косноязычного героя, такого как Гарри Морган из «Иметь и не иметь» или более поздний Старик. Именно в самых примитивных своих персонажах мистер Фолкнер находит наиболее позитивную приверженность к жизни».

Авторы не только не попытались обнаружить глубокий философский подтекст и смысл творчества Хемингуэя, но даже и словом не обмолвились о своеобразии его таланта, об особенностях его стиля! Невольно думаешь, что разговор о склонности к примитиву следовало бы переадресовать: ни Хемингуэй, ни Фолкнер, ни бегло упомянутый Стейнбек, ни вовсе не упомянутый Колдуэлл тут право же ни при чем!

Еще более затуманивая вопрос о «направленности» американской литературы, авторы далее рассказывают о группе поэтов, чье творчество «направлено только на собственные переживания». Не будем придираться, не будем утверждать, что подобную «направленность» вернее было бы назвать уходом от «реальностей повседневной жизни». Посмотрим, каковы же эти чисто личные переживания. Автор обзора приводит примеры горьких, безнадежных стихов, сравнивая написавших их поэтов с героями фильма «Бунтовщик без цели»: «как подростки из этого фильма, как один из грубых клоунов с разбитым сердцем в груди, они (поэты.— *Т. Т.*) воют, воют, воют. Против чего?» Действительно, против чего же направлены те печальные слова, которые высказаны одним из поэтов, процитированных в обзоре: «интимная лирика — это призыв от пленника к пленнику из одиночных камер, в которых они обречены на пожизненное заключение»? Этот крик авторы обзора явственно слышат, они даже говорят, что «этот крик может превратиться в «вопль», как назвал свою тоненькую книжку стихов один из поэтов; «Может быть, стихи эти незначительны, но они подлинны, они такие же американские, как суперрынок или супербольшая дорога».

Такие стихи, конечно, отражают какую-то часть американской действительности, но не следует ли из этого, что нарисованная в обзоре «американская сущность» вовсе не так благополучна. Может быть, и «вопли пленников», и увлечение сексуальными проблемами, и наркоманы, и спекулянты, и утонченная «университетская поэзия», и протест Артура Миллера против охоты за ведьмами, и стремление некоторых писателей отразить жизнь «низших классов» — это выражение социальных противоречий в стране, где не все так уж равны, как это хотелось бы изобразить автору? Да ведь и в самой художественной ткани произведений можно было бы прочитать свидетельства этого неравенства! И может быть, Старик Хемингуэя с его трагической судьбой менее примитивен, чем та путешественница, которая беспечно любовалась скелетом акулы? И разве не имело бы смысла вспомнить, как непримиримо Хемингуэй выступал против фашизма?

Но авторы обзора не стремятся к глубине анализа ни тогда, когда они говорят об Америке, ни тогда, когда они обращают свои взоры на восток, например к Индии.

Перед нами многообещающее заглавие: «Литературная революция в Индии». Если глава о Соединенных Штатах была написана с тенденцией представить и жизнь и литературу в оптимистических тонах, лишь иногда нарушаемых воплями и криками, вызванными, как мы слышим, исключительно «личными переживаниями» поэтов и ничем не связанными с социальными противоречиями, то перспективы литературного развития Индии изображены красками более чем мрачными.

Говоря о том, что индийские писатели обратились к живому разговорному языку народа, до сих пор прозябавшего в неграмотности и нищете, автор этой статьи пишет: «даже напряжение всех их ресурсов не могло поднять эти языки до выражения сложных современных событий и воззрений. Может быть, они когда-нибудь разовьют эту способность. Но пока это проникновение народного языка не только парализовало возможность изображения тонких нюансов и точной выразительности; оно бессознательным, но смертельным образом повлияло на способность писателей анализи-

ровать и проникать в сложные переживания и ситуации. Ужасная бедность научной прозы — литературной и философской — в современных индийских литературах несомненно связана с этим процессом».

Слов нет, процесс национального освобождения — это процесс нелегкий. И развитие национальной культуры, становящейся общенародным достоянием, а не привилегией верхнего, очень тонкого слоя интеллигенции, имевшей доступ к культуре колонизаторов, это процесс длительный и сложный, требующий огромных усилий тех передовых людей, которые стоят во главе национально-освободительного движения.

Развитие национальной культуры в стране, в которой, как в Индии, существует множество народностей и ряд разобщенных между собой языков, — тем более трудно Но каковы бы ни были трудности и издержки, это процесс отнюдь не «смертельный» и не «ужасный» («appalling»), а в высокой степени прогрессивный. Говорить о бедности научной прозы можно, лишь отбросив не только творения, написанные на национальных языках, но и такие известные сочинения, как работы Джавахарлала Неру, как капитальный труд «История индийской философии» и ряд других. Русскому читателю эти труды широко известны, так же как и проникновенные и своеобразные произведения Тагора и многих других индийских художников слова; и мы можем с полным основанием протестовать против того «смертельного» приговора, который вынесен в обзоре национальной литературе, сбросившей колониальное иго.

Как это ни странно, но автор утверждает, что в наиболее благополучном положении находится индийская поэзия, и лишь потому, что «лирика — это наибольшее приближение к чистому искусству». Автор введения уверял сторонников «чистой» поэзии, что их опыты по «совершенствованию сонета» могут доставить удовольствие лишь узкому кругу друзей, а автор «индийской» главы с похвалой отзывается о поэзии как искусстве, наименее связанном с жизнью!

Однако с Индией в обзоре обошлись все же несколько деликатней, чем с Китаем. «Функция китайского писателя может быть определена очень просто»,— читаем в обзоре. Литература «отражает борьбу и достижения китайского народа в социалистической переделке своей страны, тем самым поднимая культурный уровень народа и поддерживая его усилия». А по мнению автора, эта «задача писателя не слишком трудна...»

Куда девался высказанный во введении тезис, что сочетание мысли о цели с мыслью о форме — одна из важнейших творческих проблем? Куда девалась и сама направленность литературы? Нет, социалистическая направленность китайской литературы решительно не нравится обозревателям, и они изощряются в нарочито упрощенном пересказе сюжетов, даже не называя авторов произведений и недвусмысленно давая понять, будто вся современная китайская литература состоит из штампов и схем. Зато о Ху Фыне в обзоре говорится с явной симпатией, хотя никакого представления ни о его деятельности, ни о той справедливой критике, которой он был подвергнут, читатели не получают. Постоянно уклоняясь от вопросов литературы, авторы не скупятся на кавычки, в которые со злобной иронией они заключают такие слова, как социалистические преобразования, борьба за свободу, реализм, энтузиазм... Даже трудовые песни, получившие широкую популярность на великих китайских социалистических стройках, обозреватели берут под сомнение, выдвигая хорошо известную обветшалую легенду о «принудительном труде».

Как мы видели, авторы прямо не возражают против независимости Индии: они только сокрушаются по поводу «смертельного» действия этой независимости на индийскую литературу! Они прямо не возражают и против социалистического преобразования экономики Китая; они только сокрушаются о том, что литература активно поддерживает эти преобразования!

Но ведь и индийская, и китайская литературы несомненно связаны с «реальностями жизни», которые вы, уважаемые обозреватели, так хотели обнаружить. Они имеют ясно осознанную общественную цель и не ограничиваются совершенствованием сонета. Почему же это вам так явно не по душе?

Все дело, конечно, в том, что составителей обзора отнюдь не всякая направленность литературы устраивает, отнюдь не всякая связь с реальностями жизни радует. Никакими декларациями они не могут скрыть своей неприязни ко всему, что связано с социалистическим лагерем или с борьбой против колониализма.

Это особенно ясно видно, когда авторы обращаются к литературам европейских стран.

О да! Они спокойно и сочувственно говорят об Италии, называя ее крупнейших писателей, они упоминают литературные журналы и выступающих в них критиков, «иногда обобщающих, а иногда и направляющих литературное движение», они верно характеризуют и ту пассивность, за которой укрылись в годы фашизма многие писатели, и ту активность, которую они проявляют в настоящее время. Читая эту главу, хотя и не слишком серьезно анализирующую то интереснейшее явление демократического и глубокогуманистического искусства, которое получило название неореализма, чувствуешь, что ее писал человек и знающий, и любящий итальянскую литературу, сочувствующий тому, что творчество итальянских писателей «свидетельствует о более широких взглядах и большей заинтересованности в политических и социальных проблемах наших дней».

О да! Там, где речь идет об испанской и португальской литературах, испытывающих на себе тяжелый гнет полицейских преследований, у авторов обзора находятся теплые слова о поэтах, которым, в отличие

от прозаиков и драматургов, «позволено писать почти все, что они хотят», по той простой причине, что «полиция стихов не читает» и «издаются они тиражами, не превышающими 400, а то и 100 экземпляров».

Вряд ли английский читатель благожелательно воспринял бы статью, в которой не было бы выражено возмущение по поводу фашистских зверств в оккупированных Гитлером странах Европы: и авторы обзора, говоря о литературе Голландии, с должным уважением упоминают о том, что многие голландские писатели воевали против гитлеровских захватчиков и что в Голландии вышло немало книг, рисующих фашистский режим, — в том числе волнующий дневник замученной фашистами еврейской девочки Анны Франк. В этой главе снова дает себя чувствовать другой почерк — почерк человека, с уважением пишущего о демократических традициях Мультатули и Генриэтты Роланд Гольст и о том, что в годы фашизма «писатели поняли значение своей творческой деятельности для сохранения европейской культуры. Значение их работы шло дальше, чем удовлетворение чисто эстетических потребностей и выражение личности. Художник сознавал, что его труд становился подвигом, оружием, выбором. И хотел ли он того или нет, он оказывался вместе с демократическими политиками, в одном ряду с борцами за свободу». Это — совсем иная и притом вполне ясная позиция. И она подкрепляется тем, что, упоминая недостатки пьесы Морица Деккера, посвященной вопросам использования атомной энергии, автор этой главы с явным сочувствием говорит о том, как отчетливо звучит в пьесе главная мысль: сила атома не должна быть направлена на уничтожение людей!

Увы! Это — единственное упоминание о проблемах, так или иначе связанных с борьбой за мир.

Но, может быть, о мире ни слова не сказано в литературе всех 27 стран, о которых идет речь в обзоре? Может быть, ни один из писателей не направил свое творчество на служение делу мира? Или, может быть, направленность против империализма, против войны, за мир и дружбу между народами — это не та направленность, которая устраивает авторов? К сожалению, именно это последнее предположение полностью и подтверждается.

О литературе демократической Германии авторы сочли нужным рассказать, но совсем в иных тонах, чем в главе о Западной Германии. Когда речь идет о ницшеанцах и католиках, о лютеранах и «дилемме вины», короче — о писателях республики Аденауэра, недостатки забываются и сочувствие высказывается безоговорочно. Зато глава о литераторах ГДР выдержана в тонах сугубо осуждающих.

«Восточная Германия — это ярлык, обозначение, которое вызывает споры на территории между железным занавесом и линией Одер — Нейсе»,— так откровенно начинается глава. Далее идут довольно грубые замечания по поводу тесных связей ГДР с Советским Союзом. Но эти дружеские связи, право же, настолько крепки и так полно выражают непреклонную волю двух народов рука об руку бороться за коммунизм, что намеки и колкости выглядят просто смешными! Затем обозреватели неожиданно становятся на точку зрения «немцев, живущих на юге и на западе», для которых, оказывается, ГДР — «это центральная Германия: они все в сердцах реваншисты, и Восток для них означает территории, захваченные Польшей и Россией».

Нуждается ли в пояснениях столь откровенная «направленность»: тут уж речь идет не о литературе, а о самом существовании демократической Германии, о ее суверенных правах, а заодно и о правах Польши и Советского Союза на свои нынешние границы!

Но сделав этот политический выпад, авторы спешат укрыться под маской беспристрастности и свидетельствуют, что «немецкая интеллигенция была свободна выбирать Запад или Восток» и что «восточногерманские писатели — это восточногерманские писатели потому, что они предпочитают социализм капитализму».

Давно бы так! — едва не воскликнули мы, прочитав это справедливое признание. Однако дальнейшее изложение показывает, что и здесь беспристрастность была лишь ширмой, за которой до времени готовилась очередная вражеская вылазка. И вылазка не простая, а хитроумная, рассчитанная на читателей не слишком искушенных и слишком доверчивых. Но как же все-таки доказать, что, избрав (свободно избрав!) именно Восток, а не Запад, социализм, а не капитализм, эти писатели сделали непоправимую ошибку? Доказать, разумеется, нельзя. Но провозгласить можно, и даже легко. Стоит только заявить, не утруждая себя примерами и анализом, что ни Зегерс, ни Бредель и вообще никто из современных писателей ГДР «не написал таких произведений, как прежде», и добавить свое личное «впечатление, что они (немецкие писатели) больше не верят в то, о чем пишут».

Избрав оружие клеветы, бездоказательно обвинив современных немецких писателей в лживости, авторы обзора в заключение выступают с длинной тирадой по поводу... искренности. Да, да, читатель! И не какой-либо другой, а именно пресловутой померанцевской искренности, за которой трудно было разглядеть подлинную направленность художника! Не подумайте, что имя В. Померанцева (интересного не столько как автора путаной статьи, сколько как автора двух книг — «Дочь букиниста» и недавно вышедшей «Зрелость пришла») мы здесь помянули всуе: авторы обзора на него ссылаются, им клянутся, провозглашая интуитивность высшим и единственным принципом творчества, и даже прямо говорят, что для расцвета интуитивного творчества необходимы «определенные политические изменения». О характере этих, столь вожделенных, политических изменений нетрудно догадаться, особенно прочитав те

страницы, которые посвящены Польше и Венгрии.

С каким восторгом говорят авторы этих страниц о трагических венгерских событиях, как они радуются тому, что некоторые венгерские писатели оказались в стане врагов социализма! Как рады они тому, что из некоторых произведений венгерских писателей «публика вычитала гораздо больше, чем простые протесты против бюрократических методов»! Как они ликуют по поводу того, что справедливая критика недостатков была использована врагами: «к ним (критикам недостатков. — *Т. Т.*) скоро присоединились некоммунисты и, разумеется, хорошо известные противники строя»...

Обозреватели и не пытаются скрыть, что венгерские события очень быстро приняли характер контрреволюционный: именно это их больше всего и радует! Они не пытаются замаскировать свою радость и по поводу того, что венгерским контрреволюционным эмигрантам удается до сих пор издавать в Мюнхене и Лондоне две антисоциалистические газетки, распространяющие клевету на демократическую Венгрию.

Утопающий хватается за соломинку! Цена эмигрантских листков и журнальчиков хорошо известна (как много таких листков и журнальчиков выпускали в свое время русские белогвардейцы и в Париже, и в Лондоне, и на Дальнем Востоке!). Цена таких листков известна и автору статьи о Венгрии, который меланхолически пишет: «Эти два издания борются упорно и делают все возможное: но эмигрантская газета может только поддерживать традицию и сохранять светильник зажженным. Только дома настоящий огонь, со всем его теплом и светом, может гореть или быть погашенным».

Что верно, то верно! Но все дело в том, что «дома», в Венгрии, чадный факел контрреволюции действительно погашен, что светильник социализма разгорается все ярче и ярче, что социалистические преобразования, освобожденные от бюрократических извращений и ошибок, завоевывают все более и более широкую поддержку народных масс. И повернуть Венгрию на путь реставрации капитализма так же невозможно, как парализовать социалистическое развитие Польши.

А именно в главе о польской литературе не менее ярко, чем в главе о Венгрии, выявились истинные взгляды и обнаружилась истинная «направленность» вдохновителей обзора. Здесь, после лицемерных разглагольствований о традициях Мицкевича и о вековой борьбе польского народа за свое национальное освобождение, мы находим странную фразу: «польская литература стала почти непереводимой, настолько она была ограничена своей приверженностью идее освобождения». Бросив, таким образом, не очень вразумительный упрек польской литературе, действительно вслед за Мицкевичем горячо ратовавшей за независимость родного народа и пользовавшейся заслуженной любовью передовых людей России и всего мира, автор статьи о Польше говорит о том, что период свободы (имеется в виду буржуазная Польша) был очень кратким, а за ним последовала сначала фашистская оккупация, а затем — социализм. У автора хватает наглости (мы смело употребляем это слово и не считаем нужным извиняться за резкость) говорить, что установление социалистических порядков... это «замена высшего строя низшим».

Рисуя этот «низший» духовный и интеллектуальный строй, пришедший на смену «благословенному» буржуазному строю, автор все же не может не признать, что именно в эти годы в Польше увеличилось издание книг. Тиражи, по словам обозревателей, поднялись с двух до тридцати и пятидесяти тысяч, причем некоторые издания расходятся мгновенно. Но как объяснить этот несомненный духовный и интеллектуальный рост? И снова в ход идут хитроумные комбинации. Оказывается, не демократический строй, а пережитая война «породила читателей» и читать они стали не потому, что культурно росли, а для того, чтобы... «забыть реальность»! И широкое распространение книг связано, оказывается, не с тем, что выросли социалистические государственные издательства, озабоченные пропагандой книги в массах, а с тем, что книга... уводит от жизни.

Характеризуя те сдвиги, которые произошли в Польше после VIII пленума ПОРП, и старательно обходя значение XX съезда КПСС для устранения многих недостатков в жизни Польши, автор статьи усиленно рекламирует ту часть польской прессы, в которой сильней всего сказались ревизионистские и буржуазные концепции, особенно журнал «По просту».

Автор статьи явно не рассчитывал на бесславный конец столь полюбившегося ему журнала. В деятельности этого органа, а также в некоторых статьях, появившихся в других изданиях, он пытался усмотреть победу тех «обнадеживающих» тенденций, которые он именует «символом полного контакта с Западом» (очевидно, с буржуазным Западом).

Насколько необоснованными были эти надежды, показала сама жизнь: в Польше и в польской печати все сильнее звучат трезвые голоса людей, понимающих, что исправление ошибок означает укрепление социалистической системы и торжество коммунистических идей, а отнюдь не отказ от всего завоеванного народно-демократической Польшей и отнюдь не ревизию марксистско-ленинских принципов.

Как мы видели, приметы «холодной войны» против лагеря социализма явственно выступают почти на каждой странице, несмотря на весь словесный орнамент, которым авторы пытаются их замаскировать. Особенно стараются они навести туман в той главе, которая посвящена «первым шагам к новой русской литературе».

Авторы пишут, что, начиная с Белинского, русские писатели считали: «Искусство без идеи, как человек без души: это труп»,

и как будто соглашаются с этой мыслью. Именно в этой связи они не без высокомерия пишут: «Большинство западных дискуссий покажутся советским писателям никчемными и будут непонятны советским читателям»... «Мысль о том, что искусство направлению, принимается как аксиома». Но если так, то разве не развивает советская литература на новом историческом этапе прогрессивные традиции литературы прошлого, считавшей, что искусство без идеи — мертво.

Как и следовало ожидать, разговор о советской литературе вертится вокруг двух пунктов, уже достаточно примелькавшихся каждому, кто следит за «исследованиями» иных заокеанских «специалистов по советской литературе» и за статьями некоторых венгерских и польских критиков: во-первых, вокруг «сталинизма», якобы парализовавшего развитие литературы и приведшего литературу в состояние упадка, и, во-вторых, вокруг двадцатых годов, когда будто бы литература достигла наивысшего расцвета.

Но вот что любопытно: даже авторам этой тенденциозной главы не без сожаления приходится признать, что сорок лет советского строя «превратили Россию в современную индустриальную державу» и что культ личности И. В. Сталина не парализовал ее развития. Им приходится признать, что советские люди гордятся успехами своей страны и что наша критика культа личности ничего общего не имеет с «сожалением о дореволюционном порядке». Они вынуждены нехотя признать, что критика культа личности ведется в нашей стране с целью восстановить ленинские, коммунистические принципы на тех участках, где они были нарушены. Но признав это, авторы тут же пишут, что в Польше и Венгрии критика последствий культа личности часто исходит из совершенно других задач: там (по их признанию) «литературно-политические мнения в значительной степени формируются людьми довоенного поколения, тоскующими о дореволюционном образе жизни и дореволюционных критериях и ценностях».

Остается поблагодарить авторов этой главы. Вот уж поистине «во многоглаголании несть спасения»! Все шло гладко, так старательно доказывалась «революционность» венгерских писателей, выступавших в поддержку контрреволюции, приветствовались высказывания журнала «По просту» как архиреволюционные — и вдруг неосторожная фраза выдала обозревателей с головой: они нечаянно признались, что ревизионизм коренится в тоске о «дореволюционных порядках, критериях и ценностях» — иными словами, имеет вполне определенную контрреволюционную подоплеку и направлен на реставрацию капитализма. Что и требовалось доказать!

Но все это относится больше к политике, чем к литературе. Что же касается литературы, то здесь мы встречаем знакомые восторги по поводу «райского» периода двадцатых годов, когда, дескать, все со всеми спорили, никто ни с кем не соглашался и при этом царил трогательный мир. Напрасные старания! В двадцатых годах в нашей стране и в нашей литературе кипела борьба гораздо более непримиримая и острая, чем во все последующие годы, и политика Коммунистической партии одерживала одну победу за другой. В этой борьбе не было места компромиссам, и тот самый Луначарский, которого авторы упоминают как участника многочисленных диспутов, выступал отнюдь не как вегетарианец: его речи были страстной защитой марксистских принципов искусства. «...мы находимся в сфере идейной борьбы, — писал он в своих «Тезисах о задачах марксистской критики». — Отказаться от характера именно *борьбы* в деле нынешней литературы и ее оценки ни один последовательный и честный коммунист не может» («Новый мир», июнь 1928 г.). «Художественность произведения не должна скрывать от нас политических тенденций,— говорил он в другом выступлении.— ...эпоха декаданса, эпоха глубокой реакции, дает очень ядовитые и опасные для нашего читателя произведения. Вырождающийся класс, предчувствующий свою неизбежную гибель, впадает в мистику, болезненную фантастику, пытается скрыть свои враждебные большинству общества тенденции и свою безыдейность за блестящей, утонченной или экзотически грубой формой... Поэтому очень немногое из нынешней художественной продукции западноевропейской буржуазии может быть нами использовано...» («Литературная газета», 28 октября 1929 г.).

Не упоминая о том, какие именно принципы отстаивали спорящие стороны, авторы обзора, по вполне понятным причинам, обходят молчанием и результаты споров. А ведь результаты были вполне определенные: всякие течения и группы модернистского и декадентского толка, всякие интуитивистские, идеалистические и формалистические взгляды на творчество, всякая проповедь аполитичности искусства были опровергнуты, потеряли почву не только в теории, но прежде всего в самой практике советского искусства и литературы. И вполне естественно прекратились споры по вопросам, которые перестали вызывать разногласия...

Кстати заметим, что творческая практика писателей почти не привлекает автора этой главы. Из всей советской прозы, появившейся до 1956 года, он упоминает лишь Шолохова (относя его творчество, как это сделал в свое время Ян Котт, к двадцатым годам, хотя, как известно, и «Поднятая целина» и основная работа над «Тихим Доном» относятся к тридцатым годам) да еще Эренбурга и Шагинян. Об этих двух писателях автор говорит в тонах явного осуждения, утверждая, что они «деградировали» по причине своей приверженности к «сталинизму».

Оставим без внимания такую оценку двух крупных советских писателей: нам по-

нятно, по какой причине послевоенная публицистика Эренбурга, равно как его романы «Падение Парижа», «Буря» и «Девятый вал», вскрывающие гнилостные процессы, происходящие в буржуазном обществе, и прямо обличающие поджигателей войны и их пособников, могут вызвать раздражение автора статьи. Но странно, что он пытается очернить всю советскую литературу, пользуясь высказываниями именно этих, «деградировавших» писателей! Странно, что он цепляется за отдельные фразы Эренбурга и Шагинян, взятые из кратких некрологов, написанных этими писателями для сборника, посвященного памяти Сейфуллиной. Дело в том, что, отмечая характернейшую черту Лидии Сейфуллиной — ее прямоту и правдивость, — оба писателя упоминают о существовании людей бесчестных и двуличных, особенно отвратительных в искусстве, призванном правдиво и глубоко отражать жизнь народа. Из этих упоминаний автор статьи о советской литературе пытается извлечь свидетельство того, будто вся наша литература лжива и фальшива и все писатели — приспособленцы... В том числе — Эренбург и Шагинян! Как говорится — их же добром, да им же челом. И дело доходит до того, что Эренбурга объявляют... прототипом художника Пухова из «Оттепели»!

Что касается произведений, подвергавшихся критике за последний год, — романа Дудинцева, рассказов Жданова и Яшина, то они в обзоре бегло упомянуты и оценены, как явления художественно слабые. К более сильным автор относит «Поиски и надежды» В. Каверина и «Битву в пути» Г. Николаевой.

Эти романы упомянуты с целью создать у читателя впечатление, что тенденция к одностороннему изображению отрицательных явлений советской действительности, так полюбившаяся антисоветской прессе, имеет будто бы глубокие корни.

Можно спорить об отдельных недостатках и достоинствах романов Каверина и Николаевой — и такие споры ведутся в нашей печати. Можно соглашаться или не соглашаться с теми или иными решениями проблем, поставленных в этих романах. Но не заметить той твердой уверенности в торжестве советских принципов, которой проникнут дневник Тани Власенковой, разумеется, невозможно. И тем более невозможно не заметить, как широко показан у Николаевой подлинно партийный коллектив, торжествующий над карьеристами и равнодушными людьми, вроде Вальгана и Бликина. Если идейная неясность и художественные просчеты некоторых писателей дали антисоветской прессе некоторую возможность использовать их произведения для превратного изображения нашей страны как страны, где новаторы страдают в одиночестве и не имеют шансов осуществить свои изобретения, а деревня прозябает во мраке и не в состоянии поднять свою экономику; если недостатки этих произведений до некоторой степени позволяли (и то при помощи целой цепи натяжек и «домыслов») строить мрачные, хотя и шаткие выводы и вымыслы о нашей жизни, то уж ни творческий коллектив советских ученых, работающих бок о бок с Таней Власенковой, ни заводской коллектив, в котором находит поддержку Бахирев, не дают никаких материалов для подобных извращенных картин.

Стоит упомянуть, что в список «деградировавших» писателей зачислен еще и Николай Тихонов. Почему? Критиковать поэта за стихи Пакистанского цикла, за стихи о Варшавском конгрессе, за его деятельность как председателя Советского комитета сторонников мира, за внесенный им на утверждение сессии Верховного Совета Закон о защите мира было бы очень неловко, тем более на страницах приложения к «независимой» газете «Таймс», которую читают англичане. Ведь дети Лондона и Ковентри, уже теперь ставшие взрослыми, в свое время со страхом смотрели на небо, ожидая увидеть в нем смертоносные фашистские самолеты, подобно той девочке, которая, у Тихонова, просит свою мать уехать «туда, где неба нету»... Так лучше не критиковать, а просто бросить тень на поэта, чье имя читатель может часто встретить в документах Всемирного Совета Мира...

Но пора кончать! Мы и так уже уделили слишком много места и внимания этому анонимному сочинению. Мы не хотели бездоказательно обвинять авторов в том, что они преднамеренно обедняют и искажают прогрессивную литературу мира и ставят свой обзор на службу сторонников не только холодной, но и горячей войны. Мы старались с возможной полнотой познакомить наших читателей с той системой фактов и измышлений, передержек и недомолвок, показной объективности и плохо скрытой клеветы, которые содержатся на этих тридцати полосах убористого текста, перемежающегося со страницами, на которых рекламируются книги о добродетельных миссионерах, замученных туземцами, о новейших богословских учениях, о колониальных похождениях различных генералов и капитанов, а также об увлекательных любовных историях...

Реальности современной жизни! Если бы авторы хотели говорить о них! Если бы они действительно искали живых контактов литературы с жизнью и могли заметить то единственное направление, на которое в наши дни чутко поворачиваются стрелки всех общественных компасов!

Мир разделен на два лагеря — и не только писатели, но и государства, и правительства различаются по тому, как они понимают и решают вопрос о человеческом счастье и человеческом труде миллионов людей, для которых необходимо главное — мир.

И говорить сегодня о литературе мира, обходя этот главный и решающий вопрос, — это значит ничего не сказать о действительной направленности литературы.

Илья Фрадкин

Вольфганг Борхерт и „поколение вернувшихся"

Кому довелось быть в Германии в 1945—1946 гг., после того как Советская Армия победоносно осуществила свою великую миссию, тот навсегда сохранит в своей памяти зрелище, которое разыгрывалось в то время на улицах всех немецких городов и сел, — возвращение немецких солдат с несправедливой и проигранной войны.

Не таким представлялось им возвращение, когда они уезжали на фронт, и не то обещали им фашистские крикуны, провожая их в поход. Но летом 1945 года в Германии не воздвигались триумфальные арки и не играли оркестры, бургомистры не произносили приветственных речей и девушки не дарили цветов своим нордическим героям. С полей бесславных сражений, из лагерей военнопленных и госпиталей тянулись на голодную и разрушенную родину бесконечные вереницы оборванных, грязных и увечных солдат.

Это была жалкая картина физического убожества и морального опустошения. Миллионы навсегда остались в безымянных могилах в степях под Сталинградом и подмосковных лесах, в песках Северной Африки и предгорьях Карпат, а те, которым посчастливилось вернуться, несли на себе тяжкий груз перенесенных страданий, обманутых надежд и разбитой веры. Не было ни обещанной победы, ни благодарности отечества и у многих ни крова — он был разрушен бомбами, ни семьи — она погибла под развалинами, ни обеспеченных источников существования. В наследство солдатам достались лишь ответственность за преступления гитлеровской клики и ненависть народов Европы.

На родину возвращались люди очень разные, но как бы проштемпелеванные печатью насильственной фашистско-милитаристской унификации. В этом потоке зелено-серых шинелей трудно было угадать будущих представителей различных профессий, политических партий, религиозных воззрений. И были в этом потоке также и еще безвестные и не опознанные своим народом, еще не свершившие свою историческую миссию будущие писатели, те, кому суждено было через несколько лет рассказать людям о судьбе своего поколения, о трагедии молодых немцев, детство которых было отравлено фашизмом и юность погублена на преступной войне, сознание которых было тяжело травмировано двенадцатью черными годами германской истории.

I

В начале мая 1945 года, пройдя пешком сотни километров мимо дымящихся руин немецких городов и сел, из американского плена вернулся к себе домой в Гамбург двадцатичетырехлетний солдат Вольфганг Борхерт, ставший впоследствии широко известным в качестве родоначальника целого направления в западногерманской литературе, главы того поколения писателей, которое в ФРГ часто называют «поколением вернувшихся».

Вольфганг Борхерт родился в Гамбурге 20 мая 1921 года. В нем рано пробудилось творческое призвание, но гитлеровская солдатчина грубо растоптала мечты и интересы талантливого юноши. Казарменная муштра, Восточный фронт, тяжелое ранение под Смоленском, осложненное болезнями... Еще раньше, в мае—июне 1941 года, военная цензура перехватила письма Борхерта, содержавшие антифашистские высказывания. Он был арестован в госпитале и переведен в тюрьму в Нюрнберг. Приговоренный трибуналом к смертной казни, он проводит шесть мучительных недель в одиночной камере в ожидании смерти, а затем, помилованный по прихоти начальства, снова прибывает на Восточный фронт, где он в составе штрафного батальона должен кровью искупить свою «вину».

Ранение и болезни разрушили организм Борхерта. Врачи признают его негодным к строевой службе, и уже принято решение о переводе его актером во фронтовой гастрольный театр. Но накануне перевода на Борхерта поступает донос: один из его «товарищей» сообщает о его крамольных шутках и анекдотах, свидетельствующих о неуважении к фюреру и Третьей империи.

Снова арест и девятимесячное заключение в Моабитской тюрьме в Берлине. Весной 1945 года Борхерт в числе последних резервов Гитлера был направлен солдатом на Западный фронт и вскоре попал в плен. Он вернулся в отчий дом, уже отмеченный печатью неисцелимой болезни. Фашизм и война убили этого юношу, хотя его физическая агония продолжалась еще два с половиной года. Он умер 20 ноября 1947 года в Базеле.

В течение этих двух с половиной лет Борхерт писал наперегонки со смертью. Писал как одержимый, с фанатической страстью превозмогая голод, жестокого спутника первых послевоенных лет, холод нетопленных комнат и мучительные страдания от болезни, диагноз которой так и остался неустановленным и которая иногда на недели приковывала его к больничной койке. Он писал, как бы выполняя обет, данный миллионам погибших ровесников, миллионам калек и одиноких, бездомных бродяг, вернувшихся к остывшим очагам, разрушенным домам, могилам близких людей. Он писал от имени поколения, физически истребленного и морально искалеченного войной, от его имени он предъявлял неоплатный счет военным преступникам.

Основное произведение Борхерта — драма «За дверью». Ее подзаголовок гласил: «Пьеса, которую ни один театр не пожелает поставить и никакая публика не захочет смотреть». В этих словах было заключено много правды: нацисты не желали видеть на сцене развенчание своих преступных идеалов; развращенные фашизмом обыватели оберегали свой душевный комфорт, боялись и избегали суровых истин, способных потревожить их дремлющую совесть; многие молодые люди, годами лишенные всех радостей юности, жадно и неразборчиво стремились наверстать упущенное, с головой погружались в мутный поток спекуляции, разврата и проституции и не желали ни вспоминать, ни думать о кошмаре недавнего прошлого.

Но эта горькая правда была все же неполной правдой: гражданская совесть немецкого народа не заглохла, и она требовала честного расчета с прошлым. Для пьесы Борхерта нашлись и театры, и публика. 13 февраля 1947 года прошла ее радиопостановка, вызвавшая поток взволнованных писем и откликов. Но до театральной премьеры Борхерт не дожил. Она состоялась в Гамбурге 21 ноября 1947 года, на следующий день после смерти автора, и прошла с огромным успехом; за ней последовали постановки почти во всех театрах Германии, переводы на иностранные языки, посмертная слава.

Пьеса Борхерта была криком души, криком отчаяния и возмущения. Он обратился к теме мучительно-актуальной, вобравшей в себя судьбы миллионов немцев, — к теме возвращения. Из серо-зеленой массы возвращающихся он выбрал одного, некоего унтер-офицера Бекмана, «одного из тех, которые приходят домой и в то же время не приходят домой, ибо для них больше нет дома. Их «дом» — там, на улице, перед закрытой дверью. Их Германия — на улице, в ночи, под дождем». Бекман тысячу дней мерз на Восточном фронте, получил тяжелое ранение, мыкался в плену, и вот он снова на родине — «призрак, пришедший с войны и временно приспособленный к миру». Он подобен огородному пугалу в своей рваной шинели, дырявых сапогах и нелепых очках от противогаза. Самодовольные и практичные люди заняты кругом своим устройством в новой, послевоенной жизни, и никому нет дела до Бекмана, он вызывает лишь чувства недоумения и раздражения, его жалобы воспринимаются в лучшем случае как неумные и неуместные шутки.

Бекман приходит на родину, где его никто не ждет. Жена, давно забыв о нем, живет с другим, ребенок погребен под развалинами дома. Бекман мерзнет и голодает. Ему снится, что он пытается покончить с собой, утопившись в Эльбе, но его попытка заканчивается конфузом: река не принимает его, она возвращает его снова к суровым испытаниям жизни. И вот начинается нисхождение Бекмана по кругам послевоенного западногерманского ада.

Перед Бекманом вспыхивает мгновенный проблеск счастья. Он находит себе временный кров у приютившей его женщины, но при этом чувствует себя преступником, совершающим по отношению к ее мужу, своему неведомому фронтовому товарищу, такое же предательство, какое было совершено по отношению к нему самому. Возвратившийся муж оказывается инвалидом, потерявшим на фронте ногу при исполнении бессмысленного приказа унтер-офицера Бекмана. Укоры совести изгоняют Бекмана из его тихой обители, и он снова — на улице, перед закрытой дверью.

Он идет к своему бывшему полковнику, одному из мясников великой бойни, виновнику смерти двух тысяч солдат, что не мешает ему ныне есть с аппетитом и спать спокойно, без страшных сновидений. Этот сытый и самодовольный казарменный философ чувствует себя превосходно, и он с недоумением смотрит на внезапно возникшего перед ним истерзанного ночными кошмарами Бекмана. Он силится понять, что скрывается за страстной и сбивчивой речью Бекмана. Душевное расстройство? Хмель? Крамольный, несолдатский образ мыслей? Да нет — видимо, этот оборванец просто лицедействует; он — весельчак-малый, шутник, решивший распотешить своего бывшего начальника... Давясь от смеха, полковник советует Бекману испытать свой комический талант на сцене.

Бекман предстает перед директором кабаре, «который хотел бы быть храбрым, но все же в конце концов предпочитает быть трусом». Несмотря на свою богемную браваду, тот покорно служит вкусам мещанской публики. Его пугает трагическое звучание исполняемой Бекманом песенки, и он отказывает ему в дебюте. «...В общем это вполне сносно, но это еще не искусст-

во. Бекман: Не искусство? Не искусство? Но это ведь правда! Директор: Пусть правда! Искусство ведь не имеет ничего общего с правдой... На правде далеко не уедешь... Кому сейчас охота слушать правду?»

Получив отказ у директора кабаре, Бекман вспоминает о последнем прибежище — доме своих родителей. Но на пороге с детства знакомой квартиры его встречает чужая женщина, некая фрау Крамер... Из ее равнодушных уст Бекман узнает, что его родители покончили с собой, отравившись газом: «...Ну и дураки,— говорил мой старик,—нам бы этого газа на месяц хватило— пищу варить...» На этом круг замыкается; Бекману снова снятся холодные воды Эльбы, и перед ним проходят его вольные и невольные убийцы — полковник, директор кабаре, фрау Крамер. Криком отчаяния и безысходности, исступленным монологом Бекмана заканчивается пьеса.

Действие пьесы «За дверью» происходит как бы в полуяви-полусне, в неровном химерическом свете, при котором подчас неразличима грань между призрачным и реальным. В пьесе действует река Эльба, выступает Бог в образе беспомощного и слезливого «старого человека, которому никто больше не верит», появляется Смерть в лице владельца похоронного бюро. Внутреннее раздвоение Бекмана, спор, происходящий в его душе, выражены в пьесе посредством физического раздвоения героя и воплощения противоборствующих начал в двух различных человеческих фигурах — Бекмана и Другого. Таким образом, по характеру изобразительных средств, по своей драматургической технике пьеса Борхерта имеет немало общего с достаточно широко известными формами модернистской драматургии. И тем не менее она вполне реалистична в своей основе, поскольку выраженный в ней конфликт реален и исторически конкретен: реальны бедствия убитого войной поколения, жизненна и конкретна трагедия неустроенности, бытовой и нравственной неприкаянности «вернувшихся», актуален антимилитаристский пафос пьесы, достигающий своей кульминации в сцене столкновения Бекмана с преступным полковником, который — пригретый лучами благоприятной конъюнктуры — ничего не забыл, ничему не научился и готов все повторить сначала.

В статьях западногерманских критиков несколько раз промелькнуло сравнение Борхерта с Георгом Бюхнером. Это беглое сопоставление — неуточненное и неразвернутое — было, видимо, вызвано бросающимся в глаза внешним (впрочем, только ли внешним?) сходством двух героических и мученических судеб. Оба писателя были борцами против реакционного и варварского общественно-политического строя, оба подвергались жестоким гонениям, и их безвременная смерть (Бюхнер умер двадцати трех, а Борхерт — двадцати шести лет) была прямым результатом этой травли. Все, что вышло из-под пера обоих писателей, было ими создано в поразительно короткий и примерно одинаковый срок, в течение полутора-двух лет. Но помимо совпадения биографий Борхерта и Бюхнера, их роднят и некоторые существенные общие мотивы творчества, близость тем, сходство социально-психологического склада их героев.

Восседая за ужином в своей комфортабельной квартире, полковник снисходительно поучает голодного и бездомного Бекмана: «Почему вы не стали офицером? Вы бы тогда были вхожи в совсем другие круги, у вас была бы порядочная жена, вы бы сейчас сидели в хорошем собственном доме. Вообще, вы были бы совсем другим человеком... Ну, почему вы не стали офицером? Бекман: У меня был слишком тихий голос, господин полковник, совсем слабый голос». Человек с тихим голосом — таков главный герой Борхерта, своеобразная разновидность традиционного образа маленького человека. Он так же не способен стать офицером, как полковому цирульнику Войцеку не быть тамбурмажором. И если, доведенный до состояния, близкого к невменяемости, он способен на эксцессы, на продиктованный отчаянием бунт, то бунт этот принимает столь же истерически-беспомощный, трагический и в то же время жалкий характер, как умоисступление бюхнеровского героя.

Но, с другой стороны, человеку с тихим голосом прежде всего присуще смиренное «мышкинское» начало (не случайно Бекман не раз вспоминает Достоевского). Таков не только Бекман, но и герои многих рассказов Борхерта, таких, как «Ради», «Кухонные часы», «Иисус отказывается дальше участвовать», «Шижиф, или кельнер моего дяди», и других В них изображены робкие, застенчивые люди, подавленные своим горем, но не решающиеся докучать кому-либо, неуверенные в своем праве на внимание и участие сограждан. Боясь причинить беспокойство, они стесняются перед лицом сытых и самодовольных обнаружить свой голод, свою тревогу и страдания.

Человек с тихим голосом — жертва социальной несправедливости. Но социальная несправедливость, гнетущая героя Борхерта, находит свое исторически-конкретное выражение в войне, в варварской бойне, организованной фашистскими человеконенавистниками. Война и страдания, проистекающие из нее для человека, — такова неизменная тема рассказов Борхерта. И если, ведомый на своем писательском пути собственной судьбой и страданиями своего поколения, он пишет не только об окопном аде, но и о жизни за тюремной решеткой («Одуванчик»), о муках голода («Хлеб»), о любовных объятиях, отравленных фронтовыми кошмарами («Не уходи, жираф!»), о страданиях детей («Ведь ночью крысы спят»), о бездомности («Вечером вороны улетают домой»), об одиночестве человека в толпе людской («Кофе безвкусно», «И у него было много мороки с войнами»), то во всем этом многообразии зла он видит пря-

мую или косвенную, явную или скрытую связь с войной.

Герои Борхерта настолько травмированы войной, настолько чувствуют свою беспомощность перед ее грозной и жестокой мощью, что их сознание не в состоянии ее постичь, проникнуть в ее социальную природу. В их представлении они — кегли, бессильные против направленного в них шара, песчинки, вовлеченные в движение неведомой и непознаваемой силой, — «и никто не знает, куда».

В Западной Германии есть писатели (о них речь будет ниже), которые, глядя на мир глазами своих героев, считают войну стихийной катастрофой, таинственной и непреодолимой. Но Борхерт несомненно возвышается над фаталистической точкой зрения человека с тихим голосом. Он знает, что в кегельбане, помимо кеглей, сбиваемых шарами, есть и игроки, рукой которых эти шары пущены. Правда, представления Борхерта об этих «игроках» — виновниках войны — смутны и продиктованы больше эмоциями, нежели разумом; они обычно либо проявляются в гневных филиппиках против изобретателей, придумавших орудия уничтожения, штудиенратов, преступно будораживших головы незрелых юнцов шовинистическими проповедями * и т. д., вплоть до генералов и полковников (при этом вина главных преступников растворяется в вине второстепенных пособников), либо принимают форму жалоб от имени молодого поколения, жалоб детей на отцов: «Когда мы еще были детьми, они устроили войну. А когда мы подросли, они нам все рассказывали про эту войну. И когда мы стали еще старше, то они и для нас придумали войну. И послали нас на нее... Они организовали духовые оркестры и торжества в честь Лангемарка**, и военно-полевые суды, и оперативные планы. И геройские песнопения, и орденские знаки. Их воодушевление не знало границ... Как страшно они нас предали! А сейчас они заперлись в своих домах. Господин штудиенрат, господин директор, господин судебный советник, господин старший врач... А мы — на улице, перед закрытой дверью...»

Как легко убедиться, виновников войны Борхерт представлял себе смутно, но он — в отличие от некоторых других писателей — был убежден, что виновники есть и что они должны нести ответственность за свои преступления. Столь же далек Борхерт от бесплодного фатализма и в вопросе о причинах войны. Пусть его суждения о них не во всем правильны, но он уверен, что война — не рок, что она имеет свои причины, что они лежат в сфере общественных отношений людей, и следовательно, в человеческой власти их устранить и не допустить новой войны.

Именно эта боль за человека и в то же время вера в него, это (столь ярко, например, выраженное в рассказе «Поколение без разлуки») стремление к лучшему будущему и ощущение своей принадлежности к «поколению, которое пристанет к новой звезде, вступит в новую жизнь», эта неистребимая любовь к жизни и всему живому, которую не в силах заглушить никакие страдания, никакой голос внутренних сомнений (в этом смысле замечателен рассказ «Разговор над крышами»), — все, что составляло здоровую, гуманистическую основу творчества Борхерта, выводило его, в конечном счете, из узкого круга беспросветности и отчаяния и помогало ему находить все более ясные и активные пути борьбы за мир и человеческое счастье.

В последние недели своей жизни Борхерт написал несколько рассказов программно-политического характера, проникнутых тенденцией, которая нашла позднее свое выражение в движении сторонников мира. Творчество Борхерта несомненно участвовало в подготовке этого движения, хотя Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира во Вроцлаве, положивший ему начало, происходил уже после смерти писателя.

Лейтмотивом рассказа (или, вернее, декларации) «Это — наш манифест» Борхерт сделал слова, которые весной 1945 года были начертаны на развалинах всех немецких городов, — «Никогда больше не быть войне!» (Nie wieder Krieg!). Автор начинает с констатации факта «Война проиграна» — и продолжает: «Никогда больше мы не будем строиться по свистку и на начальственный рев отвечать — «Есть!». Пушки и фельдфебели больше не ревут... Мы будем плакать, испражняться и петь, когда нам угодно. Никогда мы больше не будем от страха прижиматься к земле и ощущать во рту песок (будь то степной песок или песок Украины, Киренаики или Нормандии, или злой и горький песок нашей родины!)...»

И далее, вспоминая о павших и как бы полемизируя с трескучими шовинистическими речами, в которых мертвецы использовались как трамплин для призывов к мести и реваншу, Борхерт говорит, что они пали не для того, чтобы им воздвигали памятники на рыночных площадях, не для того, чтобы живые украшали свои комнаты портретами Гинденбурга, и не для того, чтобы «те же самые штудиенраты, которые так браво препарировали для войны отцов, то же самое гнусавили детям».

Нет, павшие пали, чтобы никогда больше не повторилось то, что привело их к гибели, чтобы в будущем не было того, что было в прошлом, чтобы мир и Германия изменились.

---

* После франко-прусской войны 1870—1871 гг. возникло изречение, что эту войну выиграл прусский школьный учитель. И в дальнейшем, в эпоху империализма, немецкий штудиенрат (не зря его так часто и с ненавистью вспоминает Борхерт) продолжал играть активную роль в шовинистическом и милитаристском воспитании юношества, с той лишь разницей, что последующие войны он уже проигрывал.

** Городок в Западной Фландрии, в районе которого в первую мировую войну происходили кровопролитные бои между германскими и англо-французскими войсками.

И, обращаясь к читателю, Борхерт восклицает: «...Никогда не рассказывай своим детям о священной войне: говори правду как она есть, правду багровую, как кровь, как вспышки орудийного огня, как вопли ужаса... Ибо мы говорим «нет». Но наше «нет» рождено не отчаянием. Наше «нет» — это протест... Ибо мы любим эту гигантскую пустыню, имя которой Германия... И эту Германию мы должны восстановить и отстроить из ничего, над пропастями...»

Еще более последовательно в своей страстной антимилитаристской устремленности воззвание «Тогда остается лишь одно!» — последнее произведение Борхерта, написанное им в Базеле за несколько дней до смерти. Он призывает твердо сказать «Нет!» — рабочего, которому прикажут делать пулеметы, исследователя, которому велят изобрести «новую смерть против старой жизни», поэта, которого будут заставлять писать песни ненависти вместо песен любви, портного, которому дадут заказ на мундиры и шинели, судью, которого введут в состав военного трибунала, железнодорожника, которому прикажут дать отправление эшелону с боеприпасами, любого гражданина, которому вручат призывную повестку.

Решительное и действенное «Нет!» войне, призыв к сопротивлению ремилитаризации и реваншизму — таково было последнее слово, политическое завещание Вольфганга Борхерта.

2

Признание пришло к Борхерту уже после смерти. Оно сделало имя прежде безвестного юноши из Гамбурга, одного из миллионов возвратившихся, предметом исключительного общественного интереса и горячих споров, которые не утихли и по сей день. Вокруг его творчества кипят страсти не только эстетического характера, а его врагов отделяет от друзей не только различие художественных вкусов. Не так давно, например, в немецкой печати появилось сообщение об обструкции, учиненной в театре города Констанц местными нацистами в связи с постановкой пьесы Борхерта, и о стойком сопротивлении художественного руководителя театра Ганса Крайбига домогательствам «отцов города». Сегодня по отношению к творчеству Борхерта можно безошибочно определить отношение к фашизму, к империалистической войне, к ремилитаризации, проводимой правящими кругами ФРГ. И тем более можно определить место любого писателя на политической карте современной западногерманской литературы, приняв Борхерта за исходный пункт, за «нулевой меридиан».

На крайне правом фланге этой литературы, во главе реакционно-реваншистских элементов стоят откровенно фашистские литераторы. Люди, которые устраивают обструкции против пьесы Борхерта, организуют слеты бывших эсэсовцев или оскверняют еврейские кладбища, имеют своих историографов и писателей. Среди них и многочисленные гитлеровские генералы — Гальдер, Гудериан, Мантейфель и прочие, сменившие (они надеются — лишь временно) кровавую профессию мясника на амплуа мемуариста, и печально известные ветераны нацистского Парнаса, вроде Эдвина Эриха Двингера, Вернера Боймельбурга или Франца Тумлера, и молодые волонтеры неофашизма Рихард Хаземан, Геро Веккер, Эрих Керн и другие.

В ФРГ есть несколько пользующихся дурной славой издательств (как например, Дикрейтерферлаггезельшафт), выпускающих и распространяющих — частично по закрытой подписке среди «своих» клиентов — откровенно реваншистские книжки. По деликатному определению реакционного западногерманского литературоведа Германа Понгса, тема этих романов — «...несокрушимость немецкой субстанции... высокая нравственность солдата, честь офицера». Но если отрешиться от пышных и лживых фраз, то фактически эти романы пропитаны ядом человеконенавистнической милитаристской пропаганды; в них рекламируются подвиги эсэсовских головорезов, проповедуется циничная мораль ландскнехтов — профессиональных убийц и грабителей,—романтизируется жестокость и национальная вражда.

Впрочем, клеймо свастики на этих книгах сразу бросается в глаза, и их опасное действие умаляется их слишком очевидным фашистским характером. В сознании огромного большинства немецких читателей, отрезвленных опытом Третьей империи, подобная литература столь же одиозна, сколь одиозен и фашизм (во всяком случае, ортодоксально гитлеровского типа). Куда более опасны книги, авторы которых фашистские яды выдают за антифашистские противоядия, а реваншистские и шовинистические проповеди облекают в форму критики гитлеризма. К такой мимикрии германская реакция начала прибегать сразу же после поражения, и уже летом 1945 года в своем первом публичном выступлении после возвращения на родину Иоганнес Р. Бехер проницательно предостерегал против этих лицемерных уловок. «Любая мелочная критика, связанная с фактом поражения, — говорил он, — как например, критика одних лишь военных ошибок, рассмотрение их в отрыве от исторической обстановки в целом, любое выпячивание и подчеркивание трудностей технического характера, как-то: вопросов снабжения, условий местности или даже климатических условий, любая трусливая попытка все свалить на судьбу или случай, любая попытка снова сочинить, в той или иной форме, лживую легенду об ударе кинжалом, всяческие стремления отдать в жертву общественности лишь отдельные личности, лишь бы не предавать уничтожающей критике гитлеровский режим как режим германского монополистического капитала, ...все эти попытки должны быть разоблачены и заклеймены, как попытки подготовить новые провокации, новую мировую войну».

То, что Бехер предугадал летом 1945 года, полностью, например, относится к роману ренегата Теодора Пливье «Москва». В этом романе автор изображает разгром гитлеровских войск под Москвой как следствие целого ряда неблагоприятно сложившихся и по существу случайных обстоятельств. Западногерманский критик Фридрих Зибург, высмеивая Пливье, показывает, как наивна его концепция и к какому абсурду приводит логика его рассуждений. Что было бы, если?.. — задает он Пливье ехидные вопросы. Если бы осенью 1941 года снабжение не отставало бы от наступающих немецких танков? Если бы зимнее обмундирование для солдат Восточного фронта поспело вовремя? Если бы советские танки «Т-34» были бы немного хуже, а немецкие—немного лучше?.. Может быть, если бы не эти проклятые случайности, то все могло бы иначе обернуться? И не стоит ли, короче говоря, учтя эти «мелкие ошибки», начать все сызнова?! Даже для такого густопсового реакционера (афиширующего свою давнюю дружбу с генералом Шпейделем), как Зибург, философия истории Пливье чересчур глупа и попросту смехотворна.

Такая же реваншистская тенденция, соединенная с критикой гитлеровского командования, была присуща и предыдущему роману Пливье «Сталинград». В этом произведении, изображавшем трагическую участь немецких войск в сталинградском котле, противопоставление солдатских масс командованию принимало примерно следующий характер: упрямые и безответственные командиры совершают ошибки и отдают приказы, приводящие к *бессмысленной* гибели солдат, или в то время, как высокое начальство обманывает солдат и боевых офицеров, последние до конца выполняют свой *долг*. Антитезы Пливье сводились к политической и моральной идеализации фашистской армии, к фальсификации истинной сущности гитлеровской войны, и следовательно, они были призваны лишь питать реваншистские иллюзии у читателей.

Однако поистине классиком псевдоантифашистского реваншизма является в современной западногерманской литературе Вилли Гейнрих. Его романы «Терпеливая плоть» и «Золотой стол» широко рекламируются в ФРГ, переведены и изданы в США, Англии, Франции, Италии, удостоились хвалебных отзывов американской прессы.

Гейнрих богат запасом ярких жизненных наблюдений, но эти наблюдения мало чем обогатили его сознание, его разум. Он несомненно обладает повествовательным и изобразительным талантом, но это — не мыслящий талант. Его мозг одурманен фальшивым пафосом, торжественно-бессодержательными словесами, некритически воспринятыми лозунгами шовинистической и милитаристской пропаганды. Он много видел, но мало понял, этот бывший фронтовик, унтер-офицер гитлеровского вермахта. «Плоть терпелива, — иронизирует по его адресу, намекая на название его первого романа, немецкий критик Гюнтер Цвойдрак, — но дух слаб».

При этом романы Гейнриха содержат резко критическое изображение нацистского командования, и автор их именует себя антифашистом. В романе «Золотой стол», например, Гейнрих вывел целую галерею негодяев разных рангов—выкормышей Третьей империи. Жестокий сатрап, опьяненный своей безграничной властью над подчиненными, генерал Штиллер, готовый — по собственному циничному признанию — расстрелять всех своих командиров рот, лишь бы самому не попасть в штрафной батальон, и с ледяным спокойствием посылающий на неизбежную и бессмысленную гибель сначала одну, а затем другую дивизию, чтобы после этих «подвигов» принять командование над третьей... Подлый интриган и карьерист майор Гизингер, в борьбе за теплое и безопасное место в штабе дивизии устраняющий конкурентов с помощью самых низких приемов... Кровавый садист и преступник Кальман, вешающий заложников, проповедующий геноцид в отношении чехов и других славянских народов и руководствующийся в своей судебной практике формулой: «Справедливость — шлюха, она всегда на стороне сильного...»

Резкие выпады Гейнриха против гитлеровских генералов, офицеров и чиновников вызвали недовольство в Бонне. Реакционная гамбургская газета «Вельт» (с удовлетворением отмечая, как «художественную удачу» автора, его антисоветские пассажи) раздраженно отчитывает Гейнриха, упрекая его в клевете на генералов и офицеров вермахта, в нигилизме, с позиций которого-де невозможно плодотворное изображение второй мировой войны, и т. д. и т. п. Впрочем, как мы увидим ниже, серьезных оснований для беспокойства по поводу «антифашизма» Гейнриха «Вельт» не имеет.

Правда, Гейнрих противопоставляет верхи и низы гитлеровской Германии, изображая с симпатией солдат-фронтовиков, он клеймит штабы и командование. Один из его героев унтер-офицер Колодзий говорит: «Нам совесть не позволяет спасать свою собственную жизнь в то время, как господа наверху без всяких угрызений совести отправляют на живодерню целые армии». Роман изобилует антигитлеровскими тирадами и в то же время наглядно показывает, что можно как будто и критиковать и даже проклинать фашизм, не выходя при этом ни на шаг из порочного круга фашистских представлений.

Причины этого странного явления коренятся в анемии аналитической мысли. Что такое война? Какова ее социальная сущность? Как и почему она возникает? Какие общественные силы заинтересованы в ней и ввергают народы в кровавую бойню? Могут ли люди бороться с войной и что они должны для этого делать? Такие вопросы Гейнрих либо не ставит перед собой, либо, во всяком случае, не находит на них удовлетворительных ответов. Он не идет дальше затасканных и бессодержательных тол-

кований: война — рок, жестокая стихия, непознаваемая и не поддающаяся никакому воздействию со стороны людей. На суперобложке романа «Золотой стол» сказано, что это произведение изображает «определяемое судьбой и независящее от личной воли положение любого человека на войне». Точнее не скажешь: вся философия романа (поскольку она вообще в нем наличествует) сводится к тому, что человек лишен свободы решения, возможности выбора поступков, а следовательно, не может и не должен нести ответственности за свои действия и за все, что происходит вокруг него.

Поэтому Гейнрих решительно отвергает путь сопротивления гитлеровской войне, не только как путь губительный для того, кто на него ступает, но и как путь бесплодный, неспособный привести ни к каким практическим результатам и, наконец... аморальный. Сколь это ни удивительно, но именно так. С точки зрения автора, пусть фашистская система лжива и прогнила сверху донизу, война несправедлива и заведомо проиграна, командование преступно и т. д., но все равно солдату не остается ничего иного, как продолжать сражаться (даже вопреки своим убеждениям), выполнять приказы, разделять судьбу своих товарищей и «героически» умирать без смысла и цели. Ибо всякое сопротивление войне — а Гейнрих представляет себе его возможным лишь в форме дезертирства — есть, дескать, предательство по отношению к идеалам «фронтового товарищества» и «солдатской верности». Так Гейнрих приходит к своеобразному категорическому императиву солдата, выражающему этический принцип самого автора: «Важно, чтобы ты сам оставался хорошим, если даже война, в которой ты участвуешь, плоха». Таким «хорошим участником плохой войны», идеальным героем с точки зрения казарменной морали является в романе капитан Шмит.

В обрисовке этого образа снова сказывается поверхностное фрондерство Гейнриха. Во внешней непохожести Шмита на стандартного героя фашистско-милитаристской пропаганды — манекена в духе пресловутой «стальной романтики» — заключена явная полемичность. Это — хромой, горбатый ворчун, угрюмый нелюдим, оставленный женой, лишенный личной жизни неудачник, военной карьере которого мешает отсутствие строевой выправки. Он противостоит, однако, шкурникам и бесчестным себялюбцам, вроде генерала Штиллера или майора Гизингера, и изображен человеком чести и долга. Под маской грубости он скрывает глубокую заботу о своих подчиненных и готовность к беззаветному самопожертвованию; он сознательно отдается в руки партизан и умирает мучительной смертью, спасая своих солдат. Шмит преисполнен сознания своей ответственности, сурово точен в исполнении приказов, беспощаден по отношению к себе и всегда принимает на себя самую трудную и опасную задачу. Превыше всего он ставит так называемую «солдатскую порядочность», «фронтовое товарищество», «дисциплину» и т. п. и поэтому практически оказывается идеальным служакой гитлеровского вермахта, тем немецким «приказоприемником» (Befehlsempfänger), о каком только и могут ныне мечтать генералы НАТО.

Автор представляет своего героя читателям как антифашиста. Но словесный «антифашизм» Шмита на поверку оказывается мифом. Он всецело оправдывает гитлеровскую агрессию, упрекая Гитлера лишь в чрезмерности его военных притязаний. «Если мы проиграем войну, — говорит он,— то лишь в результате ошибочно поставленной цели, а не вследствие того, что мы, солдаты, якобы оплошали, как нам ныне хотело бы внушить командование». Это можно лишь так понимать, что если бы, мол, Гитлер поставил перед собой более скромные цели (скажем, не гнался бы сразу за двумя зайцами, не вел бы войну на два фронта, а, обеспечив себе поддержку западных держав, двинулся бы только на Советский Союз), то война была бы выиграна. В этих рассуждениях Шмита не трудно узнать перелицованную на новый лад «легенду об ударе кинжалом». Но если после первой мировой войны германские империалисты объясняли поражение ударом кинжала в спину со стороны «марксистов и евреев», то современные реваншисты типа Гейнриха избирают козлом отпущения «авантюриста», «военного дилетанта», «безумца» и проч. и проч., то есть Гитлера. Право же, такому «антифашизму» (на реваншистской подкладке) не возрадуешься.

Весь роман Гейнриха, вся его моральная атмосфера насквозь провоняла духом фашистской казармы. Действие его происходит в Словакии, и на его страницах выступают словаки, чехи, русские, венгры, немцы. Сюжет дает возможность воочию проявиться самому низкопробному и отвратительному шовинизму автора. Историю и географию этого края он рассматривает под углом некоего, по его понятиям естественного и обязательного, закона национальной вражды, смертоубийственной борьбы народов за взаимное уничтожение. Следуя зову слепой ненависти, Гейнрих изображает всех чехов и русских кровожадными зверями, садистами, хулиганами, сквернословами. Описание их внешности дается исключительно в таких выражениях: «дикие лица», «низкий лоб», «маленькие злобные глаза» и т. д. Партизан Матушка носит при себе в коробке язык, вырезанный им у человека, выдавшего его брата, он придумывает изуверские пытки для пленных немцев. Мифический «офицер НКВД» Николаш расписан по испытанному антисоветскому шаблону, он изображен алкоголиком, развратником, хамом, любимая потеха которого — оскорблять национальные чувства подчиненных и т. д.

Роман Гейнриха резко антигуманистичен, его «философия» третирует волю и разум человека, отрицает его социальные возможности, рассматривает его лишь как «терпеливую плоть», беспомощную песчинку в

урагане истории. Антигуманистичны также и этические идеалы автора, его представления о мужестве, нравственной силе и человеческом достоинстве. Роман густо заселен авантюристами, головорезами, драчунами, убийцами по призванию, и автор любуется их жестокостью, грубостью, их ландскнехтовской бесшабашностью, их панибратски-фамильярным обращением со смертью. Примитивность мысли и угрюмое сквернословие героев романа находят прямое отражение и в авторской речи, которая пестрит цветами солдатской словесности.

Все эти мало привлекательные в этическом и эстетическом отношении черты романов Гейнриха нисколько не оригинальны. На тех же трех китах — казарменном пафосе, казарменном юморе и казарменном хамстве — стоял фашистский военный роман. Гейнрих при этом лишь обогатил испытанные традиции творческим опытом некоторых американских писателей. Ему удалось создать книгу, в которой в равной степени найдут все для них привычное и любимое и нюрнбергский эсэсовец, и чикагский гангстер.

Итак, фронт реакционной милитаристской литературы в Западной Германии простирается от ветеранов гитлеризма типа Двингера до провозглашающего себя антифашистом Гейнриха. Объективные различия между всеми этими писателями не так велики, как это им самим подчас кажется. Они иногда расходятся во вкусах, в представлениях о конкретной форме своих милитаристских идеалов. Одни вздыхают о старопрусском фельдфебеле, других вполне устраивает гитлеровский вермахт и войска СС, третьи, плененные псевдодемократической демагогией, мечтают о реформированной «атлантической» казарме. Но всех их объединяет непримиримо-враждебное отношение к идеям мира и дружбы народов. Все они в равной степени являются идеологическими пособниками той милитаристской, реваншистской и антисоветской политики, которую проводят правящие круги ФРГ.

3

В немецкой литературе и искусстве первых послевоенных лет сразу, уже в 1947—1948 гг., определилось направление, во многом перекликающееся с творчеством Борхерта. К этому направлению относились, например, фильм Вольфганга Штаудте «Убийцы среди нас», пьесы Фреда Денгера «Мы призываем вас к надежде» и «Голод», ряд рассказов и поэм из составленной Вольфгангом Вейраухом антологии «Лемех» и некоторые произведения, посвященные теме трагического возвращения. В них изображалась судьба поколения, травмированного войной, изображался конфликт между легко приспособившимися к новым условиям нацистами и выбитыми из жизненной колеи жертвами фашизма и военщины.

Интерес к Борхерту нисколько не ослабел и в последующие годы. Спустя десять лет после его смерти, в 1957 году, его пьеса продолжала идти на подмостках двадцати западногерманских театров. Многие видные писатели считают себя его учениками и продолжателями, наследниками его антивоенных заветов. Так, например, Генрих Бёль в статье «Голос Вольфганга Борхерта» прежде всего подчеркивает значение наследия Борхерта как грозного предостережения против опасности новой войны. Указывая на все возрастающее влияние его творчества, центральный орган КПГ газета «Фрейес фольк» писала: «Немецкая молодежь послевоенного времени видела в нем выразителя своей судьбы... Его призыв упал на плодотворную почву и его слова ныне актуальны как никогда».

Переходя к творчеству писателей — наследников Борхерта, нужно прежде всего констатировать очевидный и неоспоримый факт: западногерманская литература переживает необычайный расцвет антивоенного романа как в отношении количественном, так и по художественному значению посвященных этой теме произведений. За последние годы широкую известность приобрели имена Генриха Бёля, Ганса Вернера Рихтера, Герта Ледига, Карла Людвига Опица, Ганса В. Пумпа, Михаэля Хорбаха и других писателей, которые выразили в своем творчестве мучительные проблемы своего поколения, связанные с трагическим опытом второй мировой войны и тревожными предчувствиями новой катастрофы.

То, что в литературе ФРГ эта тема сегодня является доминирующей, объясняется в первую очередь разнузданной реваншистской пропагандой, угрожающими темпами и масштабами ремилитаризации, возвращением к активной деятельности самых однозных героев фашистского прошлого, закоренелых милитаристов и реакционеров. Все это непрерывно будит в сознании западногерманского населения кровавые призраки минувшей войны и вызывает тревогу и страх перед будущим. Эта политическая и психологическая атмосфера, столь отличная от условий, существующих в ГДР, объясняет появление в Западной Германии в последние годы таких книг, как «Где был ты, Адам?» Бёля, «Не убий!» Рихтера, «Реактивные минометы» Ледига, «Сыновья, которых предали» Хорбаха, и многих десятков других романов о войне.

Общий характер западногерманских романов, выражающих сложные и противоречивые настроения мелкой буржуазии с ее ненавистью к войне и в то же время политической дезориентированностью, вызывает в нашей памяти отчасти сходное явление в зарубежных литературах двадцатых—тридцатых годов, известное под условным названием «литература потерянного поколения». Это обозначение, принадлежащее Гертруде Стайн, критики относили к творчеству Хемингуэя и Дос-Пассоса, Ремарка и Фаллады, Олдингтона и Жионо... Произведения этих авторов рассказывали (употребляя выражение Ремарка) о судьбе «поколения, которое было уничтожено войной, хотя и избежало ее гранат», о моло-

дых людях, которые, если даже им посчастливилось вернуться, несли в своем сердце неисцелимую рану и жили призрачной жизнью, не зная радостей, не видя смысла и цели бытия.

Тема «потерянного поколения» и «поколения вернувшихся» является — разумеется, лишь в общей форме, лишь в самом широком значении — историческим развитием одного из традиционных и основных мотивов литературы буржуазного общества, темы «утраты иллюзий». В образах Вертера и Рене, Чайльд-Гарольда и Адольфа, Жюльена Сореля и Фабрицио дель Донго, Растиньяка и Люсьена Шардона, Артура Пенденниса и Фредерика Моро, Чацкого и Печорина, Лаврецкого и Адуева-младшего и т. д. писатели запечатлели трагическое столкновение вступающего в жизнь молодого человека, наивного и неопытного, воодушевленного чистыми идеалами юности, с грубой и меркантильной действительностью, с миром лжи, социальной несправедливости, всеобщей продажности и жестокой войны всех против всех. В этом столкновении одни герои терпели жизненное фиаско, погибали или бежали от цивилизованного общества, другие — капитулировали перед «необходимостью», приспосабливались и продавали свою душу за чечевичную похлебку житейского преуспевания.

Конфликт ремарковских гимназистов или хорбаховских юнкеров с жизнью носил еще более мрачный характер. Прежде чем они успели познакомиться с унизительной прозой канцелярской службы, любовными неудачами и разочарованиями, предательством друзей или враждебной отчужденностью богатых и знатных, их встретило на пороге юности жесточайшее из возможных испытаний — империалистическая война.

Черты сходства — прежде всего идейно-тематического — между литературой «поколения вернувшихся» и писателями «потерянного поколения» несомненны. Борхерт и Бёль, например, многим обязаны Хемингуэю. Но можно также (не выходя за пределы немецкой национальной традиции) легко обнаружить и нити, связывающие некоторых современных западногерманских писателей с Ремарком, вплоть до сюжетных совпадений и родственности действующих лиц.

Именно к Ремарку восходит изображение войны в свете конфликта отцов и детей, изображение трагической судьбы молодого поколения, обманутого, преданного, посланного на гибель патриотами непризывного возраста. С этой концепцией мы встречаемся и у Борхерта, и в книге Опица «Солдатчина» и т. д. Иногда она выступает в форме тех или иных характерных сюжетных мотивов. Так, например, от ремарковского классного надзирателя Канторека, отправившего на бойню двадцать доверявших ему желторотых юнцов, тянется прямая нить к борхертовским штудиенратам. Трогательно-беспомощные, убиваемые и калечимые, еще живущие по привычке в мире школьных ассоциаций солдаты-дети, изображенные Бёлем в рассказах «Путник, когда ты придешь в Спа...», «Тогда в Одессе», «Встреча с Дрюнгом», «Метлы бы тебе вязать!» и других, погибающие у зенитки пятнадцатилетние гимназисты из романа Ледига «Возмездие», — все они, помимо своих жизненных прототипов, имеют и литературную родню — в романе «На западном фронте без перемен». А замечательно рассказанная Ремарком история отпуска Пауля Боймера, история нравственно и физически измученного солдата-фронтовика, которому претит желание превратить его в героя фальшивого патриотического спектакля на радость брызжущим слюной тыловым стратегам и шовинистически витийствующим филистерам,— не этой ли историей навеян рассказ об отпуске кавалера рыцарского креста Юргена Шимана из романа Рихтера «Не убий!». Сцены гнусной казарменной муштры в том же романе, описание мести со стороны солдат унтер-офицеру, живодеру Вебекингу (ср. с Гиммельштоссом у Ремарка), в «Солдатчине» Опица, апокалиптические картины растерзанной плоти и смерти в бесчисленных вариантах в романах Ледига — все это вновь и вновь заставляет читателей вспоминать о Ремарке.

Но, с другой стороны, тот же Рихтер в одном из «самых ремарковских» эпизодов своего уже упоминавшегося романа «Не убий!» роняет многозначительное замечание: «Юрген ненавидел присущую его отцу стратегию пивной стойки. В ней было что-то от ложного пафоса первой мировой войны. Но эта война выглядела совсем иначе».

Справедливое замечание! Действительно, вслед за бросающимся в глаза сходством при более углубленном сопоставлении обнаруживаются и большие принципиальные различия между «потерянным поколением» и «поколением вернувшихся», между такими романами, как «На западном фронте без перемен» или «Прощай, оружие» — с одной стороны, и «Не убий!», «Где был ты, Адам?» или «Перед большим снегом» — с другой.

В 1914 году на полях Европы столкнулись в борьбе за передел мира две враждебные группировки империалистических держав. По своему социально-экономическому строю страны Антанты ничем принципиально не отличались от стран Тройственного союза. И сколько бы пропагандисты обеих сторон не кричали о «варварстве русского царя» или, напротив, о «деспотизме германского кайзера» и т. п., но борьба велась вовсе не против «деспотизма» или «варварства» и не за свободу и демократию. И это понимали или если не понимали разумом, то инстинктивно ощущали даже политически малосознательные участники событий.

Вспомним разговор солдат-фронтовиков из романа «На западном фронте без перемен»:

«— Смешно получается, когда подумаешь,— продолжает Кропп.— Мы находимся здесь, чтобы защищать свое отечество. Но и французы тоже здесь, чтобы защищать свою родину. Кто же прав?

— Может быть, и те и другие,— говорю я, сам не веря своим словам.

— Ну да,— рассуждает Адлер, и я по его лицу вижу, что он хочет загнать меня в тупик,— но наши профессора, пасторы и газеты говорят, что одни мы правы,— и надо надеяться, что это так и есть,— но и французские профессора, патеры и газеты утверждают, что только они правы. В чем дело?... Подумай только — ведь почти все мы простые люди. И во Франции большинство людей тоже рабочие, ремесленники или мелкие служащие. К чему французскому слесарю или сапожнику нападать на нас? Нет, вся штука в правительствах. Я никогда не видел француза, прежде чем попал сюда, и с большинством французов дело обстоит точно так же, как с нами. Их так же мало спрашивают, как и нас».

Рядовой солдат первой мировой войны не видел разницы между немецкими профессорами, пасторами и газетами и французскими профессорами, патерами и газетами, и любое правительство — французское или германское — было с его точки зрения одинаково чуждо народу, простым людям. Ему не приходило в голову искать высшую социальную или нравственную истину на стороне той или другой коалиции. Война ставила его перед трагическими проблемами, но более узкого свойства: он с ужасом наблюдал страшные картины торжества могучей истребительной техники над беззащитной человеческой плотью, идеалы его юности тонули в кроваво-гнойном месиве, он терял веру в себя, в людей, в жизнь... Но война, точнее говоря — ее внешние фронты, не ставила его перед необходимостью выбора, который мог бы определить его политическую позицию.

Поэтому писатели «потерянного поколения», выражавшие в отличие от Анри Барбюса или Людвига Ренна настроения политически незрелой массы, а не передовых, сознательных элементов, в большинстве случаев не отличались определенностью политического лица. Антимилитаризм героев их произведений был как бы безусловным рефлексом живого существа, ведомого на убой, но они не имели программы ясной и цельной хотя бы в своей негативной части. И если некоторые из них (Ремарк, Хемингуэй) в той или иной степени связали себя впоследствии с антифашистским движением, то другие (Дос-Пассос, Жионо) прошли бесславный политический путь и даже совершили путешествие на край фашистской ночи (Селин, Дрие ля Рошель).

Но «эта война выглядела совсем иначе»... Соответственно иной характер носит и порожденная ею литература.

Вторая мировая война была развязана мировым империализмом и в первую очередь его наиболее разбойничьим отрядом — германским фашизмом, но участие в этой войне Советского Союза, борьба которого слилась с антифашистской борьбой народов других стран, усилило ее освободительный характер. В этой войне на ее решающем — советско-германском фронте друг другу противостояли побеждающее будущее и обреченное прошлое, социализм и капитализм в его наиболее зверском фашистском обличии, причем на этот раз капитализм официально провозгласил и практически проводил политику, до которой не доходила ни одна из сторон в первой мировой войне,— геноцид по отношению к целым народам, массовые зверства и т. д.

Иной характер войны ставил перед ее участниками и иные проблемы и, в частности, заставлял их занять определенную позицию по отношению к гитлеризму и его человеконенавистническим действиям. При этом фашизм в той или иной степени невольно воспринимался ими в соотношении с идеологией социализма, который в грозных испытаниях доказал свое историческое превосходство. И хотя сравнительно немногие гитлеровские солдаты становились в процессе войны сознательными сторонниками Советского Союза и убежденными социалистами, но отвращение к фашизму было итогом войны для миллионов. Поэтому литература «поколения вернувшихся» является не просто антивоенной, но и антифашистской. Даже Фридрих Зибург отмечает, хотя и в очень туманных выражениях, различие литератур двух войн, то есть политически гораздо более определенный, антифашистский характер произведений последователей Борхерта, писателей «группы 47»* и других.

«То, что составляло главную суть переживаний в то время,— пишет Зибург,— не соответствует сегодняшнему дню, ибо тогда речь шла о наивном (по крайней мере, наивном в отношении войны) человеке, который был страшно потрясен новой для него действительностью... Солдаты 1939 года были основательно подготовлены к тому, что новая война апеллирует не только к их выносливости и способности страдать, но и к их способности суждения. В этом и заключались трудности литературного воплощения, ибо оказалось, что художественное изображение все время и неизбежно должно переплетаться с выражением определенных позиций, с дискуссией...»

Таким образом, даже Зибург признает, что политический характер конфликта, лежащего в основе литературы «поколения вернувшихся», является ее конкретно-исторической особенностью, вызванной, в свою очередь, конкретно-историческими особенностями второй мировой войны и связанными с ней общественными проблемами. Этим признанием Зибург невольно бьет своих коллег, западногерманских реакционных литераторов, которые создают нарочитый декадентский туман вокруг Борхерта и его продолжателей и тщатся доказать, что духовная драма этих писателей не имеет ничего общего с фашизмом, войной и прочими социальными пороками буржуазного строя,

* «Группа 47» — литературное объединение писателей Западной Германии, возникшее в 1947 году. К нему принадлежат, в частности, Рихтер, Леднг и другие.

а является порождением неких метафизических причин, «извечного трагизма бытия», «разрушительной катастрофы разрыва с богом», «прирожденной греховности человека», «власти рока» и т. д. При этом в своем желании выдать трагедию «поколения вернувшихся» за нечто социально-необусловленное, извечное и фатально-неизбежное фальсификаторы, естественно, стремятся опереться на самих писателей, использовать неясность их мировоззрения, их неумение иной раз до конца познать источники и пути борьбы с тем злом, которое они сами изображают и клеймят в своих романах так сурово и правдиво, с такой горечью и гневом.

Писатели, о которых мы говорили (Борхерт, Бёль, Рихтер, Хорбах, Ледиг, Опиц, Пумп, Кёппен, Зоммер, Кох и др.), в идейном и эстетическом отношении значительно разнятся друг от друга. Возьмем хотя бы их позиции по отношению к религии. Вернер Кох, правоверный католик, в своем насыщенном мистической символикой и овеянном запахом кадильниц романе, название которого «Но избави нас от лукавого» говорит само за себя, приводит своего растерянного, заблудившегося героя в лоно церкви, к коленопреклоненному смирению. Генрих Бёль — также католик, но он далек от церковной ортодоксальности. Его романы содержат резкую социальную критику, причем она обращена и против социальной демагогии церкви, против клерикальных кругов, спекулянтов набожностью, отъевшихся проповедников аскетической морали. Об одной своей героине Бёль пишет, что «ее веру не в силах были поколебать даже священники». В еще более сложных отношениях с богом был Вольфганг Борхерт. Он изображал бога в образе жалеющего людей, но беспомощного и хнычущего «старого человека, которому никто больше не верит». Он горько полемизировал с ним, возлагал на него ответственность за все несовершенства мира... Но, впрочем,— говорил он,— «извинением для бога служит то, что его нет». В произведениях Карла Людвига Опица бог вообще не занимает никакого места. Что же касается, наконец, Вольфганга Кёппена, то он в романе «Смерть в Риме» производит решительный расчет с религией. Он считает, что принцип слепой веры и безоговорочного авторитета, лежащий в основе христианства — и в особенности католицизма,— роднит религию с фашизмом. Он вскрывает тесную связь католической церкви с самой крайней социальной реакцией.

Столь же различны писатели «поколения вернувшихся» и по своим художественным концепциям. Борхерт, вобравший в себя опыт и средневекового моралите, и экспрессионистской драмы, и современной американской прозы, в то же время страстно ищет новых форм, способных выразить дисгармоничное, разорванное сознание его героя и хаотичную действительность войны. Рихтер тяготеет к повествовательным традициям реалистического романа XIX века. Кёппен, идущий отчасти по следам Кафки и в особенности Джойса, иногда сознательно нарушает законы синтаксиса, стремясь как бы дать непосредственный слепок подсознания, стихийно текущий поток, связывающий понятия по косвенным ассоциациям. Творческая манера Зоммера очень близка к итальянскому неореализму и т. д.

При столь разительной многоликости рассматриваемой литературы есть, однако, одна черта, объединяющая этих писателей, придающая их творчеству характер определенного общественного и литературного направления. Это — их ненависть к войне и фашизму.

В произведениях писателей «поколения вернувшихся» империалистическая война развенчивается и дегероизируется. В романах Бёля и Рихтера, Ледига и Опица и других она изображается как грязное, кровавое и бессмысленное дело, физически и нравственно уничтожающее людей, пробуждающее в них самые низменные инстинкты — жестокость, стяжательство, разврат. Авторы нередко прибегают к описанию уродливого, даже отвратительного, но упрек в натурализме в данном случае не всегда окажется справедливым. В их книгах изобразительные средства адекватны замыслу: здесь не утверждается скотская природа человека, а разоблачается война, низводящая людей до уровня скотов.

Иногда кажется, а иногда — например, у Опица — прямо декларируется, что изображение войны у западногерманских писателей носит полемический характер, что они стремятся развенчать не только войну, но и миф о войне, созданный милитаристской пропагандой и лживой фашистской писаниной в стиле пресловутой «стальной романтики». Многие эпизоды в романах как бы пародируют гитлеровскую кинохронику с ее напыщенностью и псевдогероикой. Такова, например, в романе Бёля «Где был ты, Адам?» гротескная сцена награждения в суматохе отступления Железным крестом лейтенанта Грека, который умирает, охваченный приступом жесточайшего колита, зажав в руке вещественное доказательство своей доблести и героизма.

Изображая гитлеровскую войну и ее влияние на моральное состояние немецкого народа, некоторые писатели вступают в полемическое столкновение не только с фашистско-милитаристской литературой, но и с писателями «потерянного поколения», в частности с Ремарком. Последний свято верил «в наилучшее, что принесла война,— в товарищество!» Впоследствии гитлеровцы демагогически использовали тезис о «фронтовом товариществе» в качестве одного из главных лозунгов своей военной пропаганды. Его продолжают и ныне эксплуатировать писатели-реваншисты типа Двингера и К°. Разоблачая лживость этого лозунга, Борхерт в рассказе «Мой бледнолицый брат», Ледиг в романе «Реактивные минометы» и другие показывают без прикрас реальные будни «фронтового товарищества». Каждый спасается за счет ближнего.

Лейтенант, задетый непочтительной шуткой унтер-офицера, мстит ему и посылает его на смерть... Бронебойщики, одичавшие в засаде от ежеминутно грозящей им гибели, радуются смерти каждого солдата на передовой, так как лишь обескровливание роты дает им шансы на смену... Фельдфебель, укрывшийся в надежном ротном блиндаже, все время гоняет связного с ненужными донесениями по простреливаемой местности в штаб батальона, чтобы тем самым доказать, что он не зря занимает свою должность. «Он должен был это доказывать ежедневно по нескольку раз, чтобы капитану не пришло в голову поручить ему командование взводом в передовом окопе. Фельдфебеля при этом нисколько не беспокоило, что вопрос о том, когда двое детей связного станут сиротами, был лишь вопросом времени...» Так фашизм разобщил людей, разбудил в них волчьи инстинкты, разрушил чувства товарищества и солидарности...

Фашизм предстает в произведениях писателей «поколения вернувшихся» в лице его наиболее «официальных» действующих, так сказать, на авансцене представителей — гитлеровских генералов и офицеров, эсэсовцев и штурмовиков, функционеров национал-социалистской партии, чиновников карательных органов и т. п.

Это жестокий и тупой майор Глазенап, и грубый и наглый штурмовик Вальтер Лоренц («Не убий!» Рихтера), и прожженный циник, человек с душой сутенера полковник Брессен, и садист, комендант лагеря уничтожения эсэсовский оберштурмфюрер Фильскайт («Где был ты, Адам?» Бёля), и развращенный фашистским воспитанием юный палач Виктор Люц («Возмездие» Ледига), и трус, предатель и насильник, убийца женщин и детей лейтенант Штадельхофер («Сыновья, которых предали» Хорбаха), и бездушный «специалист по смерти» генерал фон Пукхаммер («Мой генерал» Опица) и т. д.

Но скромные цивильные особы, незримые в тиши своих респектабельных кабинетов, банкиры и директора концернов, промышленные и земельные магнаты — эти истинные хозяева Третьей империи обычно не попадают в поле зрения. Это проистекает из того, что авторы не имеют ясного представления о классовой природе фашизма, не знают социальной разгадки той мистической тайны, которой в капиталистическом обществе окружено рождение войн.

В этом как раз и заключается основная трагедия «поколения вернувшихся». Не в кошмарах прошлого, которое они пережили и честно и навсегда возненавидели, а в недостаточности тех уроков, которые они сумели из него извлечь. Ибо, не познав происхождения войны, они не могут знать и путей борьбы против войны, за ее предотвращение.

Некоторые последователи Борхерта — а в этом смысле они непоследовательные последователи, ибо делают от него шаг назад,— рассматривают войну, как непознаваемую и неуправляемую стихию. Этот фатализм, которым проникнуты и герои ранних романов Бёля («Дом без хозяина» представляет собой в этом смысле уже значительный и обнадеживающий шаг вперед в его творчестве), и книг Ледига, Рихтера, Опица и других, парализует их волю, лишает их веры в возможность плодотворного активного действия, заставляет их пассивно отдаваться ходу событий. Заблудившись в лабиринте инерции и безволия, все эти файнхальсы, шиманы, лингены и проч. продолжают повиноваться, сражаться и умирать, хотя и презирают знамена, под которыми идут в бой, и давно уже не верят в победу. И горько сознавать, что точка зрения героев и вместе с тем в известной мере и самих авторов, талантливых и честных писателей, в конечном счете не на много возвышается над унылой, полной апатии и, можно сказать, классической философской формулой, обычной в конце войны в устах любого, самого заурядного немецкого солдата: «Все — дерьмо!»

В романе «Не убий!», например, Рихтер изображает гитлеровскую войну как неудержимый поток, который увлекает за собой людей, словно щепки, навстречу гибели. Они бессильны остановить его и все гибнут независимо от того, отдаются ли они пассивно его течению (как Юрген Шиман) или пытаются ему сопротивляться — политически (как причастный к антигитлеровскому заговору 20 июля 1944 года оберлейтенант Шеллер), морально (как сектант — «бибельфоршер» Вильке) или посредством дезертирства (как Герхард Лоренц) и т. д. Все герои романа — от шкурника Герхарда до человека чести Юргена — осознают безнадежность войны, проникаются отвращением к фашизму, но так и не находят выхода к спасительному лично для них и общественно полезному действию. «У нас нет выхода,— говорит Юрген в день своей смерти,— нет его ни позади нас, ни впереди. Позади нас военно-полевые суды, а впереди — «катюши».

Сквозь весь роман Хорбаха «Сыновья, которых предали» проходит в качестве лейтмотива мучительный вопрос о том, смогут ли солдаты, окончившие школу беспощадного отрезвления на фронте, претворить плоды своего познания в практическое действие, окажутся ли они в состоянии предостеречь следующие поколения, предотвратить новые катастрофы. Этот вопрос в прямой и обнаженной форме выражен в споре генерала Равенсбурга с капитаном Хагеном.

«— Это зависит от нас, — сказал Равенсбург. — Это целиком зависит от нас.

— Нет, я в это не верю,— возразил Хаген. — Это зависит не от нас. Наш голос не будет ничего значить... Вспомните-ка о годах после первой мировой войны. Как быстро тогда крикуны снова вылезли на передний план!

— Если вы правы, тогда вообще ничего нельзя сделать. Тогда все будет напрасно, даже поражение.

— Я так и думаю, что все будет напрасно...»

Автор не вмешивается в спор своих персонажей, но он строит повествование в трех временных планах, попеременно показывая своих героев в настоящем (март 1945 г.), прошлом и будущем. И читатель на множестве примеров, в бесчисленных вариациях убеждается в том, что развитие событий — будь то в общественном или личном плане — никогда не подчинялось сознательной воле людей. Жизнь в романе Хорбаха предстает перед читателем как траурная вереница разбитых надежд, обманутой веры, несбывшихся ожиданий, тщетных порывов и стремлений.

В романах западногерманских авторов перед читателем нередко выступают как бы данные увеличенной съемкой и претендующие на философско-обобщающее значение образы Судьбы, символы человеческого бессилия и могучей власти сверхличных законов рока. Рисуя в романе «Возмездие» апокалиптические картины гибели большого города под градом авиабомб, Лединг вдруг выхватывает своим объективом из грохочущего и слепящего хаоса муху, которая беспомощно мечется, оглушенная жаром, дымом, запахом пороха и гари, скрежетом металла и криками отчаяния, и образ мухи становится символом обреченности и беспомощности человека, его ничтожества пред грозным ликом судьбы...

Трудно от таких высоких и отвлеченных понятий, как судьба, фатум, сразу перейти к вопросам политической жизни ФРГ. А между тем фаталистическая философия большинства произведений «поколения вернувшихся» тесно связана с социальной действительностью Западной Германии и недостаточной политической зрелостью масс. Немецкий народ по ту сторону Эльбы живет под гнетом тревоги, все время питаемой ремилитаризационной шумихой, «холодной войной», политикой «с позиции силы» и т. д. При этом ясная линия общественного поведения и борьбы за мир пока осознана лишь немногими, а ощущение страшной опасности присуще миллионам. Слепую тревогу этих миллионов и отражают в своих романах Хорбах, Рихтер, Лединг и др.

Творчество этих писателей непрерывно напоминает о страшном прошлом, учит ненавидеть его и всяческие попытки его возрождения. Это уже значит очень многое. Большинство из этих писателей не стоит на месте. Особенно плодотворно и значительно в этом смысле развитие Бёля от романа «Поезд пришел вовремя» до романа «Дом без хозяина». Отрезки пути, пройденные Опицем от «Солдатчины» до повести «Мой генерал» или Рихтером от романа «Они выпали из господней длани» до «Не убий!», также говорят о том, что эти писатели в идейно-художественном отношении развиваются и идут вперед. Но в полной мере они достигнут уровня высоких гражданских требований, отвечающих подлинным интересам народа, лишь тогда, когда они смогут не только будить тревогу и гнев, но и указывать путь.

П. Палиевский

ОДИНОКИЕ МЕДВЕДИ

«Разгневанные молодые люди» впервые появились около трех лет назад. Они упали на Англию, как уэллсовские марсиане. Это были жестокие, злобные и чужие существа. С доверчивым любопытством приблизились первые критики к роману Эмиса «Счастливчик Джим» и вдруг увидели враждебные, ненавидящие глаза. Новый герой зловеще ухмылялся: он был рад, что его не ждали.

Старый писатель Сомерсет Могэм решил, что перед ним «грядущий хам»:

«Это новый класс, выступивший на сцену. Это умственный пролетариат... Они идут в университеты не для того, чтобы овладеть культурой, но для того, чтобы получить работу и, получив, заниматься ею спустя рукава. У них нет манер, и они самым печальным образом не способны воспринять хоть какие-нибудь общественные нормы. Их понятие о празднике — это пойти в кабак и выпить шесть кружек пива. Они подлы, злобны и завистливы... Это подонки. В положенный срок они покинут университет. Часть их, несомненно, опустится вновь, быть может с чувством облегчения, на уровень того скромного класса, откуда они в свое время поднялись; часть займется пьянством, часть — преступлениями и попадет в тюрьму. Другие станут учителями — наставлять молодежь, или журналистами — формировать общественное мнение Немногие попадут в парламент и будут управлять страной. Я считаю для себя большим счастьем тот факт, что успею умереть, не увидев этого».

Между тем виновник этого мрачного пророчества, ехидный молодой человек Джим Диксон, кажется, не подозревал о своей ужасной миссии. Он был прост, иногда весел, чаще печален, хотя действительно не терпел сытых блюстителей всевозможных норм. Ему всегда было приятно пощекотать их, задразнить, довести до бешенства. В провинциальном колледже, где он проходит испытательный срок, его глухо ненавидят и боятся, не без основания ожидая каждую минуту какой-нибудь выходки. И Джим не заставляет себя ждать. Когда шеф, профессор Уэлч — воплощение научного склероза,— приглашает его к себе в дом, он устраивает в отведенной ему комнате невероятный кавардак. На обложке ученого журнала, который получает его сосед, он подрисовывает какой-то персоне усы. Он пишет анонимные письма тоном наглого невежды и разыгрывает семейство Уэлчей по телефону, мастерски подделываясь под разные голоса.

Чего он добивается, покуда никому еще не ясно. Но, разумеется, это лишь усиливает подозрения. Кто знает, что могут прикрывать эти невинные шуточки, это вечное непонятное хихиканье. Пусть бы высказался прямо и честно — в колледже все свои люди. Но Джим уклоняется от объяснений. Только бесконечные проделки выдают его темные замыслы. Возмущение преподавателей растет; растет и желание докопаться до его таинственного «нутра».

В этом стремлении почтенных коллег вывести Джима на чистую воду есть, впрочем, одна черта, которая будет близка и читателю. Кому, в самом деле, не интересно узнать, что это за загадочный тип? Ведь Диксон — молодой интеллигент — находится как раз в том возрасте и положении, которые позволяют видеть в нем приметы времени, черты «нового поколения». Конечно, многое будет зависеть от того, чем живет современная молодежь. Конечно, облик молодого англичанина наших дней, так или иначе появившийся в литературе, способен вызвать у многих нечто большее, чем простое любопытство.

Как это чаще всего и бывает, Джим обнажает свои взгляды в моменты резких столкновений. Случилось так, что он возбудил особую ненависть сына Уэлча — Бертрана. Этот раскормленный юноша вообразил себя живописцем и хотел через свою невесту Кристин заручиться поддержкой ее дяди — богатого мецената Гор-Эркхара. С первой же встречи Бертран и Джим

Kingsley Amis. Lucky Jim. London, Gollanz, 1956. John Osborne. Look back in anger. London, Faber and Faber, 1956. John Braine. Room at the Top. London, Eyre and Spottiswoode, 1957.

яростно заспорили. Бертран: «Сказать вам, что́ я еще люблю? Богатых людей. Я горжусь тем, что это утверждение непопулярно в наши дни. И почему я их люблю? Потому что они очаровательны, потому что они щедры, потому что они умеют ценить то, что люблю и я, потому что их дома полны прекрасных вещей. Вот почему я их люблю и вот почему не хочу, чтобы их грабили. Ясно?» (Речь идет о возможном повышении налогов на крупных предпринимателей). Джим: «Что ж тут плохого... Если у одного человека десять булок, а у другого — две, и если нужно взять одну булку у кого-нибудь из них, то, наверное, стоит забрать ее у того, у кого их десять».

Вот уж и в самом деле опасные идеи. Недаром чувствовали преподаватели, что в Диксоне «что-то есть», что колледж пригрел змею: эти же мысли он развивает прямо с кафедры. «Добрая старая Англия» — такова тема, которую предложили ему для открытой показательной лекции. Но Джим превращает лекцию в скандал. Он произносит ее на разные голоса, подражая профессорам, сидящим в зале. Он предлагает выступить против стандартизации жизни, «против желтой прессы, против бестселлеров». Заключительные его слова: «Главное в доброй старой Англии — то, что это был самый недобрый период в нашей истории» — тонут в неистовом реве. Его увольняют из колледжа.

Кто же этот странный дебошир? Может быть, и впрямь новый человек, современный «разночинец», английский Базаров? Воображение быстро дорисует нам его остальные черты — спокойный стоицизм, занятие науками, упорная работа ума. Но нет; для Джима это слишком много. История — его предмет — нимало не увлекает его; больше того — он почти ничего не читает. Никакого стоицизма в нем нет; напротив, как злорадно отметил м-р Могэм, он действительно непрочь выпить и произносит свою знаменитую лекцию, едва стоя на ногах. Демократизм его тоже весьма расплывчат. В конце романа щедрый и проницательный Гор-Эркхар угадывает в Джиме способного молодого человека; Кристин достается ему вместе с должностью секретаря, на которую раньше претендовал Бертран, и Диксон, таким образом, получает свое место за столом с «десятью булками». Счастливчик Джим... Сомнительное счастье!

Чем ближе мы знакомимся с ним, тем больше поражают нас эта незрелость, нескладность характера, неумение и нежелание выйти за собственные границы. Джим как будто хорошо видит или, по крайней мере, чувствует, как оцепенела в колледже мысль, как заступили ее место схоластика и мирный домашний карьеризм. Он понимает и некоторые более значительные вещи. Однако лучшее, чем он может ответить на них, — это пустить ежа, ошарашить и озадачить своих патронов какой-нибудь выходкой. Он «разгневан» и «страшен», но Гор-Эркхара, например, ему уже не напугать. Его манера говорить, постоянно вторгаясь в запрещенные зоны, заставляет предполагать какую-то цель, скрытые убеждения; но, к сожалению, эти фразы, словно нарисованные двери, никуда не ведут. Отчаяние сменяется у него равнодушием, дерзкие мысли — тоской, а ощущение несправедливости уходит назад перед усталым желанием как-нибудь пристроиться.

Ранняя слабость, преждевременная сдача. Это тяжелая болезнь. И не только один Джим болен ею. Другой «разгневанный», Джимми Портер из пьесы Осборна «Оглянись во гневе», подвержен ей в высшей степени.

Во многом он напоминает Диксона. Тоже бедные родители, тоже университет. Потом — неустроенность и неприкаянность, поиски дела, к которому бы лежала душа. Есть, однако, и различия. Портер — более интеллигентен и одновременно более претенциозен. Он рассуждает о «проблемах XX века» и склонен усматривать причину своих несчастий именно в них. Самих проблем, правда, не видно; видно только, во что превратили они характер Джимми, но ощущение драмы остается все-таки очень острым. Мы наблюдаем в нем самый современный трагический конфликт — напряженный и неуловимый. Портер не принадлежит к тем устойчивым натурам, которые, подобно сейсмографу, отражают большие потрясения лишь тихой записью в душе. Напротив, он бешено вращается и дрожит, как магнитная стрелка в местах аномалий. Глубокие и сильные влияния, конечно, не проходят мимо него, но различить их среди этой пляски нелегко. Нервный, до крайности впечатлительный, Джимми воплощает в себе тип человека, по существу далекого от больших проблем; его связи с обществом обрублены, и в то же время он постоянно чувствует, как тянутся к нему чьи-то невидимые, враждебные нити.

Излюбленное его занятие — издевательство. Вот он сидит, перечитывая груду газет, осыпая градом насмешек нелепые статьи и объявления, потешаясь над тупостью мещан. Достается при этом и его жене Элисон — красивой, спокойной, но ограниченной женщине. Джимми хорошо понимает идиотизм «приличной жизни»: «Никто не думает, ни о чем не заботится! Нет мыслей, нет убеждений, нет энтузиазма. Просто очередной воскресный вечер». Так же, как и Диксон, он часто высказывает самые крайние идеи, так что Элен, подруга Элисон, считает его чуть ли не санкюлотом: «Иногда я его слушаю, и мне кажется, что он думает, будто живет в разгар французской революции. И, разумеется, там как раз ему и нужно было быть».

Но, конечно, нетрудно быть Робеспьером по отношению к собственной жене. Мало геройства и в сарказмах, не выходящих за стены собственной квартиры. Джимми сам с горечью сознает это: «Я полагаю, люди нашего поколения не способны больше умирать из высоких побуждений. Все это сделали за нас — в тридцатых и сороковых годах,— когда мы были еще телята. (В своем

обычном, полусерьезном настроении). Нам не осталось никаких добрых, прекрасных побуждений. Если наступит страшная пора и мы все будем убиты, это не пойдет на пользу старомодным великим идеалам. Это будет просто ради Прекрасного — Нового — Ничто*. Так же бессмысленно, как стать на пути автобуса. Нет, ничего другого не остается, мой мальчик, как отдать себя на съедение женщинам».

Отчаяние разъедает и растлевает его; распадаются и гибнут лучшие качества, сохраняя лишь форму, оболочку из непонятных причуд. Иссякают и сарказмы, как иссякает яд актинии, которую слишком долго и бесполезно раздражали. В эти моменты душевного упадка взгляд Джимми безотраден. В уме его рвется легкая завеса из чистых мыслей, изящных рассуждений, не скрепленных ничем внутри, не поддержанных ничем извне; весь мир окрашивается в черные тона, и личная судьба вырастает для него в некий печальный символ: «Самые большие и самые сильные существа в этом мире — кажется, и самые одинокие. Подобно старому медведю, они следуют за своим собственным дыханием в темном лесу».

Так постепенно перед нами приоткрывается «разгневанный молодой человек». Разглядывая его, невольно думаешь, что где-то это уже было, кого-то он поразительно напоминает. Если наложить один из этих портретов на другой, то сквозь них начинают вдруг просвечивать контуры какого-то старого, знакомого типа. Нет, это не Базаров; кто-то похожий и не похожий. Корепанов!

Да, кажется, это он — молодой человек из серии «Талантливых натур», написанной Щедриным более полувека назад. Это он — даровитый, умный и язвительный, но превращенный застойным бытом в пугало для окрестных мещан; это он, который придумывает всякие «штучки», например подговорит маленького мальчика сказать своему папе: «А где ты дрова украл?» Демон для впечатлительных девиц, гроза для обывателей, он доводит их до исступления, наслаждаясь произведенным эффектом. От прежних мечтаний и замыслов осталось уже очень мало, есть только ненависть и тоска.

Корепанов — блуждающий тип — возникает всякий раз, когда не хватает сил и недостает воли, чтобы искать далее выхода. Заражена корепановщиной и «разгневанная молодежь» Англии. Корепановы — дети долгого безвременья — живут, как одинокие медведи, в темных углах, распугивая сытых обывателей. Они не знают, что делать, а потому свирепы и непокладисты. В сознании их переливаются горечь и злоба, рожденные бессилием сдвинуть с места огромную гнилую махину, которая преграждает им путь. Как к ней приступиться, с какого конца начинать — им неизвестно. Не знают этого и оба Джима.

Было бы, конечно, неправильно отождествлять их целиком со старым классическим типом. Корепанов может, в лучшем случае, служить нам ориентиром, знакомой меркой, которая наметит очертания,— не больше. «Разгневанные» англичане — это, разумеется, совершенно своеобразные, современные люди. Их отношение к жизни так же неповторимо, как и те условия, которые произвели их на свет.

Послевоенная Англия с ее идейным «голодом», который захватил широкие слои интеллигентов, с той страшной пустотой, которая открылась на месте исчезающих традиций и стала наступать все шире, подобно пескам на покинутые поля; весь этот удивительный быт, где люди живут как бы во «взвешенном» состоянии, не находя себе точки опоры, чтобы двинуться вперед, где власть больших денег невидимо разлилась во все поры, во все клеточки общественного организма, — именно в этой неповторимой обстановке появились «разгневанные», и ей во многом обязаны они своим причудливым, странным обликом. Бесхарактерность у них особого рода. Мы можем наблюдать ее во многих произведениях современной реалистической литературы на Западе, но, пожалуй, у «разгневанных» она проявилась ощутимей всего.

Присматриваясь к Джимми Портеру или Диксону, мы заметим странную вещь: они как будто и сами ни во что не ставят человеческий характер. Перед ними все глубже раскрывается ужасная истина того общества, в котором они живут: в их положении характер не имеет, кажется, никакой ценности. Наоборот, он даже мешает. Если раньше — и это было знакомо им из старой литературы — поступки человека зависели от его характера, то теперь опыт убеждает их, что характер так же важен, как цвет брюк или подобная же мелочь: жизнь, поведение, душа человека зависят ныне от совершенно других, посторонних причин. Характер, вовлеченный в какой-то темный водоворот, изменяется тысячу раз, стараясь удержаться на поверхности. Чтобы сохраниться, ему нужно потерять самого себя.

Они видят, что такую роскошь, как относительная независимость, могут позволить себе только очень обеспеченные люди, стоящие наверху социальной лестницы. Им это кажется не под силу. Они лишь смутно подозревают своего подлинного врага, и гнетущие «механические» силы, скрытые в самом общественном устройстве, не укладываются в поле их зрения. Однако они еще не упали и не сломились совсем. Оба Джима еще стараются выкарабкаться из своего полусуществования.

Для того чтобы подняться, нужно пожертвовать многим, и прежде всего — человечностью. Портер и Диксон знают об этом заранее. Третий молодой человек — Джо Лэмптон из романа Брейна «Место наверху» — слишком неопытен и честолюбив, чтобы задуматься над этим. Трагическая история Джо поворачивает проблему с новой стороны.

Этот «английский Сорель», как назвал его один критик, задумал во что бы то ни стало

* Джимми иронически использует заглавие романа Хаксли „Brave New World" (1932 г.).

выбиться из прозябания. Способ, который он для этого избрал, был прост и в то же время труден — предстояло завоевать дочь местного финансового волка, Сьюзн Браун. «Сьюзн была принцессой, а я выполнял роль свинопаса. Я играл, если можно так сказать, в волшебную сказку. Разница, однако, была в том, что трудности, которые нужно было преодолеть, были почище, чем драконы и чародеи, и я не видел никаких признаков доброй волшебницы». Тем не менее молодость, обаяние и холодный расчет помогают Джо. Есть только одно препятствие, которое тревожит и мучает его,— Элис Эйсджил. Он искренне и непроизвольно любит эту женщину; она отвечает ему тем же. Колебания Лэмптона длятся недолго. Овладев Сьюзн, он вызывает скандал. Старый Браун приглашает Джо в клуб и предлагает ему деньги с тем, чтобы тот отказался от его дочери. Джо с негодованием отвергает это и собирается без разрешения жениться на Сьюзн. Но тут Браун сам предлагает ему этот брак. Оказывается, он хотел лишь испытать Джо. Он обещает ему место у себя на предприятии. Этого мало — он «разоблачает» Элис, сообщая Джо об одной ее подозрительной связи. Кажется, что наступил благополучный конец, вроде того, который дан в «Счастливчике Джиме» Эмиса, где благодетельный меценат Гор-Эркхар разрешает все противоречия. Однако финал романа опрокидывает все и разоблачает это «благополучное» впечатление.

Потрясенная и опустошенная, Элис носится по городу на автомобиле и, теряя сознание, на полном ходу врезается в стену. Джо морально уничтожен. Задыхаясь от горя, он бродит по улицам, представляя себе, что думала Элис перед своим последним путешествием, как она вошла в комнату, где все, каждый маленький предмет напоминал об их былой радости... «Все они собрались вместе и атаковали ее, ничем не примечательные в отдельности, но смертоносные коллективно — подобно тем маленьким южноамериканским рыбкам, которые в пять минут обгладывают пловцов до костей». Он забредает в какие-то неизвестные кварталы, вступает в драку с незнакомыми парнями и, наконец, обессиленный, падает на тротуар, где его подбирают приятели — Боб и Ева. Джо судорожно повторяет: «Все знают, что я убил Элис».— Боб с Евой утешают его: «Никто тебя не обвиняет».— «Никто не обвиняет. О боже,— сказал я.— В том-то и весь ужас».

Этими словами завершается роман Брейна. Сила этой книги в том, что она хорошо схватывает противоречие: человеческое достоинство и богатство. Из первых ее страниц мы узнаем, что Джо достиг своей цели и добился полного благополучия. Тем более страшным подтекстом выступает ее финал. Роман, который действительно напоминает чем-то «Красное и черное», рисует распад не окрепшей и не оформленной еще личности, вовлеченной в борьбу за «жирный кусок». В одном месте Джо говорит: «Все, что случилось со мной,— это как раз то, чего я хотел. Я творец самого себя. Судьба, сила обстоятельств, рок, удача или неудача — весь этот избитый инвентарь может быть выброшен из моей истории, как ненужный хлам. Но где-то в самом процессе, когда все еще складывалось, я мог бы стать другим человеком».

Джо Лэмптон — тоже «одинокий медведь». К нему эта фраза Джимми подходит даже скорее, чем к другим: меньше неврастении, больше самобытной силы, упрямство и настойчивость в достижении поставленной цели. Джо мало рассуждает; он, собственно, не «разгневанный» в том смысле, в каком это говорится о Диксоне или Портере. Его друг Чарльз, который гораздо больше повторяет обоих Джимов, уходит в романе на задний план. На переднем — трагический конфликт человека действия, который, одиноко прокладывая себе дорогу, способен утвердить себя только ценою морального распада.

Но его история — это живая проблема, реальное воплощение тех противоречий, которые обнажают и обсуждают теперь «разгневанные молодые люди». Сойдут ли они с одинокой тропы, перестанут ли быть «медведями» — об этом судить еще рано. Первые «нигилисты», они лишь неполно и не совсем ясно отражают то брожение, ту умственную тревогу, в которых находится теперь молодое поколение англичан. Да и писатели, видимо, не вполне овладели еще новым героем; чувствуется, что он им слишком близок, слишком автобиографичен. Им явно не удается еще возвыситься и разрешить для себя ту самую неясность и неопределенность, которой мучаются «разгневанные молодые люди»; они только еще подхватили этот мимолетный, нервно-переменчивый, на ходу слагающийся тип. Как стремительный самолет, преодолевает он на наших глазах какой-то свой «звуковой барьер». Без сомнения, мы еще увидим его после кризиса; каким — покажет будущее.

А. Исаева

МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ

Маленький принц — герой книги Сент-Экзюпери — считал взрослых людьми очень непонятливыми и в высшей степени не восприимчивыми к поэзии и юмору. Мы не придерживаемся столь пессимистического взгляда и потому хотим обратить внимание читателей взрослого журнала на недавно изданную Детгизом (1957 г.) книгу шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», не доказывая предварительно истину, уже ставшую трюизмом: книги для маленьких могут принадлежать к большой литературе.

Когда взрывается игрушечная паровая машина и едва не вспыхивает пожар, когда Малыш залезает на крышу большого дома на одной из улиц Стокгольма, когда кто-то прорезает дырки в его простыне и разрисовывает ее цветными мелками, виновным оказывается таинственный друг Малыша — Карлсон, который живет на крыше. Когда Малыш с важным видом бывалого человека повторяет фразы взрослых: «Пустяки, дело житейское!», «Спокойствие, только спокойствие!», — он в подтверждение этих истин всегда ссылается на высказывания «лучшего в мире» специалиста по всем вопросам — Карлсона, который живет на крыше.

«— Надо отвечать за свои поступки, а не сваливать вину на какого-то Карлсона с крыши, которого вообще не существует! — строго говорит папа.

— Нет, он существует! — упрямо твердит Малыш.

— Да еще и летать умеет, — дразнят Малыша старшие брат и сестра.

— Представь себе, умеет! — огрызается Малыш».

А мама только вздыхает — она понимает, что бессмысленно разуверять Малыша в его фантазиях.

Конечно, Карлсон прежде всего плод фантазии Малыша. Этот образ многим обязан конкретности и живости детского воображения, опирающегося на близкие ребенку образы и ассоциации. Маленький человечек с кнопкой на животе и пропеллером на спине, Карлсон напоминает и самого Малыша, играющего в самолет и заводную детскую игрушку. «С минуту, пока пропеллер не раскрутится как следует, Карлсон стоит неподвижно, но когда мотор заработает вовсю, Карлсон взмывает ввысь и летит...» И жужжание его моторчика во время полета тоже давно знакомо каждому ребенку — словно гигантский шмель влетает Карлсон в окно Малыша.

Отталкиваясь от детской фантазии, Астрид Линдгрен создала образ, который живет своей самостоятельной фантастической и вместе с тем реальной жизнью и даже вступает в дружеские взаимоотношения с Малышом. Этот образ вбирает в себя многие типичные стороны детской жизни и детской психологии и связанные с ними типичные комические проявления характера Малыша — хвастовство, преувеличение своих возможностей и своего жизненного опыта, небезопасную беспечную предприимчивость, наивный эгоцентризм и т. д. Карлсон «лучший в мире рисовальщик петухов», «лучший в мире строитель» из кубиков, «лучшее в мире привидение», «лучший в мире внук»... «Там, наверху», у него есть тысячи паровых машин, тысячи картин, тысячи летающих собак. Он предлагает пошвырять ради забавы стулья из окна, «немного попугать до смерти» прохожих, ведет Малыша по самым опасным местам во время прогулки по крышам. Карлсон ни минуты не стоит на месте, болтая без умолку, все время кружит по комнате, трогает все, что попадает под руку, открывает и закрывает ящики, разглядывает сокровища Малыша — цветные мелки, марки, морские камешки... Он прячется в платяном шкафу и сердится, когда Малыш находит его сразу: «Ты что, не мог сначала хоть немножко поискать меня под кроватью, за письменным столом или еще где-нибудь? Ну, раз ты такой, я с тобой больше не играю!» А когда он опускается на коленки перед горой кубиков, глаза его загораются радостью...

Подчеркивая, гиперболизируя самые разнообразные жизненные проявления ребенка, детская писательница создает органичный, цельный и удивительно убедительный фантастический образ. Характерная ситуация детства, детской игры, отражающая характерные стороны окружающей ребенка жизни, поэтически приподнятой и юмористически осмысленной в образе Карлсона, всякий раз получает в книге свою оценку. И оценка эта довольно определенна при всей своей мягкости, так как тонко расставленные комические акценты всегда создают у читателя четкое эмоциональное отношение к тому или иному поступку или высказыванию Карлсона. Это достигается без назойливых нравоучений, без дидактизма. Так, к словам Карлсона о тысячах летающих собак, которые якобы живут в домике на крыше и звонят домой по телефону, читатель, как и Малыш, относится скорее как к забавному анекдоту, прекрасно чувствуя «недостоверность» этого рассказа. Точно так же за наивно-демагогическими рассуждениями Карлсона о справедливости и несправедливости читатели угадывают маленького хитреца, прикрывающего громкой фразой желание попроказничать или деловитое стремление набить рот сластями.

Однако никогда — и в этом проявляется редкий педагогический и художественный такт Линдгрен как детской писательницы — юмористический эффект не подготавливает резкого, окончательного осуждения самого Карлсона. Сластена, озорник, «жадина», Карлсон тем не менее вовсе не отрицательный персонаж из нравоучительной детской книжки. Все его недостатки смешны, но не отвратительны — ведь они неотделимы от обаятельной непосредственности его поведения точно так же, как его наивное комичное самодовольство неотделимо от его жизнерадостности.

Карлсон в книге Линдгрен не просто противопоставлен Малышу, он и внутренне связан с ним: Карлсон нет-нет, да и проглянет в самом Малыше, а в поведении Карлсона порой проступают, правда в комической форме, лучшие черты характера Малыша — его доброта, отзывчивость, действенно благожелательное отношение к окружающему миру. Полностью характер Малыша раскрывается в его дружбе с Карлсоном, в которой Малыш проявляет много бескорыстия, трогательного простодушия, благородства и неосознанной самоотверженности. Он решает стать Карлсону «родной матерью» и готов пойти ради этого на большие жертвы: ведь Малыш прекрасно понимает, что «тот, кто решил стать

Карлсону родной матерью, не может себе позволить иметь собаку». А мечта о живом (не игрушечном!) щенке — самая заветная мечта Малыша. Сидеть у его корзинки, гладить его косматую голову — большего счастья Малыш не может себе представить.

И так строятся отношения Малыша не только с Карлсоном и всеми встречными щенками: Малыш преданно любит своих школьных товарищей — «ужасно хорошую» Гуниллу и Кристера, с которым ежедневно дерется; нежно любит маму, уважает и любит отца. Да и старших брата с сестрой «чаще всего он все-таки любит». Заботливо, деятельно любит он незнакомую маленькую девочку — «чрезвычайно заброшенного младенца». Образ Малыша, воплотивший другой типический вариант и одновременно другую сторону детского характера, написан с истинным лиризмом, который прекрасно почувствовал и тонко передал в своих веселых иллюстрациях к книжке шведский художник Илун Викланд.

На основе любви и веселого взаимопонимания строятся и отношения в семье Малыша. А семья Малыша — это средняя шведская семья, где папа каждый день уходит на службу, дети в школу, а мама готовит обед и ходит стирать белье в домовую прачечную, Малыш донашивает башмаки старшего брата, а в день рождения вместе с красками и игрушечным револьвером получает в подарок новые штанишки и очень доволен этим.

Повседневная жизнь этой семьи описана с теплом и юмором, который не оставляет места для сентиментальной идиллии.

Многообразный мир добрых человеческих чувств, мысль о несоизмеримости этого мира ни с какими другими ценностями определяют атмосферу книги, умный, тонкий юмор многих ее сцен. Как комична, например, наивная попытка Малыша найти денежный эквивалент любви к себе своей семьи, оценить себя в кронах: «Послушай, папа, если я действительно стою сто тысяч миллионов, то не могу ли я получить сейчас наличными пятьдесят крон, чтобы купить себе маленького щеночка?»

И все же жизнь семьи, описанная в книге, несет в себе определенные черты буржуазной узости. Впрочем, писательница сама это чувствует и пытается противопоставить обыденности интересов и замкнутости этого мирка, да и вообще деловитому прозаизму буржуазного бытия, выступающему в книге в несколько абстрактной форме «жизни взрослых»,— поэзию и романтику, богатство и многообразие жизни ребенка.

Разве взрослые обращают внимание на такие мелочи, как маленький домик за трубой? Даже споткнувшись о него, они только скажут: «Не может быть!»,— и снова займутся своими скучными делами. Разве могут они понять, как прекрасно бродить весенним вечером по крышам, откуда звезды видны гораздо лучше, куда вместе с острым запахом тополей доносятся из раскрытых окон разнообразные звуки большого мирного города: чей-то тихий говор, детский смех и детский плач, звяканье посуды, которую кто-то моет в кухне, лай собаки, бренчание пианино, грохот мотоцикла, цокот копыт и тарахтение телеги. И в этот широкий мир ведет за собой Малыша опять же Карлсон, на этот раз олицетворяющий смелую инициативность и свободолюбие детского характера, своеобразный фантастический Гекльбери Финн этой книги — Карлсон, который живет на крыше и летает, где ему вздумается.

В смягченной форме детской игры проходит через книгу не слишком злое и все же настойчивое пародирование мира «взрослых» отношений — оно и в простодушно демагогических фразах Карлсона о справедливости, благотворительности и правах свободного человека; оно и в комическом подражании Малыша и Карлсона «взрослому» отношению к деньгам, впрочем тут же противопоставляемом писательницей истинному бескорыстию ребенка: Малыш смешно торгуется со старшей сестрой, а кончает тем, что соглашается оказать ей услугу «совершенно бесплатно». Карлсон, помогая Малышу опустошать его копилку, больше всего радуется не монетам в двадцать пять эре, а блестящим пятиэровым монеткам.

Отношения Малыша с Карлсоном даны в развитии. Если в начале книги Малыш разинув рот слушал разглагольствования Карлсона о тысячах паровых машин и картин с изображением петухов, то в конце книги он несколько скептически относится к «тысячам летающих собак». Во всяком случае, они ничего для него не значат по сравнению с живым щенком. Малыш знает уже все смешные привычки и уловки Карлсона и даже прекрасно разбирается в том, что означает в устах Карлсона выражение «благотворительные цели»: «Хорошо, — отвечает он Карлсону,— если я получу коробку конфет, я тебе ее отдам». И все это значит, что Малыш растет, жизненный опыт его увеличивается, реальность постепенно занимает все большее место в его жизни. А Карлсон? С Карлсоном Малыш расстается... Конечно, скорее всего, они еще встретятся — «потом». Малыш, во всяком случае, пока верит в это. Но есть и едва уловимая нотка грусти в их прощальном разговоре. Ведь неизвестно, отпустит ли «бабушка» Карлсона своего «лучшего в мире внука»... И кроме того, «не пора ли Малышу расстаться со своими детскими фантазиями?», как говорит его мама.

«И Карлсон улетел.

Но в корзинке рядом с кроваткой Малыша лежал Бимбо и спал. Малыш наклонился к щенку и тихонько погладил его по голове своей маленькой обветренной рукой».

Так же мягко, как Малышу — герою книги,— с той же доброй и лукавой улыбкой понимания детская писательница Астрид Линдгрен помогает своей книгой и малышу-читателю постепенно расстаться с Карлсоном, вылупиться из него, сделать следующий шаг по жизни. Ведь и малыш-читатель теперь хорошо познакомился с Карлсоном и научился с веселым смехом распознавать его в себе и в своих друзьях.

На протяжении всей книги «остается открытым» вопрос — разумеется, юмористический — о реальности существования Карлсона. Малыш ничем не может доказать ее своим родителям — все проделки Карлсона можно объяснить и как проказы Малыша. Это придает повествованию большую сюжетную занимательность и заставляет читателя активнее переживать события книги. Читатель разделяет и досаду Малыша на недоверие родителей, и его радостное удовлетворение, когда Кристер с Гуниллой, а потом и семья Малыша «видят воочию» эту «маленькую выдумку».

Конкретность детской фантазии, сила и реалистичность воображения ребенка таковы, что вопрос о существовании Карлсона решается писательницей — в шутку — положительно. Однако увидев Карлсона, родные Малыша уговариваются молчать об этом — все равно никто не поверит. Итак, «проблема» снимается шуткой.

Детгиз сделал хороший подарок детям — не так уж много в наших детских библиотеках книг, слушая и читая которые малыши смеются до слез! Впрочем, и взрослый, читая эту книгу, весело улыбнется ее умному юмору, оценит интимность и непосредственность ее интонаций, обращенных к читателю, бескорыстную веселость ее шутки, поэтичность детски-конкретных деталей; «даже взрослый» поймет новизну, наглядность и увлекательность для современного ребенка ее юмористически-фантастических атрибутов — кнопки и пропеллера, при помощи которых Карлсон «спикировал», «спланировал», «приземлился».

Хотя возможно, что серьезный, взрослый читатель, в особенности же искушенный в литературной критике, предъявит этой книге немало претензий. Чего доброго, ему покажется, что она учит озорству и непослушанию, сребролюбию, обжорству, хитрости и обману... Возможно, что он увидит и некоторые настоящие ее недостатки, укажет на отсутствие острой постановки социальных проблем. Но, если это действительно серьезный и вдумчивый читатель, он не сможет не увидеть и не оценить главного — гуманистического пафоса книги, ее доброго, человечного отношения к миру, антибуржуазной, в своем существе, направленности ее юмора.

Следует отметить, что успех книги у советских ребят многим обязан переводу Л. Лунгиной, отличающемуся многогранностью интонаций, естественностью и непринужденностью комического диалога и большим доверием к маленькому читателю, определившим смелую апелляцию к его пониманию многообразных оттенков юмора. Переводчица хорошо справилась со стоявшей перед ней трудной задачей — найти в русском языке выражения, адекватные любимым словечкам и «общим местам» Карлсона. Поэтому так запоминаются детям и так легко входят в их обиход и лексикон многие юмористические понятия и комичные выражения книги.

И. Иваньо
Ф. Неуважный

ПОВЕСТЬ О СОВЕТСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Всегда, когда появляется перевод новой книги, читатель вправе задать вопрос: в чем ее ценность и несет ли она что-либо новое для него? Книга Игоря Неверли «Паренек из Сальских степей»* выдержала в Польше девять изданий и успела снискать любовь польского читателя, особенно польской молодежи.

В книге есть такой эпизод: эсэсовец, «психолог с эмблемой смерти», допрашивает советского военнопленного Владимира Дергачева:

«— Говори,— повторил он,— ты кто?

— Человек,— ответил я равнодушно, чтобы вызвать у него раздражение: пусть кончает сразу.

— Это не ответ! Что значит — человек?!

У меня мелькнула в голове фраза Горького — когда-то в школе мы писали сочинение с таким заглавием:

— Человек — это звучит гордо!

Тот от изумления даже отступил на шаг.

— Гордо? Человек... гордо?

Он весь затрясся от смеха:

— Фи...фи...фи-ло-соф!.. Ты... Платон, Демокрит, Кант, Гегель, Ганди казачий! — Он произносил эти имена, как самые грязные ругательства.— Так вот каков твой психический костяк: вера в человека? Ну что ж, я покажу тебе человека во всем его великолепии! Недаром все-таки я изучал психологию... О, я лишу тебя всех иллюзий, и в тебе не останется ничего, кроме собачьего повиновения! Ты пойдешь со мной на охоту! И ты будешь первоклассной легавой в великой охоте на человека...»

Этот диалог очень примечателен. Мы привели его потому, что он позволяет сразу же отметить одну из стержневых особенностей писательского облика Неверли, характер и направление его творческих исканий, главную тему его творчества. Это — тема настоящего человека. В подходе к ней сказался купленный дорогой ценой жертв и страданий опыт самого писателя, для которого трагическая правда фашистских лагерей была, по его собственному признанию, очень личной правдой.

В Майданеке Неверли встретился с «русским доктором».

В условиях лагеря смерти этот узник сумел остаться настоящим человеком. Тесная дружба связала поляка Игоря Неверли

---

* Игорь Неверли. «Паренек из Сальских степей». Пер. с польского Зинаиды Шаталовой, журнал «Москва», №№ 7 и 8, 1957 г.

и советского военнопленного Владимира Дегтярева (в повести — Дергачева). Кошмарные ночи в Майданеке они коротают, пересказывая прочитанные книги, вспоминая свою жизнь. На несколько ночей растянулась история-исповедь Владимира Дегтярева. Вскоре судьба разлучила друзей. Но его рассказ-история навсегда запал в душу Неверли, и в первой же своей повести он задался целью художественно воплотить ее.

Так родилась повесть о пареньке из Сальских степей. Она написана Неверли приподнято, с большой любовью к герою.

Где-то за Азовским морем, в далеких Сальских степях, была казачья станица, как вырванный листок из истории, а в станице жил веснушчатый мальчик. Он ездил с отцом на пахоту, гонял коней на водопой, лежал среди степи, заглядевшись на звезды, был очарован этой вольной и бескрайней землей... Но вот история коснулась и этого края. В соседней станице была открыта школа — и для «парня от сохи» открылся новый, неизведанный мир. Он полюбил знания, мечтал учиться дальше, но отец его, никогда не знавший, «куда и зачем идти», решил оставить сына при себе. Однажды отец ударил его, и мальчик, бросив дом, покатился дорогой беспризорности, которая чуть не привела его к гибели. Однако советские люди помогли ему стать на верный путь. Он снова в школе. Он мечтает: «Я стану врачом, знаменитым ученым. Объявлю безжалостную войну смерти. Где бы она ни появилась — призрак ее померкнет передо мною...»

Мечта сбывалась. Но пришла война. И где бы оказаться неугомонному пареньку, как не на линии огня? Он спасает жизнь бойцов, становится командиром части, оказавшейся в тылу врага и преследуемой немцами. Попав в плен, Дергачев смело держится на допросе. Пленные очутились в одном из самых чудовищных лагерей, в котором свирепствовали поистине звериные законы. Люди гибли, но не сдавались. Вместе с друзьями Дергачев бежит. Здесь в Польше, на чужой для него земле, ставшей ему дорогой и близкой, он лечит людей, становится командиром советско-польского партизанского отряда. С отеческой заботливостью относится он к детям, оставшимся без матери. И вот он идет навстречу новым опасностям. Тюрьма, допрос, снова концлагери — сначала Майданек, потом Освенцим, новый побег и новые скитания, но всегда неустанная борьба.

Писатель создает обаятельный образ. Это и трезвый реалист, и восторженный романтик.

На лице этого человека годы научной работы и военных скитаний оставили свои следы, и все же осталось в нем что-то от паренька: «нет доктора, нет заключенного, передо мной большой, размечтавшийся паренек». Это «что-то», юное и неугомонное в образе героя, не поддавшееся власти лет и страданий, по-видимому определило и название повести.

У Дергачева везде—друзья, к нему тянутся взрослые и дети. Оторванный от родины, находясь под неусыпным наблюдением врага, он организует людей на борьбу против сиротства, пепелищ, смерти, как бы воплощая мечты своей юности.

Но ни ужас вчерашнего дня, ни кошмарная обстановка сегодня, ни сулившее дальнейшие страдания будущее не смогли сломить волю Владимира Дергачева. Польский писатель изобразил не просто узника № 3569; он показал человека, который отличается гордым и неуступчивым характером, предприимчивостью, поражает смелостью, фантазией, физической стойкостью и духовной силой. В нем дремлет та способность быть вожаком, которая позволяет добиться большого морального авторитета, если он под влиянием коллектива освободится от индивидуализма. Он всесторонне одарен. Но главное для Дергачева — человек и любовь к человеку.

У читателя не остается никакого сомнения в том, что этот человек имел смелость ответить разгневанному эсэсовцу словами великого гуманиста: «Человек — это звучит гордо!» Нет сомнения и в том, что этот человек способен перенести самый страшный экзамен, устроенный его человеческой гордости. Фашизм пришел с эмблемой смерти. Владимир Дергачев еще в юности объявил непримиримую борьбу смерти. «Жалкий цезаришка с черепом и костями вместо герба» пришел охотиться на человека, а Владимир Дергачев — защищать человечность. Человечность побеждает. Эта победа заключается в том, что Дергачев создал советско-польский партизанский отряд, и в том, что Игорь Неверли написал свою книгу, и в том, что переводчица книги на русский язык Зинаида Шаталова нашла героя, которого автор считал погибшим.

Писатель показал, что хождение по мукам войны было для советского человека испытанием его правды. И эта правда одержала победу. Неверли утверждает, что будущее человечества принадлежит обществу, которое рождает людей, подобных Дергачеву. В этом глубоко гуманистическом произведении сказался купленный ценой жертв и страданий опыт самого писателя, увидевшего неоспоримое духовное превосходство советского человека.

Центральный образ книги не выдуман автором, а является художественным воспроизведением живого человека, советского врача, узника фашистских лагерей, Владимира Ильича Дегтярева. Как оказалось, он опять бежал из концлагеря, работал врачом в Германии, а в 1946 году возвратился на родину. Знай это, Неверли мог бы добавить еще одну главу к своей повести. Но он узнал это только через 10 лет после написания повести, в 1957 году.

Как сообщает в послесловии к повести сам писатель, все в основном подтверждало историю, рассказанную в «Пареньке из Сальских степей», однако размах боевых действий партизанского отряда Дегтярева был шире и борьба серьезнее, чем это

показано в его произведении. Расхождения между самой жизнью и ее отражением в повести оказались незначительными. При этом писатель скорее что-то преуменьшил, чем преувеличил.

В послесловии к другой книге Неверли — роману «Под фригийской звездой» (раньше первой переведенному на русский язык) — Неверли признается, что до сих пор питает непреодолимую слабость к своему первенцу. «Ничего не поделаешь,— пишет он,— сам был мальчишкой, веснушчатым, неугомонным».

Это авторское признание очень показательно: оно свидетельствует о близости духовного мира автора и духовного мира героя.

В основе повести — рассказ самого действующего лица, занимающий девять десятых ее объема, и может показаться, что произведение является пассивной записью этого рассказа, без участия воображения художника. Конечно, это не так. Автору, по всей вероятности, пришлось очень многое говорить от себя, но это вложено в уста героя-рассказчика. Перед писателем — конкретная судьба, живая жизнь, которая как бы сковывает и связывает писателя необходимостью следовать ей, не отрываться от нее. Но художественные задачи заставляют писателя преодолеть эту зависимость, создавая образ в соответствии с замыслом. Неверли всегда держится вблизи от действительности и в то же время не отдает себя в плен факту, не чуждаясь вымысла, типизирует, перерабатывает. «Вымысел, во всяком случае мой вымысел, вырастает лучше всего на почве, богатой жизненным содержанием»,— замечает Неверли.

Автор застал своего героя в действии, в среде, где он борется. «Сгорела ли еще одна жизнь, чтобы потом кучкой пепла просыпаться из желтого лукошка на бесплодные бранденбургские пески», или Владимир Дергачев остался жив — писатель не знал, знал только то, что «с ясным и смелым лицом пошел за горы высокие, за моря далекие — беспокойный веснушчатый паренек».

В манере повествования есть нечто от сказки, но эта сказка, ставшая реальностью, проникнута не эпическим бесстрастием, а лирическим пафосом. Повествование искренне, как исповедь. Эта искренность в сочетании с высокой идейной направленностью произведения глубоко волнует читателя.

Созданный писателем образ заставляет нас вспомнить образы «настоящих людей» советской литературы, книгу Б. Полевого, «Молодую гвардию» А. Фадеева, «Судьбу человека» М. Шолохова.

Волнующая и правдивая повесть Неверли, написанная еще в 1947 году, звучит более современно, чем писания многих его польских коллег, в 1957 году повторяющих зады формалистического буржуазного искусства.

В польской печати все чаще раздаются голоса о кризисе романа и повести, которые якобы не отвечают темпу, ритму современной жизни. По мнению таких критиков, жизнь требует теперь более сжатых, лаконичных, отрывочных форм отражения, которые лучше и вернее схватывают узловые вопросы данного момента. Кроме этого, они считают, что эпические произведения требуют дистанции времени, спокойствия и т. д. Эти заявления, на наш взгляд,— попытка зашедших в тупик литераторов оправдать свой отход от больших современных вопросов. Повесть о Дергачеве, как и «Под фригийской звездой» Неверли, книги М. Домбровской, К. Брандыса, Е. Путрамента и других свидетельствуют как раз об обратном. На страницах польских газет и журналов все еще продолжаются споры о судьбе реализма. Некоторые соотечественники Игоря Неверли довольно ретиво охаивают реалистическое искусство Советского Союза. Возводя в закономерность трудности и недостатки советской литературы, они занимаются проповедью искусства, независимого от жизни, причем это делается под лозунгом свободы искусства, новаторства и т. п. Под прикрытием «свободы искусства» они уходят из мира общественного в мир иррациональных абстракций, смысл которых едва ли понятен им самим.

Мы глубоко убеждены, что человечеству всегда будут ближе и понятнее образы, несущие правду о человеке и мире, чем заумное кривляние и формалистические абстракции, уводящие от жизни. Искусство живет исканиями. Но если эти искания направлены не на то, чтобы найти пути к правде жизни, а являются формой «спасения от действительности», они не только бесполезны, но и приносят вред. И Неверли — тоже искатель. Но он занят поисками средств для отображения того нового, что происходит в самой действительности. И он умеет находить не только людей, достойных изображения в искусстве, но и поистине художественную форму для воплощения своего писательского ви́дения. Он уважает и любит жизнь и труд человека и восхищается его величием. Успех его повести, не ослабевающий в Польше в течение десятилетия со дня ее написания, а также большой интерес к ней советского читателя ясно говорят о том, что искусство социалистического реализма глубоко волнует людей. Успеху книги во многом способствует и талантливый перевод Зинаиды Шаталовой, сумевшей донести до читателя особенности оригинала.

Нам отвечают

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

Редакция журнала «Иностранная литература» обратилась к деятелям культуры ряда стран с просьбой высказать свои мысли и пожелания по поводу расширения международных культурных связей в 1958 году.

В этом номере публикуются полученные редакцией ответы.

Тойн де Фрис

Мои прогнозы и пожелания

Редакция журнала «Иностранная литература» попросила меня высказать свое мнение о перспективах развития международных культурных связей в 1958 году... Что же мне сказать? Я не принадлежу к числу политиканов, у которых портфель битком набит всяческой информацией. Из-за того, что я «красный», меня лишают возможности принимать активное участие в культурной жизни своей страны. Зарубежные же мои связи ограниченны, и поэтому мне придется оценивать ситуацию и строить прогнозы на основании того, что мне удается узнавать из газет, которые я получаю из нескольких стран и просматриваю более или менее регулярно. Полагаю, что прогнозы мои на 1958 год по большей части можно счесть также и пожеланиями; могу сказать о них только одно — они искренни.

Я мог бы ответить на вопрос о расширении культурных связей коротко, одной фразой: в 1958 году развитие культурного сотрудничества между всеми странами мира не только останется столь же настоятельной необходимостью, как и прежде, но и перспективы его, насколько я могу судить, будут лучше, чем в недавнем прошлом.

Я чувствую, что такого рода заявление нуждается в некоторых комментариях.

Так, например, в странах Западной Европы широко распространено одно очень давнишнее заблуждение; оно в ходу даже среди нас — тех, кто именует себя людьми прогрессивными и социалистами и понимает, какие сдвиги и перемены происходят в существующем порядке (или беспорядке) вещей.

Заблуждение это проистекает из того ошибочного представления, будто Европа — центр мира. При оценке международной ситуации мы всегда начинаем со своих стран, исходя из исторически сложившейся, но (увы!) обветшалой предпосылки, что наш европейский континент некогда был очагом мировой цивилизации... Буржуазные интеллигенты и ученые изо дня в день повторяют эту ошибку, и их серьезнейшие заблуждения громоздятся друг на друга, вырастая в целую гору ложных идей. Должен признаться, что и сам я иной раз не в силах отрешиться от такого устарелого взгляда.

Потому-то, когда мне задают вопрос о перспективах развития культурных связей во всем мире, я должен сперва собраться с мыслями и в свою очередь спросить: о каком мире идет речь? И только когда я отвечаю на этот вопрос, до моего сознания доходит, что фактически имеется в виду вся наша древняя матушка-земля.

Прежде всего, мне хотелось бы сказать здесь несколько слов о Соединенных Штатах, потому что именно с ними связаны многие наши проблемы и затруднения. В западноевропейских странах люди с известным культурным уровнем привыкли относиться к Соединенным Штатам, как к здоровенному, горластому и глупому меньшому брату. Иной раз суждение это бывает очень правильным. В американской жизни действительно было и есть много варварского, а отсталость Америки в области культуры и науки становится все более очевидной для западного мира, причем проявляется она в довольно грубой форме. Если пытаться рассматривать явления в

исторической перспективе, то, конечно, понимаешь, что и американцы внесли немало ценного в культурное наследие человечества; а учитывая, что в США существуют не только атомные маньяки, но также очень тонко чувствующие, гуманно мыслящие люди, творчески одаренные, умные, интеллигентные, чистые душой, начинаешь ожидать от этой страны чего-то большего и надеяться, что в недалеком будущем цивилизация Америки возродится благодаря ее внутренним силам. Что же касается западноевропейских буржуазных ученых и художников, то они, по-прежнему презирая США за их варварство, тем не менее лижут пятки этому здоровенному, горластому и глупому меньшому брату, потому что карманы его набиты новехонькими долларами, а каждый доллар — это примерно 4 голландских гульдена, 625 итальянских лир, 450 французских франков...

Привычка считать Европу центром мира приводит и к другой ошибке. Жители Западной Европы со снисходительной благосклонностью готовы признать значение культур восточных стран, в особенности тех, которые они эксплуатировали и грабили на протяжении трех столетий, заполняя множество своих музеев памятниками их искусства — архитектуры, живописи и поэзии.

Читая эти строки, советский человек, который ненавидит колониализм — но которому, к счастью, не пришлось узнать на опыте разлагающее действие колониального господства на человеческую душу, — даже представить себе не может, насколько мы, жители западноевропейских стран, развращены в этом отношении.

Поэтому и получается, что, говоря о международных культурных связях, прогрессивные люди Запада рассуждают, главным образом, со своих позиций, хотя и сознают, что связи эти не могут основываться на почитании доллара, смешанном с презрением, или на высокомерной снисходительности к народам Востока. Мы должны решительно отбросить этот образ мыслей как дурную привычку, как пережиток капиталистической гегемонии в худшей ее форме. Стало быть, вполне естественно рассматривать вопрос о международных культурных связях с точки зрения самих народов, независимо от того, где и как они живут. Если бы я, оценивая перспективы развития культурных связей, ограничился лишь Западной Европой, то выводы мои были бы несколько пессимистическими, но рассматривая этот вопрос без всяких предрассудков, в подлинно международном масштабе, я убеждаюсь, что связи эти крепнут и расцветают.

Я был в Советском Союзе на праздновании сороковой годовщины Великой Октябрьской революции, и на меня произвело глубочайшее впечатление небывалое количество иностранных гостей: тут я окончательно понял, что для многих миллионов людей в Азии и Африке Москва стала источником огромной моральной и материальной поддержки. Я своими глазами увидел представителей этих стран и сразу почувствовал: вот мир завтрашнего дня, вот новая закваска, на которой взойдет будущее нашей планеты; вот неодолимая сила нового общественного порядка; вот представители народов, которые будут строить свои страны и свою внешнюю политику на принципах международного мира и всеобщей безопасности. Именно тогда, в Москве, я понял не только то, что Западная Европа превратилась в заповедник прошлого, несмотря на весь свой великолепный фасад, но и то, что Советский Союз, несущий человечеству здоровый дух своей молодой гуманистической культуры, уже стал центром современного мира.

Поэтому, когда мы говорим о международных культурных связях, нам ясно, что в 1958 году новые связи СССР с пробуждающимися народами и странами Азии, Африки, Латинской Америки будут расширяться стремительно и бурно. Такова новая тенденция мировой истории, и, быть может, она побудит историков грядущего написать интересную главу о наших днях под названием: «Период установления новых дружественных связей между странами социализма и борющимися молодыми народами Востока и Запада»...

Залогом этого мощного развития является неуклонный рост и превосходство победоносной социалистической науки и промышленности, которые, положив начало покорению мирового пространства, уже сейчас так расширили все наши горизонты — и в материальном отношении и в философском.

Этот важный факт, революционный по своему значению, не может не оказать воздействия на старую половину мира, на лагерь капитализма, который, совершенно растерявшись после смелого прыжка советского гиганта в мировое пространство, выделывает самые нелепые антраша, но, без сомнения, вскоре угомонится и поймет, что только нормальные человеческие отношения с этим гигантом — то есть мирное и разумное сосуществование — являются единственно правильным решением.

Продолжать прежнюю политику угроз и обвинений по адресу Советского Союза — занятие бессмысленное и бесперспективное: как бы капиталисты ни разрисовывали себе лица устрашающими боевыми знаками, им больше не удастся запугать силы мира и социализма во всем мире.

Несмотря на все попытки буржуазной европейской прессы замалчивать такого рода сообщения, широко известно, что между культурными организациями и отдельными деятелями культуры США и СССР наладились гораздо более многочисленные связи, чем этого хотелось бы махровым реакционерам, и плодотворность этих связей послужит новым стимулом к тому, чтобы расширять их и дальше вплоть до официального уровня.

Поэтому в заключение своего прогноза (который одновременно является и самым

искренним моим пожеланием) я хотел бы сказать следующее: 1958 год, несомненно, ознаменуется укреплением международных культурных связей. Правда, первенство в этой области будет принадлежать не Западной Европе, ибо она больше уже не играет решающей роли в международных делах. Огромная значимость тех преобразований, которые на наших глазах совершают народы социалистического сектора мира, в том числе талантливый и могучий китайский народ, а также неизбежное стремление всех представителей разноязыкого и разноплеменного человечества утолять свою духовную жажду из всякого доступного им источника приведут к установлению новых связей, а эти связи породят дружбу между народами и отдельными людьми, которых прежде разделяли огромные расстояния.

В результате больших успехов, достигнутых недавно учеными Советского Союза, планета наша стала как-то меньше... Поэтому всем нам, обитателям матушки-земли, жизненно необходимо впредь вести наше хозяйство сообща, в духе мирного сотрудничества во всех областях.

Амстердам

Димитр Шутеричи

Искусственные препятствия не помешают культурным связям

Я благодарен редакции вашего журнала за то, что она попросила меня написать эту статью. В самом деле, вопрос о расширении культурных связей Албании с другими странами как социалистического, так и несоциалистического лагеря заслуживает внимания.

В подобной статье нет, конечно, надобности долго распространяться о прошлом и настоящем албанской культуры, но мне кажется уместным сказать несколько слов и об этом. Расположенная между Римом и Грецией, Востоком и Западом, в месте пересечения двух великих культур, Албания и сама является страной древней культуры. Ламартин был прав, когда писал нашему поэту де Рада в середине прошлого века: «Поэзия родилась на ваших берегах и должна туда вернуться». Но тяжелые исторические бедствия, постигшие нашу родину, сделали очень трудным это «возвращение». Достаточно вспомнить пятисотлетнее владычество турок, которые оставили в Албании руины и ничего другого, кроме руин.

Таким образом, в 1944 году, когда народ пришел к власти, страна находилась в полуфеодальном состоянии, 85 процентов населения было неграмотно. Мы ликвидировали неграмотность и смогли создать наши театры, нашу оперу, наш университет и т. п. Мы унаследовали богатый и прекрасный фольклор. Несмотря на огромные трудности, мы сумели создать еще в XIX веке значительную по своим достоинствам литературу. Советский читатель, который познакомился уже с некоторыми произведениями Наима Фрашери, Чаюпи, Мидьени, с большим удовлетворением прочтет произведения Иеронима де Рады, Серембе, Дары, Мьеды, Асдрени. Без сомнения, наш древний язык заслуживает большего внимания, хотя бы, например, для понимания происхождения индоевропейских языков. Наша молодая археология имеет в своем активе очень интересные открытия, проливающие свет на древнюю иллирийскую культуру. Деятели культуры и науки зарубежных стран извлекли бы большую пользу от изучения нашего литературного и музыкального фольклора.

Значение культурных связей с другими странами представляется нам прежде всего в приобщении албанского народа к мировой культуре. Произведения великих классиков от Гомера до Горького были известны раньше только немногим албанцам. Шекспир, а также Сервантес и Омар Хайям были прекрасно переведены нашим замечательным писателем Фан Ноли. Но только сейчас мировая литература становится достоянием широких масс албанцев, истоком, откуда они черпают величайшие ценности человечества. В настоящее время произведения Аристофана и Софокла, Шиллера и Байрона, Пушкина и Толстого читаются тысячами людей. Это — большое достижение народа, который еще вчера был таким отсталым. Я говорю о литературе, но то же самое можно сказать и о музыке. Наша молодая опера имеет в своем репертуаре Глинку, Верди, Чайковского и других крупнейших композиторов. С таким же успехом мы знакомим в настоящее время наших сограждан с наиболее значительными произведениями современной мировой литературы. Мы проделали большую работу по переводу многих произведений советской литературы и заняты тем же в отношении литератур других социалистических стран. Значение этих переводов велико не только для воспитания албанского народа, но и для укрепления братских связей между нашими странами, не говоря уже о влиянии, оказываемом на нашу литературу писателями, вставшими на путь социалистического реализма.

Особое значение приобретает тот факт, что совершенно не известная за пределами

страны классическая и современная албанская литература начала сейчас переводиться в различных странах мира, и особенно в странах социалистического лагеря. Произведения албанских авторов переводятся теперь не только на русский, болгарский или румынский, но и на языки таких отдаленных стран, как Китай, Корея, Монголия и Индия. Понадобилось всего 10—12 лет народной власти для того, чтобы наша литература стала известна за рубежом. Это очень важно для такого народа, как наш, и для развития его дружеских связей с другими странами.

Несмотря на то, что мы перевели очень много произведений писателей капиталистических стран, следует, однако, сказать, что там ничего не делается для того, чтобы лучше знать нашу культуру и литературу. Объясняется это тем, что на Западе имеются преграды в изучении культур социалистических стран и особенно малых народов; существование последних игнорируется капиталистами. Мы надеемся, что это положение изменится после того, как литература Албании будет лучше изучена нашими друзьями. Ведь такой язык, как русский, с его мировым значением, поможет ознакомлению с албанской литературой за рубежом. С другой стороны, визиты в Албанию писателей, публицистов и других деятелей прогрессивной культуры Запада принесут свои плодотворные результаты.

Освоение мировой культуры нашим народом и выход национальной культуры на международную арену — вот два важнейших события в жизни новой Албании. Этого не было и не могло бы быть при антинародных режимах прошлого, при правителях, которые продавали страну и насаждали среди албанцев ненависть к другим нациям.

Для политики нашего государства и Партии труда характерны неустанные усилия в укреплении дружбы со всеми народами. Литература, искусство и наука играют значительную роль в этой области. Мы еще больше будем укреплять наши культурные связи с СССР и со всеми социалистическими странами. Уже много албанцев, советских граждан, китайцев, болгар и людей из других стран мира побывали в гостях друг у друга. Эти визиты станут чаще в будущем.

Я хочу отметить, что наш народ глубоко заинтересован в хороших отношениях с соседями, с которыми его связывают общие традиции культуры, сотрудничества и борьбы за свободу. Это же можно сказать и об арабских народах, ведущих сегодня борьбу за свою национальную независимость, за расцвет своей древней культуры, пользующейся признанием во всем мире.

Наш национальный поэт Наим Фрашери, говоря о препятствиях, которые в свое время чинились развитию албанского языка, отмечал, что «нельзя помешать жизни языка нации». Действительно, Турция не смогла уничтожить наш язык. Перефразируя Наима, можно сказать, что с помощью искусственно созданных препятствий нельзя помешать культурным связям между народами. Помешать этому стремятся именно те, кто борется против мира и прогресса. Но усилия народов, направленные на сближение через культурные связи, преодолевают все препятствия. Стало очевидным фактом, что, несмотря на лживую пропаганду международной реакции, советская культура стала великим фактором прогресса и дружбы для всех народов мира.

Деятели культуры Албании сделают все, чтобы знать культуру других народов. В этом мы все заинтересованы.

Тирана

Жорж Сориа

Идти все дальше вперед

Люди не всегда еще отдают себе полный отчет в том, какое огромное значение имеют культурные связи для улучшения взаимопонимания и ликвидации предубеждений. В пояснение мне хочется привести один пример. Это было во время первого после войны концерта во Франции советского скрипача Давида Ойстраха. В огромном зале дворца Шайо я оказался рядом с двумя преподавателями музыки. Они бурно выражали свое восхищение игрой советского музыканта. Но, обмениваясь впечатлениями, один из них при этом сказал:

— Я слышал, что Ойстрах учился за границей. Иначе он не мог бы так играть.

Во время антракта мне пришлось объяснить моим соседям, что они заблуждаются, что Ойстрах учился в СССР, что он лишь один из представителей советской скрипичной школы, имеющей много талантливых исполнителей. Не знаю, удалось ли мне переубедить их, но, несомненно, они ушли с концерта с новым представлением о состоянии культуры в социалистической стране.

Приведенные мною слова французского преподавателя музыки — явление, характерное для представителей некоторых кругов французской общественности, среди которых все еще существует мнение, будто Советский Союз — отсталое государство. Характерно, что известия о запуске в СССР искусственных спутников Земли произвели на них впечатление разорвавшейся бомбы именно потому, что они были в плену

пропаганды, которая годами вдалбливала им в голову, что научная мысль и техника в СССР стоят на низком уровне, что самое передовое в мире государство — это США и т. д. Вот почему каждое новое выступление представителей советской культуры в Париже и других городах Франции мы рассматриваем как новую брешь в искусственно созданной завесе лжи о культурной отсталости советского государства и его народов. Вот отчего мы придаем такое большое значение дальнейшему расцвету культурных связей между нашими странами.

Возглавляемое мною «Парижское литературно-художественное агентство по культурным связям» стремится всячески расширить сферу культурных контактов между нашими странами. Потому-то мы и придаем такое большое значение подписанному в Париже в октябре 1957 года плану культурных связей между СССР и Францией; с французской стороны под ним стоит подпись начальника культурно-технического отдела Министерства иностранных дел. Этот документ открывает перед нами новые возможности, ибо до настоящего времени культурный обмен между Францией и СССР происходил исключительно по линии личной инициативы или инициативы отдельных частных организаций. Теперь этой деятельностью будут заниматься и государственные органы. Отныне культурные связи между нашими странами будут охватывать самый широкий круг вопросов, начиная с обмена театральными труппами и кончая обменом студентами, стажерами и т. д. Мы уверены, что вслед за планом будет подписана и специальная конвенция. Для разработки этой конвенции создана смешанная комиссия, которая должна подготовить ее проект.

Как директор «Парижского агентства» я выражаю надежду, что в 1958 году культурные отношения между нашими государствами будут еще более расширяться. Мы рассчитываем на то, что во Францию приедут коллективы и солисты, которые продемонстрируют французскому зрителю высокий уровень советской культуры. Уже есть договоренность о гастролях во Франции скрипача Леонида Когана и артистов цирка, которые выступят во многих городах страны. Меня радует, что переговоры по поводу обмена балетными труппами Большого театра и парижской «Гранд Опера» происходят в деловой обстановке, и я надеюсь, что они завершатся соглашением, которое определит сроки этих гастролей, намеченных на май-июнь 1958 года.

Как французский писатель и драматург я хотел бы, чтобы в 1958 году связи между литературами наших народов все более и более крепли, чтобы как можно больше новых произведений советских писателей переводилось на французский язык, а французских — на русский. Нет нужды говорить о значении такого рода обмена, и я отдаю себе отчет, какую роль в этом деле играет журнал «Иностранная литература».

Как переводчик с русского языка я, так же как и мои коллеги, намерен познакомить французских зрителей с русской драматургией, начиная от А. Н. Островского и кончая пьесами современных советских писателей. Думаю, что лучшие произведения французской драматургии также найдут место на советской сцене.

Сфера культурных связей огромна, и я не пытаюсь в этой небольшой статье объять необъятное. Мне хочется только еще раз подчеркнуть, какое огромное значение имеют эти связи для дела мира и взаимопонимания наших народов.

В заключение мне хочется выразить пожелание, чтобы 1958 год ознаменовался новыми успехами в деле расширения культурных связей, чтобы мы пошли еще дальше вперед по этому пути.

Париж

Эрик Хорскьер

Вклад в дело мира

Две страны Европы — Дания и Россия — никогда не воевали друг против друга. С древнейших времен связь между нашей маленькой страной, расположенной на побережье Балтийского моря, и огромной континентальной Россией была всегда очень тесной. Культурный обмен между ними носил весьма оживленный характер. Одни датчане посещали Россию как гости, другие оставались там жить и работать и снискали себе при этом мировую известность. Одного из первых зодчих Петербурга Доменико Трезини Петр I пригласил из Копенгагена. Датский моряк Витус Беринг стал всемирно известен благодаря своим незабываемым исследовательским экспедициям в Северном Ледовитом и Тихом океанах.

Выдающийся датский гуманист и драматург Людвиг Хольберг живо интересовался русской жизнью и в ряде своих остроумных и проникновенных работ описал реформы Петра I. Он считал русского царя одной из самых значительных фигур в мировой истории. Виднейший датский скульптор Торвальдсен многие из своих лучших произведений передал России, а поэт и народный просветитель Грундтвиг в своих книгах предвидел блестящее будущее России, то время, когда русский народ получит возможность пользоваться плодами просвещения. Русская литература оказала огромное влияние на датских писателей; все датчане знают имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Горького и других выдающихся представителей русской литературы.

Обмен культурными ценностями, личные контакты между деятелями культуры, взаимное знакомство с литературой, искусством, музыкой, наукой — вот необходимые условия для мирного сосуществования стран. В основе отношений между Данией и Советским Союзом лежат добрые, хорошие традиции, на основе которых могут успешно развиваться дальнейшие связи.

Мы, датчане, знаем, с каким интересом советские люди относятся к вкладу нашей маленькой страны в мировую культуру. Мы знаем, что датские писатели Ханс Кристиан Андерсен и Мартин Андерсен Нексе издаются в Советском Союзе тиражами, равных которым нет нигде в мире. Сейчас самые маленькие советские читатели имеют возможность познакомиться со своеобразным датским юмором — в недавно вышедшей замечательной детской книге Йенса Сиксгора «Пелле один во всем мире». Эта книга издана с иллюстрациями талантливого датского художника Арне Унгермана. Взрослые же советские читатели получили в свое распоряжение большой том собрания комедий Людвига Хольберга.

Прошедший год заложил новый камень в благородное здание датско-советского сотрудничества в области культуры. Датское издательство «Тиден» завершило (выпуском томика «Рождение человека») публикацию избранных рассказов Горького, а издательство «Мега» выпустило последний том трилогии А. Толстого «Хождение по мукам». В переводе на датский язык недавно вышел чудесный, искренний роман Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», а такие классики русской литературы, как Лев Толстой и Достоевский, выходят все новыми и новыми изданиями.

Летом 1957 года нашу страну посетили два советских писателя: Михаил Шолохов встретился с читателями своих книг и беседовал со своими датскими коллегами, Геннадий Фиш целый месяц ездил по Дании, знакомясь с местными условиями жизни, которые затем описал в статьях, публиковавшихся в советских газетах и журналах.

Советские музыканты и танцоры приняли участие в месячнике датско-советской дружбы, они с большим успехом выступали в ряде городов Дании. На экранах кинотеатров страны демонстрируются советские кинокартины. Большой интерес вызвал, в частности, фильм «Сорок первый».

В ноябре прошлого года общество «Дания — Советский Союз» организовало интересные фотовыставки «Жизнь в Советском Союзе» и «Сорок лет советского кино». Обе они хорошо посещались населением.

Все эти мероприятия способствуют распространению знаний о советской культуре среди датчан. В 1957 году советские ученые внесли огромный вклад в развитие мировой науки. Благодаря им датский язык обогатился новым словом «спутник». Многие датчане наблюдали полет первых искусственных спутников Земли. Почти весь датский народ сидел у радиоприемников, прислушиваясь к сигналам из космоса, возвещавшим о новом триумфе социалистической науки. У тысяч и тысяч людей открылись глаза на то, что Советский Союз стал ведущей страной мира в области науки и культуры.

С другой стороны, VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве явился ценнейшим вкладом в дело взаимного знакомства представителей всех стран и народов. Многие молодые датчане познакомились с жизнью советской молодежи, а все увеличивающийся поток писем между нашими странами углубляет начатое знакомство.

Что следует сделать для дальнейшего расширения культурного сотрудничества, для установления еще больших контактов между нашими странами? Чего мы ждем от 1958 года? Если с этим вопросом обратиться к представителям различных кругов датской общественности, можно быть совершенно уверенным, что в ответ мы услышим одно и то же: хотим видеть на сцене Королевского театра в Копенгагене балетную труппу Большого театра. Такое приглашение уже сделано, и мы не теряем надежду рано или поздно увидеть у себя на родине выдающихся мастеров советского балета. Необходимо направить все усилия на осуществление этого благородного замысла, который, безусловно, ознаменует новую эпоху в датско-советских культурных связях.

Датские читатели с большим нетерпением ждут нового тома романа Шолохова «Поднятая целина» и также надеются, что произведения многих других советских писателей появятся в переводе на датский язык. С неменьшим нетерпением ожидают в Дании появления фильма по роману Шолохова «Тихий Дон».

Многие датчане хотели бы в будущем году видеть у себя, помимо других выставок, освещающих жизнь Советского Союза, выставку советского искусства — живописи, графики, скульптуры. Мы также надеемся в скором будущем увидеть в Дании группу советских артистов — музыкантов, певцов, танцоров, которые продемонстрируют нам высокий уровень советского искусства.

Нас очень радует растущее сотрудничество в области науки и техники, свидетелями которого мы явились в связи с Международным геофизическим годом. Хотелось бы, чтобы датские и советские ученые еще более расширяли взаимные контакты во всех областях своей деятельности на благо процветания науки во всем мире.

Мы хотим, чтобы между Данией и Советским Союзом увеличился обмен туристами с тем, чтобы большее число датчан имело возможность собственными глазами увидеть достижения Советского Союза, а советские туристы — посетить нашу страну. Ничто так не способствует устранению тех предубеждений, которые еще стоят на пути настоящего взаимопонимания, как личные связи. Обмен туристами следовало бы организовать по профессиональному признаку.

Каковы наши пожелания советской стороне для расширения культурного сотрудничества?

Мы надеемся, что хорошие новые переводы ряда комедий Хольберга, недавно вышедшие в издательстве «Искусство», натолкнут советский театр на их постановку и дадут возможность блестящим советским артистам по-новому осветить эти замечательные произведения.

Мы также хотели бы, чтобы советские люди получили возможность читать больше книг датских писателей, представляющих как старую, так и новую литературу. В качестве конкретного примера я рекомендовал бы избранные произведения замечательного философа и прозаика Сёрена Киркегора, который, несмотря на все свои ошибки, до сих пор владеет умами не только многих датчан, но и людей в разных странах мира. Из современной датской литературы хотелось бы, чтобы советский читатель познакомился с одним из выдающихся наших реалистов — Кнутом Беккером. Я не сомневаюсь, что его последний роман «Марианна», в котором нарисован один из самых замечательных женских образов нашей литературы, захватит советского человека и поведает ему многое о жизни Дании.

Что касается области искусства, то надо полагать, что для советских людей представит значительный интерес выставка современной датской живописи, а в области промышленности — выставка строительной техники, а также мебели.

Можно было бы назвать много других мероприятий: например, увеличение товарообмена, который тоже будет способствовать активизации культурных связей, расширение сотрудничества в области радиовещания, в особенности обмена музыкальными радиопередачами, и многое другое.

Основная задача культурного сотрудничества — способствовать укреплению мира во всем мире. Искусство — наилучшее средство для создания атмосферы взаимного уважения между нациями. При современном развитии науки и техники всем нам жизненно необходимо лучше знать друг друга, чтобы таким образом добиться обоюдного взаимопонимания. Культурное сотрудничество — важный вклад в дело мира, и мы должны делать все возможное на этом благородном поприще.

Копенгаген

Ференц Семлер

За более тесные связи между писателями

В настоящее время можно определенно сказать, что международные связи между писателями и деятелями культуры различных стран мира с каждым днем все более и более укрепляются. Этому способствовало ослабление международной напряженности в политическом плане, обмен туристами и т. д. Однако на пути расширения культурных связей нам еще предстоит сделать многое.

Я с радостью приветствовал начало издания в Советском Союзе журнала «Иностранная литература»; несмотря на слабое знание русского языка, я с интересом просматриваю журнал. Из необычных для меня букв русского алфавита слагаются хорошо знакомые имена писателей Востока и Запада, Севера и Юга, названия новых произведений моих зарубежных коллег. Я радуюсь, что советский читатель с каждым днем получает все новые и новые возможности знакомиться с творческими достижениями человечества.

Такое же чувство вызвал у меня выход в свет аналогичного журнала на венгерском языке — «Надь вилаг». К сожалению, у нас в Румынской Народной Республике еще нет журнала, в котором бы печатались произведения зарубежных писателей. Ведь непременным требованием к каждому культурному человеку является широкое знание процессов, происходящих в мире идей. Советские ученые и специалисты не могли бы создать чудо наших дней — искусственных спутников, совершающих свое триумфальное шествие вокруг Земли,— без знания достижений зарубежных исследователей. Математика, мать современной физики и химии, не могла бы подняться на такой высокий уровень в СССР без постоянной связи с научной жизнью всего мира.

Иные могут думать, что развитие литературы, связанной с родным языком и национальными традициями, возможно в условиях полной изоляции. Однако история человечества доказывает полную несостоятельность подобной теории.

Путешествуя несколько недель по Советскому Союзу, я был бесконечно счастлив, что имел возможность познакомиться с замечательными произведениями искусства, свято хранимыми в этой стране. И кто может утверждать, что Архангельский дворец, Петродворец или Зимний, весь Ленинград — эта несравненная северная Венеция, омытая водами Невы, — создавались вне связи с культурой мира? Разве бесценные сокровища, найденные в погребениях скифов, не сохранили следов греческого влияния? Разве не чувствуется родство между прекрасными произведениями Рублева и современной ему европейской живописью? Также и работы, представленные на юбилейной выставке в честь 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, нельзя искусственно отделить от передовых течений современного искусства.

Мне думается, я не ошибусь, если скажу, что достижения искусства какой-либо одной страны можно лучше оценить, если сравнить их с достижениями других стран. Сравнение, соревнование — это и есть взаимная связь, взаимное обогащение, полностью относящееся и к литературному творчеству. Нельзя не причислить огромные достижения советской литературы к общей сокровищнице всемирной литературы.

Литература какой-либо страны может развиваться лишь в том случае, если она впитывает в себя все лучшие достижения всемирной литературы, если она усваивает все здоровое и хорошее, что есть в области познания человеческой души.

Мне кажется, однако, что я повторяю известные истины. Могу лишь сказать в свое оправдание, что с того момента, как я начал писать, укрепление международных культурных связей всегда было моей постоянной заботой.

Я — гражданин Румынской Народной Республики и поэт, пишущий на венгерском языке. Я всегда боролся за взаимное понимание и братство двух этих народов и всегда утверждал, что для взаимного познания людям разных национальностей необходимо изучение иностранных языков. Необходимо, чтобы Шекспир, Расин, Лорка стали понятны и любимы в оригинале, ибо не всегда возможно передать на другом языке все мастерство этих или других гениальных писателей.

Во время поездки по Советскому Союзу я с радостью убедился в том, какие замечательные результаты достигнуты здесь в области изучения иностранных языков. Я встречал советских людей, говорящих на арабском или датском, турецком или китайском и многих других языках. Мне надолго запомнится, как в Сухуми я случайно разговорился с одним молодым человеком, который, узнав, что я румын, продолжал разговор на прекрасном румынском языке. Этот юноша, никогда не бывавший в нашей стране, изучил румынский язык в одном из московских институтов.

Изучение иностранных языков, однако, не может лишить удовольствия переводить на родной язык произведения тех писателей, творчество которых нас привлекает. И вряд ли электронные машины сумеют когда-либо переводить поэтические тексты. В лучшем случае они могут давать нам подстрочник, в то время как в переводе поэта стихи Руставели или Петефи звучат как произведения искусства, пробуждающие в читателе новые, неизведанные чувства, желание лучше узнать не только автора, но и народ, сыном которого он является.

Знакомство со своим ближним, будь то отдельный человек или целый народ, чаще всего порождает истинную братскую любовь. К такому же результату — развитию интернационального гуманизма—безусловно приводит и взаимное изучение литературы.

Однако во имя интернационализма мы не можем принимать все огульно, без критики и без разбора. Все то, что не отвечает интересам передового человечества, должно быть отвергнуто нами. И, конечно, необходимо лучше знать все явления общественной и литературной жизни других стран, чтобы безошибочно судить, оценивать и воспринимать; всемерное укрепление связей между писателями различных стран, на мой взгляд, и есть одно из наиболее эффективных средств для достижения этой цели. Чем больше связей будет установлено между писателями, тем лучше народы смогут узнать друг друга.

Бухарест.

Годофредо Гарсия Рендон

В подлинных интересах человечества

Новый год отметил на часах времечи 13 лет гигантских усилий, приложенных народами мира, чтобы стереть следы войны. 1958 год народы мира встретили самоотверженной борьбой за то, чтобы идеалы мира и безопасности, провозглашенные Уставом Организации Объединенных Наций, стали действительностью. Вне всякого сомнения, в этой области уже удалось добиться значительных успехов, а дальнейшие перспективы внушают новые надежды на сотрудничество. В этом смысле нельзя не учитывать также значения, которое имеет развитие и укрепление культурных связей между всеми странами мира.

Культура, понимаемая как совокупность всего, что создает человек для удовлетворения своих духовных потребностей, нуждается в международных контактах. Неуклонное развитие культурных связей не только всегда полезно, но и абсолютно необходимо. Установление контактов между отдельными людьми и организациями создает обстановку, благоприятную для возникновения дружбы и понимания между народами, что, в свою очередь, является наиболее прочной основой прогресса человечества.

В нашу эпоху, когда общественные отношения претерпевают столь значительные преобразования (а этот процесс сильно ускорился после второй мировой войны) и попытки реакционных сил остановить ход истории терпят провал, в эту эпоху нельзя мыслить по-старому.

Один из лучших методов предотвращения опасности войны заключается в расширении международного сотрудничества, особенно в области взаимного обмена знаниями. Культурный обмен позволил бы артистам, писателям, врачам, юристам, ученым наших стран лучше познакомиться друг с другом.

Я убежден, что многие советские инженеры-строители, так же как археологи и историки, получили бы огромный материал при исследовании древних городов Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу, расположенных в департаменте Куско (административный центр этого департамента город Куско был некогда столицей государства инков). Они увидели бы своими глазами, с каким искусством еще в незапамятные времена индейские зодчие использовали гигантские каменные глыбы, столь тщательно шлифуя их, что между ними невозможно просунуть даже иголку. Они также смогли бы оценить высокое мастерство изделий коренных жителей Перу, архитектуру храмов, построенных испанцами в колониальную эпоху, и т. д.

С другой стороны, ни для кого не секрет, что Советский Союз достиг большого прогресса в области науки и техники. Со всей наглядностью он продемонстрировал это гигантскими темпами своего промышленного развития, а недавно вновь подтвердил запуском двух искусственных спутников Земли. Познакомиться со всем этим на месте нам было бы очень интересно.

Одним из наиболее эффективных методов культурного сближения народов являются взаимные творческие поездки артистов разных стран. В пользу этого говорят многие примеры и в нашей стране. Неоспорим вклад в культурную жизнь Перу, сделанный приезжавшими к нам видными представителями испанского театра и театром «Комеди франсез». Весьма уместно будет вспомнить о большом успехе, который имели выступления двух представителей советской культуры — музыкантов Игоря Безродного и Евгения Малинина. Они привлекли всеобщее внимание и симпатии перуанской публики как своим исполнением, так и высокой личной культурой. Я уверен, что советская публика, в свою очередь, с интересом познакомилась бы с драматическими произведениями Себастиана Саласара Бонди, с живописью Маседонио де ла Торре и Грау, с нашими композиторами и музыкантами; поездки в Советский Союз перуанских ансамблей креольской и индейской музыки дали бы советским людям представление о наших культурных традициях и достижениях, сделали бы наши народы ближе и понятнее друг другу. Но для этого нам необходимо преодолеть известные препятствия.

Дело в том, что моя страна, так же как и ряд других латиноамериканских государств, до сих пор не поддерживает прямо ни дипломатических, ни торговых, ни культурных отношений с Советским Союзом и другими странами социализма. Я всегда считал такую политику большой ошибкой, которую можно определить как отсутствие чувства перспективы.

Знакомство с культурой народов СССР убедило бы латиноамериканцев, сколь велика дань уважения, отдаваемая там духовным ценностям, создаваемым другими народами, каким почетом и уважением пользуются там деятели культуры. Я мог убедиться в этом, посещая музеи и культурные учреждения СССР. А во время поездки в Ленинград я отметил, что даже в метро есть станции, оформление которых посвящено прославлению национальных деятелей культуры, сделавших ценный вклад в развитие культуры своей страны.

Одним из важнейших средств взаимного познания жизни народов в современном мире является широкий обмен литературой.

Кто, как не писатели, как не литераторы, могут лучше и вернее выразить душу народа, его чаяния, его радости и печали! Именно поэтому нужно добиться, чтобы обмен литературой, журналами и газетами был более частым, регулярным и беспрепятственным. Как много есть трудов, которые по своей литературной, исторической или политической ценности следовало бы перевести и таким образом ознакомить с ними наши народы! Это, скажем, «Перуанские традиции» нашего выдающегося писателя дона Рикардо Пальмы, книга, в которой он в блестящей и занимательной форме изложил нашу историю. Заслуживают серьезного внимания «Очерки о перуанской действительности» Мариатеги, произведения таких крупных перуанских писателей, как Гонсалес Прада и дон Франсиско Гарсия Кальдерон, Вальехо, Лопес Альбухар и Чокано. Я думаю, с интересом познакомились бы советские читатели и с творчеством молодых писателей, таких, например, как Густаво Валькарсель или Гарридо Малавера.

Итак, наша общая задача — сделать культурные связи между Перу и Советским Союзом возможно более широкими.

Этим я отнюдь не хочу сказать, что мы должны придавать меньше значения культурным связям с остальными странами. Наоборот, я считаю, что мы должны всемерно развивать их, особенно с нашими соседями — американскими государствами, в том числе с Соединенными Штатами Америки. Я хорошо знаю эту страну и признаю как великие заслуги и достоинства ее народа, так и то зло, которое причиняют ему самому и латиноамериканским народам международная и экономическая политика ее руководителей.

Я думаю, что эти мысли достаточно очевидно показывают жизненную необходимость развития культурных связей между народами мира в 1958 году, ибо как раз в этом заключается лучшее средство защиты мира и подлинных интересов человечества.

Лима

Борис Изаков

Две исповеди Говарда Фаста

1

Четыре года назад один писатель сочинил повесть, которая так и не была напечатана. По причинам, о которых я скажу ниже, повесть эта приобретает известный интерес. Она называется «От Иоанна» («According to John»).

Место действия повести — Соединенные Штаты Америки; ее герой — неудачливый литератор Лютер Ньютон. В тридцатые годы он поступает на работу в редакцию левого журнала, сближается с прогрессивным движением, а позже вступает в коммунистическую партию. Много лет спустя он так объясняет этот свой шаг: «Шли тридцатые годы. Жизнь тогда была тяжелая и даже страшная. Единственной дорогой казалась та, которую указывали коммунисты,— дорога к социалистической Америке, к братству всех людей, в страну, где не будет ни нищеты, ни чрезмерного богатства. Для меня это было идеалом христианства, но идеал этот постепенно тускнел и исчезал по мере того, как текли годы. Сперва я увидел накрытый стол и Христа во главе него. Потом я узрел сидевшего за столом дьявола» (см. рукопись, стр. 205).

Так объясняет впоследствии мотивы своего вступления в партию Лютер Ньютон. Но автор повести уточняет: нет, им руководили не только идейные побуждения и христианские идеалы. Мотивы, которые им двигали, были прежде всего карьеристскими. А кроме того, одной из главных черт его характера была зависть; он бешено завидовал богачам — их деньгам, домам, нарядам, женщинам. Автор делает оговорку:

«Было бы несправедливо и даже мелочно утверждать задним числом — как впоследствии поступали многие,— будто Лютер Ньютон никогда не написал и не сделал ничего стоящего. Такие пророки с даром провидения, опрокинутым в прошлое, не понимают перемен, не признают развития, им не дано познать и сложность человеческой души. Быть может, лучше бы позабыть, что и Лютер Ньютон знал свои минуты величия, но забывчивость не меняет сути дела» (стр. 61).

Лютер Ньютон обладал незаурядным литературным даром. Он писал яркие статьи, а став свидетелем расстрела забастовщиков полицией, опубликовал прославивший его очерк «Смерть рабочего». Он занял место в литературе, стал редактором журнала, в котором работал.

Шли годы. После войны Америку захлестнула волна реакции. Лютером Ньютоном овладел страх. Страх грыз его душу. Он дрожал при виде полицейского, а по вечерам в панике пускался бежать по пустынным улицам, опасаясь получить пулю в затылок. «С другой стороны, все сильнее обуревали его размышления о силе денег. Если можно сказать, что его решение стать коммунистом созрело под влиянием зависти к богачам и власть имущим, томившей его жажды вступить в их могущественный круг и еще более томительной уверенности, что эта мечта недосягаема, то надо также сказать, хоть это и звучит парадоксом, что он стал выходить из коммунистической партии задолго до того, как вступил в эту организацию»... (стр. 68).

Воображением Лютера Ньютона все больше завладевал образ Иуды. Он мечтал сочинить роман, главным героем которого будет Иуда, извечный ренегат и предатель. Однажды он поведал другу: «Мне кажется, каждый — каждый без исключения — может стать предателем. Предательство — не черта характера; это просто обратная реакция на всякое принуждение» (стр. 71).

С такими мыслями недолго было попасть в сети «ловцов душ» — в Америке они так и вьются вокруг слабых и колеблющихся. В случае с Лютером Ньютоном роль таких «ловцов душ» сыграли католические священники. Они свели его с миллионером — издателем Коттонгровом. Ньютон бросил работу в левом журнале. Порвав со своими бывшими друзьями, он сперва чувствовал себя «голым и беззащитным» (стр. 88), но, получив крупный аванс за серию статей у Коттонгрова, успокоился. Когда же он вдобавок заключил выгодный договор на издание своих статей отдельной книгой, он и вовсе зажил припеваючи.

Так в повести рождалась книга ренегата и предателя Лютера Ньютона, который с первых же строк писал: «В человеке глубо-

ко заложена жажда свободы, и только правда сделает его свободным... Я буду писать о себе самом... о больном, который обрел здоровье, о калеке, который бросил костыли, о слепом, который прозрел... Для меня и для таких, как я, нет тихой пристани. Наш долг — объяснять, объяснять и объяснять, может быть, всю жизнь» (стр. 175).

Лютер Ньютон не был простаком. Он отлично сознавал, что истерическая брань, которой ренегаты, отступники от коммунизма обычно осыпают коммунистическую партию, вызывает у нормальных людей чувство отвращения. Ньютон решил не совершать такой оплошности. В своей книге он усвоил тон этакого справедливого судьи, человека безукоризненной и крайне чувствительной морали. Он даже пошел на то, чтобы, обливая грязью коммунистов, сказать о них и кое-что хорошее.

По замыслу Ньютона, для вящей убедительности его книга должна была нести отпечаток мучительных душевных терзаний. «Многие из его бывших знакомых цеплялись за иллюзию, будто Лютера раздирают глубокие внутренние противоречия, которые в конечном счете могут его погубить. Но дело обстояло не так. В нем не было никаких внутренних противоречий и таковых даже не предвиделось» (стр. 201).

На последних страницах повести мы видим Ньютона в гостях у всесильного издателя Коттонгрова. Ренегат, которого — наконец-то! — допустили к столу миллионера, испытывает острое наслаждение от беседы и общения с ним. Миллионер задает ренегату вопрос: может ли коммунист писать правдиво? Ответ гласит:

«— Не думаю. Чувствуешь себя в цепях. Художник привязан к политическим задачам. Искусство следует инструкциям — это просто еще одно средство для достижения партийных целей.

— А теперь вы чувствуете себя свободным?..

— Свободнее, чем когда-либо в жизни» (стр. 204).

Впрочем, чуть позже, когда миллионер в упор спрашивает ренегата о подлинных причинах его ухода из партии, тот отвечает с полным цинизмом: «Я люблю деньги, мистер Коттонгров. Вы хотите правды, вот я вам ее и выкладываю. Я люблю деньги. Я люблю ощущать их у себя в кармане. Я люблю то, что на них можно купить» (стр. 210).

Друзья и сотрудники Коттонгрова привыкли морально обнажаться с полной бесцеремонностью. Один из них так и рассуждает: «У меня нет желания делать вид, будто я ношу прекрасные одежды, как это делал глупый король Ханса Кристиана Андерсена» (стр. 197).

Карьера ренегата Лютера Ньютона обеспечена. Ведь ныне в Америке «изображение Иуды поднято на пьедестал, высоко над всеми людьми» (стр. 237). Пышная реклама заранее обеспечивает распространение его книги. В перспективе ему улыбается высокооплачиваемое местечко в издательской фирме Коттонгрова.

На первых порах ренегат отказывается от роли доносчика, однако затем переступает и эту последнюю грань и становится платным информатором Федерального бюро расследований. Круг замыкается.

Сотрудники прогрессивного журнала, редактором которого был когда-то Ньютон, пытаются уяснить себе скрытые пружины, толкнувшие его на предательство. Один из них находит у него на письменном столе забытую записку:

«Иуда вечен. Дьявол родился вместе с ним, и он предает не только человека — он предает самое лучшее в человеке и его мечтах. И если я когда-либо предам устои человеческого братства, в которые я верю и которым посвятили свою жизнь столько мужественных людей, — пусть душа моя вечно горит в том страшном аду, который действительно существует,— в памяти всех благородных людей» (стр. 215).

Сотрудники журнала обсуждали эту записку:

«— Да, это стиль Лютера... Он любил выражаться красиво.

— Что заставило его это написать?

— Должно быть, страх... Страх перед самим собой, перед собственной слабостью. Страх перед силами тьмы, осаждавшими его жалкую отвратительную душонку, страх перед дьяволом, который жил в нем... Он говорит «если я предам», но когда он писал, он уже чувствовал, что предаст.

— Ты слишком осложняешь этого сукиного сына.

— Я бы написал более простую эпитафию для такой гниды» (стр. 215—216).

Я с точностью изложил содержание повести «От Иоанна» и привел цитаты дословно. Передо мной лежит рукопись, напечатанная на машинке, — она испещрена поправками, сделанными рукой автора. На рукописи дата — 1953 год.

Остается назвать автора: Говард Фаст.

2

Не прошло и четырех лет, как в феврале 1957 года в газете «Нью-Йорк таймс» было напечатано интервью с Говардом Фастом, в котором сообщалось о его выходе из коммунистической партии. В ноябре вышла книга Фаста «Голый бог» («The Naked God»). Сейчас она лежит передо мной рядом с рукописью его неопубликованной повести.

Из книги «Голый бог» мы узнаем такие обстоятельства биографии Фаста и знакомимся с такими чертами его характера, на которых стоит остановиться.

В тридцатые годы писатель Говард Фаст сближается с прогрессивным и антифашистским движением. Это был период жестокого экономического кризиса и последовавшей за ним глубокой депрессии. Как упоминалось в повести «От Иоанна», жизнь в Америке была тяжелая и даже страшная, миллионы людей стояли в очередях за чашкой бесплатного супа, миллионы странствовали в товарных вагонах в поисках работы и куска хлеба. Каждый мало-мальски мысля-

щий человек мог убедиться, как плохо устроено капиталистическое общество, а коммунистическая партия указывала единственный выход. Потом пришла война, и все увидели, что Советская страна, страна социализма, нанесла решающие удары по гитлеровской военной машине. Подобно тысячам других интеллигентов, и в частности многим писателям (в книге «Голый бог» старательно подчеркивается, что он был не один, а только шел по следам других), Говард Фаст вступил в коммунистическую партию. Шел 1943 год.

Говард Фаст обладал незаурядным литературным дарованием. Он писал статьи, рассказы, романы, пьесы, посвященные борьбе человечества за прогресс, за новый, лучший мир. Этот мир представлялся ему как некое христианское виде́ние; недаром он так любил прибегать в своем творчестве к библейским образам. Став в 1949 году свидетелем и участником событий в Пикскилле, где группа оголтелых фашистов пыталась расправиться с Полем Робсоном, он написал об этом очерк, обошедший весь мир.

Однако Фаст сообщает теперь в книге «Голый бог» детали, которые представляют его в новом свете. Оказывается, с того самого времени, когда он вступил в партию, он стал терзаться желанием выйти из нее, и это желание не оставляло его все последующие годы. «Неужели, вступая в партию, уже начинаешь уходить из нее, неужели так бывает всегда?» — вопрошает он (стр. 177). С горьким сожалением пишет он о «блестящей карьере, об успехе и богатстве», от которых отказалась группа писателей и журналистов, вступивших в партию (стр. 50). О Пикскилле он упоминает мимоходом, тон его становится извиняющимся: в Пикскилле, видите ли, он искал смерти («чуть ли не приветствовал смерть»), которая избавила бы его от «затянувшегося кошмара», связанного с пребыванием в партии (стр. 22).

Очень подробно останавливается Фаст на своей литературной деятельности. Но он тщательно обходит молчанием такие свои произведения, как «Подвиг Сакко и Ванцетти», «Сайлас Тимбермен» и другие, которые не могут быть приятными власть имущим в Америке. Больше того: он отрекается от таких своих произведений. Нет, он не утверждает, что написал их по заказу партийных руководителей. И все же он перекладывает на них ответственность за появление этих книг.

Значительная часть книги «Голый бог» посвящена развитию утверждения Лютера Ньютона о том, что писатель-коммунист «чувствует себя в цепях» и «привязан к политическим задачам». Фаст говорит теперь в своей книге в точности то же самое.

По Фасту, пребывание в коммунистической партии свело его на нет как писателя. Он умалчивает, что именно за годы его пребывания в партии вышли в свет его лучшие произведения: романы «Дорога свободы», «Американец», «Кларктон», «Гордые и свободные», «Спартак», «Сайлас Тимбермен», повесть «Подвиг Сакко и Ванцетти», очерк «Пикскилл, США». Именно эти произведения принесли Фасту широкую известность, приобрели ему многочисленных читателей далеко за пределами США.

Конечно, Фаст умалчивает и о неопубликованной повести «От Иоанна». А жаль, что он ничего не говорит о своем болезненном интересе к образу современного Иуды. К слову сказать, этот образ встречается у Фаста не только в названной повести. Мы видели такой образ и в Дэвиде Грэхеме в пьесе «Тридцать сребреников», и в Гарви Крейне в рассказе «Тайная вечеря», и в Бобе Аллене в «Сайласе Тимбермене» и т. д.

Фаст утверждает, что толчком к его выходу из партии явились критика культа личности Сталина и нарушения законности в СССР. Мы восприняли решения XX съезда КПСС как свидетельство жизнеспособности и силы социалистического строя; мы не боимся говорить о своих, пусть самых тяжелых, бедах и ошибках для того, чтобы они не повторялись в будущем ни нами, ни другими; естественно, то, что мы узнали в этой связи, было тяжелым испытанием для нас и для наших истинных друзей за рубежом. Но я отказываюсь верить, что это могло быть ударом для того, кто, вступив в партию, сразу же стал терзаться желанием бросить ее. Для него это могло быть только предлогом — и притом предлогом желанным,— чтобы пойти по стопам своего героя — Лютера Ньютона.

Фаст подробно описывает, как в 1956 году вместе с группой единомышленников он добивался ликвидации коммунистической партии. Он сетует, что усилия его группировки окончились провалом еще до съезда компартии США. Тогда он отошел от партийных дел.

И тут на сцену выступили «ловцы душ» из лагеря реакции и холодной войны. В случае с Фастом это были пресловутые «специалисты» по советским — точнее, по антисоветским — делам из «Нью-Йорк таймс». Фаст обстоятельно рассказывает в своей книге, как это произошло. Все было очень просто, просто до тривиальности.

Однажды в конце января 1957 года ему позвонил по телефону сотрудник «Нью-Йорк таймс» Гарри Шварц, фигура небезызвестная. Сам Фаст пишет о нем: «Я отдавал себе полный отчет в репутации Гарри Шварца как недружественного специалиста по советским делам, и я сам в прошлом ожесточенно на него нападал» (стр. 30). Если заменить в этой фразе стыдливый эпитет «недружественный» на более откровенное слово «враждебный», характеристика Шварца будет точной. Этот человек и спросил Фаста, верно ли, что он вышел из партии. Когда тот ответил утвердительно, Шварц попросил дать интервью для «Нью-Йорк таймс». Фаст, по его собственным словам, сперва отказался. Последовали уговоры, увещевания. Шварц обещал показать Фасту интервью и сказал, что редакция ничего не станет менять в тексте. Спраши-

вается, зачем вообще редакции «Нью-Йорк таймс» могло понадобиться менять такой текст? Вот если бы речь шла не о выходе из коммунистической партии, а о вступлении в нее — тогда другое дело. Однако, услышав заверения Шварца, Фаст счел их достаточным предлогом, чтобы пойти на попятный и дать интервью. Теперь ему нужны были только предлоги — ничего больше. Его путь был предрешен.

Это не помешало Говарду Фасту две недели спустя, 15 февраля 1957 года, заявить пишущему эти строки в личном письме: «Вопрос, который стоит передо мной сейчас, как считают мои друзья, заключается в следующем: может ли человек, покидающий партию, остаться на стороне человечества и прогресса. Я скажу только: надеюсь, что смогу».

Но уже тогда многое заставляло сомневаться, что Говард Фаст сдержит это свое обещание. Конечно, борьба за мир и прогресс не является привилегией одних только членов коммунистической партии. Чтобы стоять за мир, не обязательно быть коммунистом — для этого просто надо быть человеком порядочным, но именно порядочным. У нас есть много друзей во всех частях света, с которыми мы сотрудничаем на этой платформе, хоть они и далеки от коммунизма. Но одно дело — не состоять в коммунистической партии, а другое — бросить партию в трудный для нее момент, громогласно оповестив об этом читателей буржуазной прессы. Всякого экс-коммуниста в современной Америке подстерегают специалисты по разжиганию холодной войны; появление интервью Фаста в «Нью-Йорк таймс» в передаче Гарри Шварца заставляло заключить, что они не зевают и кого-ток Фаста уже увяз.

«Большая пресса» Америки, ее радиокомпании начали делать Фасту рекламу. Стало известно, что нашлись люди с большими деньгами, этакие Коттонгровы, которые решили издавать специальный антикоммунистический журнал под названием «Проспектас», где наряду с «недружественными специалистами» будет печататься Фаст. Первый номер журнала вышел в октябре — с большой статьей Фаста. Эта его статья и легла в основу книги «Голый бог», которую опубликовала крупная издательская фирма Фредерик Прегер.

Представьте себе мое изумление, когда я убедился, что новая книга Фаста не только по своему характеру и по тону, но даже в отдельных выражениях повторяет ту книгу, которую пишет ренегат в его же, Фаста, повести «От Иоанна». Случай этот, кажется, не имеет себе равных в мировой литературе.

Начать с характера и тона книги. Фаст многословно жалуется, что ренегаты и их писания вызывают у подавляющего большинства людей отвращение. Учитывая, как видно, предшествующий опыт ренегатов всякого рода, он пытается усвоить некий новый тон — тон этакого справедливого судьи, человека безукоризненной и крайне чувствительной морали. Он даже решился, обливая коммунистов грязью по опыту Лютера Ньютона, сказать о них и кое-что хорошее: он признает, например, что в коммунистической партии есть честные и смелые люди, а версия о «коммунистическом заговоре с целью свержения правительства США путем насилия» (в которую все равно никто уже не верит.—*Б. И.*) не выдерживает никакой критики (стр. 165). Борьба против коммунизма, пишет Фаст, это борьба идей; вот тут-то он и может пригодиться— он много размышлял о коммунизме и у него есть по этой части свои соображения (стр. 66).

В аннотации на суперобложке сегодняшний Фаст уподобляется слепому, которому сделали «сложную операцию» и который прозрел; «наконец-то он видит», — гласит аннотация (Лютер Ньютон тоже писал о себе как о «слепом, который прозрел»). Уже во втором абзаце книги упоминается сказка Ханса Кристиана Андерсена о голом короле. «После многих лет,— пишет Фаст,— я нашел самого себя, свободу своей личности, которую я считаю самой большой человеческой ценностью» (стр. 32). «...Я нашел свободу» (стр. 197). (Сравните с тем, что Говард Фаст уже писал об этом от лица Лютера Ньютона). Касаясь коммунистического движения, Фаст бросает замечание: «Передо мной стоит только одна важная задача — дать ему определение, объяснить его» (стр. 23). («Мы должны объяснять, объяснять и объяснять...» — писал ренегат Лютер Ньютон).

Быть может, единственный тезис ренегата Ньютона, который не получил должного развития в книге «Голый бог», — это тезис о том, какая прелестная вещь — деньги. Впрочем, и Ньютон изливался на этот счет не в своих писаниях, а в частной беседе...

Фаст многократно оговаривает в своей книге, что писал ее, раздираемый душевной борьбой, внутренними противоречиями и даже сомнениями. Но, вспоминая, как автор повести «От Иоанна» предостерегал нас против аналогичных заявлений своего героя, мы вправе заметить: полно, так ли это?

Нужно ответить на вопрос, который, вероятно, напрашивается у читателя: как случилось, что повесть «От Иоанна» не была опубликована? Дело в том, что автор очень уж углублялся в психологию ренегата; со стороны глядя, это походило на попытку привести смягчающие обстоятельства, а то и возвеличить предателя. Повесть производила на читателя тягостное впечатление, вызывала у него неизъяснимое ощущение какой-то неловкости. Прежние друзья Фаста посоветовали ему не печатать эту вещь; с таким мнением согласился и сам автор. Правда, теперь, когда повесть перестала быть чисто литературным фактом, возникает вопрос: не имеет ли смысла опубликовать ее сейчас и не будет ли она куда более интересной для раскрытия психологии политического ренегатства, чем книга «Голый бог»?

...Когда я впервые взял в руки книгу «Голый бог», я испытал странное ощущение: мне казалось, что я уже читал что-то в этом роде, вышедшее из-под пера того же автора, и в то же время мне это представлялось просто немыслимым. В недоумении подошел я к книжной полке и перебрал знакомые книги Говарда Фаста — нет, не здесь находилась разгадка. Вдруг я вспомнил о рукописи, которую Фаст прислал в Москву четыре года назад.

Когда рукопись очутилась передо мной на столе, я увидел, что именно в ней кроется ключ к новой книге Фаста. И, перечитывая повесть «От Иоанна», я спрашивал себя, как спрашивали себя друзья Лютера Ньютона, найдя его записку о «вечном Иуде»: что заставило его это написать? Разные варианты ответов на аналогичный вопрос, предложенные в свое время самим Фастом, читатель найдет выше. Так или иначе, когда он четыре года назад писал эту повесть, он уже чувствовал, что предаст.

3

Фаст сравнивает в «Голом боге» положение писателя в капиталистическом мире с положением писателя в странах социализма — разумеется, к невыгоде для последнего. Но если уж говорить о положении писателя в капиталистическом мире, то за примерами недалеко ходить. Возьмем пример самого Фаста. Даже теперь он не может обойти молчанием тот факт, что в предыдущие годы издательства и книготорговые фирмы Америки сумели отгородить его от широких слоев читателей. «...Я пришел к такой точке, когда мое уничтожение как писателя, участвующего в потоке американской литературы, было более или менее полным», — пишет он (стр. 114).

Это отнюдь не преувеличение. Бойкот со стороны издателей был настолько эффективным, что Фасту пришлось основать крошечную фирму «Блю Херон пресс», печатавшую преимущественно его собственные сочинения. Но ему так и не удалось преодолеть заговора молчания «большой прессы» и бойкота книготорговцев. В условиях американской «демократии», бардом которой стал теперь Фаст, сам он был изолирован от читателя в те дни, когда говорил народу правду. Для Фаста это было пыткой: он постоянно жаловался в личной переписке на тяжелую участь прогрессивного писателя в США, он мучился, метался. Демократия доллара позаботилась о том, чтобы за пределами ограниченного круга участников прогрессивного движения писатель Говард Фаст оставался неизвестен американцам.

Я помню такой случай. Во время поездки в Америку делегации советских журналистов мы посетили могилу Вашингтона в его бывшем поместье Моунт Вернон. По старому обычаю, я взял горсть земли с могилы этого выдающегося американца. Сопровождавшие нас корреспонденты спросили, знают ли в Советском Союзе Вашингтона. Я объяснил, что мы не только знаем, но и чтим память генерала Вашингтона, командовавшего армией освобождения в революционной войне, которую колонисты некогда вели против английских угнетателей. Тут я упомянул об историческом романе «Непобежденные», в котором выведен генерал Вашингтон, и назвал его автора: Говард Фаст. «Говард Фаст? — переспросили корреспонденты. — Кто он такой?» Ни один из них не знал этого имени.

Сегодня Говарду Фасту делают в Америке пышную рекламу. Этим озабочены те самые газеты, радио и телевизионные компании, которые упорно на протяжении многих лет замалчивали все его книги и выступления. Нынешнему Фасту не грозит больше бойкот издательских и книготорговых фирм. Жить ему будет доходней и прелестней. (Лютер Ньютон из повести «От Иоанна» получил за свою книгу десятки и десятки тысяч долларов). Но для того, чтобы добиться благополучия, Говарду Фасту пришлось предать и продать все, за что он стоял многие годы, отречься от своих книг и читателей.

Таково на примере самого Фаста положение писателя в капиталистическом мире. В дополнение приведу его же слова из статьи «Письмо Максиму Горькому», опубликованной в «Правде» 18 июня 1951 года: «...Условия для литературного творчества в современной Америке далеко не самые лучшие. Список произведений американской литературы подвергся сейчас строгому просмотру, и из него вычеркнуты имена Ваших любимых писателей: Марка Твена и Уолта Уитмена, Джека Лондона и Теодора Драйзера. Наша литература осквернена, в нашу культуру внесли дух разложения. Коммерческие издательства извергают бесконечный поток порнографии, садизма и военной пропаганды, а цвет современной американской литературы съежился и притих в испуге. У одержимых военным бешенством правителей Америки в чести только доносчики и ренегаты».

Не будем сегодня спорить с Говардом Фастом тех дней.

Герои его прежних книг умели стоять за свои убеждения, не поддаваясь искушениям, подстерегающим революционера, не сгибаясь даже перед лицом смерти. Книги и их герои, в отличие от иных авторов, не изменяют, остаются верными своим идеалам. После того, как писатель их создал, они начинают жить независимой от него жизнью, а подчас и борются с ним. Книги и герои прежнего Говарда Фаста, от которых он отрекается, борются против нового Говарда Фаста, разоблачают его измену.

4

Сегодняшний Фаст проклинает коммунизм; это, конечно, не ново. Он старается изобрести не слишком затасканные эпитеты, но антикоммунистическая литература по обе стороны Атлантики столь объемиста, что такая задача, право, неосуществима.

Поскольку с помощью совсем несложной операции Фаст наконец-то «прозрел», он, конечно, увидел в новом освещении весь мир, и прежде всего Америку. Оказывается, порядки в ней совсем не плохи, правда, вздыхает Фаст, Соединенные Штаты отнюдь нельзя назвать «безупречной демократией», но это все-таки «страна, где человеческая личность, ее труд и права признаются и защищаются» (стр. 197). Правда, человеческой личности самого Фаста пришлось некоторое время отсидеть в тюрьме, поскольку эта личность слишком уж рьяно защищала права — свои и других человеческих личностей, — но зато начальник тюрьмы «был человеком сердечным и сострадательным» (стр. 17).

Нет, я не стану задавать вопроса: как быть с той картиной Америки, которую Фаст рисовал всю жизнь в своих романах, повестях, пьесах, рассказах, очерках, статьях. Он же был слепым, а теперь прозрел. Ну что тут скажешь?

Я тщетно старался отыскать в «Голом боге» какие-нибудь указания на то, как же Фаст рассчитывает исправить те несовершенства, которые, по его собственному признанию, все же имеются в американской экономической, общественной и политической системе. Вся, так сказать, позитивная программа сегодняшнего Фаста сводится к одному: надо уничтожить коммунистическую партию США; как видно, коммунистическая партия и есть виновник всех бед современной Америки. Фаст обещает посвятить борьбе с ней все свои силы. Что ж, с такой содержательной программой он никак не будет одинок, у него будет куча союзников... Нет, я не стану их перечислять — каждый читатель легко представит себе их внушительный список.

Для Советского Союза у Фаста тоже имеется своя позитивная программа. Он не высказывается прямо против того общественного строя, который мы создали, он даже готов признать некоторые его достижения (сейчас это делает едва ли не каждый, кто пишет о Советском Союзе). По словам Фаста, «русский народ и китайский народ стоят на грани такого развития и процветания, о котором никогда и не мечталось в первые десятилетия нашего века» (стр. 170). Какова же все-таки программа Фаста для нашего народа? Суть ее такова: советы без коммунистов и «комиссаров». Аналогичную программу выдвигает он и для Китая, и для других стран социалистического лагеря.

Позвольте, скажет читатель, но мы уже слышали такое предложение и даже не раз! И читатель будет прав. Впервые мы услышали такое предложение еще в годы гражданской войны — его подхватили вся белогвардейщина и интервенты. В то время еще Владимир Ильич Ленин разоблачил контрреволюционный лозунг «советы без большевиков»; его подлинный смысл заключался в том, чтобы обезглавить революцию, лишить ее надежного руководства и утопить в крови рабочих и крестьян. Впоследствии этот коварный лозунг навязывали нам самые отъявленные враги нашей страны и нашего народа, в годы Отечественной войны мы встречали его в гитлеровских листовках. Сегодня тот же рецепт предлагает нам Фаст.

Если суммировать то представление, которое Фаст пытается дать о Советском Союзе, то оно полностью укладывается в рамки показаний Лютера Ньютона в комиссии конгресса США в повести «От Иоанна». Между председателем комиссии Уикеном и ренегатом Ньютоном происходит следующий диалог:

«У и к е н: Вы были когда-нибудь в России, мистер Ньютон?

Н ь ю т о н: Нет, сэр... не был. Но я узнал кое-что о Советском Союзе из того, что читал и слышал от других.

У и к е н: Мне говорили, что вся эта страна — лагерь рабов... Это верно?».

И ренегат, пользуясь избитыми антисоветскими доводами, отвечает:

«Н ь ю т о н: Видите ли, многие русские, может быть, считают себя относительно свободными. Это потому, что у них нет такого представления о личной свободе, как у нас. Права человека не означают на тоталитарном Востоке того же самого, что в свободном мире...» (стр. 154).

В «Голом боге» Фаст и тут повторяет своего героя Лютера Ньютона.

Нет, Фаст не высказывается за политику «освобождения» нашего народа от советской власти силой, как этого требовал Даллес; в наши дни такая политика вообще не в моде — она не имеет открытых сторонников даже в правительственных кругах многих стран НАТО. Но, повторяя аргументы Гарри Шварца и других «недружественных специалистов», Фаст включается в холодную войну против СССР. Чего стоит хотя бы та злостная чепуха, которую он пишет о внешней политике Советского Союза!

Фаст утверждает, например, будто бы Советский Союз «глубоко замешан в борьбе за средневосточную нефть» (стр. 126). Ему, как видно, дела нет до фактов, а факты таковы, что у Советского Союза за пределами его границ нет ни на Ближнем, ни на Среднем Востоке ни одной нефтяной концессии, ни одного нефтепровода, наконец, ни одной нефтяной вышки. Борьбу за средневосточную нефть ведут империалистические державы, и прежде всего Соединенные Штаты и Англия. Советский же Союз довольствуется собственной нефтью — ее у него достаточно.

Фаст договаривается до того, что советская политика по отношению к Израилю является антисемитской. Еще одна злостная, но неумная клевета!

Советский Союз, советская Конституция показывают народам путь к разрешению национальных проблем. Впервые в истории законы социалистической страны объявили разжигание национальной розни тяжким преступлением. Именно Советский Союз внес решающий вклад в победу над гитлеровской бандой, поднявшей над государ-

ственным кораблем Германии черный флаг антисемитизма; эта победа спасла от физического истребления в газовых камерах миллионы евреев. Кто знает, в каком лагере уничтожения окончил бы свои дни сам Говард Фаст, если бы гитлеровцам удалось захватить господство над миром.

Приписывать советскому правительству антисемитский внешнеполитический курс потому, что Советский Союз осуждает участие Израиля в прошлогоднем вооруженном нападении на Египет (как это делает Фаст) — все равно, что обвинять наше правительство в антигаллицизме на том основании, что оно осуждает военные действия Франции в Алжире. Империалисты задумали год назад нанести в Египте смертельный удар по освободительному движению народов арабского Востока, разрывающих цепи рабства и стремящихся подняться из вековой нищеты, а государство Израиль оказалось послушным орудием в руках империалистов. Дело Египта, дело арабов, борющихся за свою свободу, — правое дело, вот почему оно и пользуется поддержкой советского правительства и всего советского народа.

Я не стану останавливаться на многочисленных передержках, которые допускает Фаст в «Голом боге». Лютер Ньютон из повести Фаста тоже обладал живым воображением. Ему легко было сказать что угодно, а сказав, самому в это поверить — «при помощи простого пренебрежения логикой и фактами прошлого он снимал с себя всякую вину» (стр. 80).

Таков набор аргументов и приемов, с помощью которых Лютер Ньютон... простите, Говард Фаст включился сейчас в пропагандистскую кампанию против коммунизма и Советского Союза. Как видите, он ничего оригинального не придумал. Тем не менее он явно выдвигает свою кандидатуру на одну из главных ролей в антисоветской кампании.

По сему поводу уместно привести слова самого Говарда Фаста, опубликованные в нашей «Литературной газете» 4 ноября 1950 года: «Антисоветская брехня стала крупной отраслью американского «бизнеса», в которой подвизаются свои «специалисты» — целая иерархия специалистов, начиная от высокопоставленных лиц и кончая обыкновенными политическими проститутками и провокаторами».

Сказанные с полным знанием дела эти слова Говарда Фаста справедливы и сегодня.

***

Несколько слов в заключение. Фаст ужасно разочарован, что в Советском Союзе его выход из коммунистической партии, как и дальнейшее его поведение, не вызвали особого внимания. Это приводит его в крайнее раздражение. «Я был готов ко всему другому,— пишет он в своей книге, — к ярости, уговорам, насмешкам...» (стр. 32). Ничего этого не последовало. «В Советском Союзе мне отказали как в жизни, так и в смерти»,— жалуется Фаст (стр. 172).

О чем, собственно, хлопочет Фаст? Не он первый перебежал на сторону врага. Чтобы в сегодняшней Америке бороться за прогресс и за мир, надо и в самом деле позабыть о «блестящей карьере, об успехе и богатстве», а для этого требуются большая выдержка, большое мужество, большое бескорыстие. Такие качества даны не каждому. Не оказалось их и у Фаста. В его новой книге мы увидели не голого бога, а «обнажившегося и заголившегося», как говорил Достоевский, ренегата. Став ренегатом, Фаст перестал нас интересовать. Душевными переживаниями перебежчиков мы никогда не занимались и заниматься не будем; перебежчик с психологическим вывертом, с карамазовщинкой представляет интерес разве лишь для психиатра. Фасту лучше понять это — во избежание дальнейших разочарований. Весьма скоро те, кто дирижирует антисоветской пропагандой, перестанут считать его новинкой. Тогда о нем забудут все.

Поскольку Фаст питает патологическое пристрастие к образу Иуды Искариота, я приведу выдержку из источника, к которому так часто обращается Фаст — из евангелия: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел; пошел и удавился».

Нет, в наши дни Иуда тридцатью сребрениками не бросается.

Седрик Белфрейдж

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

(К 90-летию Уильяма Дюбуа)

Уильяму Дюбуа в феврале этого года исполняется 90 лет. Он жил уже тогда, когда еще не родились ни Ленин, ни Ганди. Жизнь его золотой нитью вплетена в нашу эпоху — эпоху борьбы за свободу человечества.

У себя в стране, которой он делает честь, являясь ее гражданином, он живет почти в безвестности, потому что там прославлять его небезопасно. Но он не чувствует себя несчастным: он верит в американский народ, а думы о народе и труд на его благо сохраняют ему неувядающую молодость. Такая вера в народ и жажда жизни требуют величайшей мудрости, любви к людям и большого чувства юмора; именно это отличает человека, который в возрасте 83 лет был привлечен правительством к суду за «преступление», состоящее в том, что он отстаивает мир.

Д-р Уильям Эдвард Бёрхардт Дюбуа столь же богат лучшими человеческими качествами, сколь беден в смысле материальном. Его никогда не интересовал доллар, которому поклоняются многие его соотечественники. Не интересуют его и аплодисменты «респектабельной» публики, хотя было время, когда видные деятели культуры называли его идейным наследником Франклина и Джефферсона в деле формирования американского образа мышления, выдающимся руководителем, художником, оратором, мыслителем с широким интеллектуальным горизонтом.

Это было высшей похвалой белых американцев американцу с черной кожей.

Дюбуа узнал, что́ означает разница в цвете кожи, еще мальчиком в школе, в своем родном Массачусетсе. В этом северном штате было немного негритянских детей, и их не отделяли от белых. К празднику дети обменивались традиционными поздравительными открытками; белая девочка, которой Дюбуа предложил открытку, отказалась принять ее, окинув мальчика презрительным взглядом. Вспоминая об этой ране, нанесенной ему взглядом ребенка, он писал в книге «Душа черного народа» (1903), которая сделала его знаменитым: «Это особое ощущение, какое-то двойное сознание, когда постоянно смотришь на себя глазами других, оцениваешь свою душу мерилом людей, которые смотрят на тебя с презрительной усмешкой и жалостью. Постоянно ощущаешь, что в тебе живут два человека — американец и негр, две души, два образа мышления, два непримиримых стремления, два враждующих идеала в одном черном теле, и только непреклонная внутренняя сила не дает этому телу разорваться на части».

Доктор Уильям Дюбуа.

Ему сравнительно повезло: в противоположность восьми миллионам своих соотe-

чественников-негров ему не пришлось родиться в бедной семье южан. Гражданская война, которая положила конец рабству на Юге, но дала неграм только право свободно умирать от голода, закончилась победой северян за три года до рождения Дюбуа. И хотя семья северян Дюбуа смогла дать Уильяму все, что было вообще доступно негритянскому юноше, понадобилась вся его непреклонная сила, чтобы успешно использовать эти возможности: после окончания негритянского университета в Фиске он поступает в Гарвард — лучший университет Америки, оканчивает его в 1890 году и едет в Берлин для продолжения образования. Позже он получает ученые степени и звания еще в нескольких университетах и первым из негров избирается действительным членом Американского института искусств и изящной словесности. Он стал выдающимся ученым своего народа в тот период, когда мир был взбудоражен, когда белые правители Америки «обнаружили», что в стране существует негритянское население. Эти правители использовали метод, применяемый и поныне: расточали лесть и предоставляли привилегии горстке избранных негров, которые соглашались «сотрудничать» с белыми и позволяли использовать себя в качестве дутой рекламы доброго отношения к их расе со стороны официальных кругов. Первым негритянским руководителем, который использовал это благоволение, был Букер Т. Вашингтон — основатель знаменитого института Таскиджи для черных американцев. Родившись в семье рабов на десять лет раньше Дюбуа, Б. Т. Вашингтон хорошо знал страдания своего народа. Тем не менее он выдвинул для негров программу, которая очень понравилась белым: согласиться признать себя гражданами второго разряда и допустить в общественной жизни сегрегацию в обмен на приобретение самых минимальных прав.

В книге «Душа черного народа» Дюбуа подверг Б. Т. Вашингтона спокойной, но решительной критике, возбудив горячие споры в каждой негритянской общине. Дюбуа заявил, что негры внесли очень большой вклад в развитие Америки и ее культуры, и настаивал, чтобы поправки к конституции гарантировали полные права гражданства не избранным, а всем. Ведь в то время как Б. Т. Вашингтон ратовал за свою программу, фактически почти все негры были лишены права голоса: для них «в законном порядке» был установлен статут второразрядного гражданства. Как же могли негры в этих условиях идти по пути прогресса? Именно права голоса, права на гражданское равенство, права на образование молодежи в соответствии со способностями, говорил Дюбуа, негры были «вынуждены требовать у родины».

Дюбуа закончил свою вдохновенную книгу пламенным воззванием, обращенным к читателю: «Да пробудят страницы этой книги дерзновенную мысль и стремление к мудрым делам, да принесут они чудесные плоды».

Его многочисленные прозаические и поэтические произведения, тысячи статей являются образцом совершенного стиля, хотя ни одной строчки в них не написано ради красивых слов. И как преподаватель экономики и философии в негритянском университете Атланты, и в период споров с Б. Т. Вашингтоном, и позднее, он никогда не преподавал только для того, чтобы пополнить знания своих учеников суммой определенных сведений. Правда и разум всегда были священны для него, он писал и говорил, страстно отстаивая те три принципа, которым посвятил свою жизнь.

Первый и самый важный из этих принципов — равенство для американцев — белых и негров; с ним были тесно связаны и два других: свобода для африканцев, живущих в колониальной Африке, и мир. В 1905 году группа молодых негров, вдохновленных Дюбуа, собралась в г. Ниагара, где было положено начало Ниагарскому движению, участники которого заявили о своем решительном протесте против любой формы дискриминации. «Мы,— писали они,— не удовлетворимся меньшим, чем завоевание всех человеческих прав, ...всех до единого прав свободнорожденного американца».

В 1910 году северяне — белые и негры— объединились и создали «Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения», а Дюбуа ушел из университета Атланты и стал издавать газету этой ассоциации «Кризис».

Его редкий талант мог бы легко обеспечить ему безопасность и благосклонность властей, те блага, которыми пользовался Б. Т. Вашингтон. Однако Дюбуа использовал свои дарования по-своему. Он вел непримиримую борьбу, борьбу без всяких компромиссов, и он никогда не жалел об избранном пути. Газета «Кризис» стала библией в среде образованных негров. Люди, жившие в то время в Гарлеме, в этом негритянском «гетто» Нью-Йорка, до сих пор с воодушевлением рассказывают о том, с каким восторгом молодежь смотрела на Дюбуа, когда с палкой в руке он шел домой из редакции, безупречно одетый, с коротко подстриженной бородой и усами, по которым его и теперь узнают на портретах. Такой успех был ему по душе, хотя и не обещал ни одного из тех заманчивых даров, которые сулит Америка.

Дюбуа пытался воздействовать на политические партии: сначала на партию Теодора Рузвельта, а затем на демократов, чтобы побудить их выступить за справедливое отношение к десяти миллионам черных американцев, среди которых менее чем за пять лет после отмены рабства значительно снизился процент неграмотных. Однако, когда в 1913 году демократы отняли власть у республиканцев, новый президент Вудро Вильсон быстро забыл о своих обещаниях вести с неграми «абсолютно честную игру».

«Начался, — как позже писал Дюбуа, — шестилетний период жестокостей, дискриминации и убийств», вызванный также и ненавистью южных демократов к «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения». Новые законы усилили сегрегацию, а в 1917 году около ста негров были подвергнуты линчеванию. Когда руководители «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения» заявили протест Вильсону, он отклонил его и назвал их обращение оскорбительным.

Дюбуа все более убеждался в том, что борьба американских негров за полные права гражданства и борьба цветных народов колониальных стран за независимость едины. «Большинство людей в мире — цветные... — писал он в книге «Негр» (1915). — Вера в человечество означает веру в цветных людей». Три факта еще более укрепили его точку зрения на эту проблему. В 1915 году США захватили остров Гаити. В 1916 году негр Маркус Гарвей явился в Нью-Йорк с Ямайки и привлек к себе массу людей, которые поддержали его программу эмиграции негров в Африку. Против опасной демагогической теории «расовой чистоты» Гарвея Дюбуа боролся единственным имевшимся в его распоряжении оружием — оружием честного убеждения. У негров, доказывал он (см. его автобиографию «Предрассветный сумрак», вышедшую в 1940 году), нет такого места, куда бы они могли уйти и где бы господство империалистов не поставило бы их в положение еще более отверженной касты и не обрекло бы их на еще бо́льшие страдания, чем те, которые они испытывают сегодня.

В 1917 году США вступили в первую мировую войну. К тому времени Дюбуа уже пришел к выводу, что стремление к захвату земель и приобретению дешевых рабочих рук «в Африке, Азии и районе Южных морей является самой важной и почти единственной причиной нынешней войны между так называемыми цивилизованными народами»...

Дюбуа, резко осуждавший мировую войну, придает все большее значение деятельности в пользу мира. Накануне мирной конференции 1919 года он находился в Париже, убежденный в том, что любой мирный договор, в котором не найдет отклика голос цветных народов, взывающих к справедливости, будет несовершенным. Несмотря на сильную оппозицию, ему удалось созвать Панафриканский конгресс; делегатам из США было отказано в выдаче паспортов, но на конгресс прибыло пятьдесят семь делегатов из Африки, Вест-Индии и других стран. Конгресс принял твердую, хотя и сдержанную, резолюцию, требующую принятия закона о справедливом отношении к африканцам, и направил петицию Лиге Наций о том, чтобы германские колонии были превращены в подмандатные территории.

А тем временем в Америке в первый же год «мирного» времени были устроены негритянские погромы в 46 городах. Только в Чикаго, Вашингтоне и в штате Арканзас было убито около ста негров. Дюбуа писал, что Америка, куда американцы вернулись, «сбросив рабство военного мундира», несмотря на все то, что сделали и о чем мечтали ее лучшие сыны, «остается страной позора... Она линчует... Она лишает права голоса своих собственных граждан... Она поощряет невежество... Она грабит нас... Она оскорбляет нас. Мы вернулись с войны, но мы будем продолжать воевать. Проложим путь Демократии!»

В период между двумя войнами он ставил своей целью расширять Панафриканское движение. Задачей движения является «не расовая война», разъяснял он, а объединение негров различных стран, различного происхождения в «такую всемирную организацию, которая противопоставила бы европейской агрессии объединенный фронт». Он надеялся, что когда-нибудь такая организация возникнет на африканской земле. В 1921 году в Лондоне и Брюсселе под председательством Дюбуа состоялись конгрессы панафриканистов. В 1923 году такие конгрессы собрались в Лондоне и Лиссабоне, в 1927 году — в Нью-Йорке.

Пренебрегая возможностью обрести покой и «хорошую репутацию», Дюбуа в 1928 году поехал в СССР. Эта поездка оставила у него незабываемые впечатления и зародила веру в социализм как единственный путь к прогрессу. В 1936 году он совершил вторую поездку в СССР и, возвращаясь на родину через Китай и Японию, впервые побывал в Азии.

После поражения европейского фашизма во второй мировой войне Дюбуа верил, что близится момент освобождения цветных народов от оков рабства. Теперь менее чем когда-либо он был склонен идти вместе с теми идеалистами, которые боятся решительных действий и стремятся к умиротворению; он скорее готов был примкнуть к тем, кто умеет называть своим именем все дурное в этом мире, кто стремится совершенствовать мир.

Пятый Панафриканский конгресс, который Дюбуа организовал в Манчестере (Англия) в 1945 году, явился новым шагом в организованном объединении широких кругов африканцев.

...В Америке правительство Трумена начинало проводить как внутри страны, так и за ее пределами политику холодной войны, когда Дюбуа вновь начал преподавать в университете Атланты и работать в «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения» в качестве одного из ее директоров и специалиста по колониальным проблемам. Результатом этой работы явилась большая книга «Мир и Африка» (1947). «Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения» послала Дюбуа в качестве своего наблюдателя на Сан-Францискскую конференцию. Там Дюбуа боролся за распро-

странение принципов, провозглашенных Объединенными Нациями, на колониальные народы.

Что же изменилось после войны в положении американских негров? В результате их борьбы, в которой в течение полувека активно участвовал Дюбуа, действительно произошли изменения. Половина семнадцатимиллионного негритянского населения США живет в городах. Процент неграмотных составляет теперь менее двадцати. Вторая мировая война вызвала новую волну переселения негров на Север, вырос и окреп негритянский пролетариат.

«Американские негры, — утверждал Дюбуа, — включились теперь в ход мировых событий».

Однако, если учесть, что предстояла еще тяжелая борьба за права полного гражданства, происшедшие изменения оказали весьма отрицательное влияние на положение внутри «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения». Хотя негритянские массы продолжали поддерживать ассоциацию в национальном масштабе, ее деятельность начали контролировать мелкобуржуазные сектантские элементы, ограниченные и политически трусливые люди, боящиеся массовых движений. В годы холодной войны и «охоты за ведьмами» они все более затрудняли поддержание международных связей, налаженных Дюбуа.

Дюбуа понимал, что в такой обстановке «Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения», если бы она даже и заняла решительную позицию, вызвала бы, подобно любой другой организации, нападки и обвинения в «коммунистическом заговоре». Впрочем, сами деятели ассоциации боялись этого и поспешили присоединиться к шумихе против «красной опасности». Но такая «перестраховка» не помогла им, когда они оказались втянутыми в неизбежную борьбу за претворение в жизнь закона против сегрегации негритянских школьников. Дюбуа написал «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения» от имени негритянских масс США «Обращение к миру», которое было направлено Комиссии прав человека ООН. В этом обращении он указывал, что лишенное в своей значительной части права голоса негритянское население США многочисленнее, чем все население Скандинавии, и почти в два раза больше населения Австралии. Он утверждал, что высоким и благородным заявлениям Америки противоречит каждый шаг в действиях США по отношению к неграм на протяжении сотен лет, и приводил разоблачающие цифры, показывающие, какой насмешкой над демократией является лишение права голоса 82 процентов избирателей, живущих на Юге.

Это заявление Дюбуа, а также его искренняя, неослабевающая забота об Африке не устраивали лидеров ассоциации. Надеясь добиться большей благосклонности к себе со стороны правительства, негритянская буржуазия проявляла все более явную готовность смотреть сквозь пальцы на проявления политики колониализма. В то же время не допускавшие компромисса политические воззрения Дюбуа все более пугали этих людей, так как слово «социализм» становилось все более «опасным» словом в Америке. Разрыв произошел в 1948 году, когда Дюбуа остался почти в одиночестве в своем загроможденном книгами кабинете в помещении Национальной ассоциации. В том году была создана Прогрессивная партия США. Пресса и правительство объявили эту партию «организацией, контролируемой коммунистами», и когда Дюбуа согласился оказать ей свою поддержку, «Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения» исключила из своих рядов человека, который за 38 лет до этого сделал больше всех для создания этой ассоциации.

Настало время, когда все американцы должны были определить свою позицию. Дюбуа, хотя и не соглашался по некоторым пунктам с коммунистической партией и по отдельным вопросам нередко был объектом критики со стороны коммунистов, не сомневался в том, с кем надлежит ему быть; он всегда был готов идти с теми, кто борется за мир, против империализма.

Как и для других прогрессивных американцев, для Дюбуа наступил период величайших испытаний, кульминационной точкой которых стала вооруженная интервенция США в Корее.

В 1949 году по приглашению бывшего помощника министра юстиции США Джона Рогге, в то время видного деятеля Прогрессивной партии, Дюбуа присоединился к организаторам конференции в защиту мира в Нью-Йорке. Пресса обрушилась на конференцию с резкими клеветническими заявлениями, хулиганы пикетировали здание, где работала конференция. Дюбуа спокойно напомнил людям, до отказа заполнившим Мэдисон-сквер-гарден, где проходил заключительный митинг, что конференция была созвана не для того, чтобы «защищать коммунизм, социализм или американский образ жизни, а для защиты мира».

Месяц спустя, снова по предложению Рогге, он выступил на самой значительной демонстрации того времени в защиту мира — на конгрессе в Париже. В последний день работы конгресса 500 000 человек приняли участие в антивоенной манифестации.

В августе 1949 года Дюбуа поехал в Москву, чтобы выступить на Всесоюзной конференции сторонников мира. В течение часа «полный достоинства и благородства человек», как писал английский журналист Ральф Паркер, приковывал к себе внимание аудитории Колонного зала Дома Союзов рассказом об истории своей страны. Он говорил о ее техническом прогрессе после Гражданской войны, отметив, однако, что демократия была задавлена расовой исключительностью, навязанной монополиями. Единственное средство избав-

ления от этого, — сказал Дюбуа, — в том, чтобы народ взял в свои руки управление промышленностью и государством. Он заявил, что представляет миллионы американцев, «выступающих против войны так же, как и вы», но объяснил, как трудно в Америке в условиях холодной войны «узнавать правду или говорить о ней». (Новый боевой еженедельник «Нэшнл гардиан» был уже почти единственным органом, в котором Дюбуа мог печатать свои произведения).

Следующей весной Рогге пригласил Дюбуа и других, присутствовавших на конгрессе в Париже, к себе домой, где был организован Информационный центр сторонников мира. Новый центр распространил Стокгольмское воззвание, под которым, несмотря на угрозы и акты прямого насилия, подписалось два миллиона американцев. Правительство было обеспокоено этим, и после того, как государственный секретарь Ачесон публично осудил Стокгольмское воззвание и тысяча полицейских разогнали митинг в защиту мира в Нью-Йорке, Информационному центру было официально предложено «зарегистрироваться» как агенту иностранного государства.

Известие об этом Дюбуа получил в Праге, где на заседании Исполкома Постоянного комитета сторонников мира он снова подчеркивал трудность задачи — донести правду до подавляющего большинства американцев — задачи, для выполнения которой, по его словам, понадобится смелость и готовность пожертвовать своей работой и положением в обществе.

В другом письме, прибывшем из США, ему предлагали выставить свою кандидатуру в Сенат от американской рабочей партии штата Нью-Йорк, возглавлявшейся Вито Маркантонио, единственным членом Конгресса, который голосовал против интервенции в Корее.

82-летний ученый согласился на это, хотя заметил, что он «не заклинатель, а лишь человек, который умеет делиться своими мыслями с теми, кто готов его слушать». Он согласился, хотя у него не было ни денег, ни богатых друзей, а всякий, говорил он, кто думает, что успех на выборах в Америке нельзя купить за деньги, глупец.

К этому времени «хорек Уоллес» (как презрительно назвал его Дюбуа) изменил делу прогресса и мира, но еще тяжелее для больного старого человека было предательство «крысы Рогге». Информационному центру, который практически прекратил свое существование за несколько месяцев до того, было предъявлено правительственное обвинение в уклонении от регистрации, и главным свидетелем, подтверждавшим подчинение центра иностранному хозяину, оказался сам Рогге. Рогге, говорил Дюбуа, был честолюбивым человеком, который, «подобно многим американцам, любит деньги и хочет иметь их побольше». Его действия явились «логическим результатом господствующего у нас образа мыслей и воспитания». Вместе с другими работниками Информационного центра Дюбуа было предложено дать отпечатки пальцев, его подвергли личному обыску, чтобы отобрать оружие. «Я,— пишет Дюбуа, — вступил в 84-й год моей жизни в наручниках».

Выдвинутые против Дюбуа «обвинения» давали основание приговорить его к тюремному заключению сроком до 5 лет и к штрафу в 10 000 долларов. По мере приближения суда становилось ясно, что правительственные чиновники, выдвинувшие против него обвинение, не знали о нем ничего, кроме того, что он негр, хотя даже люди, никогда не читающие книг, могли прочесть о нем обширную статью, которая в течение нескольких десятков лет помещается в ежегодных изданиях американского справочника об известных людях ("Who's Who").

Негритянские издания и организации делали некоторые шаги (делать больше в период истерии, порожденной корейской войной, было невозможно), чтобы привлечь внимание к позорным действиям против такого человека. Из-за границы потоком шли протесты, и именно они заставили правительство осознать, как могут повлиять подобные действия на международный престиж Америки. Правительство предложило «неофициально» прекратить дело, если Дюбуа будет «сидеть и молчать», однако Дюбуа заявил, что он скорее сгниет в тюрьме, чем сделает это. Для того, чтобы оплатить огромные судебные издержки, он и его жена должны были совершить две поездки по всей Америке, организуя митинги для сбора средств.

Показания в суде «крысы Рогге» — карикатуры на былого Рогге, борца за мир и реформу, выглядевшего теперь усталым человеком в небрежно висящей одежде, — потерпели неудачу. Информационный центр сторонников мира никогда не был связан ни с одной иностранной организацией, и обвинители не могли привести ни одного доказательства таких связей.

Выступая в качестве главного адвоката Дюбуа, Маркантонио разбил все доводы обвинения, и судья был вынужден прекратить дело.

Хотя Маркантонио не взял с Дюбуа никакой платы («респектабельный» адвокат, к которому обращались, запросил 25 000 долларов), общая стоимость защиты составила около 50 000 долларов. Дюбуа впоследствии писал:

«Большинство образованных американцев и людей с положением не сказали ни слова, не шевельнули пальцем. Это — самый поразительный и страшный результат этого суда. Мы — пятеро — свободны, но Америка не свободна... Меня приводит в ужас мысль о том, что тысячи невинных жертв томятся сейчас в тюрьмах, потому что у них нет ни денег, ни опыта, ни друзей, которые могли бы помочь им; многие из этих людей — негры. В то время как

мы предоставляем обвиняемым защиту в сенсационных процессах, массы арестованных или обвиняемых негров не имеют защиты».

В настоящее время больше, чем когда-либо прежде, этот гражданин мира знает, кому он верен: не какой-либо одной стране, хотя он больше всего любит свою страну, но человечеству. «Я не верю, что преданность Соединенным Штатам подразумевает ненависть к другим народам; я не обещаю поддерживать свою страну, «права она или не права», только потому, что она моя страна. Я буду защищать ее, когда она права, и осуждать ее, когда она неправа.

Если бы, например, во время Гражданской войны я жил в Джорджии и должен был бороться за рабство или умереть, я бы умер. Хотя я есть и останусь верным гражданином Соединенных Штатов, я уважаю СССР и восхищаюсь им. Я считаю, что в этой стране живет народ с самыми большими перспективами. Об этом свидетельствует не только его теория, но и его достижения. Я не считаю эту страну совершенной, однако... если бы американские негры имели хотя бы половину возможностей, которые имеют русские для образования, в настоящее время негритянский вопрос не существовал бы».

В 1957 году правительство нового государства Гана, бывшей английской колонии Золотой берег, пригласило «отца Панафриканского движения» в качестве почетного гостя на празднование своей завоеванной в тяжелой борьбе независимости. Однако правительство США не разрешило Дюбуа выезд из страны. Вице-президент США Никсон, отвечая в Гане на вопросы представителей прессы, сказал, что никогда не слышал о докторе Дюбуа и даже не знает, что он американец.

Этот великий мыслитель и боец за свободу находится ныне в том же положении, в каком он находился и в 1952 году, когда он получил от Госдепартамента следующее письмо:

«Уважаемый г-н Дюбуа, Государственный департамент получил ваше недавнее заявление о предоставлении вам паспорта и... внимательно рассмотрел вашу просьбу. Однако, поскольку ваша предполагаемая поездка, по-видимому, будет противоречить жизненным интересам Соединенных Штатов, паспорт вам выдан не будет».

Д-р Дюбуа с горечью заканчивает свою книгу «В борьбе за мир» словами из национального гимна Америки:

«Моя страна, о тебе,
Прекрасная страна свободы,
О тебе я пою».

Лондон

К. Замбахчан

МОЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ *Коллекция*

Перевод Е. Рассадиной и Т. Ивановой

К. Замбахчан (род. в 1889 г.) — известный румынский коллекционер и искусствовед. Собранная им богатейшая коллекция живописи была преподнесена им в 1947 году в дар румынскому народу. Отмечая его заслуги в деле развития национального изобразительного искусства Румынии, правительство присвоило музею имя его основателя.

В настоящее время К. Замбахчан активно участвует в строительстве новой румынской культуры. Его перу принадлежит ряд монографий о румынских художниках и о западном искусстве, а также книга воспоминаний, из которой мы, с согласия автора, воспроизводим с сокращениями некоторые главы.

К. Замбахчан — член-корреспондент Академии Румынской Народной Республики.

На длинной, выступающей в море полоске земли, на месте старых кварталов современного порта Констанца, стоял некогда город Томы; на этом узком полуострове, изборожденном улочками, с каждого перекрестка, словно задник декорации, виднелось море.

Убаюкивая плеском волн мирный городок, море накладывало на все свой властный отпечаток. От былой патриархальной жизни в памяти сохранилось скрытое спокойствие города, ибо с тех пор как цивилизация и культура покоряют и потрясают, уничтожают и воздвигают, разрушают и создают — все перестраивается; и тут ничего не сохранилось от прошлого, на смену которому пришли новые привычки, верования, горизонты.

Предки видели в морском величии символ вечности, своего могущества, и при созерцании всего этого их мысль возносилась к животворным вершинам человеческого духа, к безмятежности.

Так, постоянно по вечерам игра бесконечно сменяющихся оттенков, следующих за последним багряным отражением заката, нежно озаряет это свидание человека с морем. Прозрачные покровы наступающего вечера, окрашенного в розовый и фиолетовый цвета, постепенно обнажают и вновь обволакивают небо до тех пор, пока темнота не охватит его и не завладеет небосводом.

Именно тогда затихают и ветер, и волны; торжественная тишина царит на земле, на воде и в небе.

Всеми овладевает чудесное очарование, а необъятность ослепляет и повергает в экстаз.

Мое лицо склоняется под дуновением ветерка, мой взгляд теряется вдали... у горизонта, я предчувствую появление серебристых лучей ночного светила, в то время как небесный свод, усеянный звездами, готовится к его встрече: и вот оно поднимается, круглое и обнаженное, как грудь Венеры...

На этих берегах я родился в 1889 году.

Мой отец, родом из Цезареи в Каппадокии, обосновался в Кустендже — турецкое название Констанцы — еще в те времена, когда были свежи воспоминания о турецком владычестве. Он был тогда бухгалтером одной фирмы, ввозившей пряжу и ткани с Запада

Моя ранняя юность связана с развитием и модернизацией порта. Я радовался, видя,

как поднимаются плотины, расширяются набережные, вырастают словно из-под земли склады, множится механическое оборудование, процветает перевозка больших грузов; но тоска о маленьком портовом городе моего детства иногда овладевала мною.

Я мысленно вижу его мол и деревянные набережные на сваях, где стояли у причала старые парусные суда и лодки с тяжелогруженными трюмами, лениво покачивающиеся на якоре.

Когда я приближался к ним, на меня обрушивались потоки различных запахов, в которых аромат фруктов и масел смешивался с ароматом лавра и смолы, сглаживая, до некоторой степени, соленый запах моря, выброшенных на берег водорослей и гудрона набережных.

Я сдружился с греческими юнгами, такими же юношами, как и я. Мы обменивались почтовыми марками и монетами.

Я был очень взволнован, когда ко мне попали юбилейные марки, выпущенные в честь Олимпийских игр 1896 года, воспроизводящие величолепные античные статуи, как например Дискобола Мирона.

Это было моим первым уроком по археологии и истории искусств; долго я находился во власти красоты и с тех пор начал коллекционировать.

При более внимательном взгляде на молодых матросов я обнаруживал иногда в их юношеских профилях те же черты и ту же четкость линий античных статуй, репродукции с которых я видел в школьных учебниках или же в гипсовых копиях музеев.

И я размышлял о далеком прошлом нашего города... о Медее, об аргонавтах, о скифах, о греках, о римском господстве, и начинал сожалеть об исчезнувших храмах, о триумфальных арках, от которых не осталось даже ни скульптурных обломков, ни руин.

До того как приступили к работам по расширению порта, по краям окружавших город виноградников сохранилось еще несколько мраморных ступеней, а также остатки древней крепостной стены и отдельные редкие камни с греческими или римскими надписями; короче говоря, от былой славы Томы мало что сохранилось.

Обычно все, что извлекалось в ходе раскопок, посылалось в Бухарест для пополнения залов Археологического музея, помещавшегося тогда в первом этаже старинного университета, который был подвергнут бомбардировке во вторую мировую войну. Именно в отделе «мраморы» я вновь открыл то, что когда-то было найдено в Констанце при раскопках.

В свою очередь, я тоже занялся раскопками. Я извлекал осколки стекла, терракоты или мрамора, иногда отшлифованные морскими волнами камни, время от времени находил древнюю монету, горло амфоры или кусок бронзы, но мне никогда не удавалось обнаружить предмет, который по ценности напоминал бы те, что я видел в

Портрет К. Замбахчана. Рис. Ж. Стериади.

витрине цирюльника Аристида Газы, который казался мне знатоком искусства.

В его мастерской, расположенной в одном из домишек, выходивших на главную улицу, в первом этаже старой, совершенно обветшавшей корчмы, именовавшейся «Болгарским отелем», можно было видеть среди склянок с пиявками и расставленных банок амфору, кубок, бронзовую статую, терракоту; все это приносили ему его верные разведчики, которых он вербовал среди строительных чернорабочих, портовых рабочих, лодочников, рыбаков и окрестных крестьян.

Аристид Гава гордился своей ученой клиентурой и называл нам имена многих археологов, фамилии которых я уже забыл.

Когда Аристид с видом знатока взвешивал на руке монету и высказывал мнение, насколько она была древней или же редкой, он разглагольствовал об этом не без некоторой компетенции. Что касается меня, то я оставался во власти строгого профиля какого-нибудь римского императора, варварского лика скифских царей или пленительного облика античного божества.

Больше смотреть, чем анализировать, созерцать, а не вникать — вот что соответствовало до определенного возраста моему характеру. Так постепенно я оказался на пути, который ведет к искусству.

Было ли это хорошо или плохо, я не берусь утверждать, бесспорно одно: у меня не было недостатка в энтузиазме.

В одиннадцатилетнем возрасте я познакомился с античностью благодаря театру, в котором я видел пьесу Александри «Овидий», поставленную труппой Ясского национального театра на открытой сцене летнего театра, расположенного на буль-

варе против старого и снесенного позднее казино.

Мое внимание сосредоточилось не только на драме несчастного поэта, сосланного в наши края, но также и на том, что называется мизансценой, на костюмах, движении, на позах артистов, жестах, на их манере приветствовать друг друга по-древнеримски, и особенно на преисполненном благородства движении рук, при котором играла тога,— словом, на жестах и движениях, которые, возвратившись домой, я повторял перед зеркалом. То, что я видел в театре, дополняло скудные познания об искусстве, почерпнутые мною на уроках древней истории в первом классе гимназии.

Поэтому с тех пор я проходил с видом знатока перед прекрасной, покрытой темными пятнами статуей Овидия, которую можно было принять за античную бронзу; я разбирал надпись на постаменте, а позднее, после нескольких лет изучения латыни, дошел даже до того, что скандировал знаменитые стихи:

Это я, Назон, покоюсь здесь, скорбный
певец нежной любви,
Я пал жертвой своего таланта.
Прохожий, если ты когда-нибудь любил,
Соблаговоли сказать, что останки Назона
покоятся безмятежно.

Отныне мне казалось, что в течение длинных зимних ночей, когда дул северный ветер и стонало море, я лучше понимал Овидия, даже не читая его элегий.

Среднее образование я получил в Бухаресте. По воскресеньям и праздничным дням я усердно бывал на дневных спектаклях Национального театра и ходил на концерты и фестивали, организуемые в Атенеуме. Нашими учителями рисования — один из них был художником, другой скульптором — были довольно известные люди: их произведения экспонировались в художественном салоне.

Они могли бы пробудить у нас вкус к искусству, если бы не замыкались в своей аналитической программе по рисованию и каллиграфии и не ограничивались отбором среди наших рисунков таких, которые им казались наиболее подходящими для представления в конце года на выставке, размещаемой в вестибюле лицея. Поэтому мы мало разбирались в искусстве.

Мои товарищи из Констанцы с восхищением говорили мне о писателе Йоне Адаме, у которого установились дружеские отношения с учениками и который, беседуя с ними о проблемах культуры, делал экскурсы в область искусств и мифологии.

Преподаватель рисования в гимназии города Констанцы художник Думитру Хырлеску внимательно наблюдал за своими учениками, и особенно за теми, кто имел склонность к рисованию, и приглашал их в свою мастерскую. Демонстрацию копий с картин классиков, а также своих полотен он сопровождал объяснениями. Он во многом помог скульптору Йону Жаля. По его же настоянию и советам поехал в Мюнхен изучать живопись и художник Мариус Бунеску, который начинал свой путь в качестве чертежника Технического управления верфи Констанцы.

Посещая в юности выставки, я отдавал предпочтение тем картинам, сюжеты которых будили во мне идиллические настроения, представляя мифологические сцены, освещенный солнцем пейзаж или что-либо романтическое.

Я ждал опубликования хроник и репродукций, печатавшихся в альманахах и календарях, в частности специальных номеров парижского журнала «Иллюстрасьон», в котором в изобилии воспроизводились репродукции с полотен и скульптур, пред-

Н. Григореску. Стражник.

ставленных в парижских салонах.

Когда я думаю об этом сейчас, я прихожу к выводу, что наше музыкальное образование было организовано основательнее благодаря симфоническим концертам, проходившим в Атенеуме под управлением профессора-виолончелиста Думитру Динику, возглавлявшего оркестр Министерства народного просвещения. Думитру Динику, формируя наш вкус, приобщал нас к разнообразным произведениям классиков, чего как раз не было в области живописи. Для нашего художественного образования не хватало хорошо подобранной картинной галереи. Вот почему в 16 лет, разбираясь в творчестве Бетховена и Вагнера, я еще не был в состоянии понимать величие Микеланджело, Веласкеса и Рембрандта. Если какая-либо пошлая музыкальная страница буквально выводила меня из себя, то, наоборот, мое внимание привлекали многие весьма посредственные произведения живописи, которые экспонировались у нас.

Однажды, проходя мимо витрины книжной лавки, я внезапно остановился перед литографией, воспроизводящей хорошо известную картину Балестриери «Бетховен».

Н. Григореску. Цыганка.

Я купил ее вместе с рамой за 5 лей и повесил над моим пианино. Кроме того, за 2 леи я приобрел у одного странствующего итальянского торговца гипсовую маску Бетховена и был очень счастлив, что начал коллекционировать.

В летний сезон в Констанце торговцы рамами организовывали передвижные выставки картин; здесь за 20 лей я купил две акварели Коры Мирческу и за 50 лей морской пейзаж Флориана. Они стали первыми «оригиналами» в моей коллекции.

Но этим я уже не был удовлетворен, ибо ставил перед собой далеко идущие цели.

Меня преследовала мысль о картинах, которые я видел во Дворце искусств на юбилейной выставке 1906 года: там в обширном зале было вывешено большое количество полотен Григореску; в других залах были выставлены «Осени» и «Жатвы» Вероны, композиции Вермона, аллегории Кимона Логи и др. Я спрашивал себя, смогу ли и я также когда-нибудь купить одну из этих картин на мифологическую тему, как например «Ифигения в Авлиде», которой я восхищался. Это было большое полотно в красивой раме с греческой надписью, выгравированной на пластинке, сделанной под слоновую кость.

Много позднее, когда я вновь увидел эту картину, мной уже не владел прежний энтузиазм. Мифологический или идиллический сюжет почти не удовлетворял меня более; на меня теперь наибольшее впечатление производила прежде всего точная передача изображаемого, искренность, гармония тонов, краски, свет, равно как и качество исполнения; при этом меня привлекал скорее синтетический и выразительный характер произведения, чем умение, ловкость или педантичность, свойственные авторам некоторых из этих картин.

Почти полвека спустя я узнал, что поэт Думитру Ангел, О. Иосиф, Овидиу Денсушану и, в какой-то период, критик Вирджил Чофлек и некоторые другие были поклонниками этих поэтических произведений, мотивы которых с наибольшей силой выражены в творчестве Кимона Логи; я чувствую некоторое удовлетворение от того, что, несмотря на мой юношеский возраст, вращался тогда в совсем неплохом обществе.

Несколько позднее, в связи с нашумевшей выставкой Вероны, я попросил у отца 500 лей. И чтобы вернее достичь цели, разложил перед ним газетные хроники. Я намеревался приобрести картину, изображающую жатву, в которой мне нравились золотистые тона ее пшеничного поля, движения жнецов, очертания женских фигур, склонившихся над снопами, так же как и зеленые мазки, которые так чудесно вкрались в золото жнивья... Короче говоря, полотно выполненное с немалым вдохновением, с его амальгамой красочных пятен и решительными мазками. Грубоватая техника мастера казалась мне манерой гораздо

более современной рядом с живописью других художников, тщательно отделанной и слишком избитой.

Поскольку я должен был возвратиться в Констанцу, я не стал ждать конца выставки и купил картину, о которой художник Верона сказал мне, что он расстается с ней с большой грустью, так как вложил частицу своей души в те своеобразные золотистые тона, которыми сверкало это полотно.

Позднее я узнал, что художник всем покупателям пел одну и ту же песенку, с той лишь разницей, что для некоторых из них полотно отливало серебристым цветом, а для других — золотистым.

Счастливый своим приобретением, с маленькой картиной в руках, я, как ураган, влетел в магазин Жана Федера, чтобы купить кое-какие ноты. Там оказался бывший преподаватель консерватории по классу фагота покойный Дан Симионеску, видный музыкант симфонического оркестра, человек, с которым я познакомился у моего преподавателя по скрипке Луиджи Нариса, игравшего в том же оркестре.

Н. Григореску. Лес в Фонтенбло.

Заинтересовавшись картиной, которую я прижимал к груди, он попросил меня показать ее ему. Окинув ее быстрым взглядом и видя меня таким счастливым своим приобретением, он улыбнулся и напрямик объявил, что я больше разбираюсь в музыке, чем в живописи, ибо то, что я находил в моей картине столь интересным, есть не что иное, как результат ловкого использования обычного приема... Я бы лучше поступил, купив картину Лукьяна.

Лукьян! Впервые я услышал это имя.

Потрясенный своим злоключением, я возвратился на выставку Вероны и убедился, что его картины не имели уже для меня прежнего очарования.

Моя вера поколебалась.

Но спустя некоторое время, видя, как двое мужчин громко восхищались полотном, воспроизводящим идиллическую картину — пышную крестьянку в туманных красках,— я стал было думать по-старому. И когда один из них с энтузиазмом воскликнул «Честное слово, настоящий Ватто!», я был настолько доволен, что, побежав прямо к художнику, спросил его, кто это сказал.

— Это профессор Мурну,— ответил он.

Я еще раз обошел выставку, осматривая визитные карточки покупателей, приколотые к углам картин: среди них были принцесса Мария, Василие Шт. Мортэн, профессор доктор С. Ангелеску, Йон Калиндеру, Анастас Симо, банкир Беркович, Лазарь Мунтяну и другие. Это меня приободрило. Черт возьми, сказал я себе, в каком ты обществе!..

Позднее я познакомился с Лазарем Мунтяну в Констанце, когда он был председателем суда и жил у моего кузена. Неоднократно приходя к нему, я заглядывал в окна первого этажа.

Картины покрывали буквально все стены. Я узнавал среди них «Осени» Вероны, пейзажи Вермона, а также «Штокрозы» Миря и другие.

Много лет спустя, познакомившись с ним ближе, я рассказал ему мое приключение с преподавателем игры на фаготе. Он сказал мне, улыбаясь, что тоже некогда покупал изрядное количество полотен Вероны, Миря, Вермона, тогда как мог бы коллекционировать произведения лучших художников.

— Ну что вы хотите, мой дорогой,— говорил он мне,— я покупал их потому, что

платил за них в рассрочку. Я был всего лишь бедным чиновником.

Подобная сделка, конечно, не устроила бы такого художника, как Николае Григореску, который на своих последних выставках заставлял выплачивать себе все до последней копейки и при этом продавал абсолютно все. В связи с этим Лазарь Мунтяну рассказал мне, как он хотел купить его маленькую картину, на которой была изображена телега, запряженная волами. Но пока он размышлял, неожиданно появился другой любитель живописи, размахивающий своей визитной карточкой с целью удержать произведение за собой.

Григореску, видя огорчение Мунтяну, пригласил его на следующий день на выставку, где обещал показать похожую картину, которая находилась у него в мастерской.

В самом деле, на следующий день Лазарь Мунтяну увидел столь желаемое полотно на том же месте «совершенно горячее, абсолютно свежее», как выражаются торговцы галетами.

Довольно часто случалось, что художник из Кымпины использовал полуденный перерыв для того, чтобы пополнить количество своих картин, и на скорую руку небрежно рисовал одну из «телег, запряженных волами», приобретение которой час спустя любители оспаривали друг у друга.

Престиж Григореску был в то время огромным.

Покупатели интересовались вовсе не сюжетом его картин. Их воображение разгоралось уже при одном виде его подписи, сделанной красной краской внизу на полотне.

В печати усердно распевались хвалебные гимны его полотнам. Вот типичная выдержка из одной хроники:

«...вы видите этих молодых крестьянок с румяными щеками, с выразительными глазами и этих мечтательных пастушков, неподвижно застывших на вершине холма. А вот волы, безобидные и кроткие, с маслянистыми глазами и с влажными мордами» (Н. Пора «Календарул Минерва»).

Часто имя «Григореску» означало высшую степень прекрасного.

Один торговец коврами, показывая мне как-то великолепный ковер и не найдя достаточно выразительного сравнения, поднес пальцы к губам, изображая поцелуй, и воскликнул: «Ну, настоящий Григореску!»

Даже в кругах интеллигенции искусство начиналось и кончалось именем Григореску.

Однажды я был представлен как опытный коллекционер одному важному должностному лицу, который в первую очередь спросил меня: «У вас есть картины Григореску?»

Ценность и важность коллекции определялась по числу имеющихся в ней произведений Григореску.

Один лишь Ал. Богдан-Питешть, этот веселый памфлетист, мастер парадоксов, восклицал, чтобы вас поразить: «В моей коллекции вы не найдете ни одного Григореску, но зато в ней есть произведения Лукьяна, Рессу, Паллади, Изера» и т. д.

Летом 1907 года Григореску перешел в мир теней, оставив последующим поколениям свое образное восприятие мира... Умер «величайший лирик Румынии», как назвал его И. Л. Караджале; и словно по велению судьбы, в том же 1907 году начал широко распространяться пасторальный стиль, ослаблявший в нашем искусстве и литературе стремление к изображению действительности с социальных позиций.

Н. Григореску. Женский портрет.

Н. Григореску. Крестьянка.

Если не считать полотен, посвященных войне 1877 года, Григореску не запечатлел ни зимы, ни осенней грусти. Со временем он стал чуждаться резких и темных тонов, подобно тому как он обходил резкость линий и деформации даже там, где это, казалось бы, могло быть необходимым для большей выразительности.

Но Григореску не идеализировал и не поэтизировал природу, как ошибочно говорили о нем.

Он лишь выбирал из нее то, что ему было нужно. Тот, кто бродил по холмам и долинам Муечела и Прахова, верно, встречал девушку, такую изящную и тоненькую, что ее «можно продеть сквозь колечко», как гласит народная поговорка. А кто не видел, путешествуя в наших горах, парня с белокурыми волосами, пастуха, опирающегося на палку?

Во все времена — от античности, через Возрождение и до наших дней — великие творцы Пракситель, Ботичелли, Рафаэль, Ренуар и т. д. находили живое существо, которое представлялось им идеалом красоты.

Григореску приобрел популярность не столько из-за художественных достоинств своих картин (ибо эти достоинства как раз преуменьшались в тот период, когда он особенно прославился), сколько потому, что лирическое, оптимистическое и, я бы сказал, праздничное изображение крестьянства стало преобладающим в нашей культурной жизни того времени.

Наши молодые художники, вернувшиеся с Запада, стали проявлять совсем иные требования. Но так как во время первой мировой войны многие наиболее ценные работы Николае Григореску были увезены, эта молодежь могла судить о художнике лишь по немногочисленным картинам, оставшимся в наших музеях, и отдельным незначительным полотнам, которые можно было встретить в продаже; почти все эти полотна были написаны в последние годы творчества художника — в период между 1900 и 1907 гг., когда мастерство Григореску начало превращаться в ремесленную виртуозность. В эти годы художник фиксировал лишь общий облик, обволакивая все предметы белой дымкой, потому что болезнь глаз сказалась на его зрении.

Располагая лишь этими полотнами и не имея возможности апеллировать к лучшим вещам Григореску, новое поколение имело право на критическое отношение к художнику.

Существуют таланты, которые развиваются более медленно, но по восходящей линии, достигая своего высшего предела лишь спустя много лет после начала творческой деятельности, примером тому — французский художник Сезанн.

Существуют и художники столь же талантливые, но более неожиданные в своем развитии и с определенной точки зрения — более счастливые; они не знают мук творчества и достигают высот искусства с первых лет работы; так было с Коро, пейзажи и итальянские портреты которого, написанные в молодости, более ценны, чем большинство зрелых произведений, относящихся к так называемой эпохе «Виль д'Авре». Григореску, как и Коро, обладал этим счастливым даром, но как и Коро, Григореску пережил закат творчества.

Ни один художник и даже ни один поэт (за исключением Александри*) не имел такого отклика в самых широких слоях народа, как Григореску.

Великие мастера Возрождения — Леонардо да Винчи, Пьеро делла Франческа, Микеланджело — поражают нас мастерством рисунка, композицией, потрясающей пластичностью и силой воображения; но итальянский народ больше любит Тициана, потому что он человечнее.

Я видел в Италии много художественных выставок; я был на восхитительной экспозиции «Джотто и его эпоха», на великолепной выставке мастеров венецианской школы Тинторетто и Веронезе, но ни на

* Василе Александри (1821—1890) — один из основателей современной румынской литературы поэт, драматург и прозаик, первый популяризатор румынского фольклора.

одной из них я не заметил среди зрителей простого народа, как на выставке Тициана в 1935 году.

Крестьяне приходили издалека; старики и старухи, держа за руку детей, в молчании, с восхищенными лицами проходили перед полотнами мастера из Кадоры, временно выставленными в роскошных залах дворца Пезаро на Большом канале.

На выставке Григореску в 1938 году было вдвое больше посетителей, чем на выставках Андрешку и Лукьяна, взятых вместе.

Григореску пришел вовремя: он освободил румынское искусство от оков академизма, он расчистил почву для грядущих поколений...

Он обучил нашу публику понимать живопись и научил нас видеть природу.

Вся румынская живопись была одно время под влиянием Григореску. Даже Лукьян, Петрашку, Стрымбу ссылались в первоначальный период своего творчества на художника из Кымпина; даже тем, кто принадлежал к совершенно иному направлению в искусстве, как Верона и Вермон, нравилась сельская лирика, типичная для Григореску, и они сами выражали в своих картинах идиллические мотивы. Было время, когда выставки общества «Артистическая молодежь» оживлялись при малейшем дуновении того ветерка, который исходил от творчества Григореску.

Первой приведшей меня в восторг картиной Петрашку была марина, написанная в Балчике. Она находилась в Музее Симу, а теперь выставлена в Национальной галерее Музея искусств РНР.

Жемчужинами выставок «Артистической молодежи» перед первой мировой войной были напоенные светом и красками полотна Лукьяна и сверкающие земными огнями картины Петрашку.

Небесная нежность Лукьяна контрастировала с глубокими металлическими тонами Петрашку.

Лукьян умер в 1916 году, но, прикованный к постели болезнью, он фактически перестал писать в 1913 году.

Я не успел познакомиться с ним. Петрашку, который был моложе, стал моим другом, и в течение двадцати пяти лет, до конца его дней, я посещал его каждое воскресенье и каждый праздник с прилежностью ученика; иногда я запаздывал, и тогда жена художника звонила мне по телефону: «Йоргу ждет тебя».

Дж. Петрашку. Автопортрет.

Первые впечатления от живописи Петрашку были неясными и странными. Я понимал, что в искусстве этого художника есть что-то необычное; вначале мне казалось, что его живопись выглядит так, как будто смотришь на нее сквозь закопченное стекло или будто она извлечена из угольной шахты; она сильно отличалась от живописи других художников, пленявшей с первого взгляда. Правда, живопись Петрашку отражала существо явлений, но в ней сплеталось реальное с ирреальным, в ней чувствовалось нечто магическое, иногда даже сверхъестественное; эта живопись иногда заставляла вспоминать об алхимии. Делавранча спросил художника:

— Почему твои картины так волнуют, что ты в них подбавляешь?

И сам же ответил:

— Послушай, ведь ты вносишь в них драматизм

И действительно, в картинах Петрашку разворачивается драма, но она заключена не в тематике картин; эта драма пластического существа картин, драма цветов, раскрывающаяся в кон-

Дж. Петрашку. У моря.

трастах, драма форм, складывающихся вопреки законам симметрии и перспективы, из асимметричных сочетаний.

Творчество Петрашку восходит не к геометричности флорентийского Возрождения; оно ведет свое происхождение от кипения таких венецианских колористов, как Тинторетто, через барокко, Гойю, Делакруа и Домье. По технике и темпераменту он принадлежит к эпохе 1830 года, и тем не менее он необыкновенно современен — своим стремлением к новаторству, презрением к приспособленчеству, революционностью своего искусства.

Лукьян располагает к грезам и размышлениям; Петрашку — весь энергия и фантастика.

В натюрмортах Петрашку, хотя они очень конкретны, всегда окунаешься в атмосферу галлюцинации; часто предметы в них кажутся привидениями, явившимися из мира теней. Петрашку любит интерьеры, в которых господствует патриархальная тишина и каждый угол хранит свою тайну. Таковы его картины, изображающие покои монастыря в Тырговиште, на которых свет, проникающий снаружи, не рассеивается, а низвергается единым раскаленным потоком.

Пейзаж, как таковой, в общем не интересует художника, он служит скорее поводом для воспроизведения цветовых сочетаний. Петрашку разыскивает древности подобно археологу; венецианские дворцы, средневековые постройки Сигишоары, господарская церковь в Тырговиште, средневековые улицы Бретани привлекают его своей стариной. Петрашку писал море ради тоски синих далей, ради волнения пенистых волн, ради того дуэта ультрамарина и изумрудно-зеленого цветов, в который вкраплены отблески лазури неба. В облачные дни, когда воздух напоен влагой, не кто, как он, не умел извлечь из изумрудно-зеленых и серых красок такой удивительной мягкости.

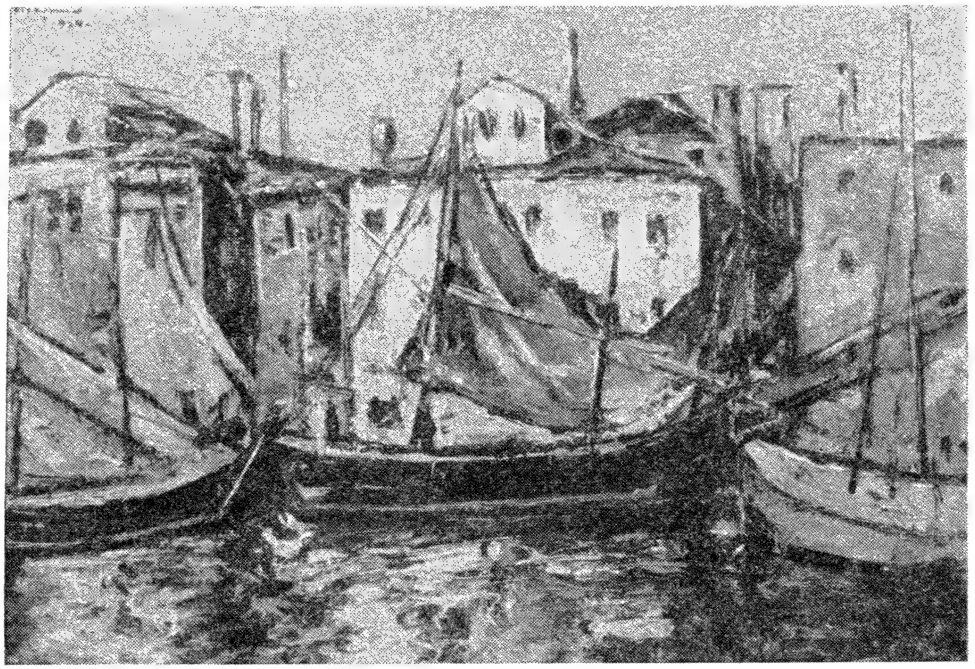
На некоторых портретах художнику удается придать изображаемым фигурам величественную осанку дожей — таков автопортрет в красном колпаке, портрет инженера Ромашку и т. д.

Однажды я вошел к нему в мастерскую и собирался снять черную шляпу, но Петрашку остановил меня, посмотрел внимательно и сказал: «Ты похож на одного из синдиков Рембрандта!» — и тут же начал писать мой портрет.

Петрашку великолепно владел кистью; он охотно пользовался мастехином; художник брал краски, смешивал их и затем уверенной рукой наносил на поверхность холста, не возвращаясь обычно к уже сделанному мазку; таким образом ему удавалось сохранить свежесть красочного слоя и богатство поверхности.

Иногда, показывая мне какой-нибудь холст с очень плотной поверхностью, Петрашку с наслаждением поглаживал его рукой, восклицая: «Старина!»

Он говорил мне, что живопись должна быть как хорошее вино: чем больше про-



Дж. Петрашку. Венецианский пейзаж.

ходит времени, тем лучше она должна становиться.

Он рассказывал мне о слепом художнике, который, посещая выставки, ощупывал холсты, так как не имел возможности видеть картины и вынужден был довольствоваться восприятием живописи через осязание.

Если не считать Лукьяна, Петрашку был самым значительным художником своего поколения.

В его искусстве есть сила, чувство пластики, отзвук гармонии, которая, кажется, идет изнутри, а не только от зрительных восприятий. И даже свойственные ему неуклюжесть и угловатость придают его живописи характер, уникальный в нашем искусстве.

Общество «Артистическая молодежь» было основано в 1901 году в противовес «Официальному салону», где господствовали художники Миря, Стэнческу, Александреску и другие корифеи школы изящных искусств, непримиримые противники всех новых течений.

Инициатива, проявленная в 1900 году в Париже с целью создания этого общества, принадлежала Петрашку, Стрымбу, Кимону Логи, поэту Думитру Ангелу, Вирджилу Чофлеку и поэту Шт. О. Иосифу, который сопровождал Чофлека в его путешествии за границу. Они проехали затем в Мюнхен, чтобы получить согласие Штефана Попеску, Стериади, Спате и Вермона, которые учились в баварской столице. Затем осенью 1901 года они собрались в Бухаресте, в кафе Гамбринус, чтобы поставить, наряду с именами Лукьяна, Артакино и других, свои подписи на документе об организации этого общества.

«Артистическая молодежь» достигла в то время большой известности среди наших любителей искусства. Делалось все, чтобы ежегодные выставки этого общества соответствовали художественным выставкам типа «Сецессион», происходившим в Вене. И действительно, перед первой мировой войной они представляли собой определенное событие в светской жизни, имевшее не меньшее значение, чем румынские дерби или бал, который давало «Оболюль» — аристократическое общество того времени.

Художественная выставка группы «Румынское искусство» (зал Лидертафель) весной 1920 года принесла много радости любителям живописи. Для каталога выставки Тудор Аргези * написал интересное предисловие, подчеркнув обновляющий порыв, который внесли художники этой группы в румынское искусство.

Выставку украшало несколько великолепных работ Лукьяна: «Автопортрет» «Лестница цветов», «Кухня монахов в Бребу», «Хризантемы в горшочке» и другие.

* Тудор Аргези — ныне здравствующий известный румынский поэт.

Художники, входившие в группу «Румынское искусство», отличались друг от друга ви́дением мира, техникой, эмоциональностью, но их объединяла пластическая точность, стремление выразить сущность явлений, в отличие от той поверхностной легкости, основанной на кропотливом труде и профессиональной сноровке, которая отличала большую часть художников «Артистической молодежи».

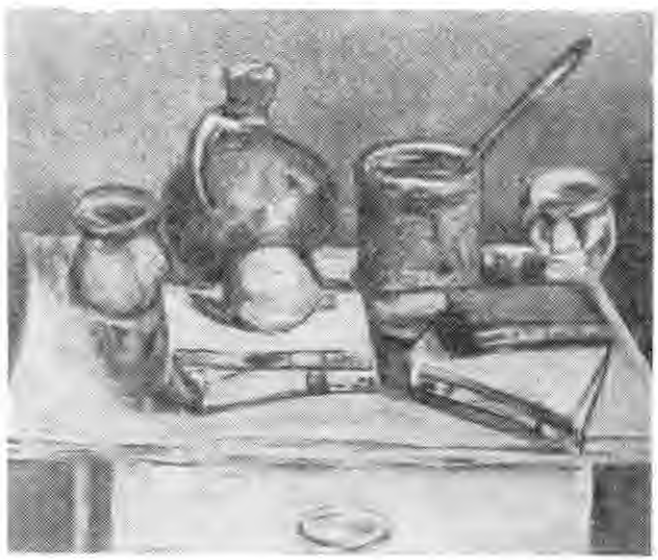
Со многими членами группы «Румынское искусство» я познакомился в Яссах во время войны, в связи с выставкой в штабе главнокомандующего (1917 год), за которой последовало в 1918 году создание группы «Румынское искусство».

Однако еще до первой мировой войны работы Рессу и Изера привлекли меня смелостью своей техники, воинственностью и революционностью тематики.

Я открыто выражал им свои симпатии, и это заставило художника Ари Мурну, секретаря группы «Артистическая молодежь», отметить, что я «расположен к тем, кто пишет в левой манере», то есть менее академично.

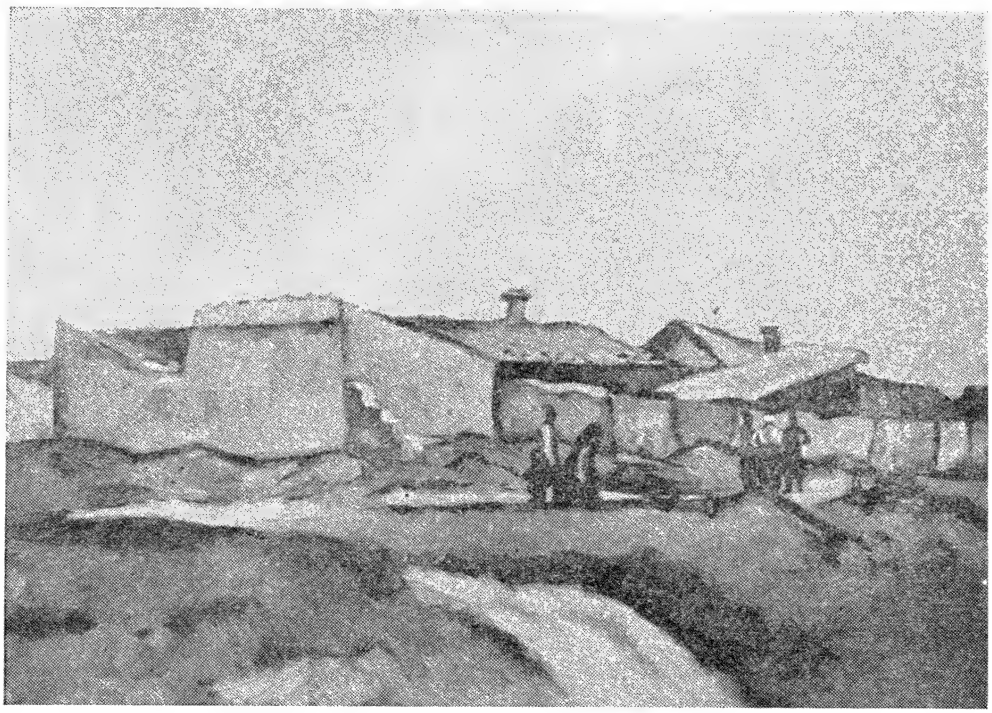
Некоторые протагонисты «Румынского искусства» культивировали Сезанна, который «стремился сделать из импрессионизма солидное и долговечное искусство, подобное тому, что выставляется в музеях» (Изер, Ширато, Теодореску), были и другие — как Рессу,— которые прославляли Энгра, вспоминая иногда и швейцарца Ходлера. Ученик Жан-Поля Лоранса, Рессу, вернувшись из Парижа в 1908 году, покорил любителей более живого, выразительного искусства своим суровым реалистическим и глубоким ви́дением мира, точной и резкой линией, собранной формой. Он создал свой стиль.

Крестьяне на рисунках Рессу резко отличаются от пастухов Григореску, написанных в последний период творчества мастера из Кымпина. Восстание 1907 года заставило пересмотреть оптимистический взгляд на мир, и Рессу, Изер и



Дж. Петрашку. Натюрморт.

Т. Паллади. Автопортрет.



И. Изер. Пейзаж Добруджи.

Бэнчилэ были первыми художниками, которые поняли это. Рисунки и композиции Рессу отличаются сдержанным лаконичным реализмом; художник запечатлел крестьянина — костлявого, изнуренного, опаленного солнцем,— образ, который стал после Рессу традиционным. Он стремился раскрыть в рисунке сущность явлений — вот почему так замечательно удались ему такие портреты и композиции, как «Портрет Лукьяна», «Сельские похороны», «Терраса в Отетелешану», «Косцы» и т. д.

С Иосифом Изером я познакомился много лет тому назад в Констанце, в казино, когда он делал наброски карикатурных портретов знаменитых карточных игроков.

Позднее, в 1919 году, я встретил его в Бухаресте, на его персональной выставке, где были представлены картины и рисунки, сделанные в Константинополе...

Затем я снова встретил Изера в 1922 году на выставке группы «Румынское искусство».

Изер, хотя он был исключением среди художников группы «Румынское искусство», потому что шел от карикатуры,— сохранил вплоть до того времени следы экспрессионизма, который, по словам Ширато, насилует природу или, вернее сказать, уродует ее, как сказал бы Андре Лот, чтобы достичь наиболее лапидарной и яркой выразительности, чего-то очень деформированного и угловатого. Изер выдалбливал фигуры, и они становились похожими на привидения (портрет артиста Ар. Деметриада в роли Гамлета); он делал глубокие надрезы, чтобы выпустить гной (сцена из «Каменного креста»), он подмечал уродство в красивых лицах («За баккара»*, «На скачках»), он увидел крестьян сквозь призму социального проклятия, тяготевшего над ними...

С 1913 года, когда Изер поселяется в Добрудже, нашей задунайской провинции, его искусство получает новое направление — он стремится теперь сочетать в равной мере форму и цвет («Добруджская деревня»).

Таким образом, искусство Изера все время развивалось в поисках живописности, которая соединялась бы с пластичностью, в стремлении обогатить форму цветом. Он начал сильно тяготеть к неоклассицизму, свойственному и французскому художнику Андре Дерену и, одно время, Пикассо. Были люди, которым больше нравилась ранняя манера рисунка Изера, чем новая живописная форма, к которой он перешел впоследствии.

Искусство Изера не пленяет, не завораживает, оно покоряет мощью своих средств, тяготеющих к монументальности. В конце концов, искусство — это борьба, в которой успех должен быть завоеван; и в этой борьбе никто у нас не был так смел, как Изер.

* «Баккара» — карточная игра.

Когда в былые времена я навещал Стериади* на его квартире в музее Калиндеру, я частенько заставал его лежащим в постели. Так он обычно перед обедом принимал друзей.

Не знаю почему, но, когда я вспоминаю об этих визитах, в моем уме всплывают те же образы, которые навевает на меня изящный и легкий симфонический прелюд Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», вдохновленный поэмой Малларме, где медленная тема флейты струится среди тихого шепота струнных инструментов, среди небесных арпеджий арфы, чтобы исчезнуть так же тихо и неожиданно, как она началась. Мне кажется, я вижу, как Стериади, подобно тучному фавну, отдыхает после обильного обеда, как лениво он движется, вернее сказать, переворачивается то на одну, то на другую сторону на своей зеленой постели, преследуя взором белокурую нимфу, к которой тянутся его руки.

Эпикуреец Стериади ценил постель и пиршество так же высоко, как и искусство.

Паллади на одном из своих наиболее удачных рисунков изобразил Стериади отдыхающим на диване, погруженным в глубокий послеобеденный сон.

Юношеская сила Стериади чувствуется в таких реалистических его полотнах, как большая композиция «Носильщики», и в нескольких рыночных сценах.

Усовершенствовав свое искусство, художник начинает наслаждаться мягкостью прозрачных текучих зрительных образов, улавливает неощутимые колебания воздуха, сплетает кружево из оттенков света, чем смягчает твердость форм, не растворяя их, однако, до конца.

Хитрый и тактичный, Стериади умел выйти из любого затруднительного положения — иногда при помощи любезности, иногда остроумной шуткой.

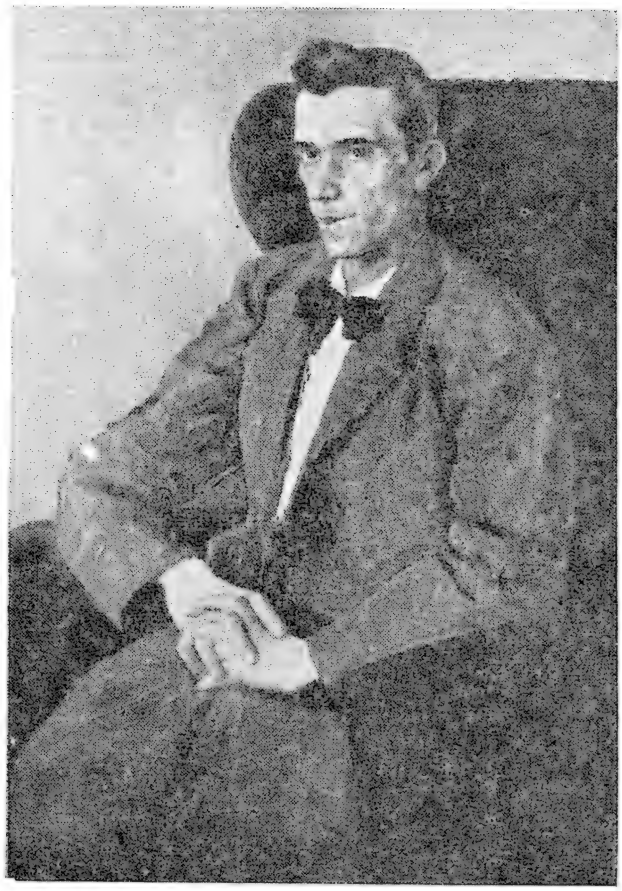
Ни в искусстве, ни в жизни Стериади не было ничего резкого. Ловкий, приветливый, любезный, он даже упрек превращал в улыбку.

Стериади не создал в нашем искусстве таких ярких образов, как Лукьян и Петрашку. Однако он, вместе с Рессу и Изером, является предшественником того направления, от которого пошло наше современное искусство, стремительно развивающееся по пути социалистического реализма.

Если у Рессу точная, спокойная и самодовлеющая линия является наиболее важным средством пластического выражения, то в произведениях Изера форма становится результатом бурного, ненасытного стремления охватить как можно больше.

Стериади, начавший со столь мощной живописи, как его значительная композиция «Носильщики», ушел затем в другие, неизведанные области искусства, где легко и мелодично сплетаются цвет и форма, но структура предметов не растворяется в сладостном потоке вибраций, потому что художник сохраняет при любых обстоятельствах пластическую точность. Стериади не любил ничего резкого, и его искусство соответствует его характеру; между человеком и его творчеством здесь существует абсолютное единство — художник, как и человек, стремился обольстить, а не завоевать.

Рессу. Портрет художника Лукьяна.



* Книга Замбахчана посвящена «Памяти Жана Ал. Стериади — замечательного художника и мастера шуток».

Т. Паллади. Спящий художник Стериади.

* * *

Я вспоминаю разговор с другом детства, который зашел ко мне в тот момент, когда после капитуляции фон-Паулюса под Сталинградом в среде румынской буржуазии царила паника.

— Ну, чего ты еще ждешь? — спросил он. — Ты же видишь, что они приближаются... что касается меня, то я покидаю родину на следующей неделе.

— А что будет потом?

— Что потом? Ты еще не пришел в себя? Ты ждешь, чтобы у тебя конфисковали все, что тобой приобретено в течение всей жизни, полной тяжелого труда, чтобы в твоем возрасте тебя выбросили на улицу, как собаку? Я? Я уезжаю. Поедем; все, что у тебя имеется, обменяешь на швейцарские франки; курс выгоден: 180 лей за один франк. Завтра будет слишком поздно. Продавай свои картины и поезжай в Цюрих, в Санкт-Мориц, в Интерлакен — это настоящий рай!

— Возможно, что это так, но я остаюсь. Порицанию некоторых я предпочитаю уважение тех, кто меня понимает.

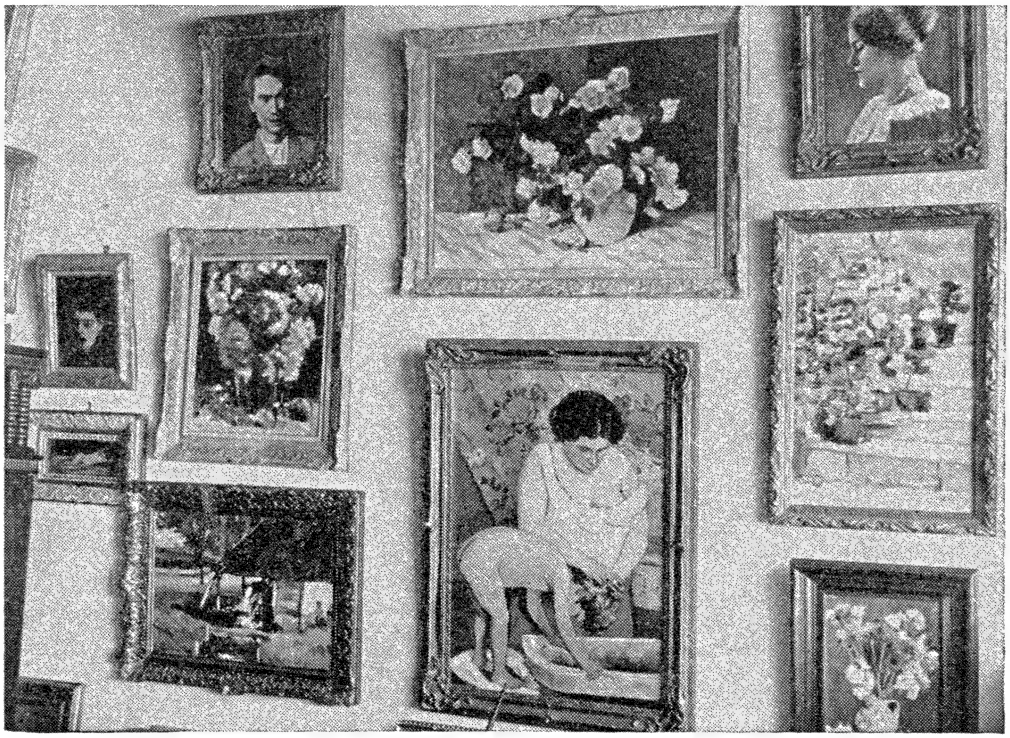
— Как, ты не боишься? Что с тобой будет, несчастный?

— Если ты ничего не умеешь делать, кроме как покупать товар, чтобы послезавтра перепродать его вдвое дороже, тогда уезжай и как можно быстрее.

— И это говоришь мне ты, сын купца?

— Да, это говорю тебе я, сын старого оптового коммерсанта Констанцы. Я ликвидирую, в свою очередь, мои дела, так как предвижу тяжелые времена. Инфляция причинит, конечно, неприятности, мы кончим тем, что будем платить миллионы лей за метр коленкора. Наш капитал будет таять, поэтому я и обращаю все свободные деньги в большое строительство, поскольку в последние годы мне не дали возможности создать музей, который был моей мечтой. Именно там я выставлю самые прекрасные полотна из моей коллекции, настежь от-

И. Андрешку. В Степи.



Картины художника Ст. Лукьяна в музее К. Замбахчана.

крою двери, чтобы публика могла их видеть. Что касается меня, то я попытаюсь выйти из затруднения тем, что буду писать, так как мои друзья меня в этом постоянно поощряли.

— А твоя жена, что она говорит по этому поводу?

— Она останется со мной, поможет мне вытирать пыль с картин и скульптур и будет перепечатывать мои рукописи, так как я сам не печатаю на машинке...

Действительно, он уехал в Цюрих, затем обосновался в Париже, где нажил колоссальное состояние, ведя торговлю золотом и бриллиантами между Швейцарией и Францией

Быть может, это и является счастьем для некоторых...

* * *

В начале 1947 года я решил передать свою коллекцию румынского искусства в дар народу.

Я иногда спрашивал себя, сможет ли человечество возродить чудо Парфенона, превзойти это единственное в своем роде произведение искусства, создать новые сикстинские фрески.

Ответ на это дают мне произведения некоторых современных художников. Нет необходимости повторять формы древних мастеров, если мы будем следовать их духу.

Я передал свою художественную коллекцию в распоряжение народа, поскольку таланты, которые она таит в себе, происходят из народа и составляют его славу.

Поступив иначе, я бы изменил верности народу и художникам, плодами труда которых я пользовался.

На пороге нового мира я благодарю народ, который взрастил меня и является неиссякаемым источником энергии и порывов, за благородные идеи, которыми он меня вдохновил.

Саджад Захир

Фаиз и его поэзия

Фаиз Ахмад Фаиз занимает видное место в том блестящем созвездии поэтов, пишущих на языке урду, которые завоевали известность после создания в 1936 году Ассоциации прогрессивных писателей Индии и были теснейшим образом связаны с движением прогрессивных писателей в Индии и Пакистане. Они отличались от писателей-патриотов более раннего периода — многие из которых потом вступили в Ассоциацию,— тем, что оказывали определенную и недвусмысленную поддержку борьбе и стремлениям простых людей — рабочих и крестьян. В этот период конкретизировалось понятие «нации», а идея антиимпериалистической борьбы и свободы легла в основу мечты о создании государства трудящихся, об уничтожении эксплуатации человека человеком, о построении на социалистической основе новой, счастливой жизни. Идеология марксизма все больше становилась основной движущей силой новой группы прогрессивных писателей и поэтов.

Однако было совершенно ясно, что писатель или художник, каким бы искренним он ни казался, не мог с уверенностью сказать, что сумеет отлить свое возрожденное сознание в прекрасные формы творчества только потому, что он признал правильную, научную социалистическую идеологию или даже принял участие в народном прогрессивном движении.

Много лет назад английский философ Бэкон писал, что ни одно открытие не может быть достигнуто путем любых тонких умозаключений, ибо природа во много раз тоньше любых тонких умозаключений.

Предметом поэзии является прежде всего мир впечатлений, чувств и эмоций, мир, в котором расцветают яркие и душистые цветы воображения, уходящие своими корнями в почву жизни. Поэзия помогает нам украсить и изменить жизнь. Но она выполняет свою задачу только в том случае, если воздействует и на разум, и на чувства, сплетая воедино и наши ощущения, и наш рационализм — все врожденные и приобретенные качества человека.

Представители нового направления поэзии сразу же столкнулись с рядом сложных проблем. Перед ними стояла огромная задача — выразить благороднейшие порывы своего народа и своей страны, отразить те идеалы, к которым стремился народ, и в то же время — тот духовный и моральный перелом, который неизбежно сопутствует революционному преобразованию страны.

Прогрессивные поэты должны были говорить обо всем этом и о многих других вещах, распознать которые им помогало их поэтическое прозрение. Это требовало, с одной стороны, борьбы против старых взглядов и идей, которые, неся на себе отпечаток традиционной святости, или дробили народ на враждующие группы, или вели его к упадку, к иррационализму, к моральной слабости. С другой стороны — необходимо было привить новые, научные, жизнетворные идеи на величественное, плодоносящее дерево художественного и духовного наследия нашего народа. Из недоступных глубин чувств художника, из его богатого и просвященного ума должны были возникнуть Добро и Красота. Они должны были взметнуться, как пламя, пожирающее зло и уродство и в то же время дающее тепло и энергию всему тому, что устремлялось к новому моральному и духовному пробуждению народа нашей страны.

Первое произведение Фаиза — тоненькая книжка стихов — вышло в свет в 1941 году. Оно называлось «Накш-е-фариади», что в дословном переводе означает «Тоскливый узор». Эту фразу Фаиз взял у классика поэзии на урду Галиба. Недавно поэт выпустил еще два стихотворных сборника «Даст-е-саба» («Рука ветра») и «Зиндан-нама» («Повесть о тюрьме»). Большинство произведений, вошедших в эти два сборника, было написано Фаизом во время его пребывания в пакистанских тюрьмах с 1951 по 1955 год.

Три томика стихов не больше чем в сотню страниц каждый, и на каждой странице не больше десятка строк — вот и все, что дал нам Фаиз за двадцать лет своего твор-

чества. Очень мало, не правда ли? Следует также сказать, что до настоящего времени Фаиз еще ни разу не пытался создать большое произведение эпического жанра, и мы не знаем, попытается ли он когда-нибудь сделать это.

Фаиз прежде всего — лирический поэт, поэт, воспевающий сокровеннейшие глубины ума и сердца, его стихи полны горячего сострадания к людям. В творчестве Фаиза ясно слышится спокойная мелодия, чарующая нас и увлекающая к самым высоким и чистым вершинам жизни.

Все поэты мира пели о счастье любви, которое делает жизнь лучезарной и красочной, о тоске разлуки, о радости союза с возлюбленной. Пел об этом и Фаиз. Стихотворный сборник «Накш-е-фариади» открывается четверостишием, которое относится к числу самых ранних его произведений, но в полной мере обладает ароматом других, более зрелых стихов:

Ночь пришла — и в глухое сердце
вдруг вернулась ты легкой тенью,
Словно в горькое запустенье
осторожно весна вошла,
Словно ветер донес в пустыню
полуночных садов истому,
И дохнули в лицо больному
беспричинный покой и мгла...*

В этих строчках тоскливая, трагическая нота сливается с ощущением подавленной, неразделенной любви, облагораживающей сердце того, кто любит. Человек одинок, он чувствует себя окруженным беспредельными пустынями, но даже в пустыню приходит весна.

Когда Фаиз включился в национально-освободительное движение, когда он, как и многие другие патриотически настроенные интеллигенты, осознал и в своей личной жизни (в студенческие годы Фаизу пришлось испытать на себе всю тяжесть нищеты), и в жизни трудящихся, окружавших его, всю безмерность трагедии великого народа, терпящего бесконечные унижения, не имеющего возможности развивать свою культуру,— тогда его поэзия, оставаясь попрежнему поэзией лирической, глубоко индивидуальной и романтической, вырвалась из заколдованного круга — в ней зазвучала тема свободы и бунта против существующего порядка вещей Фаиз громко заговорил о своей вере в то, что его народ сумеет изменить этот порядок и построить новую, счастливую жизнь.

Поэзия Фаиза продолжала сохранять всю прелесть своей лиричности, и поэтическое прозрение, понимание жизни индийской молодежи и глубокое знание европейской, особенно английской, драматургии и поэзии помогли ему внести нечто новое в свое творчество Но это новое, казалось, вырастает на древней, священной земле великих традиций поэзии на урду и персидской поэзии, что, конечно, делало стихи Фаиза еще более сильными. В ткань его лирики были вплетены идеи патриотизма и стремления к свободе, веры в победу народного движения и страстного призыва к революции.

Когда началась вторая мировая война и английские империалисты бросили в тюрьмы тысячи индийских патриотов, среди которых было много друзей Фаиза, он написал одну из самых известных своих поэм — «Только несколько дней».

Нас гнетет чужеземное иго,
где слова, чтоб его передать?
Мы — страданий раскрытая книга,
но не вечно мы будем страдать.
Пыль печали стоит в наших взорах
и туманит родное чело.
Нет числа испытаньям, в которых
утро юности нашей прошло!
Серебро нескончаемой ночи,
безответная мука сердец,
Крики плоти, разодранной в клочья,—
о, когда им настанет конец?..

Фаиз кончает поэму теми же, утверждающими веру и надежду, словами, которыми он начал ее:

Только несколько дней, дорогая,
только несколько дней подожди!

После 1942 года Фаиз вступил в армию. Армия в то время находилась под контролем англичан, но решение Фаиза было обусловлено тем фактом, что она принимала участие в борьбе против фашизма.

В этот период Фаиз написал два замечательных стихотворения — «К политическому лидеру» и «О беспокойное сердце», в которых выразил свою уверенность в конечном исходе войны. Эти стихи говорят о беспокойстве индийского патриота за судьбу своей родины. Фаиз видит, как политика британского империализма и индийской буржуазии ведет к тому, что часть его соотечественников теряет уверенность и оказывается не в состоянии ни принимать участие в защите своей страны против фашистов, ни использовать сложившуюся в мире обстановку для борьбы за национальную независимость.

В строках, которые великолепны как по образности, так и по силе чувства, поэт обращается к индийскому политическому лидеру и призывает его поверить в силы народа и использовать ту обстановку, которая сложилась в результате побед Советской Армии и демократических сил. Фаиз говорит о том, что нужно избрать позитивную политику, которая даст стране национальную независимость:

Наши руки в оковах
иссушены мукой и горем —
Нелегко им сорвать
эту душную, цепкую мглу!
Так соломинка борется
с черным, бушующим морем
Или бабочка тщетно
о темную бьется скалу.
Но теперь все ясней
к нам доносится весть о рассвете:
Столько трещин прорезало
ночи скалистую грудь,
Что куда ни посмотришь —
плетя серебристые сети,
Отдаленные зори
уже пробивают свой путь!
Наши руки — пойми —
это сила твоя и богатство,
Вся надежда твоя —
наших рук неустанная рать!

* Стихи даются в переводе С. Северцева.

Почему ж на словах
ты твердишь про свободу и братство,
А на деле — готов
наши руки на гибель отдать?
Ты не хочешь и сам,
чтобы мрак воцарился жестокий,
Но руками пожертвовать
нашими мы не дадим,
А иначе зарю,
что едва занялась на востоке,
Эта ночь раздавить
может трупом железным своим.

Однако день нашей свободы не могла «раздавить ночь своим железным трупом». В 1947 году британские империалисты были вынуждены покинуть Индию.

Фаиз, живший в то время в Лахоре, становится главным редактором двух ведущих прогрессивных ежедневных газет Пакистана — «Пакистан таймс» на английском языке и «Имроз» на языке урду, принимает участие в рабочем движении. Фаиз был вице-президентом Конгресса пакистанских профсоюзов; в 1950 году он сыграл ведущую роль в организации движения борцов за мир в Пакистане и стал генеральным секретарем пакистанского Комитета в защиту мира. В ноябре 1949 года он выступил одним из организаторов конференции прогрессивных писателей Пакистана.

Стихотворение, которое он написал для этой конференции, — одно из самых воинствующих и вместе с тем трогательных произведений поэта. Реакция уже начинала душить свободолюбивый народ Пакистана и лишать его демократических свобод. Даже конференцию прогрессивных писателей реакционеры не оставили в покое — наемные агенты хотели сорвать ее, применив физическое насилие. Как раз в то мгновение, когда бандиты, вооруженные ножами и дубинками, пытались ворваться в помещение, где проходила конференция, Фаиз стоял на трибуне и читал свои стихи:

Сегодня все, кто права не утратил,
Как прежде, называться человеком,
Выходят в бой, чтоб дело защитить,
Которому мы жизнь свою отдали!
Пусть легионы яростных врагов,
Гремя оружьем, выйдут нам навстречу,
Посмотрим у подножья эшафота,
Кто будет восхищения достоин!
Друзья мои! Нас обмануть не смогут
Жестокой ночи черные мгновенья —
Еще воочью пламя мы увидим,
Которое душили в нас враги,
Еще звезду прекрасную увидим,
Что засверкает в утренней короне!

Через год против Фаиза и нескольких офицеров пакистанской армии и штатских был начат судебный процесс, который впоследствии получил название «процесса в Равалпинди». Фаиза и его товарищей обвинили в попытке свержения правительства силой, в подстрекательстве к мятежу и даже в убийстве. В течение нескольких недель никто не знал, в какой тюрьме содержатся заключенные и как с ними обращаются. Затем последовал тайный процесс в хайдарабадской тюрьме, который тянулся почти два года. В январе 1953 года Фаиз был приговорен к четырем годам строгого заключения.

Несмотря на то, что Фаизу грозил самый суровый приговор, вплоть до смертной казни, поэт не терял способности творить. В тюрьме он написал стихи редкой красоты, в которых, с одной стороны, он говорил о личной трагедии, о тяготах жизни в тюрьме, а с другой — выражал свою безграничную уверенность в справедливости дела народа.

Поэт писал:

Отобрали перо — все равно я пою,
не замкнуть мой источник сил!
В сердце, в горячую кровь свою
пальцы я погрузил.
Молчать не стану я все равно,
и пусть на устах — печать,
Каждое цепи моей звено
я заставлю песней звучать!

Фаиз рассказывал, что эти строки были написаны им в первый период заключения, когда его держали в одиночной камере и не разрешали ни свиданий, ни переписки даже с самыми близкими родственниками, когда ему не давали письменных принадлежностей, а единственной книгой, которую ему было разрешено читать, был... Коран! В эти мучительные дни он сочинил несколько стихотворений, заучил их наизусть и записал много месяцев спустя.

Со спокойной уверенностью обращался Фаиз к тем, кто заточил его в тюрьму:

Вам подвластна железная клетка,
но не тот ослепительный сад,
Где под свежей росою рассвета
алым пламенем розы горят,
Не поймать вам жестокою петлей
легконогого ветра зари,
Не замкнуть в непроглядный застенок
огнецветной весны янтари,
Пусть не я, пусть другие дождутся
неизбежных и радостных дней,
Близок час: лепестки развернутся,
и для всех запоет соловей!

Фаиз страстно любит свою страну и свой народ, он чувствует себя частицей угнетенной Азии и Африки. Поэт понимает, что борьба народов за свободу, какой бы мучительно долгой и трагической она ни оказалась и каких бы страданий и жертв ни требовала от патриотически настроенной молодежи, эта борьба — самое прекрасное из явлений, которыми знаменуется сегодняшняя Азия. Каждая страна, стремящаяся освободиться от ига империализма, обеспечивает тем самым мирную, свободную жизнь для народов всего мира. В поэме, которая была посвящена памяти иранской молодежи, расстрелянной на улицах Тегерана во время демонстрации против английских и американских империалистов, поэт в чеканных строках описывает гибель юных мучеников:

Кто эти щедрые, чья расточенная кровь
Звенит и звенит, как россыпь монет
золотых,
Чашу земли наполняя, в ней отливаясь,
Словно пытаясь
Неутолимую жажду ее утолить?
О земля Ирана,
Скажи, кто юноши эти,
Чьи тела, что до самых краев
Были золотом радости пылкой полны,
Лежат здесь, растоптаны в прахе,
Разбросаны по переулкам кривым?..
Для чего, отвечай,
Кто-то вырвал из жизни горячей
И, смеясь, разбросал прямо под ноги,
в пыль,

Этих глаз большие сапфиры,
Этих губ немые кораллы,
Этих трепетных рук беспокойное
серебро?..
Эй, чужестранцы!
Оставьте ваши расспросы —
Я на все вам отвечу:
Эти мальчики, юноши эти —
Голубые жемчужины той надежды,
Молодая поросль того огня,
Из которого в черной ночи насилья
Вырос, расцвел восстания сад весенний,
Утро взошло, озарившее наши сердца!
Смотрите на них, чужестранцы:
Этих тел серебро,
Этой крови золото,
Этих лиц молодых, бездыханных,
смелых
Неповторимые самоцветы.
Это — дивный венец самой владычицы
жизни,
Это — богини мира браслет алмазный!

Невозможно передать на другом языке музыку, метафоры и слова подлинника, сохранив в то же время все богатство его идей. Изящная композиция этого короткого стихотворения, которое прославляет самопожертвование молодежи Азии, борющейся за свободу, является чудом искусства. Ее можно сравнить с индийской мелодией ночи или с ноктюрном Шопена. Музыка этих стихов растворяется в безмолвии и мраке ночи, тает в воздухе и, чуть слышно звуча, пронизывает все существо того, кто слушает ее, вызывая в нем чувство глубокой радости.

Фаизу сейчас около сорока пяти лет. Вот уже двадцать лет он пишет стихи. Он принимал участие в прогрессивном движении народа, он заслужил славу одного из лучших редакторов и журналистов Пакистана. Сейчас Фаиз снова на свободе. Мы надеемся, что теперь, когда поэт еще лучше знает свою страну, свой народ, его жизнь и культуру, когда мастерство его достигло более высоких ступеней, он создаст новые, еще более прекрасные, еще более глубокие по мысли произведения.

Лакнау

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

"ПОРТ-САИД"

Недавно в Каире издательством «Дар аль-Фикр» выпущен первый альбом из серии «Коллекция египетского искусства», озаглавленный — «Порт-Саид». Он содержит рисунки молодого египетского художника-карикатуриста Жоржа аль-Бахгури, посвященные теме борьбы египетского народа против империалистической агрессии.

В альбоме напечатана также обстоятельная статья художника и критика Хасана Фуада, рассказывающая о развитии современного искусства Египта.

Альбом «Порт-Саид» был подарен ответственным директором издательства «Дар аль-Фикр» Ибрагимом Абд аль-Халимом специальному корреспонденту журнала «Иностранная литература» во время его пребывания в Каире. «Пусть эта книга, — пишет он,— служит символом нашей дружбы и благодарности советскому народу за его солидарность с нами в критические дни агрессии против нашей мирной страны».

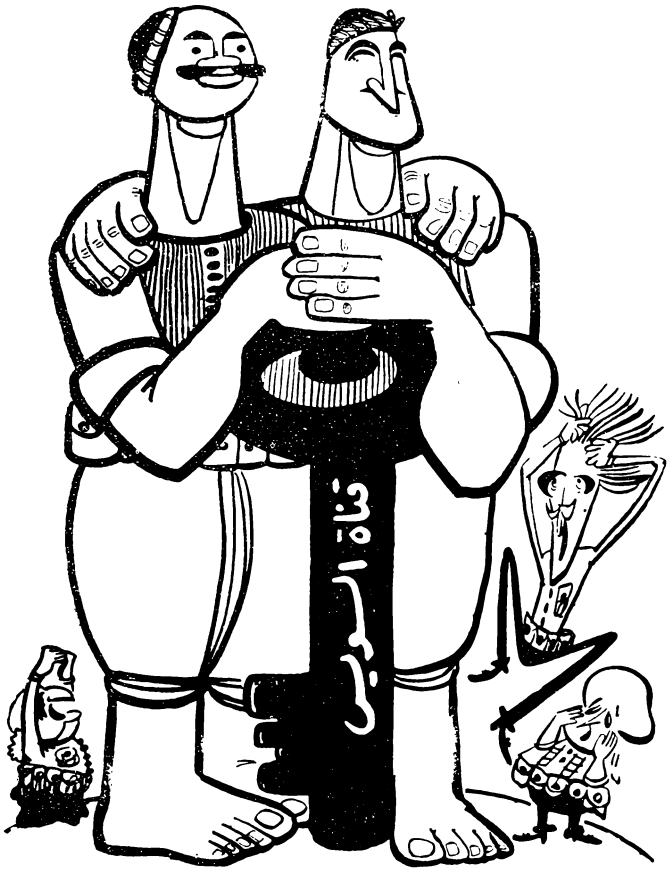
Мы печатаем в этом номере журнала статью ХАСАНА ФУАДА и рисунки ЖОРЖА АЛЬ-БАХГУРИ из серии «Порт-Саид».

Порт-Саид спас Египет и арабов...

Сознание опасности — самое большое испытание в жизни художника. Внезапно наступает момент, когда проблемы стиля, различных направлений и средств выражения, занимавшие его ранее, отступают на второй план... Вокруг него со всех сторон рвутся бомбы и свистят пули. И когда он поднимает под огнем голову — он осознает опасность и полон решимости противостоять ей, ибо национальный долг требует от него немедленной инициативы и решительных действий.

Египетские художники были разбужены угрозой, нависшей над их страной еще до начала вооруженной агрессии. Огонь, открытый против Египта, окончательно уничтожил границы, отделявшие художников от народа, заставил их обратиться к правдивому изображению той политической борьбы, которая началась с национализации Суэцкого канала. Они все больше и больше втягивались в эту борьбу, от которой зависят судьба, будущее египетского народа.

Тем не менее, наше искусство не смогло сразу же отразить политические собы



Суэцкий канал наш!

тия, связанные с агрессией против Египта, несмотря на тот факт, что битва искусства за жизнь началась в нашей стране еще четыре года назад, и за это время, пройдя через дискуссии, внеся в культурное движение множество стилей, методов и идей, она обогатила наше национальное наследие новыми блестящими образцами.

Египетские художники приняли участие в политической борьбе и отдали ей все, чем обладали. Молодежь и старики оказали сопротивление агрессии и, объединившись в единый фронт, объявили всеобщую мобилизацию в своем манифесте в ноябре 1956 года. Они встали в ряды мобилизованных, участвовали в народном движении сопротивления в Порт-Саиде, использовали в своей борьбе газеты, радиопередачи, выставки, короткометражные фильмы, национальные мобилизационные комитеты, созданные Советом по делам литературы и искусства. В эти решающие и величественные дни, пережитые Египтом, родилось боевое искусство, новое и революционное искусство, в котором раскрылось сердце египтян и всех арабов. В содержании этого искусства нашло свое выражение огромное чувство любви народа к своей родине, его твердая решимость защитить ее.

В ходе нашей борьбы выявились новые созидательные силы; большое число старых стилей обновилось, и возникло новое, действенное искусство, отображающее политическую ситуацию, характеризующееся злободневностью, эмоциональностью и ясностью выражения.

Боевое искусство внесло в наше национальное наследие прекрасные художественные произведения: гимн, в котором блистают мужественная египетская речь и народные оптимистические мелодии, очерки, рассказы, стихи и рисунки, которые осуждают агрессию, пробуждают умы и объединяют силы народа вокруг руководителей.

В самую трудную минуту испытания египетский художник обратился к народу, героизм которого он увидел собственными глазами во время сопротивления агрессии трех государств, сопротивления, сломить которое не могло ни оружие Атлантического пакта, ни позиция, занятая некоторыми странами в Организации Объединенных Наций, ни давление Америки. Египетские художники ощутили и те огромные силы, которые были скрыты в сердцах простых людей, перенесших налеты и бомбардировки, увидевших в Порт-Саиде, как со стороны моря и небес разверзлись врата ада, и все же продолжавших сражаться среди трупов своих братьев-мучеников, не отступая и не сдаваясь.

Египетский художник пережил это время, со всеми его ужасами и зверствами. Он увидел чудовищное лицо заговора против египетского народа и его руководителей. Он познал чувство горечи, столкнувшись с преступлениями, подготовлявшимися средь бела дня, в то самое время, когда Иден говорил в английском парламенте о «приятных известиях», а западноевропейская и американская пресса разглагольствовала о Венгрии!

Египетский художник увидел, как терпение народа его страны сменилось неудержимым гневом, в котором соединились мужество и сила, помогшие нам разбить врага. В то время глаза художника научились безошибочно различать, кто враг, а кто друг.

Политическая борьба облегчила египетскому художнику понимание чувств и характера народа, встретившегося лицом к лицу с опасностью. Он увидел, что в это решающее время сердца его соотечественников наполняются чувством любви и солидарности. Больше того, он узнал радость того мгновения, когда искусство находит своего героя. А сколькими египетскими картинам, поэмам и песням нужен был подлинный герой, не абстрактная идея, а настоящий герой-египтянин, воплощающий в себе страдания и трагедию прошлого и олицетворяющий душу народа, его традиции, его стремления к лучшему будущему.

Искусство помогло сплотить народ Египта и других арабских стран вокруг президента Гамаля Абдель Насера, сумевшего в опасный период вывести страну из кризиса. Он сделал это со спокойствием человека, страстно любящего мир и не желающего, чтобы человечество было ввергнуто в новую ужасную войну.

Да, именно в период нашей освободительной борьбы искусство слилось с народом, озарилось пламенем его героизма...

После окончания вооруженной агрессии перед на-

Конец одной авантюры...

шим боевым искусством открылась широкая дорога. Стремления художников всех направлений по-прежнему совпадают с задачами политической борьбы. Они вместе с народом бдительно следят за происками империалистов и оказывают сопротивление всякой новой попытке наступления на суверенитет нашей родины.

Именно таков был ответ на «доктрину Эйзенхауэра», опубликованный двумястами пятьюдесятью египетскими писателями и художниками,— отпор попыткам принести в жертву нашу национальную независимость во имя интересов западных держав. С этого момента египетский художник является активным участником общенационального дела. Его искусство сливается с событиями нашей борьбы, которая вдохнула в его произведения пыл, отвагу и желание запечатлеть новые горизонты, раскрывающиеся перед египетским народом. Все египетские художники и писатели стремятся отобразить события в Порт-Саиде — это их горячее желание, воплощающееся каждый день в новую картину, поэму, рассказ, скульптуру; оно и в дальнейшем будет способствовать появлению прекрасных произведений как в нашей стране, так и в других арабских странах.

То же самое желание мы видим в рисунках детей Порт-Саида, которые были собраны на выставке, организованной в Каире. Эти рисунки донесли до нас душераздирающие сцены вооруженной агрессии против детей и женщин. Они удивительно глубоко и живо изобразили сопротивление и борьбу народной армии и гражданской полиции. Незатейливые детские рисунки выразили признательность египетского народа за решительное предупреждение агрессорам, сделанное главой Советского правительства Н. А. Булганиным, признательность Китаю и другим дружественным народам за их поддержку и помощь народу Египта.

Рисунки детей Порт-Саида и тысячи других рисунков египетских детей отражают то глубокое впечатление, ко-

Медали победы...
(На медалях — названия тех государств, которые поддержали Египет в его борьбе).

Смерть агрессорам!

торое оставили эти события в их душах. Да, империализм тоже нарушил спокойствие их юных сердец, и недалек тот день, когда они примут активное участие в строительстве своей страны и защите своей свободы.

Битва за Порт-Саид оставила свой отпечаток на всех созидательных силах нашей страны. Эти события оказали влияние и на народное искусство, что ярко выразилось во время Мулид ас-Сайида Зейнаб*. Во время этого праздника продавались фигурки парашютистов и воинов с обнаженными шпагами, а также фигурки в национальных костюмах с ружьями в руках, очаровательная кукла в костюме добровольца Красного Полумесяца и десятки кукол, изображающих наших народных героев и героинь.

А как прекрасны были народные маввали**, распевавшиеся в кафе во время Мулида и рассказывавшие историю агрессии. Как прекрасны были созданные народными поэтами образы, которые полно и ярко отражали события борьбы, заставляли извлечь из нее уроки, сравнивали поступки героев с поступками легендарных храбрецов. Арагоз*** высмеивал подлость агрессоров, а пьесы самодеятельных коллективов воспламеняли души зрителей феллахов.

Праздничные ночи были озарены воспоминаниями битвы, сердца объединялись в этом народном торжестве, чтобы прославить героизм Порт-Саида и разоблачить намерения Израиля и его покровителей, чтобы еще раз выразить решимость продолжать борьбу до тех пор, пока не исчезнет всякая угроза нападения на арабские страны.

* * *

Те, кто следят за развитием художественной жизни в Египте, могут порадоваться успехам нашего изобра-

Улов...

---

* Народный религиозный праздник *(здесь и далее — примечания автора)*.

** Вид народной песни.

*** Египетский Петрушка.

Ключ и ружье

1. Мы национализировали канал...

го уровня зрелости и реализма, что способно выразить новые задачи, выдвинутые политической борьбой.

Первое место среди изобразительных искусств занимает карикатура — жанр искусства, который имеет свои характерные национальные черты и который, будучи тесно связанным с политикой и наиболее распространенным среди масс, сумел достичь за несколько лет международного значения. Это искусство отображает характер развития нашего народа с конца первой мировой войны и до наших дней: оно приветствовало рождение национального самосознания народа, потребовавшего конституционной независимости и парламентаризма, оно росло вместе с ним, призывая освободиться от власти англичан в области внутренней политики. А сегодня вместе с народом это искусство отстаивает идею суверенитета Египта, его строй, его интересы и его экономику, его право на сотрудничество без посредников с другими народами мира.

Искусство карикатуры несет знамя национального

4. Они отозвали своих лоцманов...

зительного искусства, засветившегося яркими красками во время событий, связанных с борьбой против агрессии. А ведь история нашего искусства сравнительно коротка. Она не превышает сорока лет, хотя мы и обладаем художественным наследием высоких идей и блестящих образов, рожденных нашей литературой.

Мы являемся свидетелями прогресса искусства нашей страны — оно достигло такого

3. Они созвали Лондонскую конференцию...

ры. Непосредственная связь с национальным движением, с общественным мнением страны отличает египетских графиков от западных. Политический рисунок занял главное место во всем их творчестве, в противоположность тому, что практикуется в западной печати.

Заслуга египетской карикатуры состоит также в том, что она является новым средством выражения сатирического образа мышления египтян, которое мы справедливо рассматриваем как нашу национальную гордость. И это потому, что мы народ живой мысли; терпеливые

2. Они протестовали...

5. Они собирались на новые совещания, но им помешало русское «вето».

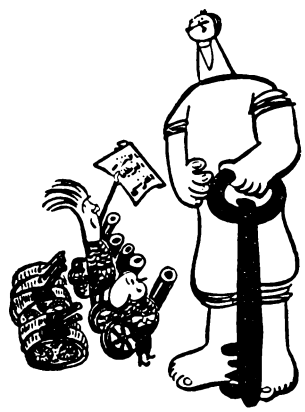
движения, не отступая и не колеблясь, продолжая кампанию против империализма и защищая свободу и независимость своей страны. Очевидно, именно эта черта определяет национальный характер египетской карикату-

6. Мы заявили, что готовы вести переговоры...

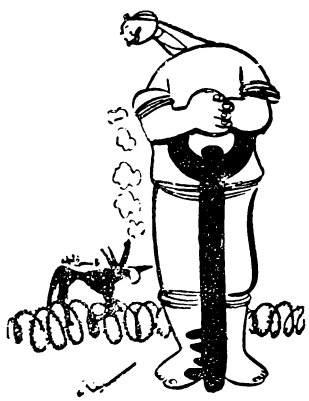
люди, мы больше склонны к смеху, чем к слезам. Мы разим наших врагов метким словом и насмешками, разоблачая их действия и уничтожая их влияние на людей...

Естественно поэтому, что в прошлом наиболее распространенной среди масс формой художественного творчества был устный анекдот. Мы наиболее часто пользовались им, чтобы выразить наше мнение по поводу того, что видели, но не могли ликвидировать. И сколько раз в самые тяжелые минуты он окрылял сердца надеждой и зажигал стремлением сноза сопротивляться. Возможно, приказ, изданный Наполеоном во время египетской кампании, о взятии под стражу египтян «за грубости» служит лучшим доказательством действенности того оружия, каким является анекдот.

Наша страна богата талантами и художниками; в истории карикатуры также немало великолепных произведений, выполненных египетскими художниками, которые вплоть до сегодняшнего дня служат делу освобождения: Сарукхан, чьи работы обогатили египетское искусство; Раха, боровшийся в период существования партий против разложившегося правительства; Абд ас-Самиа, призывавший в период международной напряженности к миру и нейтралитету; Туган — участник кампании, которую вела газета «Аль-Гумхурия» против Багдадского пакта; Зохди, посвятивший свое искусство защите дела египетского народа, борющегося за свободу и благосостояние, и десятки других молодых художников, чьи рисунки выражают созидательные силы народа и на долю которых выпала сегодня задача довести его дело до конца.



8. Готовившийся заговор стал очевидным...

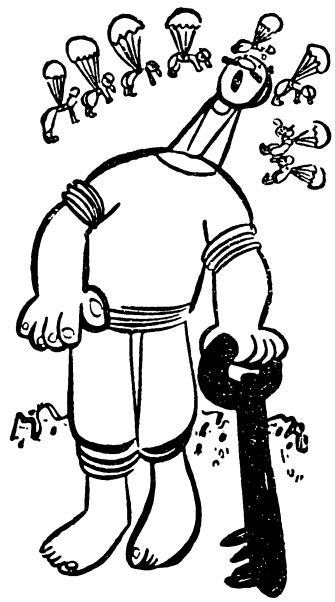


7. Но Израиль нарушил нашу границу...

* * *

Голос искреннего художника всегда звучит громче ружей и пушек.

В этом альбоме, содержащем историю Порт-Саида в изображении художника Жоржа аль-Бахгури, ясно выражена способность египетской карикатуры проникнуть в сущность актуальных политических событий. Художник разоблачает и срывает покровы, осуждает агрессоров, воспевает героизм египетского народа и благодарит те народы, которые встали на нашу сторону и оказали нам помощь.



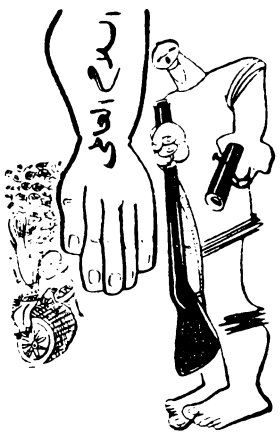
9. И агрессия началась...

В этом альбоме проявились также успехи искусства карикатуры в целом, достигнутые благодаря молодым художникам, для которых работы Жоржа являются примером. Именно Жорж в течение трех лет развил новый стиль рисунка карикатуры в египетской печати.

Сегодня уже не найдется ни одного еженедельника

10. Армия и народ поднялись вместе...

11. Мы будем сражаться и никогда не отступим...



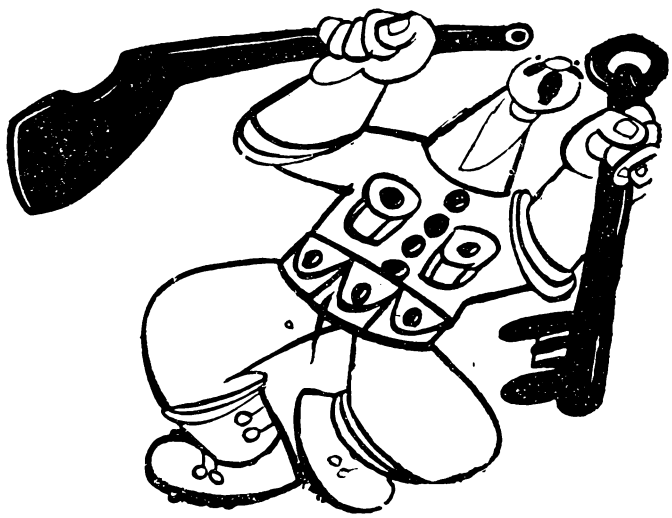
12. Наши друзья встали на нашу сторону, и голос мира заглушил голос войны... (На руке надпись — «Мир ю всем мире»).

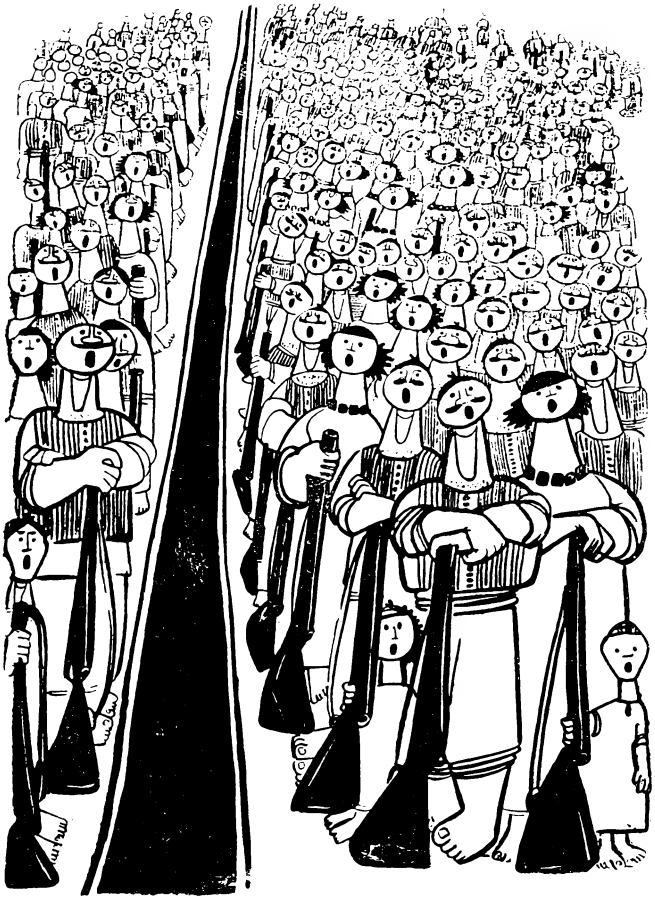
или журнала, который не предоставлял бы своих страниц этому новому направлению; оно далеко ушло от описательного рисунка и основано на четких и строгих линиях, ясно передающих форму и содержание карикатуры.

В политических рисунках на сюжет битвы за Порт-Саид проявилась способность Жоржа выразить великие события в простых образах, проникающих в самую душу. Здесь мы видим рассказ о национализации Суэцкого канала и, как символ ее, ключ, который держит в руках феллах; затем вооруженное нападение заставило феллаха взять в руки и ружье. События развертываются одно за другим, и мы видим, как все попытки отнять этот ключ у Египта терпят крах.

Очевидно, ключ является самым старым символом идеи независимости. Жорж делает из него символ Суэцкого канала, выражающий

13. Агрессоры были побеждены, и теперь у нас в руках ключ и ружье...





14. Но история на этом не кончается, и мы охраняем наш канал..,

суть разыгравшейся борьбы. Это ключ к Востоку, ключ к политической и экономической свободе нашей страны, это также ключ от той двери, через которую в арабские страны пришла свобода.

Ирония Жоржа очень гуманна, это ирония художника, любящего человека и жизнь. Художник может любоваться косами маленькой девочки, но это не мешает ему клеймить агрессоров, изображая их подобно насекомым — даже малый ребенок может вымести их метлой после окончания битвы. Агрессоры жалки, как маленькие марионетки, и нам остается лишь смеяться над Бен-Гурионом, Иденом и Ги Молле.

Для рисунков Жоржа характерны богатство композиции, разнообразие деталей и собственный стиль. Мысли художника оптимистичны и идут от самого сердца.

Благодаря своему таланту и национальному духу двадцатипятилетний Жорж стоит в авангарде молодых художников, которым выпала доля выразить душу народа и его чаяния, создать народное искусство, способное помочь народу довести национальную борьбу до победного конца — завоевать полную свободу и независимость для Египта и для всех арабских стран.

Мы восстанавливаем Порт-Саид..

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

□

Jan Weiss. Země vnuků. Praha, Mládá fronta, 1957.

□

Заглянуть в будущее, в коммунистическое общество, заглянуть глазами художника-мыслителя, чтобы сделать его зримым и осязаемым, приблизить его к современникам... История мировой литературы знает немало таких попыток. Начиная с «Утопии» Томаса Мора, эти книги отражали мечту человека классового общества о справедливом, совершенном общественном строе.

Но если раньше картины коммунистического будущего возникали у писателей лишь из надежд и мечтаний, то в наше время облик коммунистического общества может и должен складываться на основе познания законов общественного развития, на основе изучения того, что уже *существует* в условиях социалистического строя. Писатель, берущийся за такую тему, должен быть в известной мере и ученым, если он хочет показать то будущее, которое вырастает из настоящего.

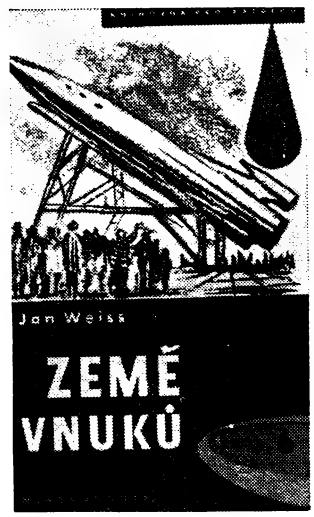
Такую попытку предпринял известный чешский писатель Ян Вейс в своей последней книге «Страна внуков», и эта попытка во многом оказалась плодотворной и убедительной.

Появление книги Яна Вейса «Страна внуков», которая устремлена в будущее, освещена солнцем и радостью жизни, может, вероятно, показаться неожиданностью. До сих пор писатель выступал как мрачный фантаст, создатель трагических гротесков на темы первой мировой войны. Лишь очень наблюдательный глаз мог уловить, как проходила сложная и временами мучительная эволюция писателя, как постепенно «прорывался» он к позитивному творчеству.

Действительно, изображение ужасов войны, бредовых, горячечных снов, провалов сознания и господства подсознательного начала в человеке скоро перестает быть у Вейса самоцелью и признаком растерянности автора, ставящего бесконечное количество вопросов и не находящего на них ответа.

Уже в романе «Дом в тысячу этажей» (1929) писатель использует мотив бредовых сновидений мечущегося в тифозной горячке солдата для резкой критики ущербной буржуазной цивилизации. В дальнейшем пафос обличения приобретает у него все более осознанный характер (сборник рассказов «Сумасшедший полк»).

Нельзя понять возникновения книги «Страна внуков» Вейса, не учитывая, как постепенно проникали в его творчество новые мотивы, которые мы находим в его рассказах 40-х годов: сочувствие и любовь к человеку труда, раскрытие непереносимо тяжелого положения «маленького» человека в современном буржуазном обществе.



В произведениях 50-х годов сатирический гротеск у Вейса уступает место социально-психологическому рассказу, попыткам показать, как происходит формирование нового человека в условиях социалистического переустройства страны.

В «Стране внуков» полным голосом звучит бывшая ранее подспудной в произведениях Вейса тема — вера в

цельного и духовно красивого человека, вера в прекрасное будущее, которое открылось для него теперь как *коммунистическое* будущее

«Страна внуков» — это сборник рассказов о людях будущего; причем рассказы связаны между собой единым замыслом — показать, как будут жить, чувствовать, любить, радоваться и печалиться, ошибаться и находить правильный путь люди грядущего коммунистического завтра. Именно *люди* будущего, а не техника будущего, не достижения науки в будущем интересуют писателя. «Не чудесные машины», а «чудесные людские сердца», как говорит сам автор.

Новеллы сборника перемежаются писательским дневником, где автор рассказывает о тех изменениях, которые происходят в людях сегодняшней Чехословакии, о тех качествах человека, которые достойны будут перейти из Сегодня в Завтра.

Самая «животрепещущая» из этих новелл, пожалуй, «Звезда и женщина», рассказывающая о молодом астроботанике, который должен лететь на Марс. Боязнь потерять любимую девушку заставляет его сначала отказаться от путешествия, но потом осуждение матери, младших братишек и даже самой возлюбленной принуждает его взглянуть на свой поступок другими глазами, и он снова просит включить его в состав экспедиции.

Рассказ пронизан пафосом познания мира, он в полном смысле слова устремлен к звездам, и в то же время теплота и естественность в раскрытии человеческих отношений и характеров делают эту «звездную» новеллу в высшей степени земной.

Психологически правдив и рассказ «Капля яду» о другом молодом ученом, американце, который, приревновав свою возлюбленную к негру, испытывает неприязнь ко всем «чернокожим» (действие рассказа происходит в будущей Америке). Но роясь в старых архивах, он узнает историю своего далекого предка, который был виновен в казни негра, и переживает глубокое духовное потрясение.

Проблеме труда в коммунистическом обществе посвящен рассказ о молодом поэте («Треснутая ваза»), который возвел свое ничегонеделание в некий принцип. Общество наказывает ленивца тем, что лишает его права трудиться тогда, когда он почувствовал, наконец, что не может больше не работать. Ряд остроумных и убедительных догадок об общественных отношениях в будущем, комические эпизоды, связанные с злоключениями героя, делают этот рассказ чрезвычайно занимательным, и если бы не излишняя идиллическая в изображении будущего общества, он был бы лучшим в сборнике.

Идиллическая и сентиментальность сказались в трех остальных новеллах книги, превратив их в какие-то картинки райского блаженства будущих людей («Мастер долголетия», «От колыбели — к симфонии», «Сон о воздушном корабле»).

Писатель сам, по-видимому, опасался, что он впадет в идиллию, и стремился избежать розовой схемы; он писал, что вовсе не собирается выдумывать «концентраты совершенства», а хочет создать образы «живых людей будущего из мяса и костей и с красной кровью в жилах». Вот этого-то автору и не удалось полностью добиться, и психология героев ряда рассказов получилась «облегченной».

Разве психология человека будущего станет беднее, одностороннее психологии сегодняшних людей? Автор знает, что это не так, он часто говорит об этом. Поэтому нельзя не упрекнуть писателя в том, что он не воплотил художественно свои собственные замыслы.

Каковы бы ни были другие, частные недостатки книги Вейса, писатель предпринял интересную попытку в освоении редкого, но нужного жанра социалистической литературы.

С. Востокова

КНИГА ОБ АФРИКАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ

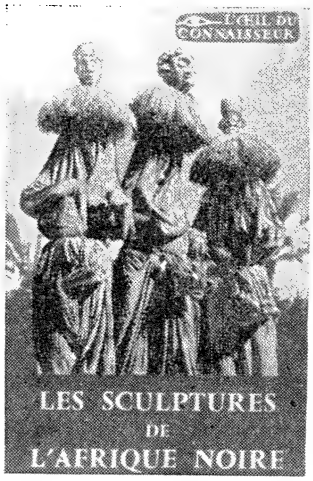
□

Denise Paulme. Les sculptures de l'Afrique Noire. Paris, Presses universitaires de France, 1956.

□

Скульптура Греции, создания Микеланджело, замечательное искусство Индии и Китая прочно вошли в сознание советских людей. Но кому, кроме узкого круга специалистов-этнографов, знакомы бронзовые головы Ифе, барельефы Бенина, статуи и кубки Конго? Многообразное искусство Африки еще только начинает раскрываться для нас. Только теперь мы начинаем воспринимать Черную Африку — страну угнетенных народов, борющихся за свое освобождение,— как страну великих древних цивилизаций, своеобразной культуры, сильного, часто утонченного искусства.

Небольшая книга «Скульптура Черной Африки» написана этнографом, а не искусствоведом; автор ее, Дениза Пом,— работник парижского «Музея Человека» и участник многих экспедиций в Африку. В ее книге очень сжато систематизирован обширный материал, охватывающий скульптуру, маски, утварь народов Французской Западной и Экваториальной Африки.



Тем самым книга вводит нас в сложный мир африканского искусства, помогает ориентироваться в нем.

Автор вкратце напоминает историю «открытия» Западом африканского искусства и, прежде всего, масок. Известно, какой восторженный шум был поднят вокруг них модернистами всех оттенков еще в начале XX века. В африканских масках они пытались найти родственное им искусство, искусство геометрически мертвенное, оторвавшееся от чувственных форм реального мира. Однако сближение искусства кубистов, сюрреалистов, экспрессионистов с африканскими масками, как и всякое любование примитивами, в значительной степени основывалось на внешних, поверхностных аналогиях. Дениза Пом, как и ряд этнографов до нее, доказывает, что рассмотрение африканских масок вне жизни, быта и верований создавших их народов — бессмысленно. Вслед за М. Гриолем, автором книги «Искусство Черной Африки», Дениза Пом связывает бо́льшую часть африканского искусства с религией и магией, с анимистическими верованиями, со страхом человека перед непознанными силами природы и попытками бороться против них. Этнографы тем самым раскрыли смысл деформации внешности человека в масках Африки, и в частности «устрашающий» их характер, связав это с мыслью об «устрашении» духов и врагов. И уже этим их работы убедительно опровергают идеи модернистов.

Однако многообразный материал, приведенный в книге Д. Пом, как и в работах других исследователей, говорит о том, что не следует чрезмерно подчеркивать анимистический и магический смысл африканских скульптур. Тем более, что произведения искусства, созданные в разных странах на почве религии, в представлении будущих поколений часто отрываются от нее, приобретая новый смысл; религиозные представления становятся лишь поводом, а не содержанием искусства.

Сейчас, когда народы Африки охвачены национально-освободительной борьбой, этот вопрос имеет первостепенное значение. Как протянутся нити от африканского искусства прошлого в будущее? Пусть какие-то формы этого искусства, более примитивные, обречены на отмирание в дальнейшем развитии народов Африки. Но, конечно, богатая традиция высокой скульптуры и тончайших изделий, где ремесло и искусство сплетаются воедино, перейдет в иных формах в новое искусство, которое будет лишено страха перед неведомыми силами. Д. Пом лишь бегло упоминает об этом в конце книги, а между тем это вопрос огромной важности для дальнейших судеб африканской культуры.

Книга Денизы Пом издана скромно, но даже мелкие рисунки в тексте и небольшие репродукции позволяют ощутить красоту подлинников. Поражает многообразие этого искусства: от благородных пропорций классических голов Ифе до «зооморфных» страшилищ с озера Чад, от гармонических красивых масок «дан» до страшных масок Берега Слоновой кости, от подчеркивания животного начала до утонченной стилизации. Многообразны и материалы — дерево, слоновая кость, бронза, золото, терракота. Книга Пом помогает разобраться в многообразии африканского искусства, связывая его с различиями эпох, народов, укладов, с различием смысла, функции той или иной фигурки или маски.

Очень выразительны золотые и бронзовые маски врагов, которые, по догадке Д. Пом, носили у пояса вниз головой вожди ашанти (племя, населявшее нынешнюю Гану). Поражает и высокая культура утвари: колокольчики из слоновой кости тонкой работы, разные трубки, бобины ткачей и сосуды, великолепные деревянные кубки племени бакуба из Бельгийского Конго, большой кубок-сосуд редкой красоты, с орнаментом, в который включен мотив человеческой руки, резные столбы, украшавшие жилища вождей, тонко выполненные, выгнутой изящной формы сиденья, которые подчас несут фигурки людей или животных, деревянные статуэтки королей бакуба.

И хотя этнографы объясняют нам, что изящная выгнутая форма придана сиденью для того, чтобы дух мог спокойно и удобно находиться там, а великолепные изображения антилопы отводят опасность от убившего ее охотника,—могут быть, конечно, и иные объяснения. Еще предстоит связать это интересное искусство со всей совокупностью жизни этих племен и народов, с их трудом. Во всяком случае, прелестная фигурка антилопы, поддерживающая выгнутую плоскость сиденья, столь счастливо найденная народным резчиком, передает красоту, обнаруженную им в реальной жизни и ставшую красотой искусства.

Но более всего поражают, конечно, скульптуры Ифе и Бенина (Южная Нигерия). Недаром современные прогрессивные деятели Африки так подчеркивают значение истории своих народов. Африка не имеет в прошлом столь развитой литературы, как другие страны, но скульптура, «открытая» в

XX веке, и особенно за последние два десятилетия, свидетельствует о величии африканского прошлого. Д. Пом очень кратко, пожалуй слишком кратко, говорит об истории Бенина и Ифе и их искусстве. Она приводит описания дворцов Бенина эпохи XII—XVI вв., украшенных бронзовыми барельефами, говорит о высокой технике бронзового литья и т. д. Но искусство бронзы перешло в Бенин в конце XII века из Ифе. Найденные в начале нашего века, а главным образом перед второй мировой войной, бронзовые головы Ифе, по мнению исследователей, стоят на уровне лучших созданий мировой скульптуры и позволяют говорить об африканской античности.

И хотя на Западе порой боятся говорить об их реализме (а порой неудачно говорят об их натурализме), в действительности это искусство высокого реализма. Благородство и человечность выражения, простота и жизненность лица, поднятые до большого обобщения, сближают это искусство с греческой скульптурой. Изображают ли эти скульптуры вождей, признанных после смерти богами, или самих богов — все равно это искусство высокого гуманизма.

Несмотря на утверждения модернистов, что народы Африки по природе своей склонны к «абстракционизму», знакомство с искусством африканских народов убеждает в том, что художники черпают образы искусства из реальной жизни.

У нас еще мало знают об африканском искусстве. Правда, у нас опубликована работа известного советского африканиста проф. Д. А. Ольдерогге «Древности Бенина», но издания по этому вопросу известны лишь специалистам. Думается, что настало время познакомить с интереснейшим искусством Африки широкие круги советской интеллигенции. Тогда бронзовые головы Ифе займут в нашем эстетическом сознании место рядом с образами Греции, Рима, Индии или Китая.

Е. Гальперина

„ЛЕОНАР В ИНОМ МИРЕ" ЭЛЕН ПАРМЕЛЕН

□

Hélene Parmelin. Léonard dans l'autre monde. Paris, Julliard, 1957.

□

Леонар Ланглуа, парижский книготорговец и литератор, едет на север, в шахтерский поселок Сент-Оноре. Несколько часов езды в поезде — и Леонар попадает в иной мир, где вдоль горизонта виден орнамент одиноких вышек и все домики похожи друг на друга, как близнецы — крылечко спереди, палисадник сзади. Здесь родилась его покойная жена — Рэн Марешаль, и теперь Леонар едет помочь семье Марешалей в трудную минуту: тяжело больна сестра его жены, Зели.

Сильную сторону таланта Элен Пармелен составляет умение живо передать характер, интересы, ритм жизни определенной среды (журналисты в книге «Черным по белому», художники в «Диплодоке»). И в новом романе удивительно рельефно и четко нарисован быт и духовный облик шахтеров департамента Нор.

Леонар связан с родней своей жены чувствами уважения и искренней симпатии, но в то же время он — чужак. Он чутко воспринимает и то необычное, «региональное», что отличает обитателей Сент-Оноре, и то, что, оказывается, равно волнует и шахтеров маленького поселка и его, столичного интеллигента.

Элен Пармелен описывает своих героев очень скупо, ненавязчиво. Иногда это деталь внешности, иногда факт биографии. Люди раскрываются в романе через поступки и, пожалуй, в еще большей мере, через свои суждения.

Несколько суток сменяют друг друга у постели больной Зели ее многочисленные родичи. Здесь, за бесконечным кофе, открываются Леонару внутрисемейные симпатии и антипатии, здесь разгораются политические споры, здесь снова и снова люди спрашивают друг у друга, будет или не будет война. Мастерство Элен Пармелен сказывается в том, что в этой многоголосой сумятице, где смешано воедино трагическое и забавное, случайное и жизненно важное, читатель очень скоро начинает узнавать «по голосу» каждого из говорящих, не нуждаясь даже в авторской ремарке.

Вот Фелисите Марешаль, мать, глава клана — с гордой головой и тяжелыми руками, семидесятипятилетняя старуха с высокими гребнями в серебристо-рыжих волосах, в темном платье, в фартуке в горошек. Мать, привыкшая повелевать и уже утратившая свою власть, одержимо преданная детям, но уже не способная их понять.

Вот молчаливый, сумрачный, сдержанный Франек, муж Зели,— поляк, для которого Сент-Оноре — родина. Это шахтер, гордый своим мастерством и умением, но мучимый страхом перед шахтой. Он здоровяк и силач, но его легкие уже поражены силикозом. Франек свято чтит закон шахтерского товарищества, но есть в нем и черты индивидуалиста, собственника.

Вот, наконец, сама Зели с ее загадочной болезнью, которая никому не понятна.

Однако не судьбы героев занимают автора книги. Роман кончается так же, как и начался. Леонар уезжает, так и не разобравшись ни в драме Зели, ни в причинах ее болезни, ни в ее отношениях с Франеком. Для самого Леонара поездка в «иной мир» также не этап биографии, не сту-

пень формирования характера. Леонар так и остается служебной фигурой, а его путешествие — приемом, позволяющим провести читателя по «иному миру». Фабула нужна Элен Пармелен как бы лишь для завязки романа. Впрочем, читателя, знакомого с прежними романами Элен Пармелен, это не удивит: такова особенность ее писательской манеры, которой она не изменила и в этой книге.

Около тридцати лет тому назад Андре Терив и Леон Лемонье провозгласили рождение нового направления — «популизма». Противопоставляя безыскусное изображение «простого народа» психологическим изыскам буржуазной литературы, они ставили перед собой задачу «рисовать маленьких людей, людей посредственных, которые составляют преобладающую часть общества». И манифест и, еще в большей степени, образцы популистской литературы показали, что новое направление отнюдь не было новаторским. По самой своей сути отношения к народу, как к массе маленьких, униженных, интеллектуально ограниченных людей, популизм был явлением буржуазной литературы, так же как и «снобизм» Андре Жида, против которого популисты выступали.

Подлинное обновление в искусстве идет не только и не столько от нового материала но, прежде всего, от его осмысления, от отношения писателя к жизни, от того, как он понимает общественные процессы и какие задачи перед собой ставит. «Леонар в ином мире» Пармелен, как и романы Стиля или Жан-Пьера Шаброля, посвященные жизни французских рабочих,—это отнюдь не книга о маленьких людях.

Элен Пармелен не идеализирует своих героев. В них есть и черты мещанства, а в матери, подчас, и шовинизм (хотя трудно себе представить семью более смешанную — здесь и французы, и поляки, и англичанин, и американка, а национальность детей даже определить трудно). Действие романа как будто ограничено личной драмой, кругом семьи. Здесь нет сцен политической борьбы, стачек и демонстраций. Но «иной мир» — мир шахтерского поселка — открывается читателю как мир людей, которым свойственны широкие политические интересы, душевное богатство, тонкость чувств. И поэтому роман вызывает не дорогое популистам жалостливое сочувствие к существам убогим и примитивным, замкнутым в кругу дома, квартала, ремесла, а радостное сознание возможности роста человека, его душевного благородства и силы.

Л. Зонина

„ЛЕТОПИСЬ НА ГРАНИТЕ" ОЛДРЖИХА ШУЛЕРЖА

□

Oldřich Šuleř. Letopisy v žule. Praha, Mladá fronta, 1957.

□

На литературном конкурсе Союза Чехословацких писателей и ЦК Чехословацкого союза молодежи в 1957 году был отмечен роман «Летопись на граните» — литературный дебют Олдржиха Шулержа. Молодой писатель задумал написать своего рода историческую хронику чешско-немецкого пограничного местечка, населенного судетскими немцами.

Говоря о традиции, которой он следовал, Шулерж называет «Будденброки». И действительно, история нескольких поколений семьи камнепромышленников Тростеров заставляет нас вспомнить замечательный роман Томаса Манна.

Но еще чаще вспоминается при этом «Сирена» М. Майеровой. Как и у Майеровой, у Шулержа рядом с хроникой семьи предпринимателей выступает история нескольких поколений рабочей семьи — потомственных каменотесов Ганке.

Молодой автор объясняет, что он обращал большое внимание на изображение Тростеров, так как хотел показать распад буржуазной семьи; «в то же время,— пишет он,— я стремился избежать условного деления на «белых» и «черных» персонажей и был бы счастлив, если бы читатель нашел, что мне это удалось». Кое в чем автору удался его замысел, а кое в чем — нет.

Общие свойства капиталистического хищника находят в каждом из представителей семьи Тростеров свое особое преломление. Первыми успехами фирма обязана энергии и железной хватке Герты Тростер. Под влиянием жены Альберт Тростер открывает собственное дело, присвоив деньги, заработанные его другом, тоже каменщиком, Рудольфом Ганке. Перед властным характером этой женщины трепещет даже ее супруг, жадный, хвастливый и жестокий человек, который умирает, проклиная своих конкурентов.

Их сын Август унаследовал от родителей маниакальную страсть к стяжательству, но в его характере прибавилась новая черта — циничная самоуверенность и презрение к людям, характерные для дельца крупного масштаба.

В семье Тростеров редки искренние человеческие отношения. Жена Августа, Мария, изменяет мужу, которого она ненавидит, с

управляющим фирмой, пьяницей и ничтожеством Рихтером, а Август находит утешение в откровенном разврате. Их дети полны зависти и недоброжелательства друг к другу и готовы передраться из-за наследства.

В большинстве эти образы пластичны и жизненны. Однако иногда «очеловечивание» и усложнение характера достигается с помощью несколько искусственных приемов, разрушающих цельность образов. Это относится прежде всего к представителю третьего поколения Тростеров — Эдгару.

Для Эдгара тесны узкие рамки деятельности деда и отца. этот космополитически настроенный сноб мечтает уже о мировой арене для своих афер. Прекрасно постигнув механику капиталистического предпринимательства, Эдгар сумел прибрать к рукам многие конкурирующие фирмы, завязал деловые связи во всех частях света. Хотя молодой Эдгар в глубине души презирает нацистов, он поддерживает их пропаганду среди судетских немцев, помогающую бороться против рабочего движения, а во время войны старается ладить с фашистскими властями. Эдгар чувствует неудовлетворенность, тоску, отвращение к жизни. Все это вполне может сочетаться в одном человеке. Но нам все же кажется, что переживания Эдгара, его терзания от неразделенной любви к дочери Рихтера, Инге, изображены, особенно в последних главах книги, посвященных периоду оккупации, с преувеличенным вниманием.

К сожалению, образы большинства членов рабочей семьи Ганке раскрыты менее глубоко. Особенно однообразны фигуры женщин; все они измучены невыносимой нуждой, больны и забиты. Недостаточно раскрыты и образы честного, наивного старого Ганке и его сына, Рихарда, опустившегося под тяжестью несчастий. Гораздо более живо предстает перед нами неукротимый бунтарь Герберт, сын Рихарда, ставший сознательным коммунистом. Первая мировая война многому научила его. В послевоенные годы он возглавляет артель каменотесов. Конечно, Тростер и другие предприниматели находят способ задавить это начинание, буржуазная республика предоставляет им для этого все средства — от суда, который несправедливо осуждает Герберта, до жандармской пули, оборвавшей жизнь сына Герберта, Руди. Путь Герберта Ганке закономерно приводит его в ряды антифашистского сопротивления. Однако как раз в этой части романа Герберт отходит на задний план. И только в самом конце книги, после освобождения Чехословакии Советской Армией, читатель узнает, что Герберт Ганке, вернувшийся из фашистского концлагеря, становится во главе национализированного предприятия, ранее принадлежащего Тростерам.

Нам думается, что схематичность некоторых образов связана с довольно распространенным в современном чешском романе недостатком — иллюстративностью. Основной недостаток романа Шулержа в том и заключается, что действие в этой книге нередко становится иллюстрацией к историческим событиям и общественным тенденциям. Многие беседы Герберта Ганке со своими товарищами характеризуют ситуацию в рабочем движении и разоблачают предательскую роль оппортунизма, но не помогают понять Ганке. Многие другие фигуры рабочих и предпринимателей почти никак не охарактеризованы и вводятся в повествование только для того, чтобы раскрыть смысл какого-нибудь политического события. Ту же роль играет и большинство массовых сцен. Все это делает повествование растянутым, и живой интерес, который вызывает судьба ряда персонажей в начале книги, в дальнейшем пропадает.

Достоинства и недостатки романа говорят о тех исканиях, которые роднят Шулержа со многими чехословацкими писателями. Цель этих исканий — найти наиболее яркое художественное воплощение больших исторических процессов в индивидуальных и неповторимых человеческих судьбах и характерах. Там, где писателю это удается, он достигает успеха.

И. Бернштейн

ЧЕРНОЕ ПЛАМЯ

□

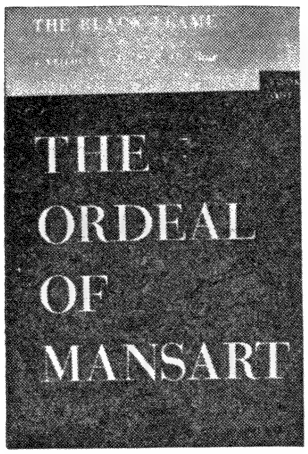
W. E. B. Du Bois. The Ordeal of Mansart. New York, Mainstream Publishers, 1957.

□

«Черное пламя» — это название трилогии, которую задумал видный американский ученый, общественный деятель и писатель Уильям Э. Дюбуа, трилогии об исторических судьбах негритянского народа США, о его прошлой и настоящей борьбе за гражданское равноправие, о путях этой борьбы, начиная с Гражданской войны 1861—1865 годов вплоть до наших дней.

Уильям Э. Дюбуа — один из старейших борцов за освобождение негров *, он был свидетелем и участником важнейших событий негритянского движения на протяжении многих десятилетий. Им написано немало

* См. в этом номере журнала статью С. Белфрейджа (стр. 221).



художественных произведений, среди них роман «За золотым руном» и историческая драма «Ганти». Естествен поэтому тот интерес, который вызвал первый роман трилогии — «Испытания Мансарта»,— изданный в Нью-Йорке.

Роман охватывает период от так называемой Реконструкции Юга до первой мировой войны. Крупным планом проходят в романе этапы этого тяжелого для негритянского народа полустолетия, в течение которого были отняты революционные завоевания Гражданской войны в Америке и наступило царство террора. Яркие главы, открывающие роман, описывают, как земельная аристократия Юга, еще не оправившись от поражения в войне, заигрывает то с неграми, проводя по отношению к ним политику «милосердного руководства», то с бедняками-белыми, разжигая у них национальную вражду к своим цветным собратьям. Угроза объединения неимущих слоев населения Юга заставляет плантаторов пойти на сговор со своими политическими противниками — буржуазией Севера, которая, в свою очередь, заинтересована в размещении капиталов в южных штатах и в использовании дешевого труда негров.

Эти события преломляются в судьбах персонажей книги — полковника Брекинриджа, истого аристократа-южанина, и членов его семьи, нью-йоркского дельца и финансового воротилы Джона Пирса, расиста и куклуксклановца Сэма Скроггса. Дюбуа показывает, как тесно сплетаются частные интересы этих людей, как они нужны друг другу для построения «Нового Юга» на основе «покорного черного труда, северного капитала и белых мозгов».

В художественное повествование У. Э. Дюбуа вводит много историко-публицистического материала, и наряду с вымышленными персонажами в книге немало личностей исторических, среди которых мы под именем профессора Бёрхардта узнаем и самого автора.

Обстоятельно и неторопливо ведет У. Э. Дюбуа читателя от эпизода к эпизоду, от события к событию, от проблемы к проблеме. Он нисколько не упрощает ни людей, ни общественно-политическую обстановку тех лет. Наивная вера многих негров в благие намерения бывших плантаторов, замыкание в кругу узконациональных интересов и, с другой стороны, шовинистические настроения части белой бедноты, отрыв от растущей борьбы рабочего класса, увлечение «постепеновскими» взглядами Букера Вашингтона и т. д. и т. п.— все подвергается детальному и мужественному анализу автора.

Книга написана свободно, широкими мазками, без особого внимания к признанным сюжетным и композиционным правилам. Действие романа смело переносится автором из одного места в другое, историко-публицистический очерк и цифровые выкладки перемежаются блестящими, полными драматизма художественными эпизодами, строгий и точный язык исследователя сменяется страстным голосом проповедника. Все это нужно Уильяму Э. Дюбуа для того, чтобы «объяснить историческую правду с помощью художественного воображения», как он пишет в послесловии.

Отдельные звенья повествования связаны между собой фигурой Мануэля Мансарта. Он родился в тот самый день, когда толпа белых хулиганов линчевала его отца, Тома Мансарта, бывшего раба, который после Гражданской войны стал членом законодательного собрания Южной Каролины.

Мы сравнительно немного узнаем о том, что называют личной жизнью героя. Автор ограничивается здесь скупыми, самыми необходимыми сведениями; бытовые подробности находятся у него на втором плане. Зато формирование героя как социального типа прослеживается в книге весьма явственно. Герой Дюбуа принадлежит к той части мелкобуржуазной негритянской интеллигенции, которая долго колебалась, не умея найти пути правильного решения негритянской проблемы в США. Не принимая взгляды Букера Вашингтона, который, по существу, признавал расовое превосходство белых, такие представители негритянской интеллигенции тем не менее не решались вступить в ту борьбу в защиту прав негров, которую вели, например, участники «Ниагарского движения» во главе с У. Э. Дюбуа.

Мануэль еще в детстве понял, каково быть в Америке человеком с черной кожей. На всю жизнь запомнил он случай, когда, дав сдачи белому мальчишке-забияке, получил нахлобучку от матери. Она сказала ему: «Не смей драться с белыми. Бери то, что они дают, поклонись и беги. Но драться с ними нельзя. У них власть. Мы должны ждать». И Мануэль ждал: ждал студентом колледжа, ждал, став учителем в захолустном городке Джерусалеме, а потом директором школы для цветных в одном из крупных центров Юга — Атланте. Жизнь учила его нехитрой мудрости: негр должен быть

терпеливым и не требовать многого, порой он должен пойти даже на унижение, чтобы добиться чего-нибудь для своего народа. Но сердце подсказывало Мануэлю, что такая мудрость фальшива, она принуждает то и дело идти на компромисс. Позорнейший негритянский погром в Атланте в 1906 году словно встряхнул героя; он понял, что терпением ничего не добьешься, что настало время каких-то активных действий.

Мануэль, по-видимому, еще не совсем ясно сознает, что негритянский вопрос это только часть другого большого вопроса — борьбы против капиталистического угнетения. Но в конце романа он, не молодой уже человек, рассказывая сыновьям о своей жизни и своих сомнениях, упоминает о «красном пламени», которое «не колеблется и прожигает насквозь». Он добавляет, что «черное пламя» (заметим, что так бабушка героя назвала его при крещении) не угасло; «оно, может быть, не такое яркое... но оно должно жить, ибо миру необходимо горение».

Вряд ли можно полностью оценить все достоинства романа, пока не завершена трилогия, но актуальность такой книги, как «Испытания Мансарта» очевидна. Негритянский вопрос — один из самых острых вопросов в общественной жизни Америки, и книга У. Э. Дюбуа поможет прогрессивным силам Соединенных Штатов в их борьбе за демократию и социальный прогресс.

Г. Злобин

ПОДВИГ ТРУДА

□

艾蕪：L百煉成鋼」
L收穫」第一，二期
上海一九五七年.

□

Новый роман известного китайского писателя Ай У привлекает внимание своим названием — «Сто раз закаленной рождается сталь» — созвучным, перекликающимся с бессмертной книгой Николая Островского. Созвучен он не только названием: о делах, не менее суровых, чем фронтовые подвиги, о трудовом героизме строителей нового Китая рассказывает Ай У.

Следует отметить, что этот роман — не первое крупное произведение о китайских рабочих. «Движущая сила» Цао Мин, «Сталь хлынула» Чжоу Ли-бо, трилогия Лэй Цзя «Скрытые силы», с первой частью которой — «Весна пришла на Ялуцзян» — советские читатели познакомились недавно в русском переводе, и некоторые другие книги свидетельствуют о том, что в китайской литературе наших дней все большее место занимает тема рабочего класса нового Китая, что китайские писатели уделяют все большее внимание людям, дела которых действительно достойны оставаться в памяти народов.

...После очередного рекорда, поставленного на домне № 9 молодым сталеваром Цинь Дэ-гуем, домна оказывается «заваленной» и временно выходит из строя. Коллектив завода встревожен. Многие считают, что Цинь Дэ-гуй в погоне за славой передовика и премиальными наплевательски отнесся к общественной собственности.

Читатель видит эти события глазами парторга, человека на заводе нового, но опытного и принимающего к сердцу интересы государства.

Обстановка действительно сложная: может быть, Цинь Дэ-гуй в самом деле просто гонится за славой и премиальными, а бригада Чжан Фу-цюаня, его сменщика, страдает от того, что получает после «рекорда» предыдущей смены неисправную домну? А может быть, сам Цинь Дэ-гуй, не досмотрев, принял домну уже с изъяном и теперь тоже незаслуженно страдает от подозрений товарищей?

С первых же страниц романа становится понятно, что дело даже не в этом частном случае, не в происшествии с лучшим производственником на заводе, а в том, что люди, засучившие рукава для того, чтобы «строить и месть», выступают против «превращения домны в трибуну для торжественных речей», по удачному замечанию старого мастера. Сталевары борются за повседневный массовый героизм в труде, против «образцово-показательных» успехов одиночек. Вот почему инцидент с завалом домны служит писателю лишь поводом к тому, чтобы разобраться в назревших на заводе вопросах об отношении к труду и к людям, о моральных качествах строителей нового общества.

Ай У поднимает тему большого социального значения. В романе много удачных, выразительных образов, написанных с благородной простотой, логически вытекающей из самой идеи романа, много точных характеристик. «Сколько вещей в магазинах — и ничего теперь не купишь», — сетует Чжан Фу-цюань, поняв, что из-за аварии на домне не получит премиальные. И одна эта деталь сводит на нет всю «сознательность» этого говоруна и оттеняет самое главное в образе бездушного, мелочного человека, потихоньку мечтающего «все равно о какой руководящей должности». «Не перебрал ли я температуры в погоне за рекордным временем,— размышляет тем временем Цинь Дэ-гуй,— а кому нужен рекорд, после которого печь несколько дней стоять будет?..»

На фоне удачных образов Цинь Дэ-гуя, Чжан Фу-цюаня, старшего мастера цеха

Юань Янь-фа и его жены тем более бросаются в глаза многословно, но не выразительно написанные профгрупорг цеха Хэ Цзы-сюе; Юй-фа — девушка, которую любят «соперники» Цинь Дэ-гуй и Чжан Фу-цюань; Ли Цзе-мин — подручный мастера, разоблаченный впоследствии как контрреволюционер, отчасти и образ самого парторга. А ведь все они очень важны для повествования.

Можно было бы отметить и другие недостатки, например очень уж знакомая по многим книгам «дежурная» для подобного сюжета девушка, которая по ходу действия любит — заблуждается — еще крепче любит; и пространные отступления, продиктованные, наверное, желанием автора сообщить о героях все биографические сведения и т. п. Но в общем новое произведение Ай У оставляет хорошее впечатление. С жизнеутверждающей силой звучит в нем основная тема литературы нашего времени — подвиг труда.

А. Клышко

„СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ"

□

Judah Waten. Shares in Murder. Melbourne, Australasian Book Society, 1957.

□

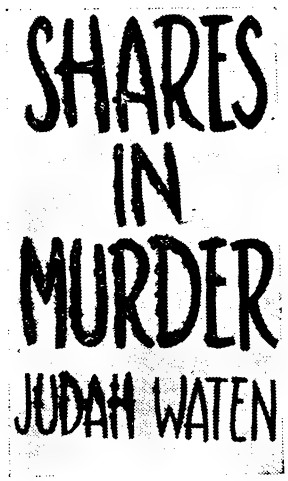
Лет десять назад на страницах австралийской прессы стали появляться рассказы Джуды Уотена о жизни иммигрантов в Австралии, обращавшие на себя внимание как своеобразием темы, так и литературными достоинствами. В 1952 году Уотен объединил большинство из них в сборник, который он назвал «Чужестранец». Первая книга молодого писателя была тепло встречена и год спустя переиздана. В 1954 году Джуда Уотен вновь привлек к себе внимание читателя большим романом «Несгибаемая». Рекомендуя этот роман читателю, прогрессивная австралийская газета «Трибюн» писала: «Роман мистера Уотена — блестящая картина жизни иммигрантов в Австралии и общественной обстановки того времени» (эпохи первой мировой войны.— *Е. П.*).

Недавно Уотен опубликовал новую книгу «Соучастие в убийстве». На этот раз он выступает в несколько неожиданном жанре: «Соучастие в убийстве» — детективный роман.

...В фешенебельном квартале убита и ограблена молодая красивая женщина, преступник скрылся. Пресса обвиняет полицию в нерасторопности. Старший офицер сыскной полиции Филдс и инспектор Браммел собственноручно берутся расследовать загадочное дело.

Детективный роман обычно захватывает читателя интригующей недоговоренностью, чтобы тот вслед за автором устремился по следам преступника, решая загадку за загадкой. Однако для Уотена розыски виновного — только сюжетный ход, который позволяет ему заглянуть на задворки деловой жизни большого города. Заинтриговав читателя острой завязкой, Уотен незаметно переключает интерес на самый ход расследования. Поиски убийцы, обыски, допросы дают ему возможность повести читателя в притоны, к скупщикам краденого, в игорный и публичный дома и, с другой стороны, коснуться методов, которые приняты в сыскной полиции Австралии.

Филдс сам стремится «избегать крайностей» в обращении с арестованными, однако ему рáвно необходимы инспектор Браммел, умеющий тонко спекулировать при допросах и на больших человеческих привязанностях и на низменных побуждениях, и старший сыщик Филберт, избивающий обвиняемых до потери сознания. Со свойственным ему цинизмом Браммел рассуждает о методах Филберта: «Сыскная полиция не может существовать без филбертов, они так же необходимы для учреждений, стоящих на страже закона, как патрульные машины и радио».



От мелких перекупщиков краденого следы преступления ведут Филдса и Браммела в подпольный игорный дом «короля» Чарли Руни, который обеспечил безопасность своего заведения щедрыми взятками. От Чарли Руни нити тянутся дальше, в дом крупного финансиста, владельца ювелирного дела Фогга.

Как ни различны характеры Филдса и Браммела, оба они — дисциплинированные и старательные служаки. Но коль скоро они решились посягнуть на честь и покой одного из влиятельных лиц в городе и оказались втянутыми в игру политических интересов, они сами начинают поступать в соответствии с законами делового и политического мира.

Психология полицейских и репортеров буржуазных газет занимает Уотена не меньше, чем психология преступников. И газетчики и сыщики, в сущности, рассматривают дело об убийстве как новую ступень в собственной карьере.

Филдс, всегда гордившийся тем, что стоит за справедливость, идет на сделку с совестью: он отбрасывает в сторону свои сомнения насчет виновности Нормана Сима, уголовника, которого обвиняют в убийстве. Преступник найден, общественные круги удовлетворены, пресса расхваливает Филдса, он со дня на день ждет повышения. А кто знает, как обернется дело, если возбудить процесс против любовника убитой, биржевика Хобсона, хотя именно против него имеются тяжкие улики! «Филдс был слишком подозрительным,— пишет автор,— чтобы сколько-нибудь верить политиканам, хотя никогда не признался бы в этом. Он полагал, что они принесут его в жертву, если это будет в их интересах. В таком случае его мечта стать комиссаром полиции или по меньшей мере помощником комиссара окажется тщетной, и он кончит свои дни как неудачник, как разжалованный сыщик».

Открыто идет на соглашение с Хобсоном инспектор Браммел. Он любит работу в сыскной полиции не из стремления к справедливости, а потому, что для него, игрока и циника, есть свой азарт в погоне и борьбе с ловким и хитрым противником. «Браммел был откровенен сам с собою. Он был охотником за человеком, он шел на охоту. И это радовало его». Он мечтает выиграть большие деньги на скачках, начать жизнь независимого человека, и когда обстоятельства приводят его в контору Томаса Хобсона, Браммел делает ставку на него: обещает не упоминать имени Хобсона и требует за это в подарок богатый отель на побережье.

Суд приговаривает к смертной казни Нормана Сима. Те, кто стоит на стороне закона, покрывают настоящего преступника и, таким образом, название романа «Соучастие в убийстве» приобретает более обобщенный, глубокий смысл, а сам роман — общественное звучание

Е. Померанцева

„ВЕРНИ МОЕ СЕРДЦЕ"

□

يوسف السباعى

رد قلبى

القاهرة، مكتبة الخانيجى

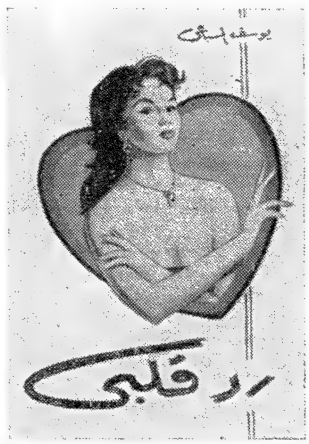
□

В каирском издательстве «Мактаба аль-Ханиджи» вышел большой двухтомный роман известного египетского писателя Юсуфа ас-Сыбаи «Верни мое сердце». В предисловии автор отмечает, что он писал роман в течение 1954 года, вскоре после революционных событий в Египте и установления республики. Юсуф ас-Сыбаи пишет, что работал он над книгой с огромным увлечением, и это увлечение автора передается читателю. Автору удалось нарисовать жизненные, индивидуализированные образы главных героев, различных по положению в обществе, по своим характерам и взглядам, и создать довольно яркую в целом картину жизни египетского общества с 1933 года по 1953 год.

В основе сюжета романа — история любви Али, сына простого феллаха, и Анджи, дочери владетельного эмира Исмаила. Юсуф ас-Сыбаи избежал сентиментальности в изображении любви между столь далекими по своему социальному положению людьми. Али — вдумчивый, серьезный, обаятельный человек — любит Анджу и видит цельность и чистоту ее натуры. Анджа отличается от людей своего круга справедливостью, уважением к простым людям и мягкостью характера.

Отец Анджи, который считает, что с феллахами можно разговаривать только языком кнута, и слышать не хочет о браке дочери с сыном садовника. Али удается поступить в военную школу, «куда легче попасть жеребенку, чем сыну феллаха», но и получив звание офицера, Али не стал достойнее в глазах эмира Исмаила, который всячески препятствует его служебной карьере.

Юсуф ас-Сыбаи не идеализирует главного героя: Али стремится только к личному благополучию и к тому, чтобы выполнить свой служебный долг как можно лучше. Вращаясь в кругу прогрессивно настроенного офицерства, Али не становится участником подготовки восстания, считая участие в каких-либо заговорах авантюризмом. И все же мы не удивляемся, видя Али в рядах восставших в июле 1952 года, когда он осознал реальную возможность свержения короля Фарука и феодального режима.



Будучи военным, Юсуф ас-Сыбаи сумел дать в своем романе подробную картину подготовки и проведения восстания. Действие романа заканчивается в 1953 году, после того как правительство Египетской республики приняло закон о ликвидации в стране сословий и феодальных титулов. Бывший эмир Исмаил эмигрирует из страны; Али и Анджа, отказавшаяся уехать с отцом, добиваются, наконец, своего трудного и выстраданного счастья.

В последние годы в Египте появилось несколько книг, в которых отражены события 1952 года. Последний роман Юсуфа ас-Сыбаи является, на наш взгляд, наиболее значительным из этих произведений по охвату описываемых событий. Следует, правда, сказать, что действие в нем иногда растянуто, местами роман сентиментален, а герои его разговаривают подчас слишком высокопарным языком.

В предисловии к роману Юсуф ас-Сыбаи писал «Я не знаю, насколько органически мне удалось связать исторические события с художественным рассказом и насколько удался мне роман вообще. Но я знаю, что, написав эту книгу, я выполнил свой долг».

В. Борисов

АВТОБИОГРАФИЯ РИЧАРДА ЧЕРЧА

□

Richard Church. The Golden Sovereign. London, Heinemann, 1957.

□

В английской буржуазной литературе последних десятилетий особое развитие получила так называемая романизированная автобиография. Возникает даже видимость расцвета этого жанра. Однако чаще всего литература такого рода — плод эскепистских настроений, стремления уйти от действительности. Обращение к прошлому, к далеким годам детства и юности, погружение в свое «я» — все это представляет собой, в конечном счете, не что иное, как своеобразные формы ухода от реальной жизни. Эти черты ясно выступают в автобиографии английского поэта, романиста и литературного критика Ричарда Черча, оцененной английской буржуазной критикой, как одно из лучших произведений этого жанра за последние годы.

Перед нами маленький коттедж на лондонской окраине. Здесь живет семья Черчей: мать — учительница, отец — мелкий чиновник, болезненно впечатлительный и старчески сосредоточенный ребенок — будущий писатель и его старший брат. Монотонная и замкнутая жизнь типично английской семьи, принадлежащей к так называемому «среднему» классу (lower-middle-class), во всем ее добропорядочном и сентиментальном убожестве. Идиллическая семейная цитадель, двери которой накрепко закрыты перед веяниями и треволнениями большого мира.

Но и тщательно выписанная картина семейной жизни, и школа, а в дальнейшем и служба — не более как фон исповеди Черча. На первом плане — история внутренней жизни героя, значительно более интересная в первой части, «Через мост», где рисуются его детские годы, чем во второй, где речь идет о взрослом человеке. Пока убожество окружающей среды не успело еще наложить свой отпечаток на духовный облик ребенка, его впечатления и чувства не лишены поэтической свежести. Читателю запоминаются рассказы о первых радостях искусства, о своеобразном детски-пантеистическом открытии природы и т. д. Правда, моментами болезненно-восторженные откровения переходят в область мистики. Таков, например, рассказ о том, как автор десятилетним ребенком обнаружил, что способен летать, «усилием воли» преодолевая «тиранию земного притяжения».

По требованию отца шестнадцатилетний Черч отказывается от намерения поступить в художественную школу и посвящает себя государственной службе (Civil Service), безнадежно чуждой всему его духовному складу. Заметим кстати, что и впоследствии, уже расставшись с отцом, Черч не мыслит жизнь без успокоительных гарантий мизерного жалованья и будущей пенсии государственного чиновника. За отцовской волей стоит неопровержимый резон «классового инстинкта» обеспеченности, по выражению писателя, резон традиции — всегдашней властительницы дум и чувств героя.

Годы службы и начала литературной деятельности составляют материал второй части автобиографии, «Золотой соверен». Со страниц этой книги перед нами встает образ молодого человека с весьма ущербным, хотя и утонченным, строем мыслей и чувств. Умирает мать писателя, мир семьи распадается, вокруг героя образуется некий «вакуум». Служба не затрагивает его отшельнической жизни, до отказа заполненной занятиями историей, в которой он «ищет смысл традиции», и литературой.

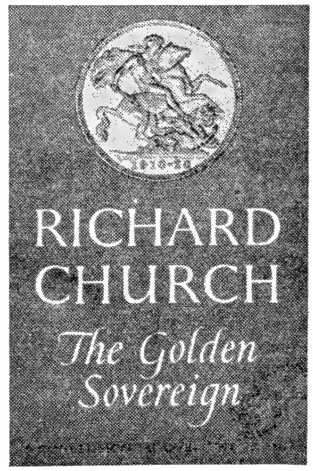
Теперь мысли и чувства юноши все чаще обращаются к прошлому. Малейшее изменение жизни он воспринимает болезненно, как измену дорогому прошлому, отход от святая святых традиций. Воспоминания Черча превращаются в элегию по всему невозвратно ушедшему образу жизни, приобретая тем самым весьма определенное идеологическое звучание.

В дальнейшем в жизнь героя входят новые люди (друг, возлюбленная, кружок сослуживцев — любителей искусства и т. д.). Повествование оживляется колоритным описанием быта и нравов английской «сивил сервис» начала века «с ее бессмысленной дисциплиной и бесполезным трудом». Словом, рамки «кельи», казалось бы, несколько раздвигаются. Но отзвуки общественной жизни доходят сюда только однажды, в начале первой мировой войны, когда поэт под влиянием «общенародного возбуждения» впервые ощущает неудовлетворенность своей отшельнической жизнью. Считая, что «Британия дала человечеству нечто, за что стоило бороться» (опять превыше всего традиция!), он хочет добровольно вступить в армию, но медицинская комиссия признает его негодным. Кроме этого исключения, по-своему подтверждающего правило, в автобиографии Черча нет и тени гражданской проблематики.

Война — единственное упомянутое Черчем историческое событие. «Келья» поэта наглухо отгорожена от веяний живой истории. «Проклятые вопросы» об отношениях человека и окружающего его общества не тревожат ему душу. Избранный им «уникальный» путь лежит в сторону от века. Провозглашенный в лирике Черча эскепизм здесь, в автобиографии, полностью реализован. Традиция, а не современность, книжная полка, воспоминания и поэтические экстазы, а не реальная жизнь питают его душу и разум.

Написана автобиография Черча с известной наблюдательностью и мастерством психологического анализа, вернее самоанализа. Однако книга сильно проигрывает от склонности писателя подменять образы описаниями и топить в комментариях живое изображение событий.

Не представляя особой ценности ни в художественном, ни в идейном отношении, исповедь Черча, однако, интересна и показательна для характеристики буржуазного писателя-интеллигента современной Англии. Здесь есть все: и столь характерный для английской культуры традиционализм, принимающий у Черча консервативный характер, и психология добропорядочного буржуа, впитавшего модные мистические веяния, и бесплодная позиция эгоцентрика, отвернувшегося от больших вопросов общественной жизни и истории.



А. Рапопорт

СБОРНИК ПЬЕС-ДИАЛОГОВ

□

相聲創作選集
作家出版社
北京一九五七年

□

Среди множества видов и форм китайского сценического искусства большой любовью у зрителя пользуется сян-шэн, то есть пьеса-диалог, который ведется между двумя действующими лицами, выступающими, как правило, под условными именами Первый и Второй. Первый ведет рассказ, Второй играет вспомогательную роль, оттеняет и подчеркивает действия Первого.

Форма сян-шэн родилась как народное искусство задолго до наших дней. Пьески-диалоги обычно разыгрывались на постоялых дворах, в сутолоке ярмарок либо прямо на улице и были направлены против притеснений феодалов и чиновников, которым подвергался бедный люд в старом Китае. Исполнителей этих коротких сатирических сценок — бродячих актеров — преследовали, запрещали им выступать. Но любимая народом форма искусства продолжала жить. Тексты сян-шэн в то время никто не записывал. Их авторы в большинстве случаев оставались неизвестными.

В наши дни сценическая форма сян-шэн обрела полное право гражданства и получила дальнейшее развитие. Доказательством тому служит недавно выпущенный в свет китайским издательством «Цзоцзя» («Писатель») сборник пьес-диалогов.

Тематика пьес-диалогов разнообразна, она говорит о том, что эта форма искус-

ства отражает многие стороны жизни. Здесь можно найти диалоги, в которых живо, в доходчивой форме рассказывается о преимуществе коллективного хозяйства («Кооператив высшего типа»). Есть диалоги из жизни рабочих («Летучая масленка»), о боевых делах солдат и офицеров («Контрудар»). В диалоге «Записки о походе на Запад» говорится о строительстве Сикан-Тибетской дороги, о ее роли для народного хозяйства страны, для развития экономики и культуры Тибета.

В диалоге «Новая квартира» высмеивается страсть к архитектурным излишествам в строительстве. Однако автор диалога Ван Вэнь-ци не ограничивается этим. Он касается и других проблем жилищного строительства, показывая наряду с недостатками и те успехи, которые достигнуты в этой области. Здесь раскрывается одна из важных сторон пьесы-диалога как живой газеты, как средства массовой агитации.

Одной из особенностей пьес-диалогов, в том числе и помещенных в сборнике, является использование гиперболы. Этот прием оправдан всей сатирической направленностью диалога, поскольку чаще всего пьеса-диалог носит характер едкой сатиры. Еще Лу Синь считал, что задача сатирических произведений—показывать то, что порой в жизни проходит незамеченным. «Бывает,— говорит он,— что некоторые поступки входят в привычку, не удивляют публику и, только особо подчеркнув их, можно вызвать к ним интерес».

Очень характерны в этом отношении помещенные в сборнике диалоги, особенно диалог «Одержимый манией заседаний», где в яркой, остроумной форме высмеивается склонность некоторых работников заседать по любому поводу. Бесконечная смена одного собрания другим, кругооборот, совершаемый из цеха в актовый зал и обратно в цех, нелепые повестки заседаний и, наконец, история одной любви, прошедшей через многие мытарства из-за страсти начальника к собраниям, отнимающим у юноши все свободное время,— все это написано остро и интересно.

Особенно запоминается в этом диалоге эпизод собрания, на котором слушается доклад под громким названием «Борьба за радикальное разрешение вопроса по покупке умывальных тазов». На протяжении всего эпизода, разоблачающего демагогов и краснобаев, читателя не покидает чувство справедливого осуждения несмотря на то, что многое в этом эпизоде, как и во всем диалоге, воспринимается с юмором, легко, не навязчиво. Пожалуй, лишь чрезмерная растянутость несколько снижает обличительную силу этого диалога. Впрочем, этот недостаток присущ и некоторым другим диалогам в сборнике.

Появление сборника пьес-диалогов, свидетельствующее о дальнейшем развитии драматического жанра сяншэн,— заметное явление в китайской литературе.

Р. Белоусов

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛБАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНКУРСА

Около трехсот писателей и поэтов, драматургов и композиторов, художников и скульпторов представили свои произведения на конкурс, организованный Министерством просвещения и культуры Албании совместно с Союзом писателей и артистов в честь 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Газета «Зери и популлит» сообщает результаты конкурса. Присуждено более восьмидесяти премий. Премированы многие литературные произведения.

Публикуя отрывок из получившего первую премию романа Фатмира Дьята «Болото», «Зери и популлит» пишет: «В романе рассказывается о начале строительства социализма в нашей стране и о самоотверженном труде народа по осушению болот в Малите, о борьбе с внешними и внутренними врагами нашей республики».

Первой премией отмечены также рассказ «Тот, кому нравится видеть голодных» Якова Дзодзе и сборник рассказов Сотира Андони.

Писатель Димитр Шутеричи получил первую премию за историческую повесть «Последние дни Дёрг Големи». Второй премии удостоен Петро Марко за роман «¡Hasta la vista!» («До свидания!»), опубликованный недавно в журнале «Нёндори» и посвященный албанским добровольцам, сражавшимся в интернациональных бригадах в Испании.

По разделу прозы для детей и молодежи первой премии удостоен сборник рассказов Стэрио Спассе о жизни сельских школьников и второй премии — сборник рассказов Димитра Шутеричи из жизни албанских детей до освобождения страны.

Среди поэтических произведений первыми премиями отмечены поэма Вехби Скендери о девушке-партизанке «По дорогам войны» и сборник стихов Лазара Силичи «Зов сердца». Вторые премии получили Тонин Милёти за поэму «Зануша» и Нонда Булька за сборник стихов «Навеянное новой жизнью».

В области драматургии первыми премиями отмечен ряд произведений, в том числе драма Сулеймана Питарки «Один в поле не воин», комедия Кина Души «Мужчины и женщины», и второй премией — одноактная пьеса Спиро Чомора «С великим удовольствием, товарищ Сотир!».

«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ» НА СЦЕНЕ НАРОДНОГО ТЕАТРА

В Народном театре Тираны поставлена пьеса Н. Погодина «Кремлевские куранты». В роли Ленина, по сообщению «Зери и популлит», успешно выступил актер Лазар Филипи; роль Забелина исполняет П. Дёка, Рыбакова — Н. Фрашри, Маши — Ф. Алибали.

Газета пишет: «Создание образа Ленина знаменует собой новый этап в развитии нашего сценического искусства».

АЛЖИР

ТРИЛОГИЯ ОБ АЛЖИРСКОМ НАРОДЕ

Писатель Мухаммед Диб закончил трилогию «Алжир». Первый том трилогии называется «Большой дом» (см. «Иностранную литературу» №№ 5 и 6, 1955 г.), второй — «Пожар».

В последней, недавно опубликованной книге трилогии — «Ремесло ткача» — повествуется о тяжелой жизни подростка Омара и его семьи, показана варварская эксплуатация, которой Омар и другие рабочие подвергаются на ткацкой фабрике. «Мухаммед Диб выступает свидетелем на процессе, который несомненно будет выигран его народом,— пишет «Леттр франсез». — В этом романе не упоминается о политике в прямом смысле этого слова. Действие происходит за десять лет до начала боев в Алжире. В романе ничего не говорится о будущих сражениях, напротив, в нем показаны несчастные, забитые люди, не представ-

ляющие себе возможности каких-либо перемен...» Однако, пишет еженедельник, события, развернувшиеся ныне в Алжире, порождены именно той жизнью алжирцев, которая изображена в книге М. Диба «Ремесло ткача».

АНГЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН НАОМИ МИТЧИСОН

Писательница Наоми Митчисон опубликовала новый исторический роман под названием «Варвары». Эпоха, о которой повествуется в ее новом романе, относится к III—II вв. до н. э. Место действия — Спарта и Египет.

Американская газета «Дейли уоркер» писала, что Наоми Митчисон в этой книге проявляет себя умелым рассказчиком и знающим археологом, повествуя о мало известных и интересных исторических событиях, происходивших в III в. до н. э. в районе Средиземноморья.

«Дейли уоркер» отмечала, что писательницу интересуют вопросы борьбы народов за национальную независимость. Наиболее напряженной, по мнению газеты, является глава, в которой описывается попытка Спарты отстоять свою свободу от завоевателей. «Хотя ряд имен является вымышленным, — сообщала «Дейли уоркер»,— в основу романа положены некоторые исторические факты, изложенные в свое время Плутархом. К таким фактам относится попытка царя Спарты Клеомена III разделить землю страны между спартанцами на равных основаниях, в результате чего землевладельцы, не пожелавшие с этим мириться, призвали на помощь македонскую армию».

Газета отмечала художественные достоинства и познавательную ценность книги «Варвары», которая «дает большое количество сведений о периоде, являющемся белым пятном в ряде книг по истории».

КНИГА О ТОСКАНИНИ

В Англии издана книга итальянского журналиста Филиппо Саччи «Волшебная палочка», посвященная жизни знаменитого дирижера и композитора Артуро Тосканини. Автор, сообщает журнал «Сфир», живым и образным языком рассказывает о творческой деятельности Тосканини, о его упорстве в работе, которое помогло ему достичь выдающегося мастерства.

ЖУРНАЛ «МАРКСИЗМ СЕГОДНЯ»

Начал выходить новый ежемесячный общественно-политический и теоретический журнал «Марксизм сегодня», орган Коммунистической партии Великобритании. Как сообщает газета «Дейли уоркер», цель журнала — «способствовать развитию теоретической мысли и творческих дискуссий в английском рабочем движении». Первый номер журнала открывается статьей Эмиля Бернса, в которой исследуются причины и характер современного кризиса капитализма. Большой интерес вызывает статья Гарри Поллита, рассказывающая о влиянии, которое оказала Великая Октябрьская социалистическая революция на английское рабочее движение 20-х годов. В основу статьи положены личные воспоминания Г. Поллита, а также подлинные документы и материалы из прессы того времени.

В журнале значительное место отводится вопросам литературы. Большая работа Арнольда Кеттла посвящена анализу творчества Вильяма Блейка.

«НЕ ДОПУСТИТЬ ГИБЕЛИ МУЗЕЯ ШЕЛЛИ И КИТСА»

Литературное приложение к газете «Таймс» обращает внимание на то, что имена великих английских писателей нередко предаются забвению, а музеи, где хранятся материалы о их жизни и деятельности, влачат жалкое существование. В данном случае речь идет о мемориальном музее поэтов Китса и Шелли, который находится в Италии, где поэты провели последние годы жизни. Как сообщает газета, «этот желтый угловой дом на площади Испании в Риме» был куплен и превращен в музей пятьдесят лет тому назад на средства, собранные «Ассоциацией памяти Шелли и Китса». В музее хранятся уникальные автографы поэтов, их рукописи, портреты и библиотека.

Все эти ценные материалы находятся сейчас под угрозой распродажи, так как, по словам газеты, музей не имеет средств. Суммы, полученные от продажи иллюстрированного издания книги «Шелли и Китс в Риме», недостаточны для содержания музея. Составитель этой книги в предисловии ко второму изданию обращается к читателям с просьбой не допустить гибели музея Шелли и Китса, который «пока еще существует».

АРГЕНТИНА

АНТОЛОГИЯ В ГРАМЗАПИСИ

По сообщению журнала «Лира», в Буэнос-Айресе выпущена долгоиграющая пластинка с записью произведений прославленного испанского поэта Гарсии Лорки, расстрелянного фашистами. Произведения Гарсии Лорки читает поэт Рафаэль Альберти. На пластинку записаны стихи Лорки, фрагменты из его драматургических произведений «Мариана Пинеда», «Чудесная башмачница» и «Донья Росита, или язык цветов». «Представляя собой хорошо подготовленную «озвученную антологию»,— пишет «Лира»,— эта пластинка не может не вызвать интерес и в другом отношении. Она знакомит нас еще с одной стороной многогранной литературной и патриотической деятельности Рафаэля Альберти, который выступает как талантливый исполнитель-чтец».

НОВАЯ ПЬЕСА ОСВАЛЬДО ДРАГУНА

На сценах театров Буэнос-Айреса и других городов Аргентины с успехом идут пьесы «Чума» и «Истории, которые надо рассказать» молодого драматурга Освальдо Драгуна. В пьесах реалистически изображены различные стороны жизни современной Аргентины.

Недавно театр «Фрай Мочо» показал премьеру новой пьесы О. Драгуна «Тупак Амару». Сюжет произведения заимствован из истории Аргентины и воспроизводит заключительные этапы борьбы индейцев под предводительством Тупака Амару против испанского вторжения.

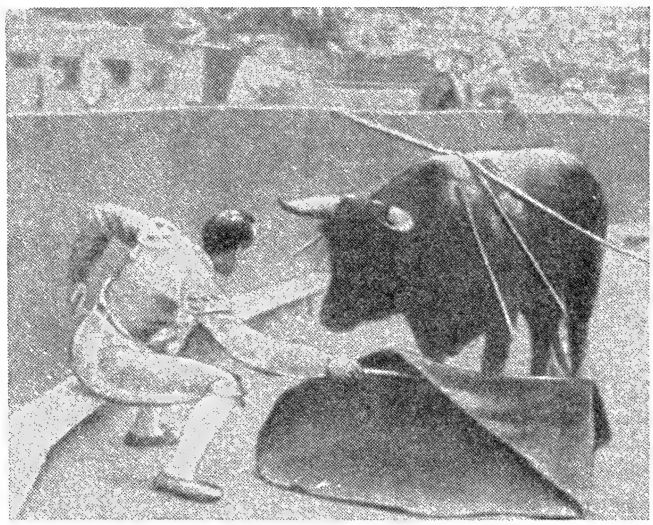
Следуя исторической правде, сообщает газета «Нуэстра палабра», Освальдо Драгун показывает поражение Тупака Амару в этой борьбе. Его отряды разгромлены, сам он попадает в плен и гибнет. Но поведение индейского вождя в сценах суда и казни свидетельствует о высоких моральных качествах этого человека, без колебаний идущего на смерть во имя счастья соотечественников.

Журнал «Лира» отметил «Тупак Амару» как одну из наиболее удачных постановок последнего театрального сезона. Газета «Нуэстра палабра» пишет: «Эта пьеса вызывает интерес... Автор создал символический образ вождя как воплощение благородной идеи, противопоставленной духовному ничтожеству захватчиков».

БОЛГАРИЯ

«ТИХАЯ ПРИСТАНЬ» МАРКО МАРЧЕЕСКОГО

«Марко Марчевский, — пишет «Литературен фронт»,— берет для своих произведений темы, которые привлекают читателей актуальностью». Недавно вышла его новая повесть «Тихая пристань» о жизни болгарских железнодорожников.



Поэт Гарсия Лорка написал поэму «Плач по Игнасио Санчес Мехии» под впечатлением гибели на арене цирка своего друга, известного испанского торреро Мехии. На снимке — Игнасио Санчес Мехия за несколько минут до смерти.
(Журнал «Мундо архентино»).

Сюжет повести не сложен.

Маленькая железнодорожная станция живет своей тихой, однообразной жизнью...

После освобождения начинается новая эпоха в жизни Болгарии. Развертывается борьба за новое, за переустройство трудового процесса и создание нового человека...

Расшевелилась и «тихая пристань» — маленькая станция Борово. Сменен прежний начальник станции Долчинков, ограниченный работник-канцелярист, который не способен примириться с новыми принципами работы. На станцию Борово приезжает другой начальник, бывший политический заключенный Станкулов, привыкший бороться с трудностями, закаленный в борьбе коммунист, который понимает, что нужно не только уметь руководить, но и самому учиться у людей.

Одновременно с этим перемещением возникают конфликты в коллективе маленькой предбалканской станции. И эти столкновения,— пишет газета,— «происходят между живыми людьми, а не между манекенами—исполнителями намерений автора...»

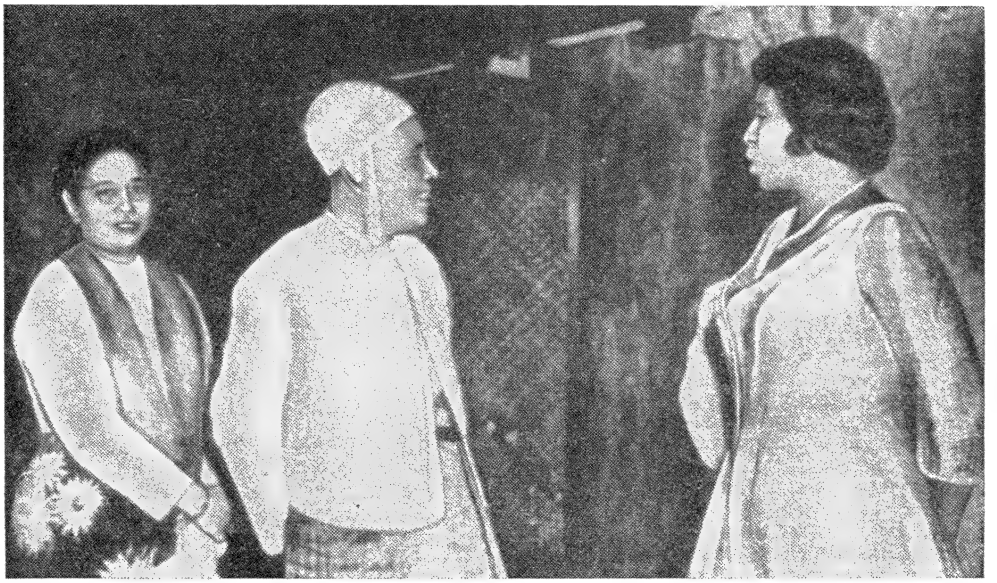
«Основная задача автора — показать процесс формирования нового человека, — отмечает далее «Литературен фронт». — ...Повесть «Тихая пристань» — глубоко волнующая книга о нашей действительности».

ПРЕМЬЕРА ПЬЕСЫ Н. ВАПЦАРОВА «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»

Народный театр молодежи открыл свой сезон недавно найденной пьесой Николы Вапцарова «Девятый вал» (см. «Иностранную литературу» № 12, 1957 г.).

Годы, в которые написан «Девятый вал» (1932—1935), сообщает газета «Литературен фронт», предшествуют периоду, когда Вапцаров проявил себя как крупный поэт. В то время Вапцаров чрезвычайно интересовался драматургией, читал пьесы Горького и Ибсена. Недаром его пьеса свидетельствует об удивительных познаниях молодого драматурга в области сценического искусства...

«Вапцаров показал в пьесе,— пишет газета,— несо-



Премьер-министр Бирмы У Ну с супругой на концерте американской певицы Мариан Андерсон, которая во время своего турне по странам Азии посетила Рангун.
(Журнал «Иллюстрейтид уикли оф Индия»).

стоятельность индивидуалистического мировоззрения, создав с этой целью образ директора фабрики Бориса Павлова. В пьесе показан также отход от идей индивидуализма и активная борьба с ними сына Павлова, Андрея, который понял весь вред интеллигентского анархизма и пошел вместе с рабочим классом путем организованной борьбы».

Газета отмечает «общий боевой тон вапцаровской пьесы»: «с революционной страстью автор рисует один из эпизодов острой классовой борьбы. Превосходна сцена протеста рабочих против фабричных порядков... Ни в одной болгарской пьесе не дан в таком мажорном, горьковском тоне, не раскрыт с такой силой образ борющегося пролетариата».

БРАЗИЛИЯ

К КОНЧИНЕ ЖОЗЕ ЛИНЗ ДУ РЕГУ

В Рио-де-Жанейро скончался писатель Жозе Линз ду Регу, в лице которого Бразилия потеряла одного из лучших прозаиков, сообщает «Диарио де Лисбоа».

Развивая демократические и реалистические традиции бразильской литературы прошлого столетия, Жозе Линз ду Регу создал серию романов, в которых отразил острые социальные проблемы Бразилии первой четверти нашего века. Его романы «Негр Рикарду», «Фабрика», «Банге», «Мертвый огонь», проникнутые симпатией к простому народу, пользуются большой популярностью. Произведения писателя переведены на многие языки, в том числе и на русский («Негр Рикарду»). Жозе Линз ду Регу — лауреат национальных литературных премий; незадолго до смерти он был избран членом Бразильской Академии.

Писатель последовательно выступал за развитие национальной бразильской культуры, за независимость и социальный прогресс своей родины. Написанные им в последний период жизни роман «Кангасейру» и автобиографическая повесть «Мои зеленые годы» вновь свидетельствуют о гуманистической направленности его литературного творчества.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВИЛЛА ЛОБОСА

Недавно состоялось чествование известного композитора Эктора Вилла Лобоса в связи с его 70-летием.

Газета «Импренса популяр» опубликовала приветственную телеграмму, направленную Вилла Лобосу Луисом Карлосом Престесом: «Поздравляю прославленного композитора с 70-летием. Проявления любви и восхищения, имевшие место на торжествах по случаю Вашего дня рождения, служат выражением всеобщего преклонения перед Вашей композиторской и исполнительской деятельностью. Бразильские коммунисты желают Вам долгих лет плодотворной работы. Пусть Ваш талант служит благородному делу развития бразильской музыки».

Национальная Консерватория хорового искусства

объявила конкурс на лучшую монографию о жизни и творчестве Вилла Лобоса. В городах страны были организованы юбилейные концерты и выпущены долгоиграющие пластинки с записью произведений композитора.

ВЕНГРИЯ

РОМАН О МОЦАРТЕ

Писатель Тибор Барабаш опубликовал роман о Вольфганге Амадее Моцарте «Путешествие Моцарта в Париж» (издательство «Кошут»).

Барабаш, известный мастер биографического жанра, сообщает «Непсабадшаг», взял на себя трудную задачу «рассказать о возмужании характера и расцвете музыкального гения Моцарта». В отличие от детских и юношеских лет этот период жизни композитора слабее отражен в художественной литературе.

По словам рецензента, автору удалось достоверно передать обстановку парижских салонов, дворцов германских князей и сонную атмосферу Зальцбурга, придавленного княжеским сапогом. Автор строит сюжет, опираясь на исторические документы. Вместе с тем роман отличается живостью изложения, яркостью образов.

Рецензент полемизирует с автором по поводу финала романа. Он считает, что читателю надо было дать возможность уловить «какие-то первые аккорды будущей трагедии Моцарта, катастрофический разлад между его мечтами о стране, в которой «царит свет и доброта», и мрачной действительностью».

В целом критика положительно оценивает новый роман Тибора Барабаша.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАЯКОВСКОГО

Владимир Маяковский хорошо известен венгерскому читателю. Еще в 30-х годах выдающийся пролетарский поэт Аттила Йожеф перевел на венгерский язык поэму «150 000 000». За годы народной власти неоднократно выпускались однотомники и отдельные произведения поэта.

«В настоящее время,— пишет литературный критик газеты «Непсабадшаг», — венгерская общественность получила, наконец, полное представление о творчестве «поэта и агитатора». Издательство «Европа» выпустило четырехтомник Маяковского, куда вошли все его самые значительные произведения, в том числе пьесы, статьи, ранние произведения, с которыми венгерский читатель знакомится впервые».

Рецензент отмечает высокое качество переводов, над которыми трудилась «целая маленькая армия лучших поэтов и переводчиков». По его словам, венгерским переводчикам удалось средствами родного языка, очень далекого по своему грамматическому строю от русского, передать не только содержание, но и ритм стихов Маяковского.

Изданию предпослана вступительная статья, написанная большим знатоком русской и советской поэзии, переводчиком и литературоведом Ласло Кардошем.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

К 70-ЛЕТИЮ АРНОЛЬДА ЦВЕЙГА

Общественность ГДР широко отметила 70-летие выдающегося немецкого писателя Арнольда Цвейга.

«Немецкий рабочий класс и наша партия,— говорится в приветственном послании, направленном писателю Центральным Комитетом СЕПГ,— благодарит Вас за труд всей Вашей жизни. Вы были одним из тех немецких писателей, которые сорок лет назад первыми приветствовали Великую Октябрьскую социалистическую революцию как зарю человечества. Ваша позиция определила и характер Ваших книг, которые способствовали укреплению дружбы между народами Советского Союза и немецким народом.

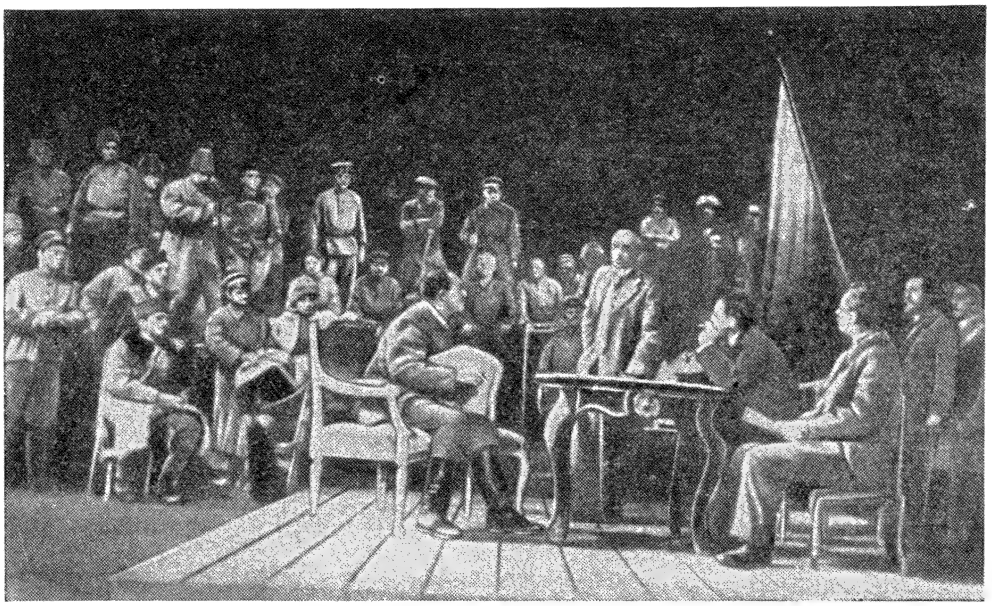
«Дружба советских воинов и немецкого народа» — так немецкий художник Блей назвал барельеф, посвященный Советской Армии.
(Газета «Трибюне»).

С тех пор, как Вы в книге «Спор об унтере Грише» показали истинную сущность первой мировой войны, Ваше имя вошло в список борцов против темных сил милитаризма и империализма...»

К 70-летию Арнольд Цвейг закончил свою новую книгу «Время назрело» из большого цикла романов под общим названием «Большая война белых людей».

Этот роман является, как отмечает еженедельник «Зоннтаг», фундаментом всего цикла: в нем писатель вскрывает причины первой мировой войны, о которой он рассказал в произведении «Спор об унтере Грише».

В настоящее время А. Цвейг приступил к работе над заключительным ро-



Берлинский театр «Фольксбюне» инсценировал книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Авторы инсценировки — Хейнер Мюллер и Хаген Шталь. На снимке — сцена из пьесы «Десять дней, которые потрясли мир».
(Газета «Нейес Дейчланд»).

маном цикла — «Лед трогается». «Можно надеяться, что таким образом скоро будет завершен труд, начатый молодым неопытным писателем сорок лет назад»,— пишет о своей работе А. Цвейг в еженедельнике «Зоннтаг».

Немецкая Академия искусств в Берлине устроила чествование писателя.

На киностудии ДЕФА начались съемки кинофильма «Спор об унтере Грише». Этот фильм направлен против милитаризма и военной бюрократии, сообщает журнал «Фильмшпигель».

«...ЧТОБЫ СМЕНИЛОСЬ ВРЕМЯ»

Так называется — по последней строке стихотворения Иоганнеса Бехера «Возвращение» — новый альманах, издаваемый общегерманским ПЕН-центром, в который входят многие известные писатели ГДР и ФРГ.

Газета «Националь-цейтунг» оценивает выпуск альманаха как значительное событие в литературной жизни Германии. В первом номере сборника представлены проза и стихи многих немецких авторов, в том числе Альберта Швейцера (ФРГ), Стефана Хермлина (ГДР), Ганса Генни Яана (ФРГ), Георга Маурера (ГДР), Макса Циммеринга (ГДР), Карла Людвига Опица (ФРГ).

ПЬЕСА О ВЬЕТНАМЕ

На сцене государственного театра в Шверине поставлена пьеса молодого западногерманского драматурга Томаса Рандена «Свет в джунглях».

Действие пьесы происходит в период французской оккупации Вьетнама. Ее герой — французский солдат Пьер Дюпон, который со временем становится сознательным борцом за свободу вьетнамского народа. Дюпона приговаривают к смерти «за измену».

«Политически и психологически интересный сюжет,— отмечает газета «Националь-цейтунг», — приобретает еще бо́льшую остроту, если принять во внимание одно событие, происшедшее в жизни Пьера Дюпона незадолго до отправки во Вьетнам. Вследствие его неосторожности произошла автомобильная катастрофа, стоившая жизни одному из пассажиров. Несмотря на то, что Дюпон ожидал наказания и даже настаивал на нем, он, солдат, остался безнаказанным, так как войсковая единица должна отправляться на фронт «полностью укомплектованной».

«С одной стороны — оправдание, хотя он был явно повинен в смерти человека, с другой—смертный приговор из-за того, что он не желал больше убивать. Вот проблема,— указывает «Националь - цейтунг», — в которой хотел разобраться Пьер Дюпон. Томас Ранден отобразил это в яркой и доходчивой пьесе».

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФРАНСА МАЗЕРЕЕЛЯ

В Берлине была устроена выставка произведений современного бельгийского

художника Франса Мазереля, подготовленная Немецкой Академией искусств. «Это самая большая выставка работ Мазереля, которая когда-либо организовывалась в Германии»,— отмечает газета «Нейес Дейчланд».

Франс Мазереель посетил в этой связи Берлин и обратился с приветствием к трудящимся ГДР, опубликованным в газете «Нейес Дейчланд»: «Прием, который мне здесь оказан, произвел на меня сильное впечатление. Покидая Берлин, я испытываю желание выразить свою благодарность и послать сердечный привет молодежи. Этот привет адресован не только молодежи ГДР, но и молодежи всего мира — в надежде, что она сделает все необходимое, чтобы обеспечить человечеству мир и счастье».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

НОВЫЙ РОМАН ГЕРТА ЛЕДИГА

В издательстве «Курт Деш-ферлаг» в Мюнхене вышел новый роман писателя Герта Ледига «Кулачное право».

Автор известных романов «Реактивные минометы» и «Возмездие» написал книгу, которая, как сообщает еженедельник «Дейче вохе», продолжает линию двух предыдущих произведений и изображает ужасы войны, а также будни послевоенного Мюнхена, где все привычные понятия морали уступают место «кулачному праву».

Западногерманский журнал «Бёрзенблатт» признает, что роман «Кулачное право» — «реалистическое произведение, объективный документ трудных послевоенных лет». В то же время роман Г. Ледига характеризуется журналом как «шокирующая книга». О том, кого же она шокирует, «Бёрзенблатт» предусмотрительно не упоминает...

АНТИМИЛИТАРИСТСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

В Вюрцбурге состоялась встреча представителей западногерманской интеллигенции, объединенных в обществе «Френкишер крейз» и выступающих против милитаризации Западной Германии. От имени собравшихся было направлено обращение в боннский бундестаг с призывом отказаться от вооружения бундесвера атомным оружием и прекратить концентрацию атомного оружия на территории ФРГ.

Анализируя ситуацию, сложившуюся после выборов в бундестаг, состоявшихся в сентябре прошлого года, деятели культуры отмечают: «В результате продолжения прежней внешней и военной политики нам так же, как и ранее — а может быть, еще более, — препятствуют в выполнении стоящих перед нами задач развития культуры...

...Поэтому теперь, как и прежде, «Френкишер крейз» будет прилагать все усилия для того, чтобы изменилась эта политика, таящая в себе угрозу существованию народов».

В числе первых из семисот представителей западногерманской интеллигенции, подписавших обращение, сообщает газета «Националь-цейтунг», свои подписи под ним поставили писатели Леонгард Франк, Вольфганг Кёппен, Левин Шюкинг, издатель Эрнст Ровольт, режиссеры Гейнц Гильперт, Эрих Энгель, композитор Вернер Эгк.

КРИЗИС ЗАПАДНОГЕРМАНСКОГО ТЕАТРА

За последнее время на страницах западногерманской печати все чаще появляются сообщения о кризисе, который сейчас переживает драматический театр ФРГ. Журнал «Дас шёнсте» пишет, например, что «немецкий театр находится перед катастрофой». Многие видные режиссеры порывают с театральной деятельностью. Как сообщает «Дас шёнсте», профессор Оскар Фриц Шу, недавний руководитель западноберлинского «Театр ам Курфюрстендамм», покинул этот пост, так как «потерял надежду справиться с целым рядом трудностей». Профессор Шу заявил, в частности, что он имел возможность поставить только некоторые из тех пьес, которые он хотел бы увидеть на сцене. Он признал также, что большую роль в его отказе от руководства театром в Западном Берлине сыграли финансовые затруднения, переживаемые ныне многими западногерманскими театрами.

Представители западногерманского театрального мира не скрывают, что кризис театра ФРГ вызван также бюрократизмом и косностью, которые характерны для руководства театрами в Западной Германии. Так, например, режиссер гамбургского драматического театра Густав Грюндгенс пишет в журнале «Дас шёнсте»: «Провинциальные и городские власти должны задуматься над тем, является ли правильным сохранение тех методов управления театром, какими славились времена кайзера Вильгельма, и не требуют ли эти методы улучшения и упрощения!»...

СОЗДАНИЕ КИНОФИРМЫ «ФРЕЙЕ ФИЛЬМПРОДУКЦЬОН»

В Гамбурге, наряду с возрождающимися киноконцернами «УФА» и «Бавария», недавно образовалось независимое кинообщество «Фрейе фильмпродукцьон», в которое входят три кинорежиссера: Гаральд Браун, Хельмут Койтнер и Вольфганг Штаудте.

Говоря о значении этого события в мире западногерманского кино, журнал «Дейче фильмкунст» указывает, что боннские правящие круги «впервые наголкнулись на открытое сопротивление части творческой интеллигенции планам вовлечения киноискусства — по методу Гугенберга и Геббельса — в пропагандистскую кампанию за усиление политических пре-

следований и подготовку к войне».

Западногерманская пресса сравнивает основание «кинофирмы трех» с событием, происшедшим в 20-е годы в Голливуде, когда Чарли Чаплин, Лилиан Гиш, Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс создали независимый творческий коллектив.

Первой общей работой Брауна, Койтнера и Штаудте, сообщает газета «Националь-цейтунг», будет фильм «Слепая богиня» по пьесе немецкого писателя-антифашиста Эрнста Толлера, умершего в 1939 году в эмиграции.

ДАНИЯ

КНИГИ ОБ ИСКУССТВЕ

В издательстве «Гюльдендаль» вышло два тома из серии «Искусство Дании». Первая книга посвящена современной датской графике (1940—1956 гг.). В подробных очерках рассказывается о творчестве таких известных графиков, как Аксель Иоргенсен, Аксель Сальто, Поул Кристенсен, Яне Муус, Дан Стеруп-Хансен, Палле Нильсен. Книга иллюстрирована рисунками пятидесяти художников.

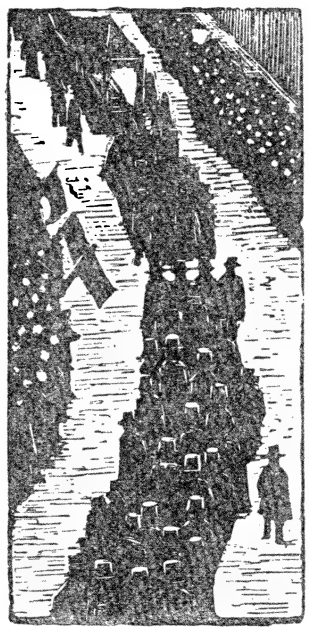
Второй том посвящен одному из крупнейших датских живописцев — Вильгельму Хаммершё.

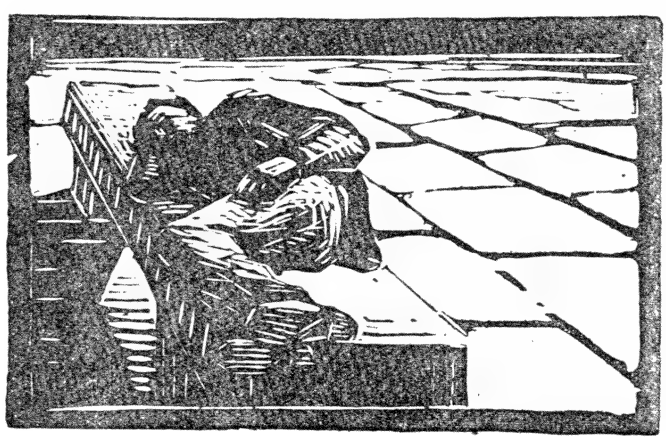
В книге, как сообщает журнал «Кунст», пятьдесят репродукций лучших произведений Хаммершё.

НОВЫЙ БАЛЕТ «ВИДЕНИЕ»

Недавно в Копенгагене поставлен новый балет «Видение» по сказке Ханса Кристиана Андерсена «История одной матери». Музыка написана английским композитором Бенджаменом Бриттеном. По мнению газеты «Ланд ог фольк», в балете имеются интересные сцены и танцы. Особенно запоминается танец, изображающий последнюю борьбу Матери со Смертью, в котором балерина Мона Вангсо создает «чарующий образ андерсеновской Матери».

Однако газета отмечает, что балет в целом оставляет впечатление разностильного и незаконченного произведения, «в котором сталкиваются модернистская символика и традиционная балетная пантомима».





Рисунки датских графиков. Яне Муус — иллюстрация к поэме Полудана-Мюллера «Адам-человек». Гуннер Хосси — «Безработный».

(*Журнал «Кунст»*).

ЕГИПЕТ

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ ТАУФИКА АЛЬ-ХАКИМА

Одной из проблем, волнующих сейчас арабских литераторов, является проблема языка драматургических произведений. Известно, что разговорные диалекты, на которых говорят в арабских странах, сильно отличаются от арабского литературного письменного языка. Многие писатели и драматурги арабских стран считают, что в произведениях, предназначенных для постановки на сцене, следует применять разговорные диалекты, ибо диалог на литературном языке в устах простых людей — героев пьес — звучит неестественно. Однако другие справедливо возражают против употребления диалекта на сцене, так как пьеса, написанная, например, на иракском диалекте, не будет понятна египетским зрителям.

По сообщению журнала «Ар-Рисаля аль-Гедида», известный египетский писатель и драматург Тауфик аль-Хаким в своей новой пьесе «Сделка» предпринял смелую попытку разрешить эту проблему. Пьеса «Сделка» написана им на так называемом облегченном литературном языке, который несколько приближается к разговорным диалектам, оставаясь в то же время литературным языком.

Это делает язык пьесы понятным массовому зрителю в различных арабских странах, избавляя, однако, драматургическое произведение от сложных оборотов, присущих пьесам, написанным на чистом литературном языке. Прогрессивная арабская критика высоко оценивает смелый опыт Тауфика аль-Хакима, называя его пьесу «Сделка» шагом вперед в разрешении сложной языковой проблемы.

ФЕСТИВАЛЬ КИТАЙСКИХ ФИЛЬМОВ

Журнал «Ар-Рисаля аль-Гедида» сообщает о проведенном в Каире фестивале китайских кинофильмов. Одновременно с этим в Китае был организован фестиваль египетских фильмов. «Эти фестивали, — пишет журнал,— результат успешного культурного обмена между Египтом и другими странами».

ИНДИЯ

ВСЕИНДИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

В конце декабря прошлого года в Калькутте состоялась Всеиндийская конференция писателей, на которой присутствовали представители литературных кругов всех штатов Индии. В программу конференции были включены дискуссии на следующие темы: «Писатели и проблема языка», «Государство и литература», «Актуальные проблемы индийской поэзии и прозы», «Модернизм и индийская литература», «Встречи Востока и Запада в литературе».

Как сообщает газета «Амрита базар патрика», перед писателями с речью выступил премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИНДИЙСКИХ ШТАТОВ

В газете «Свадхината» помещена статья «Коммунистическая партия в борьбе за культурный прогресс в Керале».

Как известно, в 1957 г. компартия штата Кералы одержала победу на выборах в парламент штата и сформировала правительство.

«Свадхината» рассказывает о расцвете местной культуры и о молодых талантливых писателях Кералы, вышедших из рабочей среды.

Газета отмечает, что в последнее время большую известность в штате приобрела пьеса рабочего из города Ниланкура И. К. Айяму «Но ты постарайся быть честным человеком». Это глубоко реалистическое произведение, в котором отражена борьба крестьян за социальные и культурные преобразования. О пьесе положительно отзывается также и газета «Матрибхуми» («Родина»): «Написанная на разговорном языке крестьян пьеса «Но ты постарайся быть честным человеком» удивительно жизненна и правдива. Ее автор, простой рабочий, сам участвует в пьесе в роли Охаби Моулобхи... Те, кому посчастливится увидеть эту постановку, познакомятся с жизнью бедняков-крестьян, познают красоту их души».

Другой известный молодой писатель Кералы — К. Т. Мохаммед — по профессии почтальон. Он автор популярной пьесы из жизни крестьян-мусульман Малабара «Эта земля».

«Свадхината» указывает, что большая работа, проделанная прогрессивными организациями штата — профсоюзами и крестьянскими организациями, — содействовала культурному прогрессу народа Кералы. «Вечерние школы, читальни, библиотеки, лекции на политические, экономические и социальные темы помогают распространению знаний среди народа. Увеличились тиражи книг, так как книги стали быстрее распродаваться».

«Если к концу 1930 года,— сообщает газета,— на сюжеты из народной жизни были написаны только две пьесы (одна о борьбе крестьян, другая о борьбе рабочих), то неизмеримо больше книг на эту тему было создано за годы борьбы с фашизмом, в период послевоенного революционного движения и после завоевания Индией независимости.

Вклад компартии Кералы в развитие культуры — это тысячи изданных стихов, песен, рассказов и брошюр».

* * *

В штате Бенгалия издательство «Ориент бук-компани» выпустило первый том литературного труда Калидаса Рой — «История бенгальской литературы». В этот том входят статьи о творчестве крупнейших представителей литературы Бенгалии, начиная от Ишора Чондро Гупты и до Банкима Чондро Чаттопадхайя. Как сообщает газета «Амрита базар патрика», автор знакомит читателя с жизнью и литературной деятельностью таких писателей и поэтов, как Видьяшогор, Бхудев Мукерджи, и многих других, анализирует их произведения, исследует литературный стиль.

ИСПАНИЯ

ФИЛЬМ БАРДЕМА «ЖНЕЦЫ»

Испанский кинорежиссер Хуан Антонио Бардем, постановщик фильмов «Смерть велосипедиста» и «Главная улица», создал цветную картину «Жнецы», рассказывающую о жизни современной испанской деревни.

Итальянский журнал «Темпо» отмечает реализм фильма «Жнецы», «не имеющий ничего общего с натурализмом, которым увлекаются некоторые испанские и итальянские режиссеры».

Действие фильма развертывается в Кастилии, куда на время сбора урожая приходят батраки из других районов Испании. Они организуются в небольшие группы — «куадрильи» — и кочуют из одного селения в другое в поисках работы.

В одной из таких «куадрилий» случайно встречаются два крестьянина, Хуан и Луис, между которыми существует смертельная вражда. Хуан считает, что из-за Луиса, воспользовавшегося некогда его проступком и донесшего на него жандармам, он попал в тюрьму. Хуан и его сестра Андреа поклялись отомстить человеку, который опозорил их род. Однако, работая вместе, Луис и Андреа полюбили друг друга, и девушка не знает, чью сторону ей теперь принять. В конце концов ей удается примирить противников. «Земля обширна,— говорит она брату.— Нам всем хватит места».

Главные роли в картине исполняют испанские киноактеры Кармен Севилья и Хорхе Мистраль (Андреа и Хуан) и итальянский актер Раф Валлоне (Луис).

ВЫСТАВКА ПАБЛО ПИКАССО В БАРСЕЛОНЕ

Недавно в Барселоне закрылась большая выставка картин Пабло Пикассо.

Официальные органы долгое время отказывались разрешить открытие выставки, так как Пабло Пикассо — испанец по происхождению — убежденный противник нынешнего режима в Испании, о чем он не раз заявлял в печати.

Под давлением широких кругов общественности власти в начале прошлого года разрешили, наконец, художнику экспонировать картины. Пикассо в числе других своих произведений предложил выставить также известную картину «Герника», на которой изображены зверства фашистской авиации во время гражданской войны в Испании. Открытие выставки было вновь отложено...

В конце прошлого года, в результате настойчивых требований испанской общественности, выставка картин Пикассо открылась. Как сообщило Национальное радио Испании, она пользовалась огромным успехом. Перед входом в залы выставки выстраивались большие очереди, в которых можно было встретить представителей самых различных слоев общества. Много полотен Пикассо продано.

ИТАЛИЯ

«БЕАТРИЧЕ ЧЕНЧИ» НА СЦЕНЕ

В курортном городке Сенигаллия состоялась премьера драмы Альберто Моравиа «Беатриче Ченчи», вызвавшая большой интерес у итальянской литературной и театральной общественности. «Беатриче Ченчи» — первое произведение Моравиа, написанное специально для театра (см. «Иностранную литературу» № 5, 1956 г.). Две другие пьесы писателя — «Равнодушные» и «Маскарад» — представляют собою авторские инсценировки одноименных прозаических произведений. Спектакль поставлен известным режиссером Пандольфи. Роль Беатриче исполняет актриса Габриелла Андреини.

В интервью, которое Моравиа дал в связи с премьерой его пьесы еженедельнику «Контемпоранео», писатель сказал, что он всегда испытывал большой интерес к театру. Моравиа отметил также, что «Беатриче Ченчи» — это драма, действие которой развертывается в далеком прошлом, но психология ее героев понятна, их поступки моти-

Сцена из драмы А. Моравиа «Беатриче Ченчи». Беатриче — актриса Андреини, Олимпио — Кайати. *(Еженедельник «Контемпоранео»).*

вированы реальными условиями окружающей жизни. «В драме, в центре которой стоит история семейства Ченчи,— сказал писатель,— окружающая действительность отвратительна, так же как она иной раз может быть отвратительна и теперь, в наши дни...».

ПОПУЛЯРНАЯ АНТОЛОГИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНТОНИО ГРАМШИ

Вышедшая в Риме «Популярная антология сочинений и писем Антонио Грамши», подготовленная к печати Карло Салинари и Марио Спинеллой, предназначена для широких читательских слоев. Составители антологии поставили перед собой задачу познакомить с философией и творчеством Грамши людей, которые не читали его книг. Для этого К. Салинари и М. Спинелла снабдили отобранные ими сочинения Грамши подробными комментариями и разъяснениями. В антологию вошли теоретические работы Грамши-философа, его статьи и письма, посвященные проблемам революции, вопросам классовой борьбы и создания коммунистической партии в Италии. Большое место в антологии занимают также многочисленные высказывания Грамши по вопросам культуры.

Выход в свет «Популярной антологии сочинений и писем Антонио Грамши» является, как отмечает еженедельник «Контемпранео», значительным событием в культурной жизни страны.

ПЕРЕИЗДАНИЕ «КАРДУЧЧИАНЫ»

В ознаменование 50-летия со дня смерти поэта Джозуэ Кардуччи издательство Сансони предприняло переиздание «Школьной библиотеки итальянских классиков», которая была подготовлена в свое время по инициативе Дж. Кардуччи и стала известной под названием «Кардуччиана».

Переиздание «Кардуччианы», пишет «Фиера леттерариа», является лучшим памятником поэту-гуманисту, филологу и критику Джозуэ Кардуччи, который при жизни сделал очень много для популяризации в народе лучших произведений итальянских классиков. Первое издание «Кардуччианы» относится к 1889 году. В настоящее время каждый из томов серии снабжен предисловием, написанным на основе новейших научных трудов литературоведов, изучающих историю итальянской литературы.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ-КАТОЛИКОВ

Недавно в окрестностях Рима состоялась конференция итальянских писателей-католиков, организованная журналом «Раггуальо». Первый вопрос, стоявший на повестке конференции, был на следующую «литературную» тему: «Тело. Время. Дух».

На этой конференции католическим писателям были даны установки, которых они должны придерживаться в своей литературной деятельности. В основном, как сообщает «Фиера летерариа», эти установки сводятся к требованию создавать такие произведения, в которых бы отчетливо выражалась идеология Ватикана.

Конференция писателей-католиков — лишь одно из звеньев в общей цепи мероприятий по активизации католической пропаганды, проводящихся сейчас в Италии католической реакцией. В Ассизи, например, объявлен конкурс на лучшую пьесу, написанную на тему: «Люди нуждаются в Христе». Пий XII, выступая на втором мировом конгрессе «Апостолато деи лаичи» (так называются лица, не имеющие духовного звания, но являющиеся активными проводниками католической политики), подчеркнул, что необходимо развивать католическую культуру, подчинять влиянию клерикалов издательства, проникать в международные организации типа ЮНЕСКО. Естественно поэтому, что специальная конференция писателей-католиков имела целью активизировать их деятельность и напомнить о том, что в настоящее время, когда клерикалы мобилизуют все силы для идеологической и политической борьбы в связи с предстоящими всеобщими выборами в парламент, литераторы должны отречься от «академической бесстрастности».

КТО ЧИТАЕТ КНИГИ В ИТАЛИИ

Об этом говорится в брошюре Дж. Викари «Издательское дело и общественное мнение», недавно вышедшей в Риме и содержащей сведения о распространении книжной продукции в Италии.

Автор сообщает, что из-за почти полного отсутствия сельских библиотек и плохой организации книжной торговли в Италии существуют целые районы, жители которых, в основном крестьяне, лишены возможности читать книги. В качестве примера он приводит такие районы, как провинция Пезаро, район Монтефельтро, провинция Равенна. «Что касается Южной Италии,— пишет Викари,— то о ней лучше не говорить. Там вдоль проселочных дорог и на сотни километров вокруг не встретишь листка печатной бумаги». Автор отмечает, что книжные тиражи в стране очень низки — в среднем три тысячи экземпляров.

Викари указывает, что 89 процентов читателей — богатые и материально обеспеченные люди и только 11 процентов — бедняки.

Несмотря на приведенные им же самим яркие факты и цифровые данные, автор не пытается вскрыть глубокие социальные и идеологические причины трудностей, переживаемых Италией в деле издания и распространения книг, ограничиваясь указанием второстепенных причин. Так, например, он сетует, что в

Италии в настоящее время издатели не координируют и не объединяют своих усилий по пропаганде и распространению книг, что издается все больше книг для узкого круга эстетствующих читателей, тогда как «широкий читатель» оставлен на произвол судьбы и вынужден обращаться лишь к кино и иллюстрированным журналам.

КИТАЙ

«НАМ НУЖНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В журнале «Чайна реконстракте» с большой статьей «Писатель говорит о литературе» выступил драматург и прозаик Лао Шэ, шестидесятилетие которого общественность Китая отмечает в феврале этого года. Писатель остановился на характерных чертах литературной жизни сегодняшнего Китая. «Молодые писатели дают сейчас бо́льшую часть литературной продукции...— говорит Лао Шэ.— Их профессиональное мастерство иногда еще несовершенно, а язык недостаточно точен, но их рассказы и стихи написаны на новые темы, проникнуты свежестью». Герои произведений молодых авторов, отмечает Лао Шэ, простые крестьяне, рабочие и солдаты.

Активнее начали участвовать в литературной жизни и литераторы старшего поколения. Среди них Лао Шэ называет, например, шестидесятитрехлетнего романиста Чжан Хэнь-шуя, автора более ста произведений, который недавно опубликовал свой новый большой роман «Репортеры» — сатирическое произведение о китайской прессе двадцатых годов.

В настоящее время взялись за перо, продолжает Лао Шэ, даже те люди преклонного возраста, которые никогда прежде не писали. Так, например, семидесятилетний Ли Лю-жу издал недавно первый из трех томов своего исторического романа «Перемены за 60 лет», в котором повествуется о сложном жизненном пути сына помещика, ставшего революционером.

Отмечая наиболее популярные сейчас в Китае произведения, Лао Шэ называет, в частности, «Ураган» Чжоу Ли-бо, «В деревне Саньливань» Чжао Шули и пьесу Цао Юя «Ясное небо».

Говоря о выступлениях правых элементов по вопросам политики и культуры, Лао Шэ указывает, что эти «деятели» воспользовались борьбой партии с догматизмом, «чтобы дискредитировать все то, чего добились трудящиеся в период после освобождения страны». «Но усилия правых,—пишет Лао Шэ,— напрасны, так как жизнь свидетельствует против них. Я пишу уже сорок лет и знаю, в каких условиях жили писатели и художники при гоминдане, как преследовали, сажали в тюрьмы и убивали прогрессивных писателей, как трудно было издавать свои произведения, как мизерны были гонорары... Никогда прежде писатели,— продолжает Лао Шэ,— не играли такой большой общественно-политической роли, как теперь. Сорок шесть писателей — ныне депутаты Всекитайского собрания народных представителей... Политика партии всегда была направлена на всестороннее развитие нашей культуры... Мы должны объединиться в общем деле строительства социализма. Нам нужна социалистическая культура, богатая и разнообразная как по форме, так и по содержанию».

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ

Недавно в Пекине закрылась выставка японской жанровой гравюры. На ней были экспонированы работы художников XVII—XIX веков. Выставка, как отмечает китайская печать, свидетельствует о богатом художественном наследстве, ярком и самобытном национальном искусстве японского народа. Внимание посетителей, сообщает «Жэньминьжибао», привлекали гравюры на темы популярных пьес и народных сказаний, пейзажи и натюрморты.

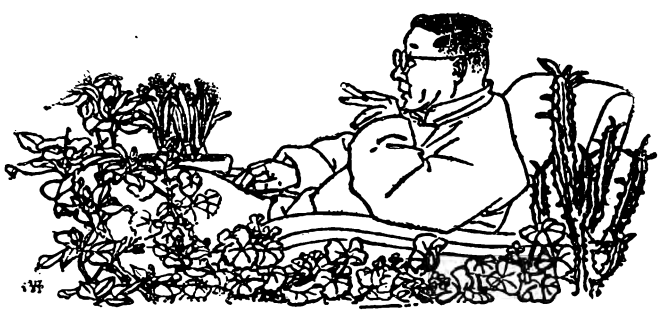
Издательство «Жэньминь мэйшу чубаньшэ» выпускает альбом репродукций японских гравюр, представленных на выставке.

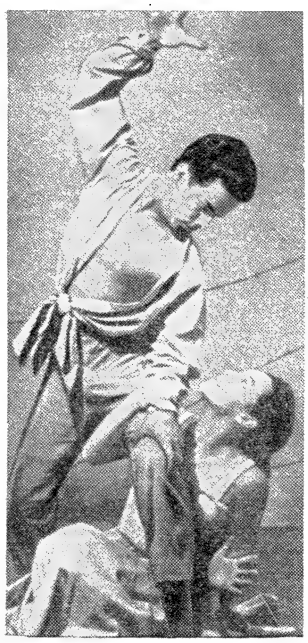
КУБА

ЦЕНЗУРА ДИКТАТОРА БАТИСТЫ

Печать, радио, кино и телевидение подвергаются на Кубе строжайшей цензуре. В изданном недавно правительством Батисты новом законе о цензуре специально указывается, что «выступающие по радио не должны произносить двусмысленных фраз». Запрещается какая бы то ни было критика по адресу «любых представителей властей нации». Ни один фильм не может быть показан по телевидению без особого разрешения правительства.

Писатель Лао Шэ. Дружеский шарж художника Е Цянь-юя. *(Газета «Дружба»).*





Мексиканский национальный балет. Танцы в исполнении артистов балетной труппы под руководством Елены Норриеги.
(Журнал «Флакэра»).

ПОЛЬША

«ГОД ВЫСПЯНСКОГО»

В Польше торжественно отмечено 50-летие со дня смерти Станислава Выспянского, одного из крупнейших деятелей национальной культуры. Период с ноября 1957 г. по ноябрь 1958 г. объявлен «Годом Выспянского».

Станислав Выспянский был талантливым поэтом, драматургом, художником. Его перу принадлежат пьесы: «Свадьба», «Освобождение», «Клятва», «Варшавянка», «Ноябрьская ночь», «Болеслав Смелый» и другие.

«Выспянский,— пишет газета «Жице Варшавы»,— был писателем, близко принимавшим к сердцу интересы народа. Его большие произведения основаны на глубоком знании современной ему польской действительности».

В краковском театре им. Словацкого, где при жизни Выспянского ставились его пьесы, недавно состоялась премьера «Освобождения». Летом 1958 года в Польше будет проходить фестиваль пьес Станислава Выспянского. Многие театры страны подготовили постановки произведений знаменитого драматурга.

Летом текущего года в Кракове состоятся съезд театроведов и общепольская научная конференция Института литературных исследований, посвященные «Году Выспянского».

Краковское литературное издательство приступило к выпуску юбилейного издания произведений Выспянского в 16 томах.

ШИРОКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОВЕТСКИМ ИСКУССТВОМ

В Варшаве и других городах проводится серия мероприятий в целях популяризации произведений советской литературы и искусства. Это широкое ознакомление польских трудящихся с советской литературой и искусством началось в ноябре прошлого года в связи с 40-летием Великого Октября.

В 21 театре страны идут пьесы русских и советских авторов. В Лодзи возобновлена постановка «Бани» Маяковского, в Зелена-гуре поставлена «Северная повесть» К. Паустовского в сценической обработке Леона Кручковского. Большим

Кадр из новой польской кинокомедии «Шляпа господина Анатоля». В роли господина Анатоля — Тадеуш Фисевский.
(Журнал «Фильм»).

успехом пользуется, по сообщению польской прессы, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, передававшаяся варшавским телевидением и идущая в театре имени Людвика Сольского в Тарнове. Возобновлена по-

Станислав Выспянский. «Материнство».
(Еженедельник «Жице литерацке»).

становка оперы «Евгений Онегин».

В дни празднования 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 769 кинотеатрах Польши проходил юбилейный фестиваль советских кинофильмов. Сотни тысяч польских зрителей просмотрели многие советские кинофильмы, в том числе «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», «Высота», «Пролог», «Сорок первый», «Карнавальная ночь».

Журнал «Фильм» поместил сообщение о том, что Центральный архив кино в Варшаве осуществляет рассчитанную на несколько месяцев демонстрацию советских кинофильмов первых послереволюционных лет: «Барышня и хулиган» с участием Владимира Маяковского, «Шахматная горячка», немой вариант фильма «Броненосец «Потемкин» и другие.

В Варшаве, в Клубе международной прессы и книги, открыта выставка «40 лет советского кино».

Польская пресса отмечает большой интерес, проявляемый польской общественностью к достижениям советского искусства.

РУМЫНИЯ

2000-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОВИДИЯ

В Румынии широко отмечается 2000-летие со дня рождения Овидия.

Трагическая судьба великого римского поэта, связанная с краем, входящим ныне в РНР, с землей, о которой он оставил в своих произведениях множество ценных сведений,— все это издавна вызывало в Румынии большой интерес к Овидию.

Еще в XIX в. известный румынский поэт, один из основателей румынского театра, Василе Александри посвятил Овидию свою последнюю трагедию. Сейчас в связи с этой отмечающейся в стране памятной датой трагедия В. Александри «Овидий» вновь поставлена в Бухаресте Национальным театром им. Караджале.

Совет Министров Румынской Народной Республики образовал Национальный комитет для празднования 2000-летия со дня рождения Овидия. В комитет вошли выдающиеся деятели литературы и искусства Румынии, члены Академии РНР: Тудор Аргези, Георге Кэлинеску, Михай Бенюк и другие.

Готовится к печати румынский перевод «Посланий с Понта» Овидия. Объявлен литературный конкурс на лучшее произведение (очерк, стихотворение, повесть и т. п.), связанное с именем Овидия, а также конкурс на лучший перевод отрывков из его произведений на румынский язык.

Литературные журналы и еженедельники, в том числе «Газета литерарэ», поместили статьи об Овидии, новые переводы его произведений, а также произведения современных румынских писателей, посвященные великому римскому поэту.

В Бухарестском Доме писателей открыта выставка «Публий Овидий Назон — 2000 лет со дня рождения», организованная библиотекой Академии РНР, где собраны редкие издания произведений Овидия: венецианское издание «Метаморфоз» 1493 года, книга «Избранное», опубликованная в 1553 году, «Наука любви» — в 1556 году, и другие.

НОВАЯ КНИГА ЕУСЕБИУ КАМИЛАРА

Вышедшая в Румынии книга Еусебиу Камилара, известного советским читателям своим романом «Мгла», называется «Книга прозвищ». В ней повествуется о жизни румынской деревни до освобождения страны. Речь идет о недавнем прошлом Румынии, но, несмотря на это, книга словно уводит в мир древней старины, отмечает еженедельник «Контемпоранул». Главным героем книги и рассказчиком является ребенок.

«Книга прозвищ»—воспоминания писателя о тяжелом детстве, и это придает повествованию особый драматизм, подчеркивает «Контемпоранул».

«ПРОСТЫЕ СТИХИ» ЗАХАРИИ СТАНКУ

Захария Станку опубликовал недавно стихотворный сборник, называющийся «Простые стихи». Журнал «Скрисул бэнэцян» отмечает, что в поэзии Станку преобладает тема любви и верности. В рецензии обращается внимание на оригинальную форму ряда стихов поэта, состоящих из двух строф.

Сборник «Простые стихи» включает также переводы стихов С. Есенина. Журнал «Скрисул бэнэцян» отмечает, что стихотворения Есенина в переводе З. Станку сохраняют «выразительность, яркую образность, ясность мысли и искренность чувств».

США

«БОЛЬШОЙ ТОВАРНЫЙ ВАГОН» А. МАУНДА

В США вышла книга «Большой товарный вагон» молодого писателя Альфреда Маунда, который родился и вырос на Юге страны. Книга Маунда вновь разоблачает созданный американской буржуазной литературой миф о так называемом «патриархальном» Юге, где негры якобы находятся под благодатной опекой белых американцев.

В отзыве на эту книгу рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» вынужден признать, что автор показал «мир ужасной нищеты, жестокости, корысти и расовой дискриминации».

Книга состоит из отдельных новелл. Каждая из них — история жизни одного из людей, случайно оказавшихся вместе в товарном вагоне поезда, который идет на Север. Все эти люди, ни в чем не виновные, вынуждены бежать из родных мест — одни, спасаясь от преследования властей, другие — от расправы расистов.

Чтобы скоротать в пути время, они рассказывают друг другу печальные повести о своей судьбе. Всего в книге «Большой товарный вагон» семь новелл, раскрывающих семь различных характеров — по числу едущих в вагоне шести мужчин и одной женщины. В рецензии подчеркивается «наблюдательность и смелость» молодого писателя.

«ДЕТЕКТИВНАЯ ХАЛТУРА»

В США вышла книга американского писателя Раймонда Чэндлера «Несложное искусство убивать», в которой автор анализирует состояние американской и английской детективной литературы.

Являясь одним из литераторов, посвятивших себя «роману нераскрытой тайны» (так именуют в США и Англии детективные произведения), Раймонд Чэндлер с профессиональным знанием дела, как сообщает «Нью-Йорк таймс бук ревью», дает оценку творениям своих американских и английских коллег.

Он пишет, что за несколько прошедших лет не встретил в этой области ни одной сколько-нибудь приличной книги — все они являются откровенной халтурой.

«ГЕК ФИНН» ПОД ЗАПРЕТОМ

Когда в 1884 г. книга «Приключения Гекльбери Финна» впервые увидела свет, многие газеты обвинили ее в «подрыве нравственных устоев молодежи» и в «аморальности». Около полувека назад библиотечная комиссия города Конкорда на этом основании ограничила распространение всемирно известной книги Марка Твена. С тех пор, писала «Дейли уоркер», много воды утекло в Миссисипи, на берегах которой жили герои повести Марка Твена, но положение не изменилось. Недавно управление по делам образования Нью-Йорка исключило эту книгу из списка литературы, рекомендованной для изучения в начальных и средних школах города. Чем объяснить этот шаг? Может быть, опять проявлена «забота о нравственности» американских детей? Все дело в том, что «с точки зрения норм, установленных сенатором Маккарти, Марк Твен был одной из самых неблагонадежных личностей в нашей истории», писал критик Дэвид Платт в газете «Дейли уоркер». Тайные и явные пособники позорных событий в Литл-Роке не могут простить Марку Твену того горячего участия, которое он принимал в судьбе угнетенного негритянского народа. Следует отметить, что из телепостановки «Приключения Гекльбери Финна» исключен один из основных героев повести — негр Джим. Замечательной повести Марка Твена, писал Д. Платт, «принадлежит честь быть одной из самых гонимых и преследуемых книг» в истории американской литературы.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН В НЬЮ-ЙОРКЕ

В период театрального сезона 1957—1958 гг. в Нью-Йорке намечены к постановке, по сообщению газеты «Нью-Йорк таймс», около пятидесяти драматических произведений, в том числе несколько новых. Уже состоялся ряд премьер. Труппа «Бэннер продакшенс» поставила в театре «Карнеги плейхаус» новую пьесу американского драматурга Арнольда Перла «Тевье и его дочери», созданную по мотивам рассказов Шолома Алейхема. В театре «Феникс» поставлена пьеса Карела Чапека под названием «Секрет Макропулоса», которая в подлиннике называется «Средство Макропулоса». Новую комедию Уильяма Сарояна «Пещерные люди» показывает театр «Бижу». В этом сезоне осуществлены новые постановки двух пьес Шекспира: «Макбет» и «Юлий Цезарь». Во время «Шекспировского фестиваля» 1957 г., который проводился в штате Коннектикут, были показаны также пьесы Шекспира «Венецианский купец», «Много шума из ничего» и «Отелло».

Нью-йоркский оперный театр «Метрополитен опера» открыл сезон оперой П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Последний раз эта опера шла на сцене театра в 1921 году. Режиссер-постановщик оперы — Питер Брук.

ФИЛИППИНЫ

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХОСЕ РИСАЛЯ

На Филиппинах ведется подготовка к празднованию 100-летней годовщины со дня рождения национального филиппинского героя, выдающегося деятеля национально-освободительного движения против испанских колонизаторов, ученого и писателя Хосе Рисаля, которая будет отмечаться 19 июня 1961 года.

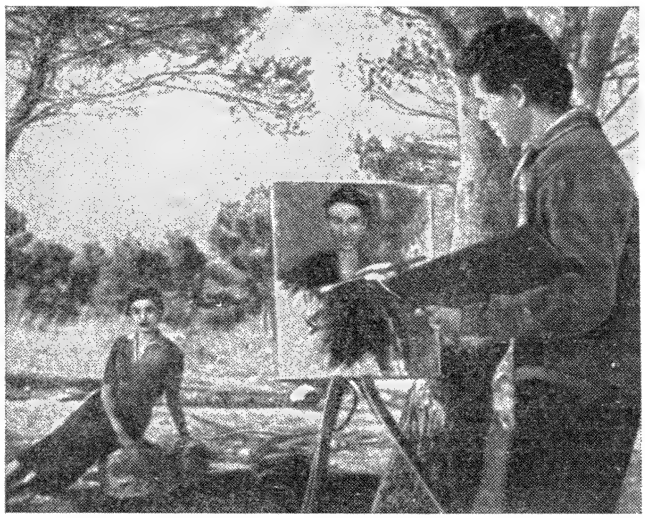
Для организации торжеств создана специальная комиссия во главе с д-ром Э. Альсона. Ведущие ученые, историки и писатели проводят большую работу по сбору материалов о жизни и творчестве Х. Рисаля, а также по переводу и изданию на английском и испанском языках романов Рисаля «Noli me tangere» и «Флибустеризмо», обличающих колониальный режим Испании на Филиппинах.

ФИЛИППИНСКИЕ АФОРИЗМЫ

В журнале «Санди таймс мэгэзин» помещена статья писателя Примитиво С. Милана, призывающего литературоведов обратиться к изучению фольклора филиппинского народа, его самобытных пословиц и поговорок.

Филиппинские народные пословицы широко использовали в своих трудах в форме эпиграмм и афоризмов «великие филиппинцы» — Хосе Рисаль, Мабини и Бонифасио, указывает Милан.

Автор приводит образцы народной мудрости различ-



Анук Эмме и Жерар Филип — исполнители главных ролей во французском кинофильме «Монпарнас 19». Режиссер — Жак Беккер, постановщик фильма «Антуан и Антуанетта». *(Журнал «Синема нуово»).*

ных областей Филиппин, в том числе тагальские, илоканские, висайские, пангасинанские, бикольские пословицы и поговорки.

ФРАНЦИЯ

ЖУРНАЛ «ЭРОП» О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

На обложке журнала изображен рабочий, бьющий молотом по наковальне,— это один из плакатов Маяковского времен «Окон РОСТА». Через всю обложку—надпись: «1917—1957 гг. Советская литература». Так выглядит очередной сдвоенный номер журнала «Эроп» посвященный советской литературе. Он открывается большой статьей лауреата Международной Ленинской премии мира Арагона. В статье дается краткий обзор развития советской литературы за сорок лет. Арагон пишет о возрастающей популярности советских книг среди читателей Запада. Советская литература оказывает глубокое влияние на формирование мировоззрения все более широких слоев читателей. «Нет ни одного иностранного поэта двадцатого века... который пользовался бы у нас такой же славой, как Маяковский, и ставил бы столько вопросов перед молодежью, любящей поэзию». Арагон говорит об отношении французских читателей к советским книгам в разные исторические периоды: «Многое, ранее воспринимавшееся нами как нечто легендарное, стало нашей собственной практикой во время войны с оккупантами, в период подполья и маки. Я перечитал недавно «Чапаева» и, представьте себе, уже не нашел в нем «живописной экзотики»: мы обрели ныне своих партизанских Чапаевых. Книги советских авторов не потеряли своего престижа для нас, но они воспринимаются иначе... Социалистический реализм, — говорится в заключение статьи, — есть результат большого опыта человечества в той области, которую называют творчеством... То, что было мечтой, стало плотью и реальностью».

В журнале напечатаны рассказы и отрывки из произведений Горького, Сейфуллиной, Эренбурга, Фадеева, Шолохова, Вс. Иванова, Павленко, Ауэзова, Антонова, Инбер, Табидзе, а также критические статьи советских и французских авторов. В журнале помещена статья Эльзы Триоле о театре Маяковского.

Журнал иллюстрирован рисунками Альтмана, Кукрыниксов и других. В номере помещены редкие фотографии Маяковского, фотографии Алексея Толстого и других писателей.

«ДИКТАТУРА ТЕАТРАЛЬНОЙ КРИТИКИ»

Недавно в Париже, в помещении театра Сары Бернар, состоялась премьера пьесы «История Васко». Автор пьесы — молодой ливанский писатель Жорж Шеаде. В пьесе, написанной в форме сказки, рассказывается об истории двух простых людей: парикмахера Васко и его возлюбленной, счастье которых разрушено войной. «Пьеса «Васко» — обвинительный приговор войне,— пишет театральный рецензент «Юманите»...—Это волнующий спектакль».

Однако вскоре после премьеры спектакля три крупные парижские газеты — «Орор», «Монд» и «Фигаро» — напечатали рецензии, содержащие резкие нападки на пьесу. Постановщик спектакля, известный режиссер Жан-Луи Барро, выступил в газете «Ар» с ответной статьей, в которой он, в частности, пишет: «Нас осмеливаются обвинять в том, что мы предоставили трибуну антимилитаризму... На нашу труппу клевещут, утверждая, будто она получила на это специальные субсидии». «Критика определенного рода,—заявил далее Барро,— установила в отношении театральных постановок режим диктатуры...» Ряд деятелей театра и литературы поддержали Барро. Писатель Жан Дютур выступил по этому поводу в «Ар»: «Васко» — трагедия... повествующая о судьбе человека, об ужасах и нелепостях войны... Меня более всего возмутило в злобных выкриках по адресу «Васко» обвинение, выдвинутое против Шеаде и состоящее в том, что он решился написать антимилитаристскую пьесу».

Режиссеры Рейбаз, Клод Режи и Серро подтверж-

дают, что театральные критики, вроде рецензента реакционной газеты «Фигаро» Готье, озабочены лишь тем, чтобы угодить вкусам буржуазной публики партера, которая не ищет в театре ничего, кроме развлечения. Между тем, указывают режиссеры, именно от таких критиков нередко зависит успех новых постановок, а следовательно и дальнейшая судьба спектакля и театра.

КНИГА ЛУИ ДАКЕНА «МОЕ РЕМЕСЛО — КИНО»

Известный французский режиссер Луи Дакен, находясь в Румынии, где он снимал кинофильм «Чертополохи Бэрэгана», недавно передал для опубликования журналу «Фильм» рукопись первой главы книги «Мое ремесло — кино», над которой он работает.

В Румынии завершены съемки кинофильма «Чертополохи Бэрэгана». Постановщик фильма — французский режиссер Луи Дакен. Мы помещаем три кадра из этого фильма. На верхнем снимке — Нуци Кирля, юный исполнитель одной из главных ролей фильма. В середине — актриса Клоди Бертола в роли Дудуки. На нижнем снимке — актер Томазоглу в роли Марина.
(Журнал «Ла Румани дожурдюи»).

По словам Дакена, он принялся писать эту книгу потому, что «большинство трудов по кинематографии создано непрофессионалами», и поэтому многие книги «не являются правдивым рассказом о кино».

«Кино,— пишет Дакен,— самое смелое и самое опасное искусство. Для нас, киноработников, каждый фильм — это исследование, новые открытия. Каждый фильм — приключение, в ходе которого рискуешь своим именем и репутацией даже тогда, когда они, казалось бы, прочно утвердились».

Кинодеятель не должен быть дельцом, подчеркивает автор, но вместе с тем необходимо «тонкое чувство равновесия и чрезвычайно хорошее самообладание, чтобы не теряться в этой чудовищной паутине, именуемой созданием фильма».

Дакен пишет о тяжелых условиях труда киноработников в капиталистических странах, где «господствует диктатура рентабельности» и где «искусство и талант должны подчиняться закону купли-продажи».

Автор подчеркивает, что специалисту в области кино — «выходцу из рабочей или крестьянской семьи, лишенному собственных материальных средств, фактически невозможно преуспевать в кинематографии».

«Скольких блестящих имен, — констатирует Дакен,— не досчиталось бы сейчас кино, если бы киноработники были лишены самоотверженности и большого терпения, необходимых для того, чтобы пережить долгие периоды безработицы со всеми вытекающими отсюда последствиями в надежде получить долгожданный контракт!»

ФЕРНАНДЕЛЬ — ЛАУРЕАТ КОНКУРСА КИНОКОМЕДИИ

Известный французский артист Фернандель за главную роль, исполненную им во французском фильме «Человек в плаще», награжден «Золотой лавровой ветвью» — первой премией Международного кинофестиваля комедийного фильма, состоявшегося в Италии.

По сообщению газеты «Нейе цейт», Фернандель снимается сейчас в американской кинокартине «Дон-Кихот», выступая в заглавной роли.

ЦЕЙЛОН

СМЕРТЬ ИЗВЕСТНОГО ПОЭТА

В возрасте 78 лет скончался известный цейлонский поэт Арнанда Раджакаруна. Газета «Санди таймс оф Цейлон» отмечает, что Раджакаруна внес большой вклад в сингальскую современную литературу и был прекрасным знатоком цейлонской классической литературы.

Раджакаруна является автором около 80 книг, написанных на сингальском языке. Поэту принадлежит также ведущая роль в деле объединения писателей Цейлона.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ЛАВИНА» МИЛОША КРНО

Недавно издательством «Наше войско» выпущена книга словацкого писателя Милоша Крно «Лавина». Как сообщает журнал «Свет в образех», эта книга повествует о Словацком народном восстании, которое охватило страну летом 1944 года. Автор рассказывает не только о самом вос-

Французский комический актер Фернандель в фильме «Безработный из Клошмерля». *(Газета «Трибуна люду»).*

стании, но и о его подготовке, зарождении партизанского движения в Словакии, о воспитании и закалке молодых патриотов.

«Мы знаем об основных событиях Словацкого народного восстания, однако о его предыстории мы знаем мало. С ней мы знакомимся по книге М. Крно «Лавина»,— пишет «Свет в образех».

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЬЕСЫ ГАШЕКА И КИША

В конце декабря 1921 года в чехословацкой прессе появилось первое сообщение о комедии под названием «Из Карлина в Братиславу за 365 дней», написанной Я. Гашеком и Э. Э. Кишем. (В № 12 «Иностранной литературы» за 1957 г. ошибочно указано, что пьеса была написана в 1930 году).

По свидетельству современников, в создании пьесы принимал участие также и известный режиссер Лонген, который осенью 1921 года посетил Я. Гашека, жившего тогда в Липнице. В настоящее время комедия известна под названием «Путешествие вокруг Европы в 365 дней». Это — яркая и злая сатира на мелкобуржуазное общество двадцатых годов.

...Один из многих аферистов, всплывших на поверхность после мировой войны, создает в Праге транспортную контору. К нему поступает требование из Братиславы выслать туда пароход, и он, не задумываясь, отдает распоряжение командиру старой посудины «Ланна 8», стоящей в пражском порту, отправиться в Братиславу. Репортер мелкой газетки, услышав об этом, решает, в погоне за сенсационным материалом, съездить и посмотреть, что сделает капитан, — ведь между Прагой и Братиславой нет водного пути. Но капитан не смущен. Приказ есть приказ. И старый «морской волк» отправляется в длинный путь по Влтаве, затем проходит по Эльбе, через Гамбург к Северному морю и оттуда по Рейну и Дунаю достигает Вены. На этот путь уходит ровно год... Репортер ежедневно посылает в свою газету полные пафоса корреспонденции, являющиеся блестящим образцом сатирической пародии на сообщения бульварной прессы... В Вене экипаж судна узнает, что пославшая их транспортная контора давно обанкротилась, а газета, в которой работал репортер, ликвидирована...

ЧИЛИ

ВЫХОД ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА

В Сант-Яго вышел в свет первый номер нового литературного журнала «Ревиста литерариа де ла СЕЧ», издающегося Обществом чилийских писателей. В создании нового журнала активное участие принял видный литературовед, президент Общества чилийских писателей проф. Рикардо А. Латчам.

«Ревиста литерариа де ла СЕЧ» — уже не первая попытка чилийских писателей и деятелей культуры создать творческую трибуну для обсуждения актуальных проблем национальной и мировой литературы. До недавнего времени в стране выходили «Гасета де Чили», издаваемая Пабло Нерудой, и «Виенто сур», которые ставили своей целью сплочение прогрессивных писательских сил Чили. Однако, вследствие политических и

Сцена из пьесы Ф. Буриана «Евгений Онегин» по мотивам романа в стихах А. С. Пушкина. Онегин — Олдржих Яновский, Татьяна — З. Кочова.
(Журнал «Свет совету»).

финансовых трудностей, препятствовавших выходу этих журналов, они вынуждены были прекратить свое существование.

Ныне им на смену пришла «Ревиста литерариа». Имена авторов, выступивших в первом номере, позволяют надеяться на то, что новый журнал станет широкой трибуной чилийских писателей и сыграет положительную роль в деле развития национальной культуры. На страницах первого номера опубликованы произведения таких известных современных писателей Чили, как Даниэль Бельмар, Луис Энрике Делано и Мануэль Рохас, получивший недавно Национальную премию по литературе за 1957 год.

«Ревиста литерариа» печатает также произведения молодых авторов. К их числу в первую очередь следует отнести Луиса Корнехо, драматурга и писателя, выпустившего в этом году небольшой сборник рассказов и выступившего в журнале с рассказом «Французская булавка».

Журнал публикует поэзию, критические статьи, а также произведения зарубежных авторов и международные литературные новости, информацию о выходе в свет новых книг.

КНИГА О ЧИЛИЙСКОМ КИНО

Как сообщает газета «Вистасо», в Чили вышла в свет книга старейшего деятеля чилийской кинематографии Альберто Сантаны «Взлеты и падения чилийского кино». Автор книги — постановщик большого количества немых и звуковых фильмов—выступает за развитие национального искусства Чили.

Альберто Сантана освещает историю чилийского кино, начиная с первого фильма «Столетие» — документальной картины, продолжавшейся пятнадцать минут, созданной в 1910 году, — и кончая последними фильмами, вышедшими в Чили, как например «Три взгляда на улицу».

Сантана рассказывает о первых годах существования чилийской кинематографии, о том периоде ее расцвета, когда она обгоняла другие страны латиноамериканского континента, включая Мексику и Аргентину. После 1942 года Чили становится полем деятельности иностранных кинопредпринимателей. Фильмы начинают терять национальный колорит. Одним из немногих фильмов последних лет, сохранивших свое национальное звучание, отмечает Сантана, был фильм «История Марии Видаль» режиссера Оливареса.

Констатируя упадок национального киноискусства и указывая на засилие иностранных дельцов в области кино, Сантана предлагает узаконить в Чили обязательную демонстрацию национальных фильмов и снова выпустить на экраны страны около тридцати лучших фильмов прошлых лет с тем, чтобы полученные средства «употребить на воссоздание истинно национального кинопроизводства».

«Должен, наконец, прийти день,— пишет автор,— когда произведения чилийского киноискусства смогут занять свое место на экранах мира и стать посланниками чилийской национальной культуры».

ШВЕЦИЯ

НОВЫЙ РОМАН МУА МАРТИНСОН

По сообщению газеты «Ню даг», писательница Муа Мартинсон опубликовала новый роман «Придорожные колокола».

Муа Мартинсон известна в Швеции своими произведениями о женщинах из народа — угнетенных, обездоленных, но стремящихся к счастью и знаниям. Свой новый роман, действие которого происходит в 1912 году на хуторе в Седертерне и в предместье текстильного города, Муа Мартинсон снова посвящает тяжелой судьбе женщины-крестьянки.

Главная проблема жизни героини книги Бетти — прокормить и вырастить детей. Писательница, отмечает газета, с большим умением и любовью описывает жизнь и раскрывает психологию Бетти, показывает ее духовные искания, неуверенность в своем будущем, тоску по знаниям.

Роман «Придорожные колокола», заключает «Ню даг», посвящен общечеловеческим проблемам и написан с той душевной теплотой, какая отличает большинство произведений шведской писательницы.

«ИВАНОВ» НА СЦЕНЕ ШВЕДСКОГО ТЕАТРА

На сцене Национального шведского театра «Драматен» поставлена пьеса А. П. Чехова «Иванов». Постановка осуществлена режиссером Пер-Аксель Брагнером. Театральный критик Сам Юхансон указывает, что эта пьеса вошла в репертуар шведского театра благодаря усилиям и инициативе режиссера-театроведа и директора театральной школы при театре «Драматен» — Стига Торсслова. «Стиг Торсслов — один из наших наиболее известных знатоков Чехова, — пишет Юхансон. — Его интерес к русской драматургии давно известен».

«Положительная реакция зрителей,—сообщает Юхансон,— позволяет надеяться, что пьеса «Иванов» надолго останется в репертуаре театра».

«ВОЙНА И МИР» — СПЕКТАКЛЬ ЭРВИНА ПИСКАТОРА

В театре шведского университетского города Уппсала немецкий режиссер Эрвин Пискатор поставил пьесу «Война и мир» по роману Льва Толстого. Пискатор сам инсценировал роман. По его словам, он работал над этой постановкой несколько десятилетий и считает ее своей капитальной работой.

Рецензенты шведских газет высоко оценивают постановку Пискатора, называя ее самым крупным событием в театральной жизни этого года.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Иржи Тауфер — Iiří Taufer (род. в 1911 г.) — чешский поэт, переводчик, литературный критик и публицист, редактор еженедельника «Творба», автор нескольких сборников стихов. За переводы стихов Маяковского получил в 1951 г. Государственную премию. «Героическая поэма» ("Eroica"), отрывок из которой публикуется в этом номере журнала, вышла в Чехословакии отдельной книгой к 40-летию Октября.

Аурел Михале — Aurel Mihale (род. в 1922 г.) — румынский писатель, секретарь Союза писателей, автор романов «Новые поля» ("Ogoare noi", 1953), «Цветок жизни» ("Floarea vieţii", 1954), рассказов «Идут воды» ("Vin apele"), «На пороге весны» ("In pragul primăverii") и др. Рассказ «Тревожные ночи» ("Nopţi înfrigurate") был опубликован впервые в журнале «Вяца ромыняскэ» в 1957 г.

Людвик Ашкенази — Ludvík Aškenazy (род. в 1921 г.) — чешский писатель и журналист, автор сборников рассказов, репортажей и др. Книга Л. Ашкенази «Бабье лето» была опубликована в журнале «Иностранная литература» (см. №№ 5 и 6 за 1957 г.). Публикуемый рассказ взят из сборника «Мы пришли, товарищи» ("My přišli, soudruzi", 1955).

Станислав Зелинский — Stanisław Zieliński (род. в 1917 г.) — польский писатель. Автор романов «Последние огни» ("Ostatnie ognie", 1955) и «Еще Польша» ("Jeszcze Polska", 1955), отмеченных Государственной премией в 1953 г. Рассказ «Черные тюльпаны» ("Czarne tulipany") взят из сборника «Старая сабля» ("Stara szabla", 1957).

Тен Дон У — 전 동 우 — молодой корейский поэт. Публикуемое стихотворение прислано автором в рукописи.

Радован Зогович — Радован Зоговић (род. в 1907 г.) — югославский поэт (черногорец), автор популярной книги стихов «Упрямые строфы» («Пркосне строфе», 1947), из которой и взято публикуемое стихотворение. Известен в стране и как переводчик Маяковского.

Янош Сас — Janos Szasz (род. в 1927 г.) — венгерский поэт и журналист. В 1947 г. вышла первая книга его стихов «С рассвета до сумерек» ("Hajnaltól alkojatig"), в 1950 г. — поэма «Тетушка Анна» ("Anna néne") о новой жизни венгерской деревни. в 1955 г. — сборник лирических стихов «Песня о солдате» ("A sorkatona éneke"), в 1956 г — лирический сборник «Без секрета» ("Nincsen titkom"). Я. Сас — участник VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Публикуемое в этом номере журнала стихотворение прислано автором в рукописи.

Джон Бойнтон Пристли — John Boynton Priestley (род. в 1894 г.) — английский писатель и драматург. Наиболее известны его романы «Затемнение в Грэтли» ("Blackout in Gretley", 1942) и «Дневной свет в субботу» ("Daylight on Saturday", 1943). Д. Пристли — автор пьес «Опасный поворот» ("Dangerous Corner", 1932), «Время и семья Конвей» ("Time and the Conways", 1937), «Он пришел» ("An Inspector Calls", 1945) и др. Ему принадлежит также ряд литературно-критических работ.

Публикуемая пьеса «Теперь пусть уходит» ("Now Let Him Go") переведена с рукописи.

Суад Ташер — Suat Taşer (род. в 1919 г.) — турецкий поэт и актер, автор нескольких книг стихов, выступает в печати также как театральный критик и переводчик. В 1954 году в Анкаре вышла его книга «Продается с аукциона» ("Haraç mezat"), откуда и взяты публикуемые стихи.

Месуд Тарджан — Mesut Tarcan — молодой турецкий поэт. Начал печататься в конце сороковых годов в периодических изданиях. Стихотворение, публикуемое в этом номере, взято из журнала «Варлык».

Джахид Сытки Таранджи — Cahit Sıtkı Tarancı (1910—1956 гг.) — известный турецкий поэт. Наибольшей популярностью пользуется его книга «В тридцать пять лет» ("Otuz beş yaş"), откуда и взяты печатаемые стихи.

Сибурапа (Кулаб Сайпрадит) — [illegible] (род. в 1905 г.) — таиландский писатель, активный участник борьбы за мир. Первое произведение его — роман «Мальчик» — опубликовано в 1928 г. За время литературно-публицистической деятельности им было написано несколько романов и повестей, десятки рассказов, очерков и многочисленные статьи. Наиболее известные произведения Сибурапы—повесть «Оборотная сторона» (1940), рассказ «Пробуждение» (1952), роман «Лицом к будущему» (1954).

Сибурапа заканчивает работу над второй частью романа «Лицом к будущему» и завершает перевод на язык таи романа М. Горького «Мать», часть которого уже опубликована.

Рассказ «Деньги и труд» опубликован впервые в 1952 г. в таиландской газете «Пиямит».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Тойн де Фрис — Theun de Vries (род. в 1907 г.) — известный голландский писатель. Подробнее о нем см. № 11 журнала «Иностранная литература» за 1956 г. Печатаемая в этом номере статья прислана автором в рукописи.

Димитр Шутеричи— Dhimitër S. Shuteriqi (род. в 1915 г.) — албанский писатель-прозаик, поэт, литературовед—председатель Союза писателей и работников искусств Албании, депутат Национального собрания, автор известного романа «Освободители» ("Çlirimtarët", 1952—1954), удостоенного Премии республики.

Жорж Сориа — Georges Soria—французский писатель, драматург, переводчик и журналист. В настоящее время возглавляет «Парижское литературно-художественное агентство по культурным связям». Публикуемая статья написана автором для журнала «Иностранная литература».

Эрик Хорскьер — Erik Horskjer (род. в 1921 г.) — датский журналист и литературовед, переводчик русской и советской литературы. Перевел на датский язык романы Шолохова «Тихий Дон», А. Фадеева «Молодая гвардия», повесть В. Катаева «Белеет парус одинокий» и др. В 1948 г. Э. Хорскьер опубликовал книгу «Советская литература в 1917—1948 гг.» Публикуемая статья написана для журнала «Иностранная литература».

Ференц Семлер — Ferens Szemler (род. в 1903 г.) — румынский поэт, пишущий на венгерском языке. Секретарь Союза писателей РНР, один из руководителей еженедельника «Контемпоранул». Перевел на венгерский язык многочисленные произведения румынских поэтов, большинство их вошло в «Антологию румынской поэзии» на венгерском языке. Помещаемая в этом номере статья написана для журнала «Иностранная литература».

Годофредо Гарсия Рендон — Godofredo Garcia Rendón — перуанский общественный деятель, активный участник движения сторонников мира. Печатаемая статья прислана автором в рукописи.

Седрик Белфрейдж — Cedric Belfrage (род. в 1904 г.) — американский публицист, основатель прогрессивного американского еженедельника «Нэшнл гардиан». Англичанин по происхождению, С. Белфрейдж с 1925 г. жил в США. В мае 1953 г. он был арестован иммиграционными властями за отказ отвечать в сенатской комиссии по расследованию антиамериканской деятельности на вопросы о его взглядах, деятельности и принадлежности к политическим организациям. В 1954 г. по решению федерального суда С. Белфрейдж был выслан из Соединенных Штатов и в настоящее время живет в Англии. Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

Саджад Захир — известный индийский писатель и критик, крупный общественный и политический деятель. (См. «Иностранную литературу», № 10 за 1957 г.). Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефоны: В 3-51-47, В 1-15-08.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков*

А 00646. Сдано в производство 7/XII 1957 г. Подписано к печати 4/II 1958 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 8,0 бум. л. + 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл.
Зак 2727. Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.